Приложение к газете «День литературы»

Главный редактор:
Владимир БОНДАРЕНКО

Выпускающий редактор:
Валентина ЕРОФЕЕВА

Редакционный совет:
Николай ИВАНОВ
Сергей КУНЯЕВ
Александр ЛЕОНИДОВ
Вячеслав ЛЮТЫЙ
Михаил К. ПОПОВ
Станислав ПАРФЁНЦЕВ
Захар ПРИЛЕПИН
Андрей ТИМОФЕЕВ

Гендиректор Валентина Ерофеева

Адрес редакции:
119146, г. Москва, Комсомольский проспект, 13

Телефон:
8-916-015-80-69

E-mail:
denlitera@yandex.ru

Сайт:
denliteraturi.ru

АНО Газета писателей «День литературы». Свидетельство о госрегистрации от 12.04.2019 г. № 1197700005513

ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Специальный выпуск журнала к пленуму Союза писателей Союзного государства Россия – Белоруссия. Могилев. 3-4 октября 2019 года

№ 3 (9), 2019

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции.....3

Анатолий АВРУТИН. «ЕСЛИ ВДРУГ НА ЧУЖБИНУ...» *Поэзия* 4
Алесь БАДАК. «ПОЗАБЫЛ Я ЗАВЕТНОЕ СЛОВО...» *Поэзия* 12
Александр БОБРОВ. НЕЗЛЫЕ СЛАВЯНСКИЕ ЗВЁЗДЫ. *Очерк*.....18
Вячеслав БОНДАРЕНКО. СВИДЕТЕЛЬ О СВЕТЕ. *Главы из повести*.....25
Николай ДОРОШЕНКО. БОГОСЛОВИЕ В МОЕМ ДЕТСТВЕ. *Рассказ*....64
Валентина ЕРОФЕЕВА. В КРУЖЕНЬЕ КРЫЛ. *Поэзия*.....71
Геннадий ИВАНОВ. БЕЛОРУССКИЕ СТРОКИ. *Поэзия*.....78
Николай ИВАНОВ. РЕКИ ПОМНЯТ СВОИ БЕРЕГА. *Главы из романа*....83
Александр КАЗЕКО. «ВОЗВРАЩЕНИЯ ПУТЬ...» *Поэзия*.....117
Мария КОБЕЦ. «КОГДА ТВОЙ ОБЛИК СОВСЕМ РАЗМОЕТСЯ...» *Поэзия*...124
Николай КОНОВСКОЙ. ПОСМОТРИ, КАК МНОГО НАС! *Поэзия*.....128
Наталия КОСТЮЧЕНКО. ВРЕМЯ И ВОЗРАСТ. *Фрагменты из романа-эссе*...132
Тамара КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО. «ТАМ ГОДЫ
ЗОЛОТОМ ЗВЕНЯТ...» *Поэзия*.....146
Владимир КРУПИН. ПРОФЕССИЯ: ПИСАТЕЛЬ. *Проза*.....157
Валерий ЛАТЫНИН. МИЛОСЕРДИЕ. *Рассказы*.....169
Владимир ЛЯХОВЕЦКИЙ. «ТОЛЬКО НЕТ ПОКОЯ
ДУМАМ СОКРОВЕННЫМ...» *Поэзия*.....183
Марина МАСЛОВА. «ПРОЩАЙ! ВСТРЕТИМСЯ В РАЮ!». *Критика*.....189
Николай ПЕРЕЯСЛОВ. ТЯЖКАЯ НОША ПОЭТА. *Критика*.....199
Алесь ПИСАРИК. «ТАНЕЦ ЛЕТА. МЫ ЧИТАЕМ ФЕТА...» *Поэзия*.....202
Михаил ПОЗДНЯКОВ. «ЕСТЬ НАЗВАНЬЯ
ИЗВЕЧНО СВЯТЫЕ...» *Поэзия*.....210
Валентина ПОЛИКАНИНА. «МОЙ ВЕК, СМЕШЕНЬЕ
ВЕРЫ И ПОРОКА...» *Поэзия*.....217
Михаил ПОПОВ. БЕЛАЯ ВЕЖА . *Главы из романа*.....225
Нина ПОПОВА. «МЕЧТЫ НАДМЕННОЙ ВЕРТИКАЛЬ...» *Поэзия*.....242
Андрей РУМЯНЦЕВ. «А ОН, МЯТЕЖНЫЙ...» Критика.....254
Владимир САЛАМАХА. ФРОНТ ТАМ, ГДЕ ТЫ... *Фрагмент романа*.....263
Владимир СИЛКИН. РУССКИЙ ВЕТЕР. *Поэзия*.....274
Елена СТЕЛЬМАХ. БИЛЕТ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ. *Очерк*.....289
Андрей ТИМОФЕЕВ. НИНА. *Рассказ*.....297
Александр ТРАПЕЗНИКОВ. ЭТО ВАМ ЗА ПАЦАНОВ! *Критика*.....311
Сергей ТРАХИМЁНОК. ИГЛА В КВАДРАТЕ . *Рассказ*.....316
Николай ЧЕРГИНЕЦ. ОПЕРАЦИЯ «КРОВЬ». *Главы из романа*.....324
Валерий ЧУДОВ. ОХОТА НА КАБАНОВ. *Рассказ-быль*.....349

ОТ РЕДАКЦИИ

3-4 октября 2019 года в Могилеве (Беларусь) состоится очередной пленум Союза писателей Союзного государства Россия – Белоруссия.
Специальный выпуск нашего журнала подготовлен к этому замечательному событию в жизни наших братских литератур.
Трудно нам было рассчитывать на то, что хоть в какой-то мере достигнем мы относительной объективности в представлении наших современных литератур.
Тем более, не могли мы рассчитывать на это по отношению к литературе Беларуси, поскольку располагали только имеющимися у нас русскоязычными текстами.
Но мы очень надеемся, что и в дальнейшем наши белорусские коллеги, пишущие на родном языке, будут присылать нам переводы своих произведений в адрес журнала «День Литературы»: denlitera@yandex.ru и сайта «Российский писатель»: sp@rospisatel.ru

Анатолий АВРУТИН *(Беларусь)*

«ЕСЛИ ВДРУГ НА ЧУЖБИНУ...»

* * *

...Наш примус всё чадил устало,
Скрипели ставни... Сыпал снег.
Мне мама Пушкина читала,
Твердя: «Хороший человек!».
Забившись в уголок дивана,
Я слушал – кроха в два вершка, –
Про царство славного Салтана
И Золотого Петушка...
В ногах скрутилось одеяло,
Часы с кукушкой били шесть.
Мне мама Пушкина читала –
Тогда не так хотелось есть.
Забыв, что поздно и беззвёздно,
Что сказка – это не всерьез,
Мы знали – папа будет поздно,
Но он нам Пушкина принес.

АВРУТИН Анатолий Юрьевич родился и живет в Минске. Окончил БГУ. Главный редактор журнала «Новая Немига литературная». Автор двадцати двух поэтических сборников, изданных в России, Беларуси, Германии и Канаде, награжден орденом Франциска Скорины и одноименной медалью. Член Общественной Палаты Союзного Государства России и Беларуси, лауреат Национальной литературной премии Беларуси и многих международных литературных премий. Почетный член Союза писателей Беларуси и Союза русскоязычных писателей Болгарии.

И унывать нам не пристало
Из-за того, что суп не густ.
Мне мама Пушкина читала –
Я помню новой книжки хруст...
Давно мой папа на погосте,
Я ж повторяю на бегу
Строку из «Каменного гостя»
Да из «Онегина» строку.
Дряхлеет мама... Знаю, знаю –
Ей слышать годы не велят.
Но я ей Пушкина читаю
И вижу – золотится взгляд...

ГРУШЕВКА

Стирали на Грушевке бабы,
Подолы чуток подоткнув.
Водою осенней, озяблой,
Смывали с одежки войну.

Из грубой дощатой колонки,
Устроенной возле моста,
Прерывистой ниточкой тонкой
В корыта струилась вода.

От взглядов работу не пряча
И лишь проклиная ее,
Стирали обноски ребячьи
Да мелкое что-то свое...

И дружно глазами тоскуя,
Глядели сквозь влажную даль
На ту, что рубаху мужскую
В тугую крутила спираль...

ВДАЛИ ОТ РОССИИ

Вдали от России
непросто быть русским поэтом,
Непросто Россию
вдали от России беречь.
Быть крови нерусской...
И русским являться при этом,
Катая под горлом великую русскую речь.

Вдали от России
и птицы летят по-другому –
Еще одиноче безрадостно тающий клин...
Вдали от России
труднее дороженька к дому
Среди потемневших,
среди поседевших долин.

Вдали от России...
Да что там – вдали от России,
Когда ты душою порой вдалеке от себя...
Дожди моросили...
Дожди, вы у нас не спросили,
Как жить вдалеке от России, Россию любя?..

Вдали от России
круты и пологие спуски,
Глухи алтари,
сколь ни падай в смятении ниц.
Но крикни: «Россия» ...
И эхо ответит по-русски,
Ведь русское эхо нерусских не знает границ...

* * *

В годы войны на территории Беларуси фашисты создали 14 лагерей, в которых полностью забирали кровь у детей, переливая её своим раненым. Тела детишек сжигали.

– Я з Крыніц... Жыва пакуль...
Зваць Алеся.
– З Докшыц я... А ты адкуль?
– Я з Палесся...

Кровь возьмут до капли, всю,
Без разбору.
Было б восемь Михасю,
Шесть – Рыгору.

А Алесе скоро семь...
Время мчится.
Было б лучше им совсем
Не родиться.

Горе-горюшко родне...
Крови алость,
Что немецкой солдатне
Доставалась.

В госпитальной чистоте
Бывшей школы
Перелили в вены те
Кровь Миколы.

Заживляла след от пуль
Кровь Алеси,
Что шептала:
– Ты адкуль?
Я – з Палесся...

И фашист, набравшись сил,
Встав с кровати,
Нет, не «мутер» говорил,
Плакал: «*Маці*...»

И не мог никак понять,
Хромоножка,
Почему назвать кровать
Тянет «*ложкам*»?

Ведь не знал он этих слов...
Как, откуда
У немецких докторов
Вышло чудо?

Не понять ему – бандит –
В мракобесье:
Кровь Миколы говорит,
Кровь Алеси...

* * *

Памяти друзей-писателей

1.

Как летят времена! –
Был недавно еще густобровым.
Жизнь – недолгая штука,
Где третья кончается треть...
Заскочу к Маруку,
Перекинусь словцом с Письменковым,
После с Мишей Стрельцовым
Пойдем на «чугунку» смотреть.

Нынче осень уже,
И в садах – одиноко и голо.
Больше веришь приметам
И меньше – всесильной молве.
Вот и Грушевский сквер...
Подойдет Федюкович Микола,
Вспомнит – с Колей Рубцовым
Когда-то учились в Москве.

Мы начнем с ним листать
О судьбе бесконечную книгу,
Где обиды обидами,
Ну а судьбою – судьба.
Так что хочешь не хочешь,
И Т*а*раса ты вспомнишь, и Крыгу...
Там и Сыс не буянит,
Печаль вытирая со лба.

Там – звенящее слово
И дерзкие-дерзкие мысли.
Скоро – первая книга,
Наверно, пойдет нарасхват...
Там опять по проспекту
Бредет очарованный Кислик
И звонит Кулешову,
Торопко зайдя в автомат.

А с проспекта свернешь –
Вот обшарпанный дом серостенный,
Где Есенин с портрета
Запретные шепчет слова,
Где читает стихи только тем, кому верит
Блаженный...
Только тем, кому верит...
И кругом идет голова.

Что Блаженный? – И он
Перед силой природы бессилен.
Посижу – и домой,
Вдруг под вечер, без всяких причин,
Позвонит из Москвы мне, как водится,
Игорь Блудилин,
А к полуночи ближе, из Питера,
Лёва Куклин...

Неужели ушло
Это время слепцов и поэтов? –
Было время такое,
Когда понимали без слов.
Вам Володя Жиженко
Под вермут расскажет об этом...
И Гречаников Толя...
И хмурый Степан Гаврусёв...

Не толкались друзья мои –
Истово, злобно, без толку.
И ушли, не простившись –
Негромкие слуги пера.
Вот их книги в рядок,
Все трудней умещаясь на полку.
Там и мест не осталось,
И новую вешать пора...

2.

Время метаний... Основа основ.
Пусто и голо.
Вроде Микола стоит Лупсяков...
Як ты, Мікола?

Переступлю через снежный сумёт,
Прошлое – рядом.
Толя Гречаников руку пожмет:
«Што з перакладам?..»

От недовольных супружниц тайком,
Ближе к вечерне,
С Мишей Стрельцовым пойдем с коньяком
К Хведару Черне.

Гришка Евсеев, Володя Марук:
«Вып"ем і годзе...».
По корректуре размашисто: *«Ў друк!»* –
Павлов Володя.

Небо нахмурилось, тени струя.
Стежечка в жите.
Где вы?.. В какие уплыли края?
Хлопцы, гукніце!..

А с поднебесья: *«Ушедших – не тронь!..»* –
Грозно и строго.
Толькі валошка казыча далонь...
Цёмна... Нікога...

* * *

Бредет навстречу дряхленький Мирон,
Еще с войны контуженный, живучий.
Извечный завсегдатай похорон
Других солдат, что в мир уходят лучший...

Он сдал в музей медаль и ордена,
Он потерял жену, а с ней – рассудок.
И встречного: «Закончилась война?..» –
Пытает он в любое время суток.

«Да-да, Мирон, закончилась... Прости,
Что мы тебе об этом не сказали...».
Он расцветает... И звенят в горсти
Монеты на бутылку от печали.

Бутылка так... На первом же углу
Он встречного о том же спросит снова:
«Закончилась?..». Морщинки по челу
От радости бегут не так сурово.

Проклятый век... Шальные времена...
В соседней Украине гибнут дети.
А здесь Мирон: «Закончилась война?..».
И я не знаю, что ему ответить...

* * *

Если вдруг на чужбину
заставит собраться беда,
Запихну в чемодан,
к паре галстуков, туфлям и пледу,
Томик Блока, Ахматову...
Вспомню у двери: «Ах, да...
Надо ж Библию взять...».
Захвачу и поеду, поеду.

Если скажут в вагоне,
что больно объемист багаж
И что нужно уменьшить
поклажу нехитрую эту,
Завяжу в узелок
пестрый галстук, простой карандаш,
Томик Блока и Библию –
что еще нужно поэту?

Ну а если и снова
заметят, что лишнего взял:
«Книги лучше оставить...
На этом закончим беседу...».
Молча выйду из поезда,
молча вернусь на вокзал,
Сяду с Блоком и Библией...
И никуда не поеду.

* * *

То ли это судьба... То ли так, по наитью,
Я забрел в этот маленький камерный зал...
Помню женщину в белом... И мальчика Митю,
И оркестрик, что Моцарта тихо играл.

Крепко спал билетер... Никаких декораций.
Прямо в сердце со сцены лилась ворожба.
Мне казалось – вот так Ювенал и Гораций
Тоже звукам внимали, а муза ждала.

Я спешил... И ушел посреди перерыва,
Тихо вышел, прикрыв осторожную дверь.
И вослед мне сквозь окна плыла сиротливо
Эта музыка частых разлук и потерь.

Есть предел... Но есть нечто еще за пределом,
И являются, если с душой не в ладу,
Этот камерный зал... Эта женщина в белом...
Этот стриженый мальчик в десятом ряду.

* * *

Догорала заря... Сивер выл над змеистым обрывом,
Умерла земляника во чреве забытых полян...
А он шел, напевая... Он был озорным и счастливым...
– Как же звать тебя, *милай*?.. И вторило эхо: «Иван...».

Он шагал через луг... Чертыхаясь – несжатой полоской,
Ну а дальше, разувшись, по руслу засохшей реки.
– И куда ты, Иване? – Туда, где красою неброской
Очарован, стекает косматый туман со стрехи...

– Так чего тут искать? Это ж в каждой деревне такое,
Это ж выбери тропку и просто бреди наугад.
И увидишь туман, что с утра зародясь в травостое,
Чуть позднее стекает со стрех цепенеющих хат...

Эх, какая земля! Как здесь всё вековечно и странно!
Здесь густая живица в момент заживляет ладонь.
Здесь токует глухарь... И родится Иван от Ивана –
Подрастет и вражине промолвит: «Отчизну не тронь!».

Нараспашку душа... Да и двери не заперты на ночь.
Золотистая капля опять замерла на весу...
– Ты откуда, Иван? – Так автобус сломался, Иваныч,
Обещал ведь Ванюшке гостинца... В авоське несу...

РУССКОЕ СЛОВО

Не умею сказать по-французски
Ни «природа», ни «блузка», ни «лес»...
У француженок яркие блузки,
Видел всяких – и в блузках, и без...

Всё блуждается в том, полудетском
Восприятьи... Что Бог триедин
Не умею сказать на немецком,
Хоть мы некогда брали Берлин.

Не умеешь... Не знаешь... Не видишь...
О, словесности водораздел!
Ни иврит мне неведом, ни идиш,
И английского не одолел.

Всё на русском... Конечно же, плохо
Помнить лишь «камарад» и «капут»!
Но, когда озверела эпоха,
Только крикни: «Ура!»... И поймут...

Алесь БАДАК *(Беларусь)*

«ПОЗАБЫЛ Я ЗАВЕТНОЕ СЛОВО...»

ДОМОВОЙ

Кашлянет за печкой Домовой,
Вылезет на кухню среди ночи,
Половик собьет своей ногой,
Но стащить за печку не захочет.

Думая, наверно, что никто
Тут его не видит, – осторожно
Из карманов моего пальто
Выкрадет все денежки, возможно.

Посмотрю печально ему вслед,
Не окликну и не потревожу.
Стал для всех жестоким этот свет –
Каждый выживает в нем как может.

БАДАК Алесь родился в 1966 году в Брестской области. Работал в редакциях журналов «Бярозка», «Маладосць», был главным редактором журнала «Нёман», главным редактором журнала «Полымя». Сейчас – директор издательства «Мастацкая літаратура».

Автор нескольких поэтических книг и многочисленных сборников поэзии и прозы для детей. В 2014 году вышел том избранных переводов поэзии и прозы на русский язык «Побег на край дождя». Лауреат нескольких литературных премий.

ПОСЛЕ ВЕЧНОСТИ

Приходила с наступленьем тьмы,
Зажигала маленькую свечку.
– Сгинет свет, – шептала, – только мы
Все равно с тобою будем вечно.

Очень долго нет тебя со мной.
– Что ж, – шепчу я, – значит, за стеною
Сгинул свет, и стала уж былой
Вечность, что обещана тобою.

Сгинул свет, – шепчу я. – За окном –
Ни земли, ни неба.
Всё пропало,
Кроме веры, – ты войдешь в мой дом,
Чтобы вечность
Новая настала.

ЗАВЕТНЫЕ СЛОВА

Позабыл я заветное слово,
Что сближало с тобою всегда.
Ты была с края света готова
Каждый день возвращаться сюда,

В этот дом и унылый, и серый,
Где порог деревянный истлел.
К нашей твердой, холодной постели,
Где хмельно, как в траве-мураве.

Тут давно обновились пороги,
И пороги, и стены – давно.
И порядок повсюду тут строгий,
И к столу – дорогое вино.

Сколько лун, криволицых и полных,
Сколько солнц над землею взошло!
Я забыл. Но уверен – ты помнишь
Притяженье чарующих слов.

Закричал бы тебе: – Ты богиня!
Я хочу тебя снова вернуть!
Да боюсь, что услышат другие
И затопчут единственный путь.

КОГДА Я ПОВЕРЮ

И когда я поверю,
что мне все равно:
Перестанешь,
иль будешь по-прежнему сниться,

Ты откроешь в мой мир
потихоньку окно
Вместе с первой грозой,
что в окошко стучится.

Я промолвлю некстати:
– А знаешь, с тобой
Очень много преград
сотворили мы сами,
Что ты стала теперь,
словно призрак, чужой,
И уже позабыты
все связи меж нами.

И услышу
на редкость спокойный ответ,
Полный вечной, загадочной
женской печали.
– Может, бывшей любви, –
ты мне скажешь, – и нет,
Но зато есть возможность
начать все сначала.

ТАЙНЫЙ САД

Чертой где тонкой горизонт
Небесный свод роднит с землёю,
В тиши секретный сад растёт,
Известный только нам с тобою.

И там встречают нас всегда
Святые тихим песнопеньем.
С тобой я прихожу туда
Молиться на твои колени,

На губы и на голос твой
И с благодарностью немою,
Что всё ещё они со мной,
Как неба край с землёю.

Ах, этот странный тайный сад!
Спешат всё дачники на дачи,
И возвращаются назад, –
Но видеть сад им нет удачи.

* * *

1.

Я купился, когда увидал –
Близко лес и река аж искрится.
И соседка – еще молодица.
Да такая – что выбрал бы сам.

Огород. А какой белорус
Без какого ни есть огорода.
Я купился. Купил его.
Продал
Вместе с хатой, понятно, и – плюс –

С тою самой прозрачной рекой,
С близким лесом, соседкой пригожей
(Получилось, конечно, дороже), –
Продал все человек мне такой,

Что я даже с ним не был знаком.
– Он нездешний, – сказала соседка.
Но и женская больше разведка
Ничего не узнала о нем.

Заимел огород – не стони,
А старайся до горького пота.
Только, как показала работа,
Там растут лишь каменья одни.

Весь камнями зарос огород!
Обезумела, видно, природа.
Ну, а впрочем, нашлась мне забота
Перекинуться через заплот

С той соседкою словом-другим.
– Камни прут так, что скоро заплачу!
Засмеялась:
– А что для вас дача?! –
И глаза будто выел мне дым.

Правда, я отмахнулся, спеша,
Как от дыма, от слов ее едких
(Вряд ли их повторю за соседкой),
Ну а после сказал ей:
– Душа!

– Покупали вы душу?
– Купил
Сам себя у продажного века,
Пока сельского дух человека
С ним в себе до конца не убил.

– Вы так любите землю?
– Люблю!
Ту деревню, что памятью стала,
Что давно уж слезинкой сбежала.
С той поры я ее узнаю

По неведомым признакам – тем,
Что вдруг из ничего возникают.

И со мной эта вёска святая,
Где б я ни был на свете и кем.

Выбрал место ей тут – как хотел:
Близко лес и река серебрится.
И соседи есть. Рядом столица,
Так что можно проведать меж дел.

В ней искать думал корни свои.
Перекапывал сотки лопатой,
Сеял то, что и предки когда-то.
Отчего же каменья взошли?

– А не лучше ль вам это узнать
У ученых, – сказала соседка. –
Хоть в деревне увидишь их редко,
Да им все издалека видать.

Ну а мы тут, как жили, – живем,
И как верили, верим душою,
Что земле своей, каждой весною,
С семенами – себя отдаем.

Без нее мы чужие кругом,
И для нас без нее все чужое.
Мы настолько сроднились с землею,
Что давно в ней себя узнаем.

Я кивнул:
– Не земля у вас – рай!
А она:
– Потому и одна я,
Что с грехами в свой рай не пускаю,
А святых – где их нынче сыскать?

И стоял я тогда перед ней,
Как на исповеди пред иконой.
По земным ли, небесным законам
Нисходил в мое сердце покой.

– ...Видно, камни пора собирать, –
То ли ей, то ли думам повинным
Я сказал, перед тем, как покинуть
Этот храм, где и стен не видать.

И услышал:
– А что собирать,
Если носите камни вы в сердце,
Как ту боль, что успели стерпеться,
Как вину – ту, что жаль прогонять.

Среди ночи привиделось мне
Все, чему я душой предавался.
Я как будто к себе возвращался
От себя. И наведал во сне

Край родной, где полынь да осот.
Но и этим до боли живой он,
Но и этим до слез дорогой он
И милей, чем столичный комфорт.

Я не видел его уж давно,
А купился на то я, что близко
Не от сердца, мой Боже, – от Минска! –
Будто сердцу уже все равно.

Показалось, что понял теперь
Я того, кто мне сбыл свою дачу.
Жизнь, как он, свою переиначить –
Как рукою махнуть – захотел.

И махнул: на пустой огород,
И на лес, на реку, что искрится.
У калитки махнул молодице.

И я шел. И со мною мой род.

Кто на этом был свете и том,
Рядом шли неумолчной толпою.
И слились все с людскою рекою
На вокзале. И касса потом

Баритоном спросила: «Куда?»,
Не скрывая усталой истомы.
Я сказал безучастно: «До дому».
И билет получил. И тогда
То сады, то поля за окном
Замелькали. Сосед нелюдимый
Мне попал. Но и он *на радзіму*
Возвращался: как перед судом

Было вспомнить что *издалека*.
Редких фраз наших смысл однородный:
Из-под Ляхович я, он – из Гродно.
Каждый молча подался в свой край.

Каждый вез с собой памяти иск.
За молчаньем – и так ведь бывает –
Не услышали, что прибываем
На конечную станцию – Минск.

Переводы с белорусского
Юрия Матюшко, Фриды Шутман, Любови Шашковой

Александр БОБРОВ *(Россия)*

НЕЗЛЫЕ СЛАВЯНСКИЕ ЗВЁЗДЫ

К выездному пленуму Союза писателей Белоруссии и России в Могилёве

Во время работы над книгой «Брусиловский прорыв» мне довелось побывать в городке Кобрине, овеянном славой Суворова, где формировался 171-й пехотный Кобринский полк, в котором воевал мой отец – поручик, раненый во время легендарного прорыва, потом в Пинске и соседней деревне Колбы, где служил Александр Блок, а вот до Могилёва – каюсь, не доехал. А ведь там с августа 1915 по ноябрь 1917 года в здании нынешнего краеведческого музея находилась Ставка Верховного, которым являлся на горе воюющих сам царь Николай II. Да потом и Алексей Брусилов руководил отсюда армией, и сменивший его Лавр Корнилов, который 1 сентября 1917 года там же именем Временного правительства был арестован. А 20 ноября 1917 года на перроне могилёвского вокзала был без суда убит толпой разъярённых моряков и солдат последний Верховный Главнокомандующий Русской армией – Николай Духонин за то, что выпустил на свободу Корнилова. И давно ещё врезалось в память, что именно под Могилёвым завещал развеять свой прах Константин Симонов над Буйничским полем: «Я не был солда-

---

Александр Александрович Бобров родился 14 февраля 1944 года на станции Кучино Московской области. Детство и юность прошли в Замоскворечье. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Работал в газете «Литературнвя Россия», издательстве «Советский писатель», на телеканале «Московия». Автор многих поэтических сборников, нескольких книг прозы, среди них: «Дань» (1977), «Боярышник» (1979), «За Москвою-рекою» (1984), «Свод. Избранное» (1988), «Возвращаюсь к тебе» (1990), «Бей своих» (1990). Кандидат филологических наук, член-корреспондент Академии поэзии, лауреат премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» и премии имени А. Фатьянова «Соловьи, соловьи...». Живёт в Москве.

том, был всего только корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который мне век не забыть – поле под Могилевом».

Не довелось доехать... Потом, вроде, и дел не было – хотел съездить как путешественник в город на Днепре (в Могилёве на Днестре – бывал), стал читать описание и посмеялся, что список знаменитых уроженцев открывал... Боря Моисеев, уже всеми забытый. Теперь вот, может, выпадет судьба приехать на пленум Союза писателей Союзного государства России и Беларуси. Мы уже провели два съезда, несмотря на то, что строительство Союзного государства идёт трудно: преследуют политические, экономические, юридические бури, нестыковки и разногласия. Но на культурном, духовном-то поле, казалось бы, проще – братья с родственным языком, христиане с общими традициями. А оказалось, что тут-то размежевание порой сильнее, чем у политиканов и рвачей-«хозяйствующих субъектов». Мне выпало учиться много лет в одном семинаре с ясноглазым белорусским хлопцем Владимиром Некляевым, писавшим сперва на русском – «под Евтушенко», он и с официозом тоже заигрывал, был включён в группу молодёжи, которая должна была приветствовать XXVII съезд КПСС. Тогда это было залогом стремительного повышения социального и профессионального статуса. Но поразительно, как не умели наверху разглядеть карьеристов и предателей! Я, например, слыл за свои стихи и песни чуть ли не антисоветчиком, а теперь вот – последний защитник советского наследия из всего потока! А ставший ярым самостийнником Володя Некляев тогда читал свои барабанные стихи:

Плыви, страна – эпохи ледокол.
Греми в цехах, вставай в полях хлебами...

Плохо – «вставай хлебами». Но лицемерие – куда хуже... Поэт-песенник стал лидером белорусской националистической оппозиции, картинно тягался с Лукашенко за пост президента, а потом отсиживался в Польше. Снова вернулся и вот что сказал в интервью «Хартии 97»: «После событий в Украине оппозиция как бы сошлась на том, что наш путь не революция, а эволюция. Хорошо, пусть. Но системы типа нынешнего белорусского режима не способны к эволюции, любые изменения ведут их к разрушению. Значит, надо вынуждать режим к изменениям, используя для этого все возможные способы». Способы эти известны и зримо опробованы на Украине, их черты проступают и в Беларуси, и в самой России, конечно – разрушение славянского мира, общей истории, великой литературы, посягательство на традицию и кириллицу, антисоветизм и расшатывание веры православной. Сегодня даже либералы и бывшие демократы твердят: Кремль упустил Украину! Но ведь дело не в том, что не вмешивались во многие процессы, разворачивающиеся на самой Украине, надеясь на дешёвый газ, но и подрывали Русский и Славянский мир изнутри, потакали таким же антисоветским силам, подавали через политиканов, свою «пятую колонну» и СМИ пример. Разве не так?

* * *

На фоне этих сложных процессов, разжигающих идейную и творческую вражду поползновений, в 2011 году был создан единственный творческий совместный союз – Союз писателей двух стран. Поддержать бы такое всемерно! Но на 2-м съезде сопредседатель этого Объединённого Союза писателей ушедший Валерий Ганичев горько сказал: «Не без ехидства и подначи-

вания мне задавали вопрос, когда заключили соглашение о создании единого Союза писателей Союзного государства России и Белоруссии: а не пустая ли это политическая декларация? С твёрдостью пришлось ответить: если для вас историческая дружба и единение наших народов, наши общие традиции в борьбе за независимость и свободу Отечества, наше общее духовное поле, наша православная уверенность – всё это декларация, то для нас это суть наших взаимоотношений». Часто суть подменяется внешними нестроениями и сотрясается глубинными противоречиями. Они явственно прозвучали, когда я написал в «Российском писателе» заметки о работе скоротечного, но такого важного Второго съезда объединённого Союза, который прошёл усилиями в основном белорусской стороны в культурно-деловом центре Посольства Белоруссии в Москве на Маросейке. В докладе сопредседателя от Беларуси Николая Чергинца было перечислено много совместных дел, встреч, реальных достижений – от праздников поэзии побратимов до издания тридцати номеров журнала «Белая вежа». На октябрьском пленуме в Могилёве этот перечень будет безусловно расширен, тем более, что посвящён он святой для большинства писателей дате – 75-летия Победы. Но, конечно, могло быть сделано и должно быть сделано гораздо больше...

В июле президент России Владимир Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». Там есть прямое указание правительству обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению Года памяти и славы. Как войти в этот план какими-то совместными встречами и программами? У русского да, уверен, и белорусского писателя Год памяти и славы – длится всю сознательную жизнь, от поездки по местам боев до выступлений перед читателями, от книги до очередной статьи. Правда, сама история, и древняя, и недавняя –

используется порой в политиканских целях, работает на разделение славян, на разрыв глубинных связей. Процветает, например, доморощенная теория о том, что Великое Княжество Литовское зародилось не на территории современной Литвы, а в окрестностях Новогрудка. Из нового местоположения колыбельки средневекового княжества следовали два актуальных вывода: в ВКЛ доминировала белорусская шляхта и в ВКЛ доминировала белорусская мова. Самостийники-великолитовцы используют интеллектуальную уловку, с помощью которой выпускник филфака, чьи родители (если не он сам) были извлечены советской властью из глухой вески, мог, наконец, найти что-то общее между собой и вожделенной аристократией Великой Литвы: он ведь говорит на той мове, на которой предположительно говорила шляхта! В Витебске открыли памятник литовскому князю Ольгерду, который много и довольно успешно воевал с Москвой. Там же было заявлено, что планируется установка памятника литовскому князю Миндовгу. Оппозиция без помех отметила 500-летие битвы при Орше, когда польско-литовское войско разгромило московскую армию. На поле битвы разместили барельефы с портретами польско-литовских военачальников. Чуть позже Нацбанк РБ выпустил памятные монеты с изображением участника сражения князя Константина Острожского. Я уж не говорю о том, что институт истории НАН Беларуси решил, что термин «Отечественная война 1812 года» в белорусской историографии использовать не правомочно. Надеюсь, что Великую Отечественную не переименуют просто во Вторую мировую, как на Украине?

Тут не место дискутировать и пространно развенчивать какие-то исторические теории, но ясно, например, что ворогам славянского братства наи-

более действенным представляется оголтелый антисоветизм. Встречается прямо чеканная формулировка: «Сталинские репрессии конца 20-х – начала 50-х годов уничтожали всё лучшее, активное, разумное и творческое на нашей земле». Убийственно звучит: получается, что если у вас нет расстрелянного или сосланного дедушки, то вы... мягко говоря, не из лучших. Какими бы ни были реальные репрессии: политическими – за взгляды, этническими – за национальную составляющую или даже за принадлежность к какой-то прослойке, оценки в категориях «лучше-хуже» неуместны. Но для либерально-элитарного понимания это обычное дело – есть просто люди, быдло и есть «лучшие представители». Это не в традициях великой русской литературы! Надеюсь, и белорусской тоже.

* * *

Мы теперь слабо представляем общую картину литературной Беларуси, мало знаем творчество лучших представителей, переводов появляется всё меньше, да порой и не поймёшь – переводы это или текст на смешанном наречии. Если брать русскоязычные белорусские сайты, которые работают больше на разделение наших народов, то получается странная картина. «Белорусский партизан» – достаточно русофобский сайт составил топ-10 белорусских писателей и поэтов. Он выглядит так: нобелевский лауреат, украинка по матери, русскоязычная Светлана Алексиевич, Ольга Громыко, у которой книги почему-то издаются в Чехии, Наталья Батракова – одна из лидеров современных прозаиков по количеству проданных книг в Беларуси, - Виктор Мартинович – журналист, искусствовед и писатель, Тамара Лисицкая – писательница, телеведущая, сценарист, радиоведущая, диджей с её романом о быте трёх подруг, родившихся в 70-е (роман «Идиотки»), Адам Глобус – эссеист, поэт, издатель и художник. На этом поэте, о чьих стихах писал, прерву список рыночно-топовых писателей. Он с вариациями повторяется и на других сайтах. Например, популярный и политизированный «Тут.бай» даёт тот же список: Алексиевич, Батракова, Глобус, Лисицкая, Мартинович, но добавляет Андрея Хадановича – поэта, переводчика, главы белорусского ПЭН-центра, который якобы «упоминается в СМИ все чаще». Но с чем?

Ты погрузился в сено, словно в Сену,
с цыганскою красавицей Кармен,
но ни к чему разбрасывать здесь семя
и ничего не требовать взамен.
(Перевод Игоря Белова)

Безусловное знамя либеральной белорусской литературы и всего официоза – Светлана Алексиевич. Не знаю, где она живёт сейчас, но крыша у неё явно поехала. Богачка в блеске всех титулов, включая российские премии, дала пространное интервью испанской газете La Vanguardia: «...Недавно я была в Москве и решила сходить в храм на службу. Вижу возле собора большое количество полицейских, бойцов подразделений по пресечению беспорядков, толпа гражданских. Думаю, что-то случилось: покушение или еще что. Но мне отвечают: «Нет, просто мы все идем в церковь помолиться во славу российского ядерного оружия». Представляете? Помолиться за ядерное оружие русских! Полиция вместе с военными и политиками! Это отвратительно!..». Конечно, тем более что для этого надо специальный церковный праздник придумать, новую каноническую службу утвердить, псалом и

икону создать. Но писательница, которая умудряется писать лживые книги под видом невыдуманных рассказов, начинает демонстрировать полёт фантазии: «На следующий день сажусь в такси, водитель меня спрашивает, православная ли я? Отвечаю, что нет. «Тогда извините, вам придется освободить машину, поскольку это православное такси, и мы обслуживаем исключительно христиан-ортодоксов». Вечером отправляюсь в театр – у входа – группа казаков с нагайками, требующих отменить спектакль по Набокову. И это я говорю всего о нескольких днях в Москве».

Каков набор, а! – медведь, водка и балалайка отдыхают... Чувствуя, что популярность, гонорары и гранты от этой врушки утекают, она решила примкнуть к гей-сообществу. Первый белорусский лауреат Нобелевской премии Алексиевич в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza призналась, что любила в жизни как мужчин, так и женщин. В интервью она рассказала, что пишет книгу о любви. Сначала она хотела сделать «50 женских рассказов и 50 мужских». Однако вскоре приняла решение, что ее новое произведение будет посвящено отношениям между дамам...». Ясно, кого там сделали знаменем и почему лопнула Нобелевская премия по литературе?

Мы все горячо поздравили самого известного среди русских литераторов поэта и главного редактора журнала «Немига» Анатолия Аврутина с получением из рук президента Белоруссии Александра Лукашенко высокого ордена Франциска Скорины. Но он пишет на русском:

Этот рокот вселенский.
Мрачны небеса.
На душе пустота... Только снова
Белоснежным крылом ослепляет глаза
Птица русского слова.

Птица русского слова осеняла своим крылом многих поэтов, включая Рыгора Бородулина, о котором я писал в диссертации о лирике 80-х – последнего народного поэта Беларуси, знатока коренной мовы, которого переводили его талантливейшие собратья по поколению. Сегодняшних переводчиков – тоже не знаю, но они дают представление о поздних стихах уроженца Ушач:

Когда в Ушачах ночевал Наполеон,
Душа июля в сонной неге млела,
Дух суеты покоем был пленён.
Ушачка-речка исподволь мелела,
Пылил помолом звёздным
Небосклон...
Попасть бы к императору хоть в сон
Ушачские прелестницы мечтали,
Любовь всегда – и эшафот, и трон,
Какие мысли их обуревали,
Когда в Ушачах ночевал Наполеон?
(Перевод Ивана Бурсова)

Да какие особенные мысли у «деревенских прелестниц»? Скорее, тут немного хуторские мечты самого поэта... С грустью прочитал на сайте Еврорадио, что вдова Рыгора Бородулина, который ушёл пять лет назад, – Валентина, «оказалась в тяжёлой ситуации. У неё задолженность за свет – 917

рублей, из-за чего свет в квартире отключили. Положение осложняет то, что в квартире стоит электроплита и женщина не может даже приготовить себе еду». Активисты собирали деньги на помощь женщине, которая недавно справила своё 80-летие.

* * *

Знаменательно, что II съезд Союза писателей Союзного государства России и Беларуси проходил в год 75-летия начала Великой Отечественной войны, в Москве, откуда 7 ноября 1941 года с Парада на Красной площади уходили полки на защиту тогда единого нашего Отечества, а пленум в Могилёве будет проходить в начале объявленного Года памяти и славы в честь 75-летия Победы. Много крови, горя, подвигов и славных страниц вместили четыре года Великой Отечественной, но и четырёхлетний отрезок между нашими братскими встречами немало вместил и горького, и славного. Не так давно я побывал в ранневесеннем Гомеле – втором по величине городе Белоруссии на Соже. В Гомельском государственном университете, на факультете русской и зарубежной литературы создан кабинет «Патриотика». Именно там попросила меня выступить в утро частного приезда выпускница ГГУ, писательница и подвижница Наталья Сляднева – учредитель и главный редактор журналов о природе «Мир Животных», «Эколог и Я» и литературного журнала «Метаморфозы». Без всякой государственной помощи ведёт она грандиозную работу, в редколлегии журнала – литераторы из Беларуси, России, Украины, на страницах последнего номера – стихи из Макеевки, Горловки, Донецка... Как было отказать? – пришёл в аудиторию, познакомился со студентами, с увлечённым заведующим кафедрой Иваном Афанасьевым, который является знатоком литературы о войне, встречался с советскими классиками Юрием Бондаревым и Василём Быковым, подготовил сборник научных статей «Война в славянской литературе». Каких только материалов нет в кабинете! – от писем фронтовиков до макета мемориала в Воронеже гомельчанину, Герою Советского Союза, освободителю Подмосковья, командующему 5 танковой армией генерал-майору А.И. Лизюкову, погибшему при обороне российского города, который вскоре породнится с Гомелем. Иван Николаевич – деятельный и благодарный внук полководца-Героя. Вот они – живые человеческие и общеславянские связи!

Их должны, по идее, укреплять в Союзном государстве прежде всего СМИ, но я писал о странностях финансовых и эфирных: например, на содержание госучреждения «Телерадиовещательная организация Союзного государства» заложена сумма 41 562 900 рублей, а расходы на телерадиовещание составят аж 312 700 000 рублей. Но куда, в какой эфир вылетают эти деньги? Председателем Телерадиовещательной организации с мая 2006 года являлся Игорь Угольников, теперь интервью даёт новый председатель – Николай Ефимович. Вы что-нибудь видели и слышали про дела и проблемы Союзного государства в эфире? Где вообще можно посмотреть спутниковый канал, который с сентября 2017 года начал выходить в эфир под новым названием – «БелРос»? Учредителем канала по-прежнему остается ТРО Союза (Телерадиовещательная организация Союзного Государства). Там люди пригрелись, получают зарплаты, а что на выходе? Ни в Москве, ни в Гомеле я не смог увидеть этого канала! Может, нужны современные формы: производство ярких, разнообразных программ и новостей для федеральных, общедоступных каналов? Но, тогда, конечно, надо менять стиль работы и бюджетные деньги – труднее пилить... Между тем на издательскую деятель-

ность, на книги, которые можно пощупать и почитать, выделено всего 11 050 000 рублей – в 30 раз меньше, чем на невидимое телерадиовещание. Так что траты по инерции идут – да эффект почти нулевой, информационные мели всё заметнее затрудняют наше движение к единству. Встретишься с людьми, свободно говорящими на двух языках и любящих русскую литературу, пройдёшь мимо памятника просветителю славян Кириллу Туровскому в Гомеле, по ухоженным улицам под мемориальными досками Героев, где вообще не видно полиции, к удивлению москвича, – и легко поверишь в славянское братство, в единое пространство, а вот окунёшься в политиканство, в реальные противоречия, в информационное поле, как в промоину на Соже, – и только вздохнёшь горестно: нет, далеко... И самое тревожное – порой кажется, что всё дальше до величавого устья.

Лучший переводчик Рыгора Бородулина - Игорь Шкляревский, который родился в Могилевской области, писал:

Могилевский старинный вокзал,
сколько раз ты мне душу пронзал,
черным дымом меня обнимал
и баянами вдаль провожал!..
Плачут дети, кричат поезда.
Ветер листья с дубов обрывает.
И зеленая злая звезда
нас опять до весны разлучает.

Сильный эпитет – «злая звезда»... Но уверен, что наш пленум встретят более добрые звёзды на славянском небосклоне.

Вячеслав БОНДАРЕНКО *(Беларусь)*

СВИДЕТЕЛЬ О СВЕТЕ
Главы из повести об отце Иоанне Крестьянкине

Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.
Он пришел для свидетельства,
чтобы свидетельствовать о Свете,
дабы все уверовали чрез него.
Евангелие от Иоанна, I, 6-7

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Орёл, март 1910 года.

В дверь дома стучали. Деликатно, чуть слышно – тук-тук, тук-тук. Можно было даже спутать с капелью, которая припустила несколько дней назад, – весь снег перед крыльцом дома Крестьянкиных уже просел от веселой весенней воды, стал вязким и ноздреватым, а на Воскресенской улице так и вовсе мало что от него оставалось – только серая каша, разъезженная колесами телег и пролеток.

БОНДАРЕНКО Вячеслав *родился в 1974 г. в Риге (Латвия). С 1991 г. живет в Минске. Член президиума правления Союза писателей Беларуси, член Союза писателей России. Автор 32 книг, изданных в Беларуси, России и Литве общим тиражом свыше 150.000 экземпляров, в том числе пяти книг в серии «Жизнь замечательных людей».*

Лауреат Премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский», премии имени Н.М. Карамзина, премии Союза писателей России имени Эдуарда Володина. Награждён Патриаршим знаком «За вклад в развитие русской литературы» (2019).

– Саша, открой, это или тетя Паша, или папа, – выглянув из второй комнаты, попросила Елизавета Илларионовна старшего сына, возившегося с гребешком перед украшавшим горницу небольшим зеркалом.

Но двенадцатилетний Саша скорчил жалобную физиономию:

– Мам, пусть Костька откроет!.. Мне ж крестным быть, а не ему. А у меня вон вихор на макушке торчит, никакого сладу с ним нету. И так гребешком его и этак...

– Ну вот, опять Костька, – недовольно пробубнил от стола десятилетний Костя, дохлебывая постный суп. – Чуть что, сразу же Костька... А я чего, мне нетяжело. Только в следующий раз тоже тебе чего-нибудь придумаю.

Саша, продолжая сосредоточенно возиться с непослушным вихром, на ходу отвесил направившемуся к дверям Косте легкий подзатыльник, тот в долгу не остался. Делалось это без малейшей злобы: все в семье Крестьянкиных любили своих ближних, как самих себя. И родители своих детей, и дети – родителей и друг друга. У Михаила Дмитриевича и Елизаветы Илларионовны было уже шестеро наследников – кроме Саши и Кости, семилетняя Танечка, трехлетний Паша, Сережа, которому было чуть больше года, и родившийся два дня назад Ванечка. Малыши тоже толклись сейчас у обеденного стола – горбатенькая Таня на правах старшей обороняла Сережу от попыток Паши подергать его за волосики. Впрочем, делал он это тоже любя.

В прихожей Костя загремел засовом. В настоянную печную теплоту дома хлынул свежий весенний воздух.

– Здравствуйте, тетя Паша!..

– Здравствуй, Костенька. Дверь закрывай сразу, чтоб тепло не выпускать. – Прасковья Илларионовна Овчинникова поцеловала племянника в щеку.

– Папа в храме еще? – с усилием прикрывая тяжелую деревянную дверь, спросил Костя.

– В храме, с отцом Николаем говорит. А где ж сестра-то?.. Лиза, ты где?..

– Здесь я...

Из соседней комнаты показалась тридцатичетырёхлетняя Елизавета Илларионовна Крестьянкина, младшая сестра Прасковьи. Тоненькая, еще бледная после недавних родов, она бережно прижимала к груди новорожденного. Малыши тут же подскочили к ней, начали заглядывать в лицо младенцу.

– Мама, он на ангела похож, – с восторгом сообщила Танечка.

– У ангелов крылья, – солидно заметил Костя, вновь усаживаясь за стол и беря в руки ложку, – и если б ты ангела увидела, то ослепла бы от сияния.

Прасковья бережно приняла у сестры сладко посапывающего малыша. С затаенной болью взглянула на Лизу. Да, шестерых детей она растит, а родила ведь восьмерых, двух сначала схоронили – четырнадцать лет назад четырехмесячную дочку Серафиму, а меньше чем через год – вторую, месячную Машу... И теперь этот вот мальчик – и рождался-то с трудом, и слабенький очень. Такой слабенький, что боялись даже – и дня не проживет. Как-то сложится его судьба?.. Вот и крестить решили поскорее, на третий день.

– Ну что, Ванечка, – ласково произнесла Прасковья, дуя младенцу на лобик, – пойдем в храм Божий креститься? Мамочке-то еще больше месяца в храм нельзя ходить, а мы с тобой сходим... Вот только папу возьмем с собой, да и сходим, правда?..

– Правда, – отозвался от двери улыбающийся отец, сорокасемилетний Михаил Дмитриевич. – Я как раз из храма, отец Николай ждет, все готово. Ну что, идем, крестные?

– Я готов, – отозвался от зеркала празднично одетый Саша, в последний раз ожесточенно плюя на ладонь и приглаживая вихор.

– Возвращайтесь поскорее, – по-детски, почти жалобно попросила Елизавета Илларионовна. – Ох, как с вами-то хочется, Господи!.. И – нельзя... Может, все же сходить, хоть бы в притворе постоять?..

– А мы недолго, – ласково пробасил Михаил Дмитриевич, целуя жену в лоб. – А ты вон лучше за Сережкой следи-то, а то Паша опять к волосьям его руки тянет...

И точно, сидевший на полу Сережа уже кривил лицо, готовясь зареветь, а Паша явно примерялся к его кудрям. Мать всплеснула руками и бросилась к сыновьям...

...Идти в храм было всего ничего – шагов тридцать. Крестьянкины жили по соседству с церковью Святого Илии Пророка, их дом стоял чуть правее храма.

Длинная Воскресенская улица стремилась с южной окраины Орла к центру. По ней день и ночь, в будни и праздники почти непрерывным потоком текли груженные разными товарами телеги, направлявшиеся к главному рынку города. Пешеходов тоже хватало. В основном – простой народ, населявший южный край города. Мещане, небогатое купечество, осевшие в Орле крестьяне из близлежащих деревень, старообрядцы в ярких нарядных одеждах. Офицерский мундир или дворянское платье тут встретишь редко – им на Воскресенской делать нечего, такие господа гуляют по центральной улице, Болховской. И домики на Воскресенской скромные – не каменные трехили даже четырехэтажные громадины, как в центре, а одноэтажные или в лучшем случае двухэтажные, где деревянный верх стоит на каменном основании. Каждый домик украшен затейливой резьбой, отличающейся от других. Что ставни, что наличники, что ворота – стой да любуйся, настолько красиво сделано! Дом Крестьянкиных – одноэтажный, в два окна на фасаде (остальные окна выходят на двор). Массивные ворота, как у всех, постоянно заперты и открываются, если приезжает кто-то по делу – например, водовоз. Дети играют тут же, во дворе, под присмотром.

Крестьянкины жили тут, на южной орловской окраине, с незапамятных времен. Михаил Дмитриевич гордился тем, что его предки – коренные орловцы уже Бог весть в каком поколении. Отец его Дмитрий Федорович и мать Анна Петровна, оба к тому времени уже покойные, дед Федор Васильевич и бабка Евдокия Ивановна (их он не застал, но знал по рассказам), прадед Василий Иванович и прапрадед Иван Семенович – все они рождались, жили и умирали здесь, в Орле, городе, который они любили больше всего на свете. Да и как не полюбить этот чудесный, ни на что не похожий город, в котором нет такого места, откуда не был бы виден золотой крест над куполом?..

Когда-то Иван Грозный основал Орёл как пограничную крепость, прикрывавшую южные рубежи России. Но со временем город стал не только военной, но и духовной столицей южной Руси. Сорок орловских храмов возносили своими колоколами хвалу Господу. Для старших поколений Крестьянкиных «родной» была церковь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» – там венчались родители Михаила Дмитриевича, там год спустя крестили и его самого. А потом в жизнь семьи вошел храм Святого Илии Пророка на Воскресенской – или, как звали его в народе, Никола на Песках (первый его придел был освящен в честь святителя Николая Чу-

дотворца, оттуда и повелось). Был он построен при Екатерине Великой. Здесь 18 сентября 1895 года Михаил Дмитриевич венчался с Елизаветой Илларионовной.

Был это для Михаила Крестьянкина уже второй брак. Первая его жена, восемнадцатилетняя Евдокия Васильевна, не перенесла тяжелых родов и умерла, через полгода умер и маленький сын Саша... До сих пор Михаил Дмитриевич, вспоминая об этом, крестился, произносил про себя, а то и вслух: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих Евдокии и Александра». Только вера и помогла тогда выстоять – сначала после смерти жены, а затем и сына... Вера и вскоре возникшая в его жизни тоненькая, хрупкая девушка, ставшая ему второй женой – Лиза Кошеверова, тоже из старинного орловского рода.

Жили небогато. Крестьянкины никогда не могли похвастаться большими капиталами, хоть и не бедовали откровенно. Употребляли такое слово – «достаточно». Их уделом было прасольство – торговля скотом. Прасол приезжал в село, покупал у крестьян коров или овец, откармливал их на арендованных пастбищах, потом перегонял их в город, забивал и продавал на мясной ярмарке. Выгодно получалось со всех сторон: крестьянину – деньги на руки и возможность не ехать самому в город (накладно, да и невозможно бывает от хозяйства оторваться); покупателю – свежее мясо; ну а прасолу – барыш от сделки. Одновременно занимались и шибайными делами – продажей кож, шерсти, овчин.

Прасольство – занятие лихое, интересное, требующее не только купеческой сметки, но и выносливости, удальства, физической крепости. То отбивайся от стаи волков, преследующих гурт, то примечай разбойников, которые норовят отбить скот и отобрать деньги. Застанет в степи проливной дождь – ночуй на голой земле, под тулупом, деваться некуда. А если нежданная хворь нападет на гурт, прощайся и со скотом, и с выручкой. Бывало так, что на протяжении сорока вёрст дорога была завалена тушами павших от ящура животных.

Но есть в прасольстве, конечно, и свое очарование, не сравнимое ни с чем. Сутки в седле – посреди бескрайних степей. Ночевки у костра, под небом, усыпанным мириадами звезд. А рассветы!.. Небо у тебя на глазах становится из черного фиолетовым, затем мутно-чернильным, на востоке начинает алеть тоненькая полоска зари. И тут все спящее стадо разом издает глубокий, протяжный вздох – знак близкого пробуждения... Все это невозможно прочесть в книжках, это поймешь, только будучи прасолом. Поймешь и полюбишь свою страну, ее природу, живность, небо, звезды – всем сердцем. Недаром с прасольства начинал один из величайших русских народных поэтов – Алексей Кольцов.

Михаил Дмитриевич застал уже последние годы орловского прасольства. Заниматься скототорговлей становилось все менее выгодно – земли распахивались под хлеб, выкупались под прокладывание железнодорожных линий, и не только в Орловской губернии, но и в Малороссии, куда традиционно ездили за товаром орловские прасолы; все меньше денег можно было выручить за операции с куплей-продажей скота. А уж когда появилась семья, пошли дети, и вовсе стало не до длительных разъездов по селам. Крестьянкин переключился тогда на службу в мясной лавке своего родного дяди, брата матери – Дмитрия Петровича Немытова. Немытовы тоже были прасолами, но куда более успешными, нежели Крестьянкины, – разбогатели еще в начале прошлого века, да так, что поставили в Орле собственные сало-

топельный, мыловаренный и свечной заводы, пенькотрепальную фабрику, не раз избирались в городской магистрат и управу. Впрочем, то, что Крестьянкины породнились с этой богатейшей семьей, никак на их собственном состоянии не сказалось.

Так и жили – трудно и весело, буднично и празднично. И, конечно, православная вера в семье была чем-то самим собой разумеющимся. Вся ее жизнь, весь ее круговорот, от начала – рождения – до конца – успения и начала жизни вечной – был связан с храмом. Да и как иначе, если Ильинский храм стоял по соседству с домом Крестьянкиных?.. А главной книгой в доме было зачитанное старое Священное Писание. По нему дети учились складывать первые слова, по нему начинали понимать, как и зачем устроен этот мир.

...– Ну что, Ванечка, вот и пришли, – ласково проговорила Прасковья Илларионовна, обращаясь к младенцу, которого нес на руках отец. – Видишь, сам отец Николай нас встречает.

Малыш, словно почувствовав, что обращаются к нему, раскрыл глазки, непонимающе взглянул на весеннее небо, по которому неслись рваные облака, на сияющие золотые кресты над куполами храма.

А 52-летний отец протоиерей Николай Азбукин уже выходил навстречу своим прихожанам. Саша Крестьянкин и Прасковья Илларионовна подошли под благословение.

– Ну что же, пойдемте, – с доброй улыбкой обратился батюшка к семейству и тоже посмотрел на младенца. – Ишь ты, какой серьезный, насупился весь!.. И правильно, с одной стороны – Таинство ведь, не что-нибудь... А с другой – радоваться надо, отныне сам Господь Наш Иисус Христос будет с тобой. Вот ты у нас сейчас и улыбнешься... Пойдемте. – И, осенив себя крестным знамением, отец Николай вошел в храм.

Михаил Дмитриевич, Саша и Прасковья Илларионовна последовали за ним. «Ну вот, Ванечка, ты и впервые в храме», – с улыбкой подумал Михаил Дмитриевич, глядя на то, с каким сосредоточенным видом младенец разглядывает росписи на стенах и потолке...

...Таинство совершилось.

Прозвучали и положенные вопросы («Отрекаешься ли ты от сатаны, всех его дел и всех его ангелов, всего его служения и всей его гордыни?»), и «И дунь, и плюнь на него», и Символ Веры, который Саша Крестьянкин прочел за младшего брата звонким от волнения, ломким голосом... И, конечно, слова, которые особо трогали Михаила Дмитриевича в чинопоследовании: когда священник помазывает крещаемого елеем. Когда помазываются перси – «Во укрепление души и тела», уши – «Во слышание веры», руки – «Руце Твои сотвористе мя и создасте мя», ноги – «Во еже ходити ему по стопам заповедей Твоих»... А еще тронуло и поразило то спокойствие, с которым принимал младенец происходящее. Обычно Крещение – это ведь и крик, и плач, и хлопоты восприемников, пытающихся угомонить крещаемого малыша. А Ваня, после того, как батюшка трижды окунул его в купель, оставался таким же спокойным, как прежде. Больше того, Михаилу Дмитриевичу даже показалось, что он улыбается – как и пообещал отец Николай на паперти...

И никто из торжественных, радостных людей, поздравлявших друг друга с рождением во Христе нового человека, не знал в этот последний мартов-

ский день 1910 года о том, что младенец, которого отец Николай только что торжественно внес в алтарь и обошел с ним вокруг престола, станет в будущем одним из величайших подвижников православной веры.

Орёл, ноябрь 1916 года.

...Когда именно вернется отец Николай – никто в храме сказать Елизавете Илларионовне не смог: на требах, мол. Она, конечно, посадила у окошка Танечку с тем, чтобы та по возможности высмотрела приближение батюшки, но что ты увидишь на по-ноябрьски темной, неосвещенной улице?.. И приходилось самой каждые полчаса одеваться и выбегать из дому, благо храм рядом – ну что, не пришел еще?.. Нет, не пришел.

Дома и без того было хлопотно: Паша и Сережа лежали с тяжелой простудой, да и Танечка подкашливала; помогал старший, Саша, но у него сегодня как раз было важное объяснение с его барышней (чай, восемнадцать лет уже!) где-то в центре города, и он отсутствовал. Слава Богу, вернулся домой Костя – из театра, где он потихоньку осваивал мастерство гримёра. И, сразу все поняв, сказал матери:

– Мама, ты иди в храм и не волнуйся ни о чем. А я посижу с ребятами. Чай с малиной они давно пили?

– С час назад. Ты только повнимательнее гляди, Костенька...

Константин ласково обнял мать, поцеловал в полуседой висок:

– Ну конечно, не беспокойся.

Белые пряди на висках совсем еще нестарой Елизаветы Илларионовны появились после смерти мужа. Михаил Дмитриевич сгорел от воспаления легких в июне 1912-го, не дожив и до пятидесяти. С тех пор любая хворь в доме Крестьянкиных воспринималась остро. Тогда ведь тоже все начиналось с простого кашля...

Поговорить с отцом Николаем Елизавета Илларионовна собиралась уже давно. А вот на сегодня даже договорилась. Но, видать, задерживается батюшка на требах. Ну и слава Богу, значит, так нужно. Не выходит так, как хотелось, – хороший повод подумать о смирении, произнести краткую молитву: «Господи, Тебе все ведомо, сотвори же со мной как изволишь».

Говорить мать хотела о младшем сыне, Ване. Вот уже несколько месяцев как он прислуживал в Ильинском храме. И все это время Елизавета Илларионовна нарочно не подходила к отцу Николаю с вопросами, а сам он беседы о сыне с ней не заводил. Значит, присматривался, делал выводы. Но теперь-то уж время пришло. Сама-то о сыне мать выводы сделала, но было важно, что скажет умудренный опытом, уважаемый всем Орлом отец Николай Азбукин. Недаром он не только заведовал одноклассной церковно-приходской школой, которую закончил Ваня, но и Кирионовским домом призрения для больных священнослужителей, входил в совет епархиального женского училища, был законоучителем в 3-м приходском мужском училище...

Торопливо накинув душегрейку, Елизавета Илларионовна снова выметнулась на темную Воскресенскую, пробежала наизусть выученные сажени до соседнего храма. И – на сердце сразу потеплело – тут же приметила осанистую, плотную фигуру отца Николая с саквояжем в руке; он как раз подходил к храму с противоположной стороны, от Задней Песковской. Рядом с кадилом в руках семенил мальчик-пономарь – самый младший из Крестьянкиных, Ванечка.

К священнику, опираясь на трость, заковылял поджидавший его раненый офицер из лазарета – совсем молоденький прапорщик. Отец Николай

благословил его, сказал что-то краткое, но такое, отчего офицер смущенно заулыбался и закивал. А отец протоиерей сразу направился к женщине, смиренно застывшей у церковной ограды.

– Прасковья Илларионовна, прошу простить, помню, что мы с вами договаривались о встрече... Да в двух домах трапеза затянулась, грех было хозяев обижать. Давайте пройдем да поговорим. – Отец Николай обернулся к маленькому пономарю. – А ты, Ванечка, ступай домой, все на сегодня уже.

В полутьме Елизавета Илларионовна успела заметить, что на лице младшего отразилось бесхитростное разочарование, но это выражение тут же исчезло. Ваня склонился под благословение и только после этого повернулся к матери:

– Мамочка, прости, что меня так долго не было. Но ты не волнуйся, я сейчас и с Пашей посижу, и с Сережей...

– Не надо, с ними уже Костя. Иди отдыхай. Я тоже скоро приду. – Мать торопливо обняла сына и поцеловала его в теплый, несмотря на ледяной ноябрьский вечер, лобик.

В трапезной подали чай. После молитвы отец Николай утомленно присел на лавку, пристально взглянул на гостью спокойными добрыми глазами.

– Догадываюсь, о чем вы хотите со мной говорить... Наверняка о Ване?

– Да, отец Николай... – Елизавета Илларионовна перевела дыхание. – Я нарочно все это время к вам не подходила, не спрашивала. Чтобы вы присмотрелись, увидели, поняли... Ну а теперь уже чувствую – можно спросить. Ну как он... служит-то?

Отец Николай улыбнулся, неторопливо поправил наперсный крест.

– Знаете, скажу вам откровенно. Я многих ребят-пономарей на своем веку перевидал, в том числе и двух своих сыновей. И вот из них всех Ванечка – самый... не скажу лучший, скажу другое слово – удивительный. Ведь многие дети-то стихарь надевают зачем? Чтобы перед сверстниками пощеголять да о себе подумать получше, погордиться – дескать, я вот к святыне допущен, не то что вы... А он – нет. Для него служение – великое счастье, честь, радость, причем не земная радость, а небесная. Я ведь наблюдаю за ним внимательно. И вижу – как он сияет, когда приходит в храм, начинает убирать понемножку, свечи возжигает; как запивку готовит, как плат подает... И вот это сияние у него какое-то постоянное. У других – нет. Дети есть дети, они и пошуметь могут, и полениться, и забыть что-то. А он полностью сосредоточен на послушании. И что самое главное, со временем это не проходит. Ни через неделю, ни через месяц, ни через три... Как будто он в первый раз в храм вошел.

Мать со счастливым вздохом повернулась к иконе Спасителя в красном углу и осенила себя крестным знамением.

– Слава Тебе, Господи... Я ведь, отец Николай, еще годика в четыре приметила, как он к Церкви тянется. И не просто тянется, как любой ребенок – к красоте, иконам, пению клиросному... а всей душой стремится. Сдох цыпленок во дворе – так он плакал над ним часа два и потом «христианское погребение» ему устроил, «отпел» как положено... Мышат кормил – милостыню им подавал... Ходили мы в гости, так там на стене висел портрет архиерея – красивый, с орденами... И Ванечка как сел против этого портрета, так и не оторвать было весь вечер – все любовался им. А потом упросил меня сделать ему «кадило» из консервной банки, «епитрахиль» из полотенца – и как давай «служить», да без всяких ошибок!.. Я ему помогаю, а саму сомнения разбирают – грех ведь такая игра...

– А это не игра, это его жизнь, – серьезно заметил отец Николай. – И препятствовать, если все серьезно, не нужно. Если легкомыслие появится, улыбка – тогда пресекать немедленно...

– Да сейчас-то он уже так не играет. А не останавливала потому, что и впрямь видела – не игра это, а что-то большее, вот как вы сказали – жизнь... В молитвах-то своих он воинов поминал, за Отечество на поле брани живот свой положивших...

Отец Николай и Елизавета Илларионовна осенили себя крестным знамением. С осени 1914 года вела Россия Великую войну, и конца-краю ей пока не предвиделось. Уже два года как Орёл был переполнен ранеными, серые шинели стали необходимой и печальной частью городского ландшафта. В городе размещалось тридцать три лазарета...

– А потом, когда увидел в соседнем приходе ровесника-пономаря, уже не отставал: тоже хочу, – продолжала Елизавета Илларионовна. – Стихарик ему сначала одолжили, да через неделю отдавать пришлось, вот уж слез-то было... Слава Богу, гробовщик Николай Соболев помог: сшил стихарик из золотой парчи. И уж как радовался-то он, когда ваше благословение получил, когда хиротесия была! Еще владыка Григорий тогда внимание на это обратил...

– Помню, помню, – улыбнулся отец Николай.

– А когда племянница ко мне в гости приходит, матушка Евгения, – он обязательно ее клобук на себя примерит, – продолжала Крестьянкина. – И даже сказал однажды: я, мол, тоже буду монахом и обязательно в вашем монастыре! Ну, и насмешил всех тогда – Введенский-то монастырь женский...

– Да, и мне он про монашество говорил, – кивнул отец Николай. – Както указали ему в шутку на девочек в храме и говорят – выбирай невесту, поближе – побогаче стоят, подальше – победнее. А он в ответ: мне невеста не нужна, я – монах...

– А еще такое... уж не знаю, как и сказать... Словом, иногда он говорит что-то, как будто знает об этом заранее. И не всегда понятное. Страшно тогда становится, – закончила мать почти шепотом.

Оба помолчали.

– Помнится, Елизавета Илларионовна, вы мне рассказывали, что когда-то, совсем еще маленьким, Ванечка чуть не умер... – после паузы негромко произнес отец Николай.

– Было такое, – дрогнувшим голосом отозвалась мать. – Совсем он слабеньким был, умирал просто... И я над его кроваткой забылась от усталости. А потом гляжу – святая великомученица Варвара надо мной. Указывает на Ванечку и спрашивает – отдашь его мне? Я руки к святой протянула... и проснулась.

– ...А наутро он выздоровел, – продолжил отец протоиерей. – Так вот, святая Варвара действительно Ванечку у вас забрала. И она его теперь по жизни и ведет. Не такой он, как все, – это уж понятно. И вам теперь нужно очень внимательной быть – и к нему, и к себе. Не возгордиться, не успокоиться... И следить за тем, чтобы и Ванечка не почувствовал эту свою особенность, не упал, еще не успев подняться. Битва-то за наши души – она ежеминутно идет. И дома, и здесь, и в алтаре. Так что ответственность на вас огромная. Впрочем, вам о ней рассказывать не приходится, все ваши детки людьми растут... Ну а Ванечка даже среди них выделился. А по поводу того, что он иногда говорит... – Отец Николай снова помолчал. – Известно, что дар рассуждения Господь иногда дарует и малолетним. Но и тут – не будем забегать вперед...

Елизавета Илларионовна подняла на отца протоиерея полные счастливых слез глаза.

– Спаси, Господи, отец Николай. Мне оттого на душе тревожно и было, что понимаю – не такой он, как все...

– Ну конечно, не такой, – улыбнулся отец протоиерей. – Это у него на роду написано, по имени ясно. Иоанн – это ведь «благодать Божия», а Крестьянкин – это ведь от «крестьянки», а кто такая крестьянка? Христианка...

...Маленький домик в два окна на Воскресенской уже отходил ко сну. Отзвучало вечернее правило, тяжело, со всхлипами дышали в полудреме больные дети, гулко кашляла Таня. Ворочался на своей кровати и нервно вздыхал вернувшийся со свидания Саша – наверное, дела с барышней подвигались не очень... Трепетало пламя лампадки перед семейной иконой Крестьянкиных – большим «Знамением Божией Матери». Красные отсветы ложились на большой застекленный фотопортрет государя Николая II на стене.

Мать по очереди склонялась над спящими детьми, благословляя их на ночь. Убрала с полу лежавший рядом с Костиной кроватью смятый номер «Искры», открытый на странице «Герои и жертвы Второй Отечественной войны»: «Опять про войну читал... И когда ж она кончится-то уже?». Склонилась и над Ваней. Его волосики смешно разметались по подушке.

– Я не сплю, мам, – еле слышно пробормотал он, не раскрывая глаз.

– Спи, спи, Ванечка, поздно уже.

– А я всегда так, когда с отцом Николаем по требам похожу... У меня потом еще долго-долго перед глазами все стоит – как служим, как люди радуются...

Елизавета Илларионовна присела на краешек кровати, погладила сына по голове.

– А ты представляй себе, что вокруг темно и тихо, вот и заснешь.

– А скоро вокруг и будет и темно, и тихо, – отозвался Ваня, по-прежнему не раскрывая глаз. – Ни колоколов, ни храмов...

Мать вздрогнула. Голос шестилетнего сына звучал по-взрослому устало, спокойно, как будто он точно знал, о чем говорит.

– Ванечка... да что ж ты такое говоришь-то? Почему это?

Но мальчик уже сладко потянулся в кровати, перевернулся на другой бок, подложил себе под щеку кулачок. «Ну вот опять», – подумалось Елизавете Илларионовне. Она зябко передернула плечами, хотя в комнате было жарко натоплено.

– Мам, расскажи про прадедушку Ивана Михайловича, – сонно пробормотал Ванечка.

– Прапрадедушку, – поправила мать. – Да я же тебе уже сто раз рассказывала...

– Ну, расскажи сто первый. Пожалуйста.

Мать вздохнула.

– Ну ладно... Давным-давно, в царствование государя Александра Освободителя, когда еще ни тебя, ни меня не было, а папа твой был вот такой, как ты сейчас, жил в Орле твой прапрадедушка – Иван Михайлович Немытов. Был он богатым-пребогатым купцом, многие миллионы имел. Но не за то весь город его знал и любил, а за то, что был Иван Михайлович человеком праведным...

Мать сделала паузу, потому что знала – здесь Ваня обязательно спросит,

а что такое праведный человек. Хотя и знал об этом давным-давно. Но таков был их ритуал.

– Мам, а что такое праведный? – пробормотал малыш, засыпая.

– Это значит, что Иван Михайлович вел в миру жизнь благочестивую, – улыбнувшись, ответила мать. – Каждый день бывал в храме. За все удачи и неудачи в делах благодарил Господа. Щедро жертвовал храмам и монастырям, да не так, как иные – чтобы все об этом знали да хвалили его, а так, чтобы никто не догадывался, что это он... Если какой паломник приезжал к нам в Орёл, то знал, что смело можно идти в дом к Ивану Михайловичу и проситься у него на ночлег – пустит, накормит, спать уложит и гостинцев даст. Говорил он мало, избегал праздности, время проводил в молитве, трудах и чтении Священного Писания. Роскоши не терпел и во всем держался обычаев нашей русской старины: и в платье, и в мебели, и в экипаже... А уж народ-то к нему шел чередой – конца-краю не было. Шли за советом, как к старцу...

– А почему прапрадедушка таким стал? – чуть слышно спросил Ваня; он уже ровно посапывал, засыпая, но чуткий слух мальчика продолжал воспринимать рассказ.

– А потому что родился он у благочестивых родителей и читать научился по Священному Писанию... вот как ты. И еще в юности сподобился Иван Михайлович встретить духовных отцов, которые вели его по жизни. Сначала схимонаха Афанасия, потом схимонаха Моисея. А потом уж его водительством занялись великие Оптинские старцы – иеросхимонахи Лев и Макарий. И таких высот достиг Немытов под их руководством, что уже в конце концов отец Макарий даже и не знал, что и сказать ему, когда Иван Михайлович спрашивал у него совета, как лучше молиться. Говорил ему только: держитесь смирения. Сам Амвросий Оптинский об этом рассказывал...

Мать примолкла на минутку, вгляделась в лицо сына. Не понять, заснул или нет.

– А дальше что было?.. – вдруг спросил Ваня, будто и не спал.

– А дальше Иван Михайлович принял монашеский постриг. Был он уже тогда очень старым, 88 лет. Принял малую схиму и через три недели преставился. И весь город его хоронил. А было это в светлые Пасхальные дни 1875 года. Года, когда я только родилась... И у всех на душе была радость, что наш орловский молитвенник молится теперь у Престола Господня...

– Я тоже вырасту и буду монахом, – прошептал Ваня в ответ. – Меня же тоже зовут Иван Михайлович, как прапрадедушку...

Мать улыбнулась. Ваня засыпал, сон влек его далеко-далеко от окраины Орла...

Орёл, июнь 1917 года.

– ...Тп-р-ру... – раздосадованно произнес кучер-монах, придерживая лошадей. – Ну что ж ты будешь с ними делать-то, а?..

Епископ Орловский и Севский Серафим привстал и наклонился к окошку в передней стенке архиерейской кареты:

– Что там такое?

– Да солдаты опять, Ваше Преосвященство, – обреченно отозвался кучер. – И тут, вишь ты, митинг у них. Ну чисто все улицы заполонили, ни пройти ни проехать...

И точно, прямо по пути кареты на мостовой бушевал импровизированный солдатский митинг. Был виден коряво намалеванный на куске красного

кумача плакат «Война до победнаго конца!». Высокий одноглазый ефрейтор, взгромоздившись на невесть откуда взявшуюся бочку, кричал на всю улицу сорванным, полубезумным голосом:

– ...ушла в прошлое проклятая царская армия, где офицеры-кровопийцы гнали нас на бессмысленную бойню! Сейчас война, которую ведет Россия, – это война за идеалы леворюции, народной правды, свободы и демократии! Да здравствуют наши братья в окопах, грудью закрывающие путь германскому империализму! Да здравствует наш любимый народный вождь – товарищ Керенский!..

Серая шинельная толпа взревела от восторга и зааплодировала.

Вздохнув, владыка Серафим уселся на место. Кучер уже несколько раз пытался ехать в обход, но, как заговоренный, все время натыкался на какие-то митинги. «Впрочем, а где сейчас в России не митингуют? – с болью подумал епископ, глядя в окно на заплеванную шелухой семечек булыжную улицу. – Вся страна сошла с ума, от площадей и проспектов до последних задворок...».

В Орёл временно управляющий епархией 36-летний епископ Серафим прибыл лишь несколько дней назад. До этого он на протяжении девяти лет служил в Польше – сначала наместником, а позже настоятелем Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря, ректором Холмской духовной семинарии, – а после того, как Польшу захватили германцы, находился в своей родной Москве. И вот теперь – новый, незнакомый город в центре России, новая епархия... И люди, разгоряченные, взбаламученные случившимися в стране переменами. В феврале в Петрограде произошел переворот, и то, что казалось незыблемым, самим собой разумеющимся, мгновенно перестало существовать. Не было больше царя, место его заняло некое Временное правительство. Его никто не выбирал, и на какое именно «время» оно пришло, было неясно. Но подробности никого и не интересовали. Главное – теперь можно было митинговать на каждом углу под разными лозунгами (от «Долой войну!» до «Да здравствует война!»), кричать об идеалах Свободы и Демократии и яростно обличать тех, кто эти идеалы якобы не поддерживал...

Между тем стоявший на бочке оратор, пережидая аплодисменты, перевел воспаленный взгляд единственного глаза на архиерейскую карету. И сжал кулаки.

– Но не время нам успокаиваться, братва! – тяжелым от ненависти голосом произнес ефрейтор. – Есть еще среди нас те, кто верно служил гнилому царскому режиму, а теперь приспосабливается к новой, свободной России!.. Вон, посмотрите, какой шарабан стоит! А в нем наверняка тот, кто молился за царя и царицу-шпионку! А сейчас небось весь из себя за свободу и демократию!..

– Оборотень! – донеслось до владыки.

– Кровопийцы народные!..

– Батюшку-то не тронь, он здесь причем?! – вклинился чей-то голос. Но его тут же задавили другие, полные ненависти:

– Ты батюшку где здесь увидел?!. Там же буржуй в рясе сидит, морду небось отъел за войну – поперек себя шире!

– Вон, шесть лошадей одного его тащут...

– Митрополит, не ниже... Холуй царский...

...То, что дверца архиерейской кареты распахнется, солдаты явно не ожидали. И даже примолкли, увидев на подножке не «буржуя в рясе», а стройно-

го, высокого человека с умным и строгим лицом, окаймленным небольшими черными усами и бородой. Глаза архиерея из-под стекол очков в круглой оправе, казалось, метали молнии.

– Кто здесь смеет называть меня оборотнем?.. – очень тихо, но так, что все услышали, произнес владыка Серафим. – Меня, который нес православное слово посреди католической Польши?.. Меня, который не покладая рук трудился, спасая раненых в Яблочинской обители? А потом, когда ее заняли германцы, эвакуировал монастырь в Москву и уже там организовывал лазареты и питательные пункты для беженцев?.. Меня, который все свои личные деньги пожертвовал на нужды фронта?..

Солдаты пристыженно молчали.

– Да что вы его слушаете! – махнул рукой одноглазый. – Это ж известные демагоги!..

– А ну заткнись, – негромко, но решительно оборвали оратора. Тот растерянно оглянулся на толпу – из нее, работая локтями, пробирался вперед крепкий, плечистый фельдфебель-артиллерист средних лет с тремя Георгиевскими крестами на гимнастерке и левой рукой на перевязи.

Растолкав солдат, фельдфебель подошел к подножке архиерейской кареты и, склонив голову, сложил ладони ковшиком. Было видно, что попытка согнуть раненую руку причиняет солдату сильную боль, но он сделал это. Пробормотал «Преосвященнейший Владыко, благословите». И, получив благословение, хмуро обернулся к толпе:

– Еще раз кто-нибудь на владыку Серафима голос подымет – будет иметь дело со мной. Правду он тут всю сказал. Меня когда в первый раз в Польше осколком шибануло, я как раз в Яблочинском монастырском лазарете и лежал. Так владыка Серафим сам наравне с санитарами воду таскал, бинты на ранах менял и молитвы вместе с нами читал. А тех, кто отмучивался, так провожал, что душа вместе с покойным прямо в рай летела... Всем все понятно?..

Одноглазый оратор еще пытался что-то говорить, но его уже никто не слушал. Солдатская толпа, ворча, стала понемногу расходиться, оставляя после себя кучу окурков, смятых газетных комьев и неизменную, ставшую уже одним из символов революции шелуху от семечек...

...Когда карета наконец набрала ход, владыка заметил, что следом за ней по мостовой вприпрыжку бежит мальчишка лет семи. Ничем вроде не примечательный, паренек как паренек – низкорослый, светловолосый, бедно одетый (да остались ли в России богато одетые дети?..) Улыбнувшись, епископ обратился через окошко к кучеру-монаху:

– Отец Иов, обернись-ка назад. Видишь того мальчонку?

– Да как не видеть, – с готовностью отозвался кучер. – Он ведь каждый раз за вашей каретой бегает, стоит вам только выехать. Я уж слежу за ним, мало ли, вдруг шальной. Увел где-нибудь револьвер али бомбу какую...

– Ну, будем надеяться, что нет, – улыбнулся владыка. – Останови-ка.

– Ваше Преосвященство, побереглись бы вы, – с тревогой предостерег кучер. – Видели ж сами, сколько бесноватых развелось. И среди детей тоже...

– Сказано тебе, стой.

Карета остановилась. Епископ приоткрыл дверь и в упор взглянул на мальчика, запыхавшегося от быстрого бега. А тот не смутился, не попытался спрятаться или убежать, – напротив, с восторгом глазел и на карету, и на его пассажира.

– Подойди сюда.

Мальчик послушно подошел, заранее складывая руки для благословения.

– Зачем ты всякий раз бегаешь за моей каретой?..

– Простите, Преосвященнейший Владыко, – краснея, пробормотал мальчик. – Просто... просто...

– Ну что – просто?

– Просто мне очень понравилась ваша первая проповедь, которую вы в Петропавловском соборе говорили, – бесхитростно, от души выпалил мальчик. – О том, что теперь священник должен не только проповедовать, но и исповедовать... И сейчас тоже... когда вы с этими солдатами говорили... Прямо как пророк.

Шедшие мимо прохожие с удивлением глазели на странную сцену – остановившуюся посреди проезжей части архиерейскую карету, запряженную шестеркой лошадей, и епископа, беседующего с ребенком. Шагавшие куда-то солдаты громко расхохотались, тыча пальцами, захихикали какие-то девушки мещанского вида... Видимо, происходившее казалось им смешным и нелепым. Громко засигналил остановившийся позади кареты военный грузовик. «Чего встал посреди улицы? Давай езжай!» – грубо крикнул его водитель...

– Знаешь что? Садись-ка сюда, – произнес епископ, открывая дверь кареты пошире, и приказал кучеру: – Трогай.

Мальчик забрался на подножку, прикрыл за собой дверцу. Карета тронулась. В мягком, добром лице маленького пассажира епископ не видел ни малейшего смущения или трепета. Смирение, радость от того, что общается с духовным лицом – да. Но не испуг.

– Как тебя зовут?

– Ваня Крестьянкин.

– А меня епископ Серафим. Ну что же, давай с тобой познакомимся получше. Ты местный? Кто у тебя родители, есть ли братья, сестры?..

– Да, из Орла. Мама есть, сестричка одна, братья... А папа умер. Я еще маленький был и не помню его почти что...

...Через десять минут карета остановилась у епархиального управления Орла. И эти десять минут ее пассажиры – тридцатишестилетний архиерей и семилетний ребенок – провели в доверительном, откровенном разговоре.

«Какой удивительный маленький человек, – думал владыка Серафим, глядя на сидящего напротив Ваню. – Не мальчик, а именно так – маленький человек. Понимающий, для чего и зачем он живет, к чему стремится... Ну, понятно, благочестивая семья, традиция, с детства в храме, но все же здесь есть что-то особенное, не похожее на других детей, которые алтарничают с младенчества... От него и веет каким-то теплом все время». Он улыбнулся, и Ваня ответил владыке такой же теплой, радостной улыбкой.

– Так что же, Ванечка, хочешь прислуживать мне во время Богослужения?

– Очень хочу, – как и минуту назад, тихо, как бы не веря своему счастью проговорил Ваня.

– Аминь, аминь! Значит, так тому и быть. Ну что же, рад был с тобой познакомиться. Маме своей обязательно кланяйся от меня. А из кареты не выходи, я сейчас скажу кучеру, и он отвезет тебя туда, куда тебе нужно. Хорошо?

В архиерейской карете? Сердце Вани окончательно замерло от восторга. И тут же застыло: а ну как увидит отец Николай, вот стыда-то будет. Разве по чину ему в архиерейской карете разъезжать?.. А как же смирение?..

– Полно, полно, – словно услышав его сомнения, улыбнулся владыка. – Ты же мой гость сегодня. А завтра уже послужим вместе, так что готовься.

– Преосвященнейший Владыко, благословите!..

Появление архиерейской кареты у скромного домика Крестьянкиных на Воскресенской действительно вызвало немалый переполох. Все бывшие дома соседи быстро высыпали на улицу, даже нищие от паперти Ильинского храма заторопились к карете за благословением. И каково же было удивление всех, когда из недр кареты показался семилетний Ваня Крестьянкин. Он аккуратно, чтобы не упасть, поставил на подножку одну ногу, затем вторую, и лишь затем спрыгнул в мягкую теплую пыль Воскресенской улицы...

– Ух ты, Ванька-то Крестьянкин дает! – загомонили в толпе. – Не иначе сам архиереем будет. Это уж точно.

– Да и он и сейчас, когда в храме прислуживает, любого архиерея за пояс заткнет, – прогудела нестарая еще баба купеческого обличья.

– Ну так Лизин же сын. У нее же все как на подбор, она ж разве плохо своих воспитает?.. – поддакнула ей другая соседка.

– Я у нее как-то спросила, кого из своих детей она больше любит. Так она так ответила: «Того, кто болен, пока не вылечится, того, кто вышел, пока не вернется, маленького, пока не вырос, и всех, пока не умру»...

К Ване неторопливо подошел его старший приятель – сын соседа-купца Ивана Александровича Москвитина, одиннадцатилетний Саша. Его отец был когда-то поручителем по жениху на свадьбе Крестьянкиных-родителей, и с тех пор отношения между семьями были почти родственными. Правда, в детстве Саша и его старший брат Василий могли жестоко подшутить над Ваней – например, посадить его верхом на неоседланную лошадь или предложить полизать на морозе дверную ручку, рассказав, что она слаще сахарца. Но обиды на них он не держал. А общего было намного больше: и Саша, и Василий тоже служили в храмах пономарями.

– Ты что, с новым владыкой познакомился? – спросил Саша небрежно.

– Да.

– Чудной он какой-то, правда?..

Ваня поднял на друга недоумевающие глаза.

– Почему чудной?..

– Ну... ученый. Как скажет, так и не сразу поймешь... И еще сам фотографические карточки делает. И снимает, и печатает...

– Не знаю, – пожал Ваня плечами, – мне так не показалось, что чудной. Знаешь, он когда сейчас солдат вразумлял, так на древнего пророка был похож.

Москвитин помрачнел.

– Вразумишь их, как же... Батя говорит – скоро все вообще по-другому будет, если ничего не случится. И один наш владыка тут не справится.

Ваня помолчал, глядя на потихоньку расходившихся соседей.

– А давай в храм зайдем, свечки поставим, чтобы ничего не случилось, – тихонько предложил он другу. – И помолимся.

Саша хотел было сказать Ване, что от молитвы двух орловских мальчишек судьба всей России вряд ли переменится. Но взглянул в прозрачные карие глаза друга – и промолчал.

– Пойдем. А о чем вы с владыкой разговаривали?

– Он меня прислуживать в алтаре пригласил.

– Сам?! Тебя?!.. Нич-чего себе! И что ж ты молчишь?

– А что говорить-то?.. Ты же не спрашивал...

Орёл, февраль 1918 года.

От слитного, мерного гула сотен тысяч ног дрожала каменная мостовая. Злая поземка обвевала лица людей, словно двадцатиградусного мороза им было мало. Хоругви в покрасневших от холода натруженных руках были опушены инеем. Жестко, скорбно хрустел и ломался попавшийся под ноги идущим ледок на лужах.

Пение пасхальных стихир – «Воскресение Христово видевше...» и «Христос воскресе из мертвых...» – странно звучало сейчас, в разгаре зимы, на Сретение, задолго до Пасхи. И если бы их пели несколько десятков или даже сотен человек, то в глухом февральском воздухе песнопения бы просто таяли, не достигая ничьего слуха. Но сейчас пели одновременно двадцать тысяч человек. Гигантский крестный ход, двигавшийся от привокзального Иверского храма, казалось, пронизывал собой весь древний город, стелился по улочкам и переулкам, затопил всю полого уходящую вниз Болховскую, где беспомощно остановились трамваи. А в него все вливались и вливались новые людские потоки – крестные ходы, двигавшиеся от окрестных храмов...

По мостовым с хоругвями в руках медленно, несмотря на лютый мороз, шло духовенство, шли орловские дворяне и купцы, мещане и крестьяне окрестных деревень, рабочие и подмастерья городских фабрик и мастерских, офицеры и солдаты из лазаретов. Впрочем, формально все эти люди уже несколько месяцев были как равны – Октябрьский переворот упразднил в России сословия, и отныне не было ни дворян, ни крестьян, ни солдат, ни офицеров. Но всех их объединило и сплотило сегодня одно – они были православными. И вышли на улицы в знак протеста против гонений на Церковь, которые начались в стране после прихода к власти в октябре 1917 года большевиков. Они сразу же начали издавать законы, направленные на притеснение и унижение Православной веры. Декрет «О земле», принятый 26 октября, объявлял все церковные и монастырские земли народным достоянием, декреты «О расторжении брака» 16 декабря и «О гражданском браке...» 18 декабря изымали из ведения Церкви юридические отношения между супругами, родителями и детьми. А 23 января 1918-го был опубликован декрет «О свободе совести, церковных и религиозных обществах», отделявший Церковь от государства. Согласно ему, Церковь больше не была юридическим лицом и лишалась права собственности на что бы то ни было. Это был колоссальный поворот в жизни страны и миллионов людей. Дополнительное возмущение вызывала затеянная большевиками реформа календаря – с юлианского на григорианский, после 31 января должно было сразу наступить 14 февраля...

13 января большевики продемонстрировали, что в претворении в жизнь своих идей они готовы идти до конца. В этот день вооруженный отряд солдат и матросов попробовал захватить Александро-Невскую лавру в Петрограде, наместника лавры епископа Прокопия арестовали. Но народ оказал захватчикам сопротивление. В итоге начавшейся вооруженной свалки был смертельно ранен настоятель церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» протоиерей Петр Скипетров.

С этими горестными событиями совпало и радостное – восстановление в России Патриаршества, избрание 21 ноября Патриарха Московского и всея России Тихона (Беллавина). Казалось, что у сиротевшей веками Церкви появился наконец отец, наставник, духовный водитель. И первые же действия нового Патриарха внушали надежду на то, что Церковь сумеет отстоять свои

права в новом государстве, облик которого только-только начинал складываться. 19 января 1918 года Патриарх Тихон выступил с посланием, в котором призвал всех православных встать на защиту Церкви, а тех, кто участвовал в беззакониях, жестокостях, расправах и грабежах церковного имущества, предавал анафеме. «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, – говорилось в послании. – Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной».

21 января верующие Петрограда и 28 января – верующие Москвы провели массовые крестные ходы в знак протеста против бесчинств новой власти. Узнав об этом, епископ Орловский и Севский Серафим на воскресной литургии 28 января обратился к пастве:

– Призываю вас в день Сретения, в Орле, по примеру Петрограда и Москвы устроить торжественный крестный ход из всех церквей, в котором должны принять участие все от мала до велика, чтобы многотысячная церковная процессия явилась внушительным свидетельством отношения верующего русского народа к нынешней противохристианской политике большевистского правительства!

Идею владыки восприняли с воодушевлением. Тем более что накануне, 1 февраля, в Орле произошел случай, еще больше накаливший страсти. Тогда с колокольни Покровского храма начали снимать четырех больших позолоченных двуглавых орлов. Прихожане встали на защиту храма и избили кощунников. Прибывшие отряды милиции и красной гвардии начали стрелять в воздух. А какого-то мальчика, выбежавшего на улицу с револьвером в руках, насмерть забили нагайкой... После этого в Орле ввели военное положение. Жителям запретили выходить на улицы и тем более собираться группами – в надежде, что испугавшиеся обыватели не выйдут на крестный ход.

...И вот теперь дрожали городские мостовые от мерной поступи тысяч горожан. Несмотря на запреты, военное положение, опасность, лютый мороз, они вышли – вышли, потому что иначе для них было нельзя. Старые и молодые. Женщины и мужчины. Военные и штатские. Священники и миряне. Коренные орловчане и те, кого занесло в город ветрами войны и революций – теперь уже двух, февральской и октябрьской. Пели не только Пасхальные песнопения, но и Сретенские – тропарь «Радуйся, Благодатная Богородице Дево...» и кондак «Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим...». Когда пение смолкало, шли и негромко переговаривались меж собой.

– ...ничего, теперь уж они увидят, что мы – сила, – воодушевленно говорила молоденькая женщина, державшая за руку укутанную по уши девочку лет пяти. – Испугаются. Что ты с нами сделаешь? Кавалерию против нас пустишь?.. Вон в Питере-то, говорят, полмильона на улицы вышли. Ну так и мы не лыком шиты.

– Да большевики совсем скоро падут, – авторитетно заметил интеллигентного вида господин в заиндевевших очках. – У них же ни опыта, ни связей, ничего. Вон все банки им бойкот объявили. Мне из Петербурга друг написал. Почта-то еще, слава Богу, действует.

– Да поскорей бы уж пали-то, Господи.

– А с календарем они что затеяли, – прогудел седобородый мужик купеческого вида. – Совсем уже стыда нет. Это же все ведь хотят сделать, как в Европе.

– Да плевали мы на их календарь, как жили, так и будем жить.

– А вы видели, что «Известия» ихние без «ера» уже месяц как печатают? Эдак и «ять» могут отменить...

– Ну уж на «ять»-то не замахнутся, – покачал головой господин в очках, – она же нужна, чтоб грамотного от неграмотного отличать...

– Поют! Поют!.. «Воскресение Христово видевше, ангели поют на небесех...».

Треть населения города, двадцать тысяч человек сейчас шли по орловским мостовым. И плавное, величественное пение «Воскресение Христово видевше...» казалось в эти минуты почти грозным.

С тротуаров за шествием наблюдали те, кто в нем не участвовал. Кто-то стоял молча, другие переговаривались вполголоса.

– Тысяч двадцать, не меньше... Треть жителей города вышла.

– Это да, но ведь две трети-то – не вышли. И с этими двумя третями нужно работать...

– Бабы в основном... И то, не молодые бабы – старухи...

– Ну, не скажи. И молодухи есть, и мужики. Вон рабочих сколько. А детей-то, детей...

Так переговаривались между собой представители новой власти. Их сразу можно было отличить по замкнутым высокомерным лицам, хорошей одежде и плотному кольцу охраны, окружавшей их. Но были на тротуарах и те, кто не имел к большевикам никакого отношения, но тоже не пошел крестным ходом. В основном это были молодые ребята и девушки.

– А чего ходить-то, морозить тут зазря... – зубоскалил высокий парень в студенческой шинели явно с чужого плеча. – Все одно власть-то уже новая. Што она, декреты, што ль, поотменяет, Орла испугается?

– Так ведь не только Орёл сегодня идет, Тула тоже...

– А ну как у Петропавловского пулеметы поставят? – испуганно проговорила какая-то мещаночка, высовывая сизый от мороза нос из платка. – Слыхали, вчера мальчонку засекли?.. Так и тут. Военное ж положение, выходить запретили. А эти вышли. Ну так поставят пулеметы да ка-ак полоснут... У меня мать пошла, дура старая. Уж я ей говорю – и чего тебе твой Бог сдался, предрассудки все это...

– А у меня сеструха пошла. Мы с ей поругались даже на этот предмет. Я ей говорю – в детстве еще надоели с акафистами своими. Стоишь столбом часами, не понимаешь ни черта, а время-то идет...

– Это за што ж пулеметами-то? Это как при царе, што ли?

– Да причем тут царь. Теперь же свобода, а эти вон – против свободы идут, с попами своими...

– Точно, – вмешался в разговор какой-то пьяненький мужичок крестьянского обличья. – Все они против воли-то!.. Вон у нас в Коростовке дней десять назад громили винный склад. Ну и охрана застрелила одного нашего. Мы его с почестями похоронить решили – чай, за свободу погиб! Так батька наш сначала «Марсельезу» на похоронах запретил петь, а потом в церковной ограде хоронить! Ну, мы штыки ему к пузу приставили, декрет напомнили – земля наша, где хотим, там и хороним... Ну, тут долгогривый струхнул-то... Как следовает похоронили, с колоколами, со стрельбой, под «Марсельезу» с «Варшавянкой»...

Красногвардейцев и милиционеров на улицах Орла действительно было немало. Но все же далеко не двадцать тысяч. Увидев количество людей, участвующих в крестном ходе, власти города не решились ему препятствовать. И мерзнущие в оцеплении милицейские и красногвардейцы провожали про-

ходящих мимо людей злобными взглядами. Коченей тут из-за них!.. А кое-кто из оцепления и крестился украдкой, когда мимо проносили особо почитаемую икону.

Словно две России столкнулись тогда на орловских улицах – старая и новая. И нельзя было еще сказать про старую – уходящая, как и про новую – приходящая. У нового было еще слишком мало сил. У старого – непоколебимая вера в правду Божию. И при виде гигантского крестного хода невольно закрадывалась в души тех, кто не шел в его рядах, неуверенность в том, что они творили и творят...

...Колебалось от морозного воздуха пламя свечей в фонарях, несомых перед хоругвями. Крест Господен, иконы святителей, иконы Христа Спасителя и Матери Божией... Народная река продолжала течь по орловским улицам.

В огромной колонне, растянувшейся через весь город, шел и епископ Орловский и Севский Серафим. Шел неторопливо, прямой, высокий, строго поблескивая стеклами заиндевевших очков. Иней сверкал на усах и бороде владыки. Всего полгода прошло с тех пор, как он прибыл в город, впервые увидел Орёл. И вот теперь верующие шли за ним без всяких колебаний. Они твердо знали: владыка – настоящий исповедник наших дней, который всегда будет со своей паствой, и если понадобится, первый примет за нее смерть от рук гонителей...

Рядом с владыкой, иногда с обожанием поглядывая на него, шел посошник епископа, семилетний Ваня Крестьянкин. И тогда ему казалось, что вся Россия, весь православный мир ступает сейчас с ним в ногу по старым камням орловских мостовых... Где-то там, в середине колонны, шли его мама, братья, сестричка. И никакой мороз, никакие пулеметы, стоявшие на тротуарах, никакой злой блеск штыков на винтовках караульных не страшил и не смущал душу.

В огромном, старом, заложенном еще во время коронации Павла I Петропавловском соборе владыка Серафим служил Божественную литургию. А после верующие заполнили весь плац Орловского кадетского корпуса. И тогда владыка вышел вперед. Помолчал, окидывая взглядом всю эту огромную массу людей, ждущих от него единственно верного, нужного сейчас слова... Вместе со всеми затаил дыхание и Ваня Крестьянкин.

– Я не стану говорить сейчас долго, – неторопливо и вроде бы негромко, но так, что весь многотысячный плац услышал каждое слово, произнес владыка. – Повторю слова, которые были произнесены совсем недавно в Москве Святейшим Патриархом Московским и всея России Тихоном... Они были сказаны о так называемом Декрете о свободе совести, а на самом деле – явно беззаконном и злом антихристианском акте об отобрании церквей и церковного достояния...

По толпе верующих пробежал шум. Ни один мускул не дрогнул на лице укутанного в шубу чекиста, стоявшего на краю плаца с тетрадкой в руках. Чернильный карандаш в его руках быстро бегал по странице.

– Православные христиане!.. – Владыка Серафим возвысил голос, соизмеряя его с огромной толпой. – От века неслыханное творится у нас на Руси Святой. Люди, ставшие у власти и назвавшие себя народными комиссарами, сами чуждые христианской, а некоторые из них и всякой веры, издали декрет (закон), названный ими о свободе совести, а на самом деле устанавливающий полное насилие над совестью верующих.

Даже татары больше уважали нашу святую веру, чем наши теперешние законодатели. Доселе Русь называлась Святою, а теперь хотят сделать ее поганою. И слыхано ли, чтобы делами церковными управляли люди безбожные, не русские и не православные?..

Объединяйтесь же, православные, около своих храмов и пастырей, объединяйтесь все, мужчины и женщины, и старые и малые, составляйте союзы для защиты заветных святынь. Не попустите совершиться этому страшному кощунству и святотатству.

Если бы это совершилось, то ведь Русь Святая Православная обратилась бы в землю антихристову, в пустыню духовную, в которой смерть лучше жизни. Лучше кровь свою пролить и удостоиться венца меченического, чем допустить веру православную врагам на поругание...

Владыка сделал паузу. Ване, следившему за каждым движением владыки, показалось, что в глазах его блеснули слезы. А может, это были капельки оттаявшей на стеклах очков воды.

– Мужайся же, Русь Святая! Иди на свою Голгофу! С тобою Крест Святой, оружие непобедимое... А глава Церкви Христос Спаситель вещает каждому из нас: «Буди верен до смерти, и дам ти венец живота».

Раздался слитный, слаженный шум – это десятки тысяч рук одновременно сотворили крестное знамение. Даже стоявшие в оцеплении красногвардейцы и милиционеры, словно сговорившись, перекрестились. Не крестились лишь советские начальники. На их красных от мороза лицах застыли растерянность и злоба.

Вечером за чайным столом у Крестьянкиных больше молчали, чем говорили. Фитиль у керосиновой лампы был почти прикручен – керосин уже пять рублей за фунт, да и то поди найди. И чай – одно название: четыре пятьдесят за полфунта, самого низкого сорта...

– Мам, а ты сильно замерзла, пока шла? – прихлебывая чай, спросила Таня.

– Да нет, доченька, я как-то внимания на мороз-то и не обращала, – отозвалась Елизавета Илларионовна.

– А мне холодно было, да и страшно, – призналась Таня. – Особенно когда вокруг про пулеметы стали говорить, которые на плацу стоят, нас дожидаются...

– Да не стали бы они стрелять, – с досадой в голосе произнес Константин. – Что они, дураки по толпе стрелять из пулеметов, как в царское время?..

И снова замолчали. Мать поглядывала на Ваню – за столом он был единственный, кто не произнес вообще ни одного слова.

– Ванечка, что ты молчишь? Не заболел ты?.. – Елизавета Илларионовна пощупала ладонью лоб сына.

– Нет, мам... Я все про владыку думаю. Как он... смело все сказал.

– А сбоку там стоял человек с тетрадкой и все за ним записал, я видела, – вставила Таня.

– И я видел, – кивнул Ваня. – А владыка будто не замечал всего этого... Будто сам Господь ему говорил, а он только передавал нам. Когда он в конце сказал «Буди верен до смерти, и дам ти венец живота», у меня даже мурашки по коже побежали...

Константин ласково взъерошил волосы на голове младшего брата. Ели-

завета Илларионовна со вздохом принялась убирать чайную посуду со стола, дети начали помогать ей.

– Это потому, что не в силе Бог, а в правде – всегда и во веки веков...

Спас-Чекряк, июль 1920 года.

...Странное дело – шли в паломничество, а пришли, так будто на ярмарку попали!.. Или на постоялый двор. Народу у отца Георгия толпилось – тьма-тьмущая, и не пробиться. Крестьянские телеги стояли рядами, видно было, что люди ночуют под ними уже не первый день. Бегали, гоняясь друг за другом, малые ребятишки, но большинство людей все же старалось вести себя степенно – чай, к самому отцу Егору Чекряковскому приехали. Мужики и бабы переговаривались между собой негромко, и только изредка этот слитный гул прорезал чей-то дикий, страшный выкрик, похожий на звериный рев. Ваня, Саша и Василий Москвитины, – в паломничество отправились втроем, дорога от Орла неблизкая, семьдесят верст, – невольно поежившись, переглянулись.

– Бесноватый, – проговорил Василий. – Ух, и жуткое же это дело...

Бесноватых Ваня уже видел в родном для него Ильинском храме. Отчиток – особых молебнов об изгнании бесов – там не проводили, но иногда родственники все же пытались затащить в храм недугующих. Что тогда творилось с ними!.. Ругань, крики, конвульсии посреди церкви... А отец Николай Азбукин говорил, что отчиткой может заниматься далеко не всякий священник, дело это очень опасное и для того, кто изгоняет беса, и для самого больного.

Вот такой бедолага, видать, и бился сейчас на телеге. Подойдя поближе, парни увидели, что бесноватого – худенького рыжего мужичка с закатившимися глазами – с трудом удерживают восемь здоровенных мужчин: четверо висели у него на ногах, четверо – на руках. А он все выкручивал тощую шею из стороны в сторону, сплевывал в стороны синюю страшную пену, шедшую изо рта, и визгливым бабьим голосом орал непонятное:

– Ох, Маланья-Маланья... Не посодишь, не уродишь! Не посодишь, не уродишь!..

Горбатенькая, похожая на морщинистую девочку жена бесноватого стояла тут же, прижав ко рту иссохший кулачок правой руки; левой она безостановочно гладила по вихрам всхлипывающего замурзанного мальчишку лет шести. Столпившийся в кружок люд сочувственно вздыхал и перешептывался:

– Откуль эти-то?

– Ливенские, кажись.

– Ох, Господи, страх какой. А пена-то, пена.

– Так ён на войне германцем газами травленый. Ну ничего, счас отец Егор выйдет...

Орловские ребята молча переглянулись. К отцу Георгию собирались сходить давно, да так тут сходишь?.. В прошлом году Орёл оказался сначала в прифронтовой полосе, а потом и вовсе война пошла по городским улицам. Неделю, с 13 по 19 октября 1919-го, были в городе белые, и эту неделю казалось, что прежняя, нормальная жизнь – с портретом государя на стене, степенными благолепными церковными службами и многим другим – вернулась в город надолго... Но потом белые ушли, вернулись большевики, и все пришло к тому же, что и было: красные флаги на стенах, портреты Ленина и Троцкого везде, где только можно, и другие непонятные, а то и глупые, не-

лепые новшества. И то, с чем уже прочно увязывалась Гражданская война, пусть и в тылу: отсутствие продуктов и дров, новые деньги, мгновенно превращавшиеся просто в бумагу, болезни (особенно страшила «испанка», о которой болтали, что человек захлебывается собственной кровью)... И – гонения на Церковь. Громились и разорялись монастыри Орловщины, вскрывались и осквернялись мощи древних святых, разогнали под угрозой расстрела епархиальное собрание, а епископа Орловского и Севского Серафима арестовывали уже дважды. Правда, пока ненадолго, но все же.

Поэтому ни в какие дальние походы, пусть даже и с благой целью, Елизавета Илларионовна своего младшего, конечно, просто не пустила бы: мало ли какие лихие люди попадутся между Орлом и Болховом, а если еще узнают, что ребята идут к священнику!.. Но вот – все же пустила. Может, потому, что старшим вызвался быть 25-летний Василий Москвитин. Да и уж больно просились они к самому известному на Орловщине старцу. Да что там на Орловщине – слава об отце Георгии шла по всей России уже давно, даже сам Иоанн Кронштадтский говорил паломникам из Орла: «А зачем вы ко мне ехали, если у вас благодатный отец Георгий живет?..».

Ваня, конечно, был наслышан о необыкновенной истории этого вроде бы обыкновенного сельского батюшки. Отец Георгий Коссов получил крошечный приход в деревне Спас-Чекряк недалеко от Болхова давно, в 1884 году. Приехал туда – а там покосившийся от ветхости деревянный храм да 14 дворов. Да еще захворал тяжело – кашлял кровью, и матушка заболела. Он и решил просить перевода на другой приход. Но сначала пошел за благословением к Амвросию Оптинскому – Оптина пустынь в шестидесяти верстах от Спаса. Пришел с котомкой и встал в толпе других паломников, далеко от келии старца. Тот не знал отца Георгия и никогда о нем не слышал. Но, выйдя на крыльцо келии, вдруг заговорил с ним через головы других:

– Ты, иерей, что такое надумал? Приход бросать, а? Ты знаешь, кто иереев-то ставит, а ты – бросать?.. Храм у него, вишь, старый, заваливаться начал... А ты строй новый, да большой каменный, да теплый, да полы чтоб в нем были деревянные: больных привозить будут, так им чтоб тепло было. Ступай, иерей, домой, ступай, да дурь из головы-то выкинь.

Пораженный отец Георгий тогда послушался, но скоро начались для него новые испытания – днем и ночью он слышал голос, который твердил: уходи, ты один, и тебе не справиться. Молодой священник снова отправился в Оптину и услышал от старца:

– Ну, чего испугался, иерей? Он один, а вас двое.

– Как же это так, батюшка?

– Христос Бог да ты – вот и выходит двое. А враг-то – он один. Так что ступай и ничего вперед не бойся. Да храм-то, храм-то большой каменный, да чтоб теплый, не забудь строить! Бог тебя благословит...

Так и вышло: и храм в Спас-Чекряке в 1903 году появился каменный, теплый, и полы в нем были деревянные, и больных к отцу Георгию начали привозить со всей страны – слава о его прозорливости и духовной мощи вышла далеко за пределы Орловской губернии. А сам Спас-Чекряк превратился в настоящий цветущий сад, где были странноприимный дом, училище для девочек-сирот, школы, кирпичный завод, библиотека, пасеки, две мастерские...

...Батюшка появился тихонько, никто даже и не заметил как. Раздвинул кружок людей, столпившихся вокруг бьющегося на телеге бесноватого. Пря-

мо направился к нему и, пристально глядя на больного, спросил у мужиков, висевших на его руках-ногах:

– А что это вы на Екиме повисли-то? Нешто он сам себя сдержать не может?

Мужики непонимающе воззрились на священника. А отец Георгий, осенив больного широким крестом, уже сильным добрым голосом велел им:

– Встаньте да подите. А ты, Еким, расскажи, какая беда у тебя. Вон и Алена твоя послушает, и Петька.

Мужики с опаской выполнили веление. И все вдруг с изумлением увидели, как рыжий бесноватый, часто-часто моргая, с недоумением рассматривает себя, словно впервые увидел, жену Алену, задушенно вскрикнувшую без слов и прижавшую к себе сына. А потом без сил сползает с телеги наземь, к ногам священника, и начинает, рыдая, целовать его сапоги и край рясы...

Ваня был так поражен этим зрелищем, что даже не понял, что отец Георгий, стоя в толпе паломников, выбирает из нее тех, кто поживет у него самого дома. Конечно, об этом счастье мечтали все. И он не поверил вначале, когда батюшка поманил его к себе пальцем: иди-ка, мол, сюда.

– Ну вот, давай, для примера, ты. Откуда будешь-то?

– Из Орла, – робея, проговорил Ваня.

– Ну вот и хорошо. И вот ты еще, матушка. – Отец Георгий под руку вывел из толпы совсем дряхлую, согбенную монахиню. – А вы все ступайте пока, Бог благословит. Ну что, Ванечка, как тебе тут у меня, нравится?..

Дыхание Вани перехватило: отец-то Георгий его не знал, откуда же «Ванечка»?.. А батюшка смотрел своими ласковыми и одновременно строгими глазами глубоко-глубоко, как будто проницал всю его душу. И верилось и не верилось в это счастье: неужели ему предстоит провести в доме батюшки целую неделю?..

Братья Москвитины, ошарашенно хлопая глазами, смотрели на то, как Ваня и согбенная монахиня-старица удаляются вместе с батюшкой. Нет, они, конечно, знали и понимали, что Ваня – не такой, как все другие орловские ребята, даже те, которые с детства связали свою судьбу с храмом и разбирались в тонкостях церковной службы лучше иных взрослых. Но чтобы вот так сразу именно на нем остановил свой выбор старец отец Георгий?.. Еще в Орле им говорили: батюшка сам выбирает, кому остановиться у него дома. И выбор этот говорит очень о многом.

...Длинных бесед с маленьким паломником отец Георгий не вел – ему было некогда, сотни людей, жаждавших получить у него благословение, совет или исцеление, сменялись другими сотнями. Поэтому Ваня просто молча смотрел на то, как батюшка говорит с другими людьми, как служит... И лишь несколько раз отец Георгий в самый неожиданный момент сам подходил к мальчику и заводил разговоры о том, о сем – вроде бы и не имеющем отношения к делам духовным. А в разговорах этих проскальзывало то главное, что навсегда оставалось в уме и сердце:

– Вот они идут, идут ко мне, чередой прямо – как же не помочь?.. Всех ведь жалко. Чувствуешь, что можешь помочь – помогай. Не чувствуешь – все равно попробуй.

– Я маме всегда помогаю...

– Вот и хорошо, вот и слава Богу. А кроме мамы еще сколько людей-то вокруг?.. Вот ты всем и будешь помогать, и долго-долго. Душу-то каждого враг счастлив будет заполучить. К каждому ключик подбирает: кому гордыню, кому блудные помыслы, кому сребролюбие. А мы эти ключики как ло-

мать будем? Да очень просто: смирением. Только скажешь: Господи, тебе все ведомо, сотвори же со мной, как изволишь, – и уже этим повержен враг.

«Это же мамина молитва», – успел только подумать Ваня, а отец Георгий продолжал:

– Вишь ты, какая правильная у твоей мамы молитва, и сама она праведница, и тебя, вишь ты, какого вырастила, а уж прапрадедушка у тебя был великий праведник, и даже имя-отчество у вас одинаковые... – Отец Георгий на минуту остановился. Ваня слушал его затаив дыхание. – Только вот беспокоится мама, что жизнь у тебя будет трудная, тем боле теперь. Ну, и трудная. А что ж, у всех трудная. Вон ко мне два года назад чекисты приехали – ну так и ничего, и цел остался по Божьей милости, и вернулся, и вишь ты, снова с людьми. Ну и ты так будешь, на все Его святая воля. Что плохое получаем – смиряемся и благодарим Господа, что хорошее – радуемся и снова благодарим. Слава Богу за все! Знаешь, как старец Амвросий в Оптиной сказал мне?

– Как?

– Надо жить – не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение.

Ваня улыбнулся. Фраза, похожая на поговорку, понравилась ему. «И всем мое почтение», – повторил он про себя. Отец Георгий усмехнулся в бороду.

– Да ладно уж, спрашивай, чего хочешь, вижу же, что собираешься...

– Батюшка, – решился наконец Ваня, – а как вы... как вы... – Он запнулся. – Ну вот стоит перед вами незнакомый человек. А вы... И с бесноватым этим тоже сегодня... Его же восемь мужиков едва держали. А вы...

– А я что? – с улыбкой перебил отец Георгий. – А я совсем ничего. Все – Господь Бог. Он и через недостойных иереев по вере помогает...

На обратном пути братья Москвитины наперебой пытались расспрашивать Ваню, но он отзывался скупо и односложно. В Болхове помолились в высоченном Георгиевском храме, настоятелем которого был сын о.Георгия, о.Николай; он же и подсказал ребятам, что сейчас в Орёл отправляется обоз, который может взять их с собой.

Дорога переваливалась с холма на холм, вот уже и колокольни громадных болховских соборов остались позади. Мужик-возница, подхлестывая коня, вяло обсуждал что-то с Василием; Ваня прислушался – что-то про польский фронт, про Врангеля... Все это шло мимо, не задевая сознания. Он пытался осмыслить то, что говорил ему прозорливец отец Георгий... «Вот ты всем и будешь помогать, и долго-долго» – это что значит?.. Удивительный он все же человек. Вроде простой сельский батюшка, а столько в нем силы, и добра, и любви ко всем. А как его любят люди!.. В чекряковском храме Ваня в какой-то момент почувствовал, что волны этой любви наполняют его всего, текут по жилам – горячие, легкие. Подходя к Причастию, он заплакал... «Источника безсмертнаго вкусите», – пели вокруг, и ему казалось, что поют только для него одного...

Десять лет ему. Первый год, когда день рождения совпал со Светлым Христовым Воскресением. В прошлое ушла та страна, в которой он родился на свет, в которой был младенцем. Что-то будет впереди? И кем быть ему, мальчику, которого качает, баюкает сейчас крестьянская телега между Болховом и Орлом?.. И неужели то, что увидел отец Георгий, и то, что иногда видит он сам – так же, как видятся промельки синего неба в прорехах свинцовых туч, – все это сбудется, все это правда, более того – Истина?..

– ...э-э, да ты совсем спишь, – прогудел где-то в вышине чей-то добрый голос. Губастое лицо, ржаные волосы: Василий Москвитин. – Приехали, Орёл уже.

И точно, под колесами телеги гремел орловский булыжник. Телеги ехали как раз в нужную ребятам сторону – к рынку, находившемуся в начале Воскресенской улицы. В ответ на попытку паломников расплатиться возница только отмахнулся:

– Да вы ж от отца Николая, что ж я, не понимаю, что ли.

Размякшая от летней жары Воскресенская была людной только здесь, у рынка, чем дальше к окраине, тем меньше людей попадалось навстречу. У дома Крестьянкиных несколько мужиков, парней и девчат столпились в кружок, явно рассматривая кого-то. Издалека завидев столб пыли, поднимавшийся оттуда, Саша Москвитин усмехнулся:

– Афанасий Андреич метет. Ну и народ тут же, а как еще.

Афанасием Андреевичем звали орловского юродивого. Появился Афанасий Сайко в городе совсем недавно, жил на колокольне Богоявленского храма; болтали, что вышел из лагеря, где какое-то время сидел. Высокий, с окладистой черной бородой, он в любую погоду ходил в какой-то чудной домотканой свитке и грубых штанах, на ногах носил калоши поверх носков, а на шее – вафельное полотенце, будильник и нательный крест.

А еще он предсказывал будущее – не явно, а иносказательно, чудно. Чаще всего совал человеку в руку мелкие предметы – щепочку, спичку, стекляшку, камешек, вырезку из газеты. В каждом таком даре был глубокий смысл, иногда открывавшийся человеку сразу, а иногда – годы спустя. Говорил тоже коротко и чаще всего неясно. Но люди ходили за ним по пятам в надежде выспросить что-то главное, узнать о том, как им строить свою жизнь.

Сейчас Афанасий Андреевич мел улицу, словно обычный дворник. Такое бывало с ним нередко. Шуровал метлой по панели, так что пыль столбом стояла, а окружавшие его люди чихали не переставая. И сурово приговаривал себе под нос одно и то же:

– Кайся, кайся, окаянный грешник...

– Гляди, у него какой-то футляр за плечами болтается, – приглядевшись, удивленно сказал Саша Москвитин.

– Так он же на войне музыкантом был, – пояснил Василий.

Ребята подошли поближе. А юродивый, к их изумлению, вдруг прекратил мести и направился прямо к ним, точнее – к Ване.

– А, вот ты где, – добродушно прогудел Афанасий Андреевич, как будто ждал именно его, и скинул с плеч непонятный черный футляр. – Держи, это тебе.

Ваня, ничего не понимая, коснулся пальцами темной кожи.

– А... что это?

– Варшавская консерватория, гусарский полк, драгунское сукно, – загадочно ответил юродивый и подмигнул.

Мальчик осторожно открыл футляр. На красном бархате лежала маленькая скрипка.

– Приучайся решать задачи, ищи сродственность между предметами, – серьезно произнес Афанасий Андреевич, глядя Ване в лицо, и... подхватив метлу под мышку, бодро зашагал прочь от дома Крестьянкиных. Озадаченные свидетели сцены бегом бросились за ним.

Ребята недоуменно рассматривали странный подарок.

– На кой она тебе? – пожал плечами Саша. – Играть ты не умеешь. Разве что на хлеб сменять, так и то – кому она нужна?..

– Не-ет, тут другой смысл, – покачал головой Василий. – Афанасий Андреевич просто так ничего никому не дарит. Значит, она Ване зачем-то пригодится, как-то поможет ему в жизни. А вот как – это уж Господь управит...

Орёл, ноябрь 1922 года.

Дождь затеялся с утра; нудный, холодный, он мелкими нитками касался лица, насквозь пропитал и картуз, и перешитую из френча старшего брата курточку, усеял всю Черкасскую улицу унылыми лужами, отражавшими такое же унылое серое небо. Лица людей, толпившихся у паперти храма Успения Божией Матери, были вроде бы под стать погоде – измученные, серые от плохого и редкого питания, постаревшие раньше времени. Но в глазах промелькивали и надежда, и радость. Люди ждали прибытия епископа Елецкого Николая. Над Черкасской, над всей южной окраиной Орла лился торжественный благовест, предвещавший скорую встречу архиерея...

...В 1922 году на Русскую Православную Церковь обрушились одни из самых тяжелых ударов, который она переживала за свою историю. Под предлогом помощи голодающему Поволжью власти начали массовую кампанию по изъятию из храмов «церковных ценностей». В связи с этим Ленин писал Молотову 19 марта 1922-го: «Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше». В Орловской епархии эта кампания началась в конце апреля, и до июля из храмов города большевики изъяли 169 пудов серебра, 2 фунта золота, 18 фунтов меди, 25 фунтов жемчужного шитья, 147 алмазов. А на какие цели шли эти ценности, с циничной откровенностью написал один из главных теоретиков большевизма Николай Бухарин: «Мы ободрали церковь как липку, и на ее «святые ценности» ведем свою мировую пропаганду, не дав из них ни шиша голодающим».

Верующие как могли сопротивлялись кощунственным реквизициям. Возглавил это сопротивление мужественный Орловский владыка епископ Серафим. В итоге он был арестован, и 18 июня 1922 года в клубе железнодорожников «Броневик» начался показательный суд над владыкой. Он продолжался три дня. Клуб не мог вместить всех желающих, люди стояли в проходах, сидели на корточках вдоль стен. Курили, щелкали семечки, с любопытством таращились на обвиняемого... А тот с непроницаемым лицом выслушивал и истерические речи прокурора, и откровенную клевету подкупленных свидетелей. Ване, который тоже просиживал на этом судилище два дня подряд, временами казалось, что он присутствует на каком-то процессе древних времен, когда язычники издевались над первыми христианами... И сам владыка – бледный, спокойный, с глубокими, будто исплаканными темными глазами – временами казался ему похожим на Христа, в особенности когда он коротко, одной-двумя фразами отвечал обвиняющим его «Пилатам». Ваня кусал кулачки, чтобы не закричать в голос, и не замечал, как слезы катятся по его лицу, капают на залатанную рубашку...

В итоге епископ Серафим был приговорен к семи годам тюремного заключения. Епископу Елецкому Николаю (Никольскому), которого судили вместе с ним, дали три года тюрьмы. В тот вечер, 20 июня, Ваня долго и

безутешно рыдал дома. Его не могли успокоить ни мать, ни сестра, ни братья. Где же справедливость на свете?.. Почему на целых семь лет владыка будет оторван от своей паствы?.. На эти вопросы у него не было ответа. Не помогала и молитва...

Процесс над владыкой Серафимом был «эхом» второго главного удара, который был нанесен по Церкви в 1922 году. Убедившись, что «сломать» ее простым напором не удастся, большевики разработали хитрый план, заключавшийся в том, что Церковь взорвут изнутри сами священнослужители. Для этого был запущен целый проект «Живая церковь», или «Обновленчество». Внешне – как будто прежняя церковь, те же священники, те же молитвы. А на деле – государственный институт, для которого во главе угла был не Господь Бог и не Его заповеди, а Советская власть. Обновленцы выступали за сильное упрощение богослужений, упразднение монастырей, переход на григорианский календарь, разрешение браков архиереям и вторых браков священству, а главное – за упразднение Патриаршества как «монархического и контрреволюционного способа управления Церковью». Пользуясь полной поддержкой власти, обновленцы в течение второй половины 1922 года смогли захватить две трети из 30 тысяч российских храмов. Патриарх Тихон был заключен под домашний арест и валу этого бесчинства противостоять не мог...

Верующие Орловщины болезненно переживали раскол. Обновленческую Орловскую «епархию» возглавил престарелый архиепископ Леонид (Скобеев). Почти все православное духовенство города и губернии перешло в обновленчество. Растерянным, сбитым с толку людям казалось, что так Церковь удастся сохранить от полного уничтожения. А тех, кто остался верен Патриарху, начали называть «тихоновцами».

Ваня Крестьянкин искренне пытался разобраться и в том, что происходило в Церкви, и в своих собственных чувствах. Ядовитая путаница, творившаяся вокруг, волей-неволей подтачивала уверенность в силах, отнимала душевный покой. Как жить, если даже родной Ильинский храм, храм, где венчались его родители, где крестили его самого, где впервые надел он пономарский стихарь, стал обновленческим, перешел в раскол?.. Мама успокаивала, утешала, пыталась найти нужные слова:

– Сыночек, так Богу угодно. Он плохо не сделает. Видно, так надо. По грехам нашим и получаем...

Но душевная смута не отступала. Он не спал ночами. Клевал носом на уроках в школе. Да и там было не легче, в особенности, когда учительница начинала высмеивать «поповские бредни» или рассказывать, сколько церковного золота спрятал у себя дома епископ Серафим...

В одном только Ваня был уверен – пусть даже все вокруг перейдут в ересь обновленчества, сам он не отступится. Пусть те, у кого нет совести, идут в «советскую» церковь. А для него все решено. Вырезанная из какой-то газеты фотография Патриарха Тихона лежала тумбочке рядом с его кроватью. И когда становилось особенно тяжело, мальчик вглядывался в его простое, усталое лицо, словно озаренное идущим изнутри светом. Ну, тебе тяжело, а Патриарху в сто, в тысячу раз тяжелее. Он арестован, в любой момент под любым предлогом его могут подвергнуть пытке, убить, расстрелять... Какой мукой страдает он, зная, что по всей России торжествуют свой праздник раскольники, что захватываются храмы, что с амвонов вещают «священники»-самозванцы, которые, «чтобы быть ближе к народу», могут закурить в алтаре или ввернуть в проповедь матерное словцо!.. «Не сдавайся, как не

сдаюсь я», – словно просили глаза Патриарха. И тогда тьма отступала. Нет, Церковь никому не победить, и врата ада не одолеют ее...

И вот сегодня он в толпе других «тихоновцев» стоял у Успенского храма на Черкасской – соседней улице. В отличие от Ильинского храма, Успенский хранил верность арестованному Патриарху и не признал обновленческого «архиепископа» Леонида. И лица прихожан, несмотря на серую дождливую погоду, все же светились радостью. Из уст в уста передавали новость о чуде: осужденного на три года владыку Николая сегодня неожиданно освободили!..

– Может, и Серафима выпустят?

– Ой, дай-то Бог. Так и до Патриарха дойдет...

– Ну, Патриарха-то вряд ли отпустят. Как он выйдет, так обновленцам сразу и конец будет...

Взволнованно переговаривались и священники-«тихоновцы», готовившиеся к встрече архиерея. Это были настоящие исповедники – выпускник историко-филологического факультета столичного университета, пламенный проповедник отец Всеволод Ковригин, маститый отец протоиерей Аркадий Оболенский, уже прошедший через один арест... Тут же, у церковной ограды, стоял, переминаясь с ноги на ногу, и юродивый Афанасий Андреевич Сайко.

– Идет! Идет!.. – восторженно воскликнул худой усатый старик в штатском, но с хорошей офицерской выправкой.

Владыка действительно шел пешком, без сопровождающих. С колокольни грянул торжественный трезвон. Прихожане, не выдержав, бросились навстречу архиерею:

– Преосвященнейший Владыко, благословите!

– Владыченька, как вы себя чувствуете?..

– Ох, слава Тебе, Господи, выпустили!..

Епископ раздавал десятки благословений, люди целовали его мокрую от дождя руку. Отдельно он поздоровался с Афанасием Сайко – обнял его и расцеловал. На глазах владыки блестели слезы, он торопливо снял очки и протер их рукавом. Было видно, как он взволнован и растроган встречей.

– Давайте пройдем в храм, – как-то совсем просто попросил владыка прихожан. – А то вы на улице, верно, уже давно стояли, вон как промокли все...

Всех желающих Успенский храм вместить не смог, люди остались толпиться на паперти. Но Ваню первой волной встречающих словно вынесло к самой солее. И когда епископ, уже по обозрении храма, вышел к народу для святительского назидания, он оказался буквально в паре шагов от него.

– Дорогие братья и сестры, – глубоким взволнованным голосом проговорил владыка Николай. – Я благодарю вас за ту сердечную встречу, которую вы устроили сегодня. В темнице я и владыка Серафим чувствовали эту любовь, и вот сегодня я вижу ее сияние в ваших глазах... Позвольте мне передать всем вам поклон от владыки Серафима. Он просит вас не предаваться унынию, а все нисходящее принимать с благодарением, твердо уповая на милость Господа Бога нашего Иисуса Христа. Тем же, кто хлопочет об освобождении его, владыка велел напомнить слова Священного Писания: «Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека – от Господа». Ибо не навек оставляет Господь. Но послал горе, и помилует по великой благости Своей...

Владыка и все присутствующие осенили себя крестным знамением.

– Велики испытания, которые выпали в этом году нашей Церкви, – продолжил епископ. – Ересь обновленчества заполонила Русь, осквернены ею старинные храмы, многие из священства, к прискорбию нашему, поддались искушению или по неразумению и вражьему попущению перешли к живоцерковникам. Касается это и нас. Сегодня только Болхов, Елец да некоторые орловские приходы сохранили верность Святейшему Патриарху Московскому и всея России, прочие уклонились в раскол... – Владыка обвел собравшихся суровым взглядом, возвысил голос. – И поэтому я беру на себя ответственность создать и возглавить самоуправляющуюся автокефальную Елецкую церковь, которая объединит всех верных Патриарху, все «тихоновские» приходы Ельца, Болхова и Орла. Мы отмежевываемся от обновленцев и не имеем с ними ничего общего. Конечно же, мера эта вынужденная и прискорбная. Так будет продолжаться до Поместного Собора, который будет рано или поздно созван и восстановит власть Патриарха во всей его полноте.

В храме стояла тишина. Потом из толпы прихожан послышался чей-то одинокий голос:

– Аксиос!

– Аксиос, аксиос!.. – поддержали его десятки, а затем сотни голосов.

Суровое лицо епископа потеплело. Он благословил паству. Певчие запели «Ис полла эти, дэспота», и пение подхватил весь переполненный храм...

Под благословение подходили, несмотря на многолюдство, без толчеи, благоговейно. Ваню оттеснили, и он, продвигаясь в очереди, думал о том, что только что услышал с амвона. «Владыка прямо сейчас, на наших глазах, пошел на подвиг исповедничества... А ведь его только что выпустили из тюрьмы. Что будет с ним дальше? Снова арест? Ссылка, тюрьма? Мученичество?.. Об этом он не думает, его жизнь – Церковь, его душа болит о ней... И вот он... отрекся от себя, от своей судьбы. Отринул все чуждое, что вокруг... Так может... может, и мне так же?..». Эта мысль просияла какой-то ослепительной вспышкой.

Знакомые женщины-соседки, стоявшие в очереди, тихонько переговаривались меж собой:

– ...а монастыри-то он как же убережет-то?.. Обновленцев-то эвон сколько. А монастыри у них что бельмо на глазу.

– Ой, не знаю, не знаю... Беда, беда...

– А если позакрывают – монахов-то куда?..

Монашество!.. Да вот же выход!.. Ваня вспомнил материнский рассказ о том, как насмешил он всех малышом, заявив, что непременно будет монахом в женской Введенской обители... А что, если это было неосознанное стремление к тому, ради чего он и родился на свет?.. А теперь – сама жизнь, ее обстоятельства подводят его к этому, главному...

Но постригут ли его? Ведь ему – всего двенадцать... Ну что ж, он будет ждать – столько, сколько нужно. А если действительно монастыри к тому времени закроют?.. Ваня даже головой помотал. Нет, нет, не может такого быть. *И врата ада не одолеют ее.* Даже если придется уйти в катакомбы, как первым христианам...

Между тем подошла его очередь. Владыка встретил его теплым, неуставшим взглядом.

– Тебе, Ванечка, владыка Серафим велел кланяться отдельно. Мы видели, как ты в зале суда сидел все три дня, видели, как плакал... Но не унывай, на все воля Божия. На что тебя благословить?

– Я хочу быть монахом!

Неожиданно для себя самого он почти выкрикнул эти слова.

Окружающие примолкли. Большинство из них хорошо знало Ваню Крестьянкина, с детских лет прислуживавшего в храме. И сейчас старые и молодые смотрели – то на потупившего взгляд мальчика в старом, лоснящемся от заношенности мокром френче, то на владыку, который, держа ладонь на его голове, смотрел куда-то вдаль. Наконец епископ дрогнувшим, мягким голосом произнес:

– Окончишь школу, поработаешь, потом примешь сан и послужишь. А в свое время непременно будешь монахом.

...Так оно и произошло годы спустя.

...Епископа Елецкого Николая арестовали вторично уже через месяц, в ноябре 1922-го. В вину ему вменили «поддержание устоев тихоновской церковной политики, которая своими деяниями поддерживает русскую, а также заграничную контрреволюцию». Его приговорили к ссылке в город Задонск. В ноябре 1925-го владыка был арестован в третий раз, уже в Москве, и помещен в Бутырскую тюрьму, а в следующем году выслан в Тверскую губернию. В 1927-м освобожден и через год скончался в Москве в возрасте сорока девяти лет...

Орёл, апрель 1924 года.

Пирожки матери удались, как всегда. С грибами, с капустой, с яблоками – словно до революции, в те времена, которые теперь вспоминались с ностальгией. Конечно, и тогда было много всего, что не нравилось, но – сравнится ли с нынешним?.. Во всяком случае, карточки на продукты в Орле ввели только в 1916-м, в последний год старой власти, а не отменили до сих пор.

В праздничной готовке, как всегда, Елизавете Илларионовне помогали все дети. Пришли поздравить брата с именинами и старшие, Саша и Костя, уже жившие своими домами. И сам именинник, Ваня, несмотря на попытки отговорить его, старательно резал лук, стараясь не ронять шелуху на пол и изредка смахивая с ресниц слезы.

Но сейчас все это было позади. Пирожки уже источали пленительный аромат, и горбатенькая Таня, звеня тарелками, расставляла приборы.

– М-м-м!.. – мечтательно втянул воздух носом Саша. – Красота-то какая! Давайте уже скорее за стол, а то есть охота – сил нет!..

Маленькая горница сияла чистотой, на столе – простые, но такие вкусные постные блюда: вареная картошка, от которой поднимается аппетитный пар, квашеная капуста, малосольные огурцы, домашний квас... И пирожки, конечно. Их на горячем железном листе подавала сама хозяйка.

После молитвы расселись за столом. И только Ваня на правах именинника потянулся за первым пирожком, как в окно кто-то постучал с улицы.

– Кто это еще там? – удивилась Елизавета Илларионовна. – Вроде никого не забыли.

К окну подошел Саша. И, заглянув в стекло, обернулся в изумлении:

– Там... владыка!

– Какой владыка?..

– Наш владыка! Серафим!..

Елизавета Илларионовна изменилась в лице.

– Как же это, Господи?.. Он же... он же в тюрьме!..

...Встреча была бурной.

Елизавета Илларионовна откровенно плакала от радости. А младшие Крестьянкины не могли скрыть восторга при виде епископа, которого неожиданно до срока освободили из заключения...

– Вас сегодня выпустили, Владыко? – уточнил Костя после того как радость встречи немного улеглась и гостя усадили на почетное место за столом.

– Сегодня, сегодня, – смеялся владыка. – Как нарочно подгадали к празднику. Как выпустили, так я сразу же в храм, а потом к вам. Извините, что с пустыми руками, без подарка.

– Лучший подарок – это то, что вы на свободе, – утирая счастливые слезы уголком платка, сказала Елизавета Илларионовна.

Ваня, еще не веря своим глазам, молча глядел на епископа. Как же он изменился за эти годы!.. Сколько седых нитей сверкает в бороде и усах. И глаза за стеклами очков будто поблекли, потускнели. И когда смеется – видно, что спереди не хватает зубов...

– А у нас-то что творилось эти годы, – чуть дрожащим голосом рассказывала Елизавета Илларионовна. – Почти все в обновленчество перешли. Когда владыка Николай вышел из тюрьмы, то попытался объединить тихоновские приходы. Так его посадили через месяц, с тех пор мы его и не видели... Отца Всеволода Ковригина посадили, отцов Аркадия Оболенского, Иоанна Дубакина, Павла Святицкого, Всеволода Сахарова... Год назад монастыри позакрывали. В Введенском городок железнодорожных рабочих устроили, иконы и кресты повыбрасывали... А уж когда услышали, что обновленцы свой «собор» в Москве провели, где «извергли из сана» Патриарха и упразднили патриаршество... – Руки матери задрожали. – Да что ж это такое-то, Господи?.. Как с этим смириться?..

– Наслышан, наслышан, – кивнул владыка. – Но... было ведь и хорошее, правда?

– Конечно! – воодушевленно ответил Саша. – В феврале прошлого года обновленческий епископ Леонид уехал – и больше не появлялся. А в мае, когда обновленцы начали в Никольском службу, так люди просто кричать стали: «Долой, идите служить у коммунистов!». Те растерялись, милицию вызвали, а что ты сделаешь?.. Так и не дали им служить.

Епископ с улыбкой взглянул на молчавшего Ваню.

– Ну а ты, Ванечка, что ж не рассказываешь, какие у тебя были радости?..

Именинник поднял глаза от тарелки, улыбнулся.

– Для меня самой большой радостью было, когда Патриарх вышел на свободу из-под ареста. А потом... когда я увидел его.

...Ваня до сих пор помнил в подробностях тот летний день 1923 года, когда знакомый, церковный староста одного из тихоновских храмов Петр Семенович Антошин предложил ему вместе поехать в Москву. Казалось бы, сколько езды от Орла до Москвы, но в столице к тому времени Ваня не бывал еще ни разу – только видел ее на цветных почтовых карточках, которые собирал. И какой же непередаваемой, ликующей мощью сразу вошел в сердце этот ни с чем не сравнимый город!.. Сразу же с поезда, с Курско-Нижегородского вокзала, – к Иверской. Потом в Новодевичий монастырь... Храм Христа Спасителя видели издали и заходить в него не стали – он был обновленческим, именно там совсем недавно, в апреле, обновленцы провели свой шабаш, который пышно назвали «Вторым Поместным Собором». О «популярности» храма среди москвичей того времени говорил простой факт – на

Рождественской службе там присутствовали всего триста человек, тогда как в «тихоновских» храмах собиралось от пяти до десяти тысяч.

А потом, уже много всего повидав, всласть натолкавшись в московских трамваях (тут они были не чета орловским – двойные и даже тройные сцепки!), они приехали в Донской монастырь – резиденцию недавно вышедшего из-под ареста Патриарха Тихона. Жил он в небольшом двухэтажном домике рядом с надвратным храмом Тихвинской иконы Божией Матери. Как оказалось, попасть к Патриарху можно было относительно просто. Многочисленные паломники ждали своей очереди, и их пропускали в келию Святейшего. Правда, орловчанам тут же объяснили, что прождать так можно несколько дней. Но им повезло – келейник Яков Анисимович Полозов, узнав о цели прихода, пригласил их к Патриарху через полтора часа.

– У вас пять минут, не более, – строго добавил Полозов.

Просторная комната, куда провели паломников, напоминала старинные хоромы. В левом углу высился массивный кипарисовый киот с образом Божией Матери и большой серебряной лампадой, подвешенной на цепочках к потолку. К киоту вела зеленая ковровая дорожка, на которой стоял аналой с раскрытым Евангелием. В правом углу размещался книжный шкаф. На стене висела зеленая мантия, там же, в углу, стоял жезл, а на маленьком столике лежал белый Патриарший куколь.

Патриарх встретил гостей стоя. Воочию Святейший показался Ване еще более утомленным и грустным, чем на газетной фотографии. После благословений Петр Семенович начал путанно и взволнованно излагать положение «тихоновских» общин на Орловщине. Так и прошли те драгоценные пять минут, из которых Ваня надеялся хотя бы минутку улучить для себя. Чтобы спросить у Патриарха самое-самое... что именно, он и сам бы не смог ответить себе, наверное. А так – просто стоял и смотрел, впитывая каждое движение, каждый вздох...

В келию заглянул Полозов. Настало время прощания.

– Приходите завтра на службу, – как-то очень просто, по-домашнему произнес Патриарх, благословляя паломников, и улыбнулся.

Назавтра был канун Успения Пресвятой Богородицы. Орловчанам удалось пробиться сквозь плотную толпу богомольцев внутрь Успенского собора Донского. И каким же восторгом сжалось и даже замерло на мгновение сердце, когда совсем недалеко от себя Ваня снова увидел Патриарха. Но теперь, в отличие от вчерашней встречи, на нем было праздничное облачение, а глаза, глядевшие на паству, сияли грозным, величественным светом. Это был Патриарх, по-прежнему возглавлявший свою Церковь, несмотря ни на какие гонения.

Во время службы произошло необычное событие – на амвон вышел митрополит Владимирский и Шуйский Сергий (Страгородский) и принес публичное покаяние. Ваня знал, что год назад Сергий, как и некоторые другие иерархи, ушел в обновленчество. Но сейчас он каялся и просил принять его обратно. Ваня отчетливо видел слезы, катившиеся по щекам 56-летнего владыки, и в эту минуту ему было мучительно жаль его. Весь собор затаил дыхание, когда Патриарх ласково потрепал Сергия за бороду и, с укоризненной шутливостью сказав «И ты, старый, от меня откололся?», тут же по-братски облобызался с митрополитом и возложил на него архиерейский крест и панагию. Раскаяние, смирение и прощение наяву прошли перед Ваней Крестьянкиным в этот день в переполненном Успенском соборе...

Подтвердил его мысли и Петр Семенович, задумчиво произнеся:

– Помнишь, как в Книге пророка Даниила сказано? «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении»...

А когда он, отстояв положенную очередь, подошел под благословение Патриарха, то ему показалось, что теплая ладонь Святейшего задержалась на его голове на какую-то секунду дольше положенного. И уже в поезде, уносившем его назад в Орёл, он стремился не расплескать, сохранить царившую внутри тихую радость...

– ...Аминь, аминь, – задумчиво отозвался владыка Серафим, выслушав рассказ. – Теперь, после освобождения Патриарха, есть надежда, что кратковременный обморок обновленчества закончится. И те, кто отпал от Церкви, принесут покаяние по примеру владыки Сергия. Ну а нам – нам остается не терять бодрости духа и подвизаться во славу Божию. А если будет трудно – вспоминать, через какие муки проходили древние святые. Нам в сравнении с ними сейчас более чем легко.

...На Воскресенскую уже спустились мягкие апрельские сумерки, когда владыка уходил от Крестьянкиных. Как он ни сопротивлялся, Елизавета Илларионовна вручила ему «на дорожку» полную сумку вкусной постной снеди. На вопрос, где он остановится, владыка ответил просто и не без юмора:

– Пойду на Черкасскую, к архимандриту Пантелеимону – авось не выгонит. Так что будем соседями. Заходите, всегда буду рад.

Ваня пошел провожать владыку. Окраинная улица была пуста и тиха. Лишь лениво перегавкивались поодаль собаки, да еще красноармеец покупал семечки у торговки на углу.

Шли медленно и молчали. И в этом молчании между епископом и подростком происходило что-то очень важное.

– Благодарю тебя, – наконец негромко проговорил владыка. – Я ведь чувствовал там, как ты молишься за меня... ежедневно. Мне это очень помогало.

– Как... там? – так же тихо спросил Ваня, словно взрослый.

Епископ вздохнул.

– Там молитва чище и Господь ближе. Это главное... Ну, расскажи же о себе. Ты, я еще за столом заметил, щуришься сильно. Зрение ухудшается?

– Да, врач сказал, скоро нужно будет очки надевать.

– Ну, наденешь, ничего в этом страшного нет, я вот всю жизнь в очках хожу. Как ты учишься? Ходишь в школу?

Ваня пожал плечами.

– Да, в восьмую, с финансовым уклоном... Я как во сне туда хожу. Вроде что-то делаю, а мысли совсем не о том... Да и школа-то с перебоями работает.

– Куда думаешь дальше идти?

«Окончишь школу, поработаешь, получишь сан, послужишь, а в свое время непременно будешь монахом», – всплыли в голове слова епископа Николая.

– Буду поступать на бухгалтерские курсы. Маме ведь помогать надо... Бухгалтеры всегда нужны. А дальше как Господь управит.

Дошли до домика, где жил духовник упраздненного год назад Введенского женского монастыря, архимандрит Пантелеимон (Филиппов). Ваня склонился под благословение.

– А подарок за мной, – вдруг снова улыбнулся владыка. – И будет он таким, что останется с тобой на долгие годы. Я обещаю. Ну, ступай.

...Этим подарком стала фотография в скромной деревянной рамке. Она изображала епископа Серафима и епископа Николая – двух орловских исповедников. На обороте владыка Серафим сделал надпись: «От двух друзей юному другу Ване с молитвой, да исполнит Господь желание сердца Твоего и да даст Тебе истинное счастье в жизни».

Эту фотографию отец Иоанн Крестьянкин бережно хранил всю свою жизнь.

Орёл, февраль 1930 года

– Осторожнее, осторожнее! Левее давай... Так, теперь правее. Цепляй его!

– Пальцы на морозе стынут...

– Ничего, скоро закончим... Тяни!

Огромный колокол, издавая пронзительный, рвущий душу скрежет, нехотя заскользил вниз по наклонной крыше. Обвязанный со всех сторон толстыми канатами, он, казалось, сопротивлялся своим губителям, словно живой.

– Поше-ел, пошел... – Плотный коренастый парнишке в полушубке и ушанке весело глянул вниз с крыши и повелительно крикнул: – А ну разойдись! А то зашибет, так придется панихиду господу богу заказывать. – И рассмеялся.

Толпившиеся внизу прихожане Ильинского храма молча расступились. Растерянно отошли обновленческие священники. Отошел на несколько шагов и Ваня Крестьянкин, стоявший рядом с матерью и Сашей Москвитиным.

На самом краю крыши колокол словно запнулся. Помедлил какую-то секунду и, переворачиваясь, полетел вниз.

От звонкого удара содрогнулась вся улица. Взметнулась вверх снежная пыль, брызнули в разные стороны металлические осколки. К месту падения, галдя, бросились мальчишки. Их отталкивали милиционеры в черных шинелях.

Люди, стоявшие вокруг, тихо плакали. Все слова были сказаны раньше, все, что можно было крикнуть, – выкрикнуто. Ответ на все был один: в соответствии с указанием НКВД РСФСР от 6.01.1929 так называемый трезвон, или звон во все колокола, запрещен, оставлен только звон в малые колокола установленного веса и в установленное время по просьбе религиозных организаций. Большие же колокола с храмов города будут сняты по требованию трудящихся и реализованы порядком, установленным для госфондимущества... Вот и «снимали».

Ваня молча смотрел на валявшиеся посреди улицы обломки. Прощай, колокол!.. Пусть сбросили тебя с обновленческого храма, но все-таки Ильинский – свой, родной... Именно ты, колокол, звонил в день венчания родителей, ты звонил в те дни, когда Крестьянкины крестили детей и провожали своих ушедших в последний путь... В тебя я звонил, когда на Пасху разрешалось взбираться на колокольню, и если приложить ладонь к гудящей бронзе, она ласково, мягко отбрасывала руку... И вот теперь лежишь на булыжнике мертвой, обезъязычевшей железной грудой, и рабочие, пыхтя от натуги, поднимают твои осколки в кузов грузовика.

– Пойдем, мама, – позвал он Елизавету Илларионовну, – нечего тут смотреть.

– Ох, сыночек, – всхлипывала мать. – Что же это творится такое? Когда ж этому будет конец?..

– Проводи мать и выходи, – шепнул Саша, – мне тебе кое-что показать нужно.

Через минуту Ваня показался во дворе. Вышли на улицу. Оба задержались взглядом на новенькой табличке, недавно появившейся на заборе: «Улица Безбожников». И оба опустили глаза. Как жить на такой?.. Родная Воскресенская, Орёл, Россия – за что же вас убивают? И не враги, не пришельцы – свои же...

Ушли так, чтобы не видеть бьющую по глазам табличку. В ближайшей чайной взяли по чашке бледного чаю и сели на скамью у окна, подальше от галдящих компаний.

– Смотри, что в газете напечатано. – Саша без предисловий сунул в руки друга смятый номер «Известий» от 16 февраля.

Это было большое интервью митрополита Новгородского Сергия (Страгородского). Ваня сразу же выхватил из середины строчки:

«Действительно ли существует в СССР гонение на религию и в каких формах оно проявляется?» И ответ на этот вопрос: «Гонения на религию в СССР никогда не было и нет... Последнее постановление ВЦИК и СНК РСФСР о религиозных объединениях от 8 апреля 1929 г. совершенно исключает даже малейшую видимость какого-либо гонения на религию». «Верно ли, что безбожники закрывают церкви, и как к этому относятся верующие?». Ответ: «Да, действительно, некоторые церкви закрываются. Но производится это закрытие не по инициативе власти, а по желанию населения... Безбожники в СССР организованы в частное общество и поэтому их требования в области закрытия церквей правительственные органы отнюдь не считают для себя обязательными».

– Как же так? – недоуменно произнес Иван, глядя на друга. – Ведь... это неправда! Как же нет гонений? И по какому такому желанию населения закрыли у нас в Орле двадцать пять храмов?..

– Читай, читай, – кивнул Саша. – Там еще интереснее впереди.

Иван скользнул глазами по газетным строчкам. «Допускается ли в СССР свобода религиозной пропаганды?». Ответ: «Священнослужителям не запрещается отправление религиозных служб и произнесение проповедей (только, к сожалению, мы сами подчас не особенно усердствуем в этом)».

– Что за чепуха? – дрожащим голосом проговорил Иван. – Какой же владыка так скажет? «Мы сами подчас не особенно усердствуем в этом»... Что это за... странная ирония?.. И эти ответы выше... про гонения... Как же он может лгать на весь мир?

– А вот так, – жестко сказал Саша. – Это ведь еще три года назад было понятно, когда вышло его послание... Мол, мы с Советской властью, СССР – наша страна, ее горести – наши горести, ее радости – наши радости... – Саша понизил голос. – И ведь не только он. Посмотри на подписи под статьей: митрополит Саратовский Серафим, архиепископ Хутынский Алексий, архиепископ Звенигородский Филипп, архиепископ Орехово-Зуевский Питирим... – Саша оглянулся и понизил голос: – Знаешь, я слышал, что некоторые владыки не подчиняются Сергию.

Ваня опустил газетный лист. В памяти встал тот августовский день 1923-го, когда в переполненном Успенском соборе он впервые видел владыку Сергия – плачущего, идущего с покаянием к Патриарху... С тех пор многое изменилось: в 1925-м Патриарх Тихон скончался, его местоблюститель митрополит Петр (Полянский) арестован, и митрополит Сергий – фактически

глава Церкви, именно он противостоит обновленцам и прочим раскольникам... Когда в июле 1927-го вышло послание владыки Сергия «Об отношении Православной Российской Церкви к существующей гражданской власти», где было сказано «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи», многие верующие восприняли его как полную капитуляцию перед безбожной властью. Возникли приходы и целые епархии, переставшие поминать Советскую власть и митрополита Сергия, их так и называли – непоминающие. Но тогда Иван, поразмыслив, все же пришел к выводу, что этот шаг был сделан владыкой Сергием для того, чтобы упрочить положение Церкви в стране и, главное, выбить козыри из рук обновленцев. И теперь – вот такое?..

Посоветоваться бы с владыкой Серафимом!.. Но его уже четыре года как нет в Орле – выслали в Смоленск. И к старцу Георгию в Спас-Чекряк не поедешь – умер год назад...

– Они не остановятся, Ваня, – тихо сказал Москвитин. – Они будут сносить и взрывать до тех пор, пока ни одного храма не останется... Календарь новый ввели, непрерывку? – Ввели. Союз воинствующих безбожников основали? – Основали. Воскресенскую нашу в улицу Безбожников переименовали? – Переименовали. Рождество запретили в прошлом году праздновать? – Запретили. Помнишь, как ходили по улицам комсомольские патрули и заглядывали в окна – не стоит ли у кого елка?

Иван с содроганием кивнул. Крестьянкины елку, конечно, ставили, но окна при этом завешивали плотно, так, что с улицы не увидеть... Это был первый год, когда Рождество Христово было официально запрещено в Советском Союзе.

– Ну вот, – продолжал Саша. – Сколько у нас храмов в Орле было, сорок?.. А осталось пятнадцать, из них пять обновленческих. А теперь они и его сломали, – он ткнул в газетный лист.

– Нет, – нетвердым голосом произнес Ваня, – ты как хочешь, а я... я не могу в это поверить. Какое-то... странное это интервью. Неестественное, что ли. Выглядит, как будто говорил человек, которого загипнотизировали...

– Да хоть бы и загипнотизировали, – твердо ответил Саша. – В общем, время такое, что – спасайся кто может. Так что...

– Так что – что?

Москвитин решительно тряхнул головой.

– Ты как знаешь, а я твердо решил принять постриг. Поеду в Смоленск к нашему владыке, он и пострижет.

– Так монастырей-то уже почти не осталось...

– Зато есть монахи в миру. Это когда ты внешне вроде живешь мирской жизнью, работаешь и прочее, а в самом деле – монах... Тайный постриг. Ну и переберусь отсюда в Москву. Ее-то до конца не разорят. А здесь... – Москвитин безнадежно махнул рукой.

Иван задумался, опустив газету на колени. Взглянул на Сашу с симпатией. Молодец, видно, что твердо решил...

– Ну, тебе в Москву с такой фамилией сам Бог велел. Да и Василий там давно уже работает...

– Я чего хотел сказать – давай вместе, Вань! Решайся. Сколько лет мы уже дружим?..

Иван взглянул на друга, улыбнулся с сожалением.

– Нет, Саша. Мне еще нужно поработать, принять сан, послужить, а уж монашество – потом...

...Давно уже успокоился, заснул дом Крестьянкиных. Тоненько всхлипывала мать; Ваня даже встал, подошел к ней – может, лекарство нужно? – но увидел, что она спит и плачет во сне... Снова лег, перебирая в памяти слова газетной статьи на смятом листе «Известий». Как же так?.. Почему?..

...Не знали Ваня Крестьянкин и Саша Москвитин, как и сотни тысяч других людей, прочитавших в тот день интервью митрополита Сергия, что никто никаких вопросов ни владыке Сергию, ни другим архиереям не задавал, и они ничего не отвечали на них. И вопросы, и ответы этого «интервью» были полностью написаны главой Союза воинствующих безбожников – Емельяном Ярославским (Губельманом). А правку в его текст вносили Сталин и Молотов. И владыки, увидев напечатанное «интервью», пришли в точно такой же ужас, как и верующие по всей стране. Но что-либо делать было уже поздно. Главная задача, которая стояла перед иерархами тех лет, заключалась в том, чтобы спасти саму Церковь, уберечь ее от окончательного уничтожения и разорения...

Орёл, май 1932 года.

...– На работу, сынок? – В голосе матери Ивану почудилось напряжение, какой-то легкий, едва ощутимый излом.

– На работу, мам. Про керосин помню, на обратном пути в нефтяную лавку зайду.

– Ну, с Богом.

Мать перекрестила его. И, как всегда, Ивана окатила жгучая волна стыда. Ведь он обманывает ее, не идет ни на какую работу!..

Так продолжалось уже месяц. Месяц как его вышвырнули из Орловского райсельхозкоопсоюза, куда он устроился после окончания бухгалтерских курсов. И сразу же столкнулся с тем, что просто и честно работать там было невозможно – все начальники, от малых до больших, отчаянно «химичили», выгадывая какие-то выгоды для себя лично и своих близких и пытаясь спихнуть на него, ничего не понимающего в этих схемах, побольше ответственности. Но это еще полбеды. Главная беда заключалась... в календаре. Ведь с 1 октября 1929-го в Советском Союзе действовала непрерывка – все рабочие дни были поделены на группы, названные по цветам (желтый, розовый, красный, фиолетовый, зеленый), и у каждой группы был собственный выходной. А 1 декабря прошлого, 1931-го, непрерывку сменила шестидневка, где выходной выпадал на 6, 12, 18, 24 и 30-е число каждого месяца. С какой целью это было сделано – ясно: сломать устоявшийся веками уклад верующих людей, сделать их послушными винтиками, которые между храмом и работой сразу выбирали бы работу. И если для многих сослуживцев Ивана никакой принципиальной разницы между новым и старым календарем не было, то для него, понятно, все эти непрерывки и шестидневки стали настоящей катастрофой. Как, к примеру, совместить воскресную службу в храме с тем, что по новому календарю это рабочий день и утром нужно сдавать срочный отчет?..

Несколько раз начальство, заинтересованное в толковом молодом бухгалтере, закрывало глаза на его прогулы. Но однажды в конторе случился очередной аврал, и «ликвидировать» его нужно было в воскресенье. И вот тогда Иван Крестьянкин коротко сказал, что в воскресенье работать не выйдет.

– Да нет уже никакого воскресенья! – взъярился тогда начальник райсельхозкоопсоюза.

– Для вас нет, для меня – есть. Вот вы и работайте. Я не причина вашей отсталости, я и не жертва ее ликвидации...

Назавтра он прочел в конторе объявление о своем увольнении.

Поскольку мама уже начала побаливать, каждая копейка в семейном бюджете была на счету. И Иван начал обивать пороги других орловских контор. Но, по-видимому, уволили его с «волчьим билетом», сделав в личном деле какую-то пометку, потому что в отделах кадров на него сразу же начинали смотреть как на зачумленного. Или с порога же спрашивали: «Верующий?» – «Да». – «До свидания»...

Матери он решил пока ничего не говорить, чтобы не расстраивать ее. Каждый день выходил из дома и «шел на работу» – сначала в храм, а потом на поиски службы. А чтобы скрыть отсутствие зарплаты, решил продать подарок юродивого Афанасия Андреевича – скрипку. Вот она наконец и пригодилась. Футляр от нее оставил себе на память...

...Сегодня поиски тоже успехом не увенчались. На Орловской бирже труда Ивана приветствовали как старого знакомого, но никаких подходящих вакансий не было. Уже к обеду, изголодавшийся и уставший, он завернул в театр, где работал гримером старший брат Константин. Ему он доверил свою тайну.

Костя выставил на столик гримерки сыр, тоненькими ломтями нарезал зачерствевший хлеб.

– Ешь. Ну что, опять без толку ходил?..

– Опять.

– Слушай, а что если тебе к нам в театр податься? Пожалуй, я смог бы это устроить... Нам как раз костюмер нужен. Представляешь, как здорово будет смотреться в афишках – за парики отвечает Крестьянкин К., а за костюмы – Крестьянкин И.!

Ваня со вздохом покачал головой:

– Нет, Костя. Спасибо, но у меня в жизни своя цель – стать священником и монахом. А это с театром мало совместимо...

После обеда он снова бесцельно кружил по центру города. Сидел в парке, наблюдая за тем, как рабочие растягивают на стене соседнего дома большой лозунг «Да здравствует смычка города с деревней!». Потом мимо потянулась колонна рабочих, одетых в противогазы. Они несли какой-то плакат; прищурившись (зрение действительно портилось, надо было заказывать очки, но он все забывал это сделать), Иван разобрал на красном кумаче буквы «Ударим советским химпромом по поповскому мракобесию!»...

Снова и снова вспоминался разговор с Сашей Москвитиным. Пустеет, умирает с каждым днем православный Орёл. В Преображенском храме теперь антирелигиозный музей, в Борисо-Глебском – мастерские техникума, в Крестовоздвиженском – заводской клуб, в Покровском – столовая... И причины для закрытия храмов – не подкопаешься, все обосновано: «отсутствие служителей культа», «отсутствие своевременного ремонта». То есть арестовали священника, не ремонтировался храм несколько лет – значит, можно закрывать...

А в Москве? Неужели там то же самое?.. Нет, не может быть. В столице все же не будут сносить и закрывать все до единого храмы и монастыри... Да и место для бухгалтера наверняка найдется. В огромном городе легче затеряться, спрятаться, вести чистую, тихую жизнь. Это здесь, в Орле, ты весь

на виду, и то и дело вызываешь недоуменные вопросы: а почему не в комсомоле? А почему не член МОПРа и ОСОАВИАХИМа?.. А теперь вот и неведомая пометка в личном деле, которая мешает даже устроиться на работу...

...Он не заметил, как на скамейку кто-то подсел. Иван даже вздрогнул от неожиданности – это был юродивый Афанасий Андреевич Сайко. Такой же высокий, внушительный, как и десять лет назад, но теперь его борода была не черной, а почти седой. На шее, как обычно, висел громко стучащий будильник, в картуз воткнуты птичьи перья.

– Ну что, пригодилась скрипка-то? – лукаво прищурясь, спросил Афанасий Андреевич, как будто они только что расстались.

– Пригодилась, – помимо воли улыбнулся Иван. И тут же с грустью добавил: – Вы простите меня, я... ее продал.

– А я знаю, – легко отозвался Афанасий Андреевич. – Я ее у тебя и купил. А тебе и правда пора уезжать, а то скоро ветры подуют – ой, мама, какие ветры, и меня сдует, и тебя может сдуть. Только у мамы спроси, мама святая, генеральша.

– У мамы?.. – растерянно переспросил Иван. – Генеральши?..

– У мамы, у мамы, – подтвердил юродивый и, упруго поднявшись, зашагал куда-то своей легкой, воздушной походкой.

...За ужином Иван несколько раз ловил на себе взгляд матери. И, чувствуя, что краснеет, старался не поднимать глаз от тарелки. Но поднял – и в очередной раз словно натолкнулся на мамины глаза. Елизавета Илларионовна сидела, подперев голову кулаком, и пристально смотрела на сына.

– Долго ты так будешь от меня все скрывать-то, Ванечка?..

Это было сказано без упрека, только с безмерной болью и горечью. Звякнула ложка, опущенная на край тарелки.

– Мам... мамочка, прости меня, ради Христа... Я так боялся тебя испугать, расстроить...

Мать склонилась на ним, упавшим на колени, поцеловала склоненную голову.

– Ну, ну... встань. Я ведь все давно уже знаю. Поднимайся, поднимайся... Давай лучше подумаем, что дальше делать.

Свои мысли про Москву Ваня высказал даже сам не понял, как. Быстро, сумбурно, каким-то горячечным потоком, где были и переименованная родная улица, и снесенные храмы, и работа... Последним он рассказал про странный разговор с Афанасием Сайко. Мать чуть отстранила его от себя, взглянула пристально.

– «Мама святая, генеральша»?.. Так это Афанасий Андреевич матушку Веру имел в виду. Значит, нужно к ней съездить. Как она скажет, так пусть и будет...

Слезы на глазах мгновенно просохли. Конечно же, матушка Вера (Логинова), ведь она до пострига была женой генерала!.. Как же он раньше не сообразил!.. Весь Орёл знал эту старицу, выселенную с другими монахинями из Введенского монастыря в 1923-м.

...Матушка Вера приняла Ивана в своей маленькой комнатке, стены которой были сплошь увешаны иконами. Сбивчивый рассказ юноши старица остановила властным движением ладони и обратилась к Елизавете Илларионовне, вставшей поодаль:

– Все плохое, что с ним сейчас, пройдет и бодрому духу не вредит. Ты, – матушка Вера посмотрела Ивану в глаза, – поезжай смело в Москву, благо-

словляю. А встретимся мы с тобой через много лет на Псковской земле. Бог встречает, Бог и провожает. И слава Богу!..

Когда вышли на гомонящую, залитую щедрым майским солнцем улицу, Иван увидел, что лицо матери преобразилось. Раньше времени постаревшее, покрытое сеточкой мелких морщин, оно словно лучилось от радости. Не дожидаясь вопросов сына, Елизавета Илларионовна обняла его, целуя в лоб:

– Ну вот и благословение от матушки Веры есть... А я ведь и сама давно уже хотела тебе насчет Москвы-то сказать. Только не решалась.

– Сама?..

Мать вздохнула.

– Я ведь вижу, что у тебя на душе творится, сыночек. И как ты плакал, когда улицу переименовывали... И с каким лицом с работы приходил, когда приходилось сверхурочно оставаться и некому было подменить, чтобы в храм успеть... Не тот наш Орёл уже совсем, что раньше. А Москва – град Божий, ее до конца не разорят... Да и Саша с Васей Москвитины давно уже там, будет на кого опереться, если что приключится. Езжай с Богом, Ванечка. Матушка Вера ничего просто так не говорит...

...Вагон был жестким, к тому же для курящих, а путь до Москвы занимал пять часов. Но в дорогу у Вани был купленный недавно с рук том «Сказаний о жизни и подвигах старца Саровской пустыни иеромонаха Серафима...», завернутый в старый номер «Орловской правды».

– Приезжай почаще. – Александр крепко сжал брата в объятиях и «передал» Константину. – Ну и мы к тебе будем наведываться.

– Ну конечно, приезжайте. Только я вам сначала напишу, где устроился.

– Зря ты все-таки ко мне в театр не пошел, – шутливо посетовал Костя, целуя брата. – Говорил же тебе – отвечал бы за костюмы.

– Ты же знаешь, какой из меня был бы костюмер...

– А что, за облачение архиерея ты же отвечал, и вроде неплохо...

Таня, плача, приникла к груди Ивана.

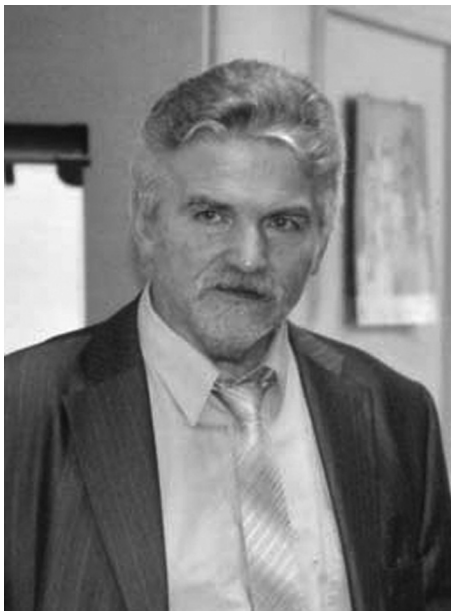
– Ванечка, пиши, пожалуйста, не забывай нас.

Елизавета Илларионовна молча перекрестила сына на дорогу. Самое дорогое, что у нее было – семейную икону Крестьянкиных «Знамение Божией Матери» – она передала сыну во время прощания с домом.

– Парень, давай-ка в вагон, отправляемся, – поторопил проводник.

Заревел паровоз, вздрогнули вагоны. Слезы, вскипевшие на глазах, смазали родные лица, поплывший мимо перрон... И только одиннадцать золотых куполов привокзального храма Иверской Божией Матери блеснули на солнце, вернули зрению четкость. «Бог встречает, Бог и провожает», – всплыли в памяти слова матушки Веры...

Гул вагонных колес крепчал, становится тверже. Вагон раскачивался на стрелках. В Москву, в Москву, в Москву...



Николай ДОРОШЕНКО *(Россия)*

БОГОСЛОВИЕ В МОЕМ ДЕТСТВЕ
Рассказ

Снегопады в пору моего детства случались такими обильными, что частенько по утрам, едва проснувшись, наше семейство вооружалось заранее приготовленными в сенцах лопатами, чтобы пробиться хотя бы к скотине, к колодцу и к погребу. А поскольку в таком деле толку от меня было мало, я, завязанный и перевязанный поверх фуфайки платками так, что наружу из меня торчали только нос, руки и ноги, пыхтя, вонзался грудью в сыпучие заслоны, а уж вслед за мною прокапывалась настоящая, глубже моего роста, траншея. И все меня хвалили, все приговаривали, что без моего усердия из снежного плена вырваться было бы невозможно. А меня приводило в восторг то, что в глубоком снегу можно барахтаться, как в воде, и что снег не сыпется мне под воротник, что не текут у меня по спине ледяные струи.

И еще я хорошо помню небо – невысокое, белесое, словно бы снегом припорошенное, и в небе – похожее на подмерзшую проталину солнце, и ощущение вот этой нашей муравьиной жизни среди бесконечных снежных холмов и равнин.

После снегопадов сразу или чуть погодя ударяли морозы, и высоченные горы сугробов покрывались прочнейшею коркой наста, поверх которой мы, малышня, упрямо прокладывали тропы к местам своих игрищ.

ДОРОШЕНКО Николай Иванович родился в селе Сухиновка Курской области. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Заместитель председателя Союза писателей России. Автор книг прозы "Тысячу километров до Москвы", "Хозяин неизвестного музея", "Видения о Липенском луге", "Ушедшие", "Дерево возле дома" и др. Лауреат Большой литературной премии за повесть "Запретный художник", Литературной премии им. И.А. Гончарова за повести "Ушедшие" и "Выстрел" и др. Живет в Москве.

Наверно, в фуфайках до пят и в ушастых шапках мы действительно были похожими на муравьев.

В слепом и ненасытном азарте мы втаскивали санки на горку, скатывались и снова на горку карабкались. Или потом кто-то санки оставлял и слетал в низину по ковзалке, которую более взрослые ребята по пути в школу успевали отполировывать аж до ледяного блеска. И все мы санки бросали, бежали к ковзалке. А потом матери загоняли нас на печки сушиться. А потом мы опять выбегали. А потом, опять домой загнанные, нетерпеливо обедали, а потом опять устремлялись на свободу.

В иные дни в дымчатом воздухе помимо наших голосов вдруг становился различимым ровный и могучий звук. Мы знали, что это где-то за окоемом проходит *поезд*. И обмирали. И в сердце у меня становилось нестерпимо холодно то ли от восторга, то ли от жути, когда я вслушивался в эту далекую, в эту какую-то иную, громадно и тайно проплывающую мимо нас жизнь.

И долго мы затем гомонили между собой, а когда слепое наше возбуждение опять доходило до высшей точки, то с криками и оглушительными визгами опять слетали мы со своих горок.

А вместе с ранними сумерками, сначала сочными и лиловыми, а потом и мертвенно-серыми, вдруг к нам со всех сторон подкрадывалась такая оглушительная тишина, что мы сначала сбивались в недвижные стайки, а потом и призрачно устремлялись каждый в свою норушку.

После ужина, когда скотина была уже обихожена, мои старшие брат и сестра уходили в светлую комнату делать уроки, а я оставался при родителях, чтобы слушать, как, перебирая лук или погрузившись в иную, как мне казалось, очень уютную заботу, отец и мать переговариваются голосами тихими, едва различимыми под янтарным светом подвешенной к потолку керосиновой лампы.

Но долго оставаться смиренным пленником вот таких обморочных вечеров я не мог. Пробовал, например, ладонью протаять лед на оконном стекле и затем прокрасться в светлую комнату и насквозь промерзшей рукою прикоснуться к шее сестры или брата. Брат лишь ежился или даже улыбался мне, а вот сестра поднимала визг и шум. Потом сама же начинала меня целовать в щеки. А я, как и наш кот, который тоже не любил, когда его тискают, терпеливо дожидался удобного момента, чтобы от неё ускользнуть на печку и – опять оставаться с собою наедине.

Ночь вкрадчиво глядела в меня сквозь проталинки в окнах, мирно посапывала ветерком в дымоходе, прикрытом вьюшкою.

Наконец наступал тот миг, когда я незаметно для самого себя словно бы растворялся весь без остатка в нашей маленькой черной комнатке вместе с её чугунами, крынками, ведрами, вместе с её столом, накрытым облупившейся на углах клеенкой, вместе с её отполированными до воскового глянца скамьями, вместе с продолжающими свой неспешный разговор родителями – то есть, я, затихнув, глядел и глядел то на мерклый огонек керосиновой лампы, то на раскатанный по полу лук, то на окошки, и когда огонек в лампе вздрагивал, я тоже вздрагивал вместе с ним, а когда отец с нарочитой тревогой вдруг спрашивал у матери: «Что-то нашего Коли уже не слышно? Не убежал ли он среди ночи на свои горки?» – я на краткий миг пробуждался от своего сладкого обморока, и пока мать восхищенно выпевала свое обычное: «Да вот же оно, наше пташеняточко, со своего гнездочка на нас глядит!» – я опять весь истаивал – теперь уже в её уютно и тихо посверкивающем голосе. И лишь утром вдруг просыпался от сна уже настоящего.

А иногда в эти длиннющие зимние вечера мать пристраивалась поближе к лампе с шитьем. Отец же добавлял в печку торфа, чтобы затем глядеть, как припорошенные торфяной крошкой огоньки потихоньку выкарабкиваются сквозь даже самые тесные щелочки, как неуверенные и пока еще прозрачные их язычки начинают приплясывать уже на свободе. Я придвигал к отцу тяжеленную табуретку и мы – он склонившись, а я вытянув шею – долго-долго не сводили глаз с совсем уж осмелевшего огня. А потом отец меня, от неподвижного сиденья сомлевшего, подсаживал на печку, а сам доставал из сундука толстенную Библию, водружал себе на нос огромные, в темной оправе, очки и усаживался под лампу рядом с матерью, чтобы приступить к чтению.

Читал он вслух и по складам. И, одолевши несколько слов, повторял их затем более внятно, а голос при этом у него был гулким, как из колодца, и подбородок его при чтении иногда почему-то сам начинал дрожать.

Оттого, что, сколько я себя помнил, отец по вечерам читал и читал Библию, я уже знал, что когда-то не было ни снега, ни людей, и что была только «тьма над бездною».

Но всякий раз, когда отец снова и снова читал: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы...», – я не пропускал ни единого слова. И, отделенная от света, в своем немом одиночестве тоскующая за окном ночная тьма тоже вслушивалась в упрямый голос моего отца.

А если отец по складам выговаривал, а потом заново повторял вот эти слова Еилуя: «Так, слушай меня, Иов, речи мои и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей...» – то представлялся мне этот Еилуй великаном, у которого гортань в полнеба, а язык шевелится наподобие тучи. Да и на широченные раскаты грома было похоже само длиннющее имя Еилуя, сына Варахиилова, Визутянина из племени Рамова. И сам Бог с такими великанами разговаривал то шумом бури, то грохотаньем грозы.

Но больше всего было у меня переживаний за Иова, за то, что Бог позволил сатане все у него отнять, а он всего лишь «разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: «Наг я вышел из чрева матери своей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь взял; да будет имя Господне благословенно!» И моя мать тоже о шитье своем забывала, лицо её становилось неподвижным и прозрачным, как стрекозиное крыло.

Мысленно оглядывал я собственные богатства – скрипучие санки, лыжки, выструганные отцом из кленовых плашек, складной, с костяной колодочкой, ножичек, однажды выклянченный у брата, но то ли потерянный, то ли где-то, как и глиняный, в виде петушка, свисток, завалявшийся вместе с другими какими-то мелочишками...

Но ведь я-то знал, что как только брату решусь сообщить о своей потере, то сначала он меня отругает, а потом свой, с колодочкой более увесистой, ножичек мне отдаст.

А у Иова такого брата не было...

И уже подбородок у отца чаще частого начинал дрожать, уже каждое слово ему, как горячая картошка, обжигало горло, уже и мать начинала утирать свои прозрачные и, однако же, почему-то восторженные слезы, уже и Иов начинал понимать, что не заслужил он своих мучений, но Бог вместо того, чтобы его пожалеть, оставался к нему совсем уж беспощадным. И я, зажму-

рив глаза, изо всех сил дожидался того мига, когда, наконец-то, становилось и Богу понятно, что Иов хороший, когда отец радостно и торжественно провозглашал: «...благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние: у него было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц...»

– Тысяча пар волов... – радовалась за Иова мать. Отец же Библию закрывал, очки снимал и я различал его глаза, непривычно смирные и спокойные.

А мои брат и сестра, с уроками покончившие, неслышными тенями прошмыгивали в свои закутки, чтобы там до утра затихнуть.

А потом отец уже совершенно обыкновенным голосом говорил матери:

– Вот только схожу скотину проведать, да и тоже будем ложиться спать...

А мать так же обыкновенно напоминала ему:

– Ночью может мороз ударить, так что ты отдушку у коровы не забудь же закрыть...

Потом они гасили лампу в черной комнате и уходили в светлую, чтобы там тоже лампу погасить и, прошелестев молитвы своими шепотами, оставались для меня уже неслышными в неподвижной и непроницаемой темноте.

А когда в такие же вечера отец обуглившимся от напряжения голосом читал вот эти слова: «...И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого...», – то я, не стерпев, подползал к спящему рядом со мной коту, чтобы обнаружить, как он, переборов свой сон, на меня как ни в чем не бывало глядит. Я начинал потихонечку гладить его могучую, черную, в белых крапинах, спину. И он, жалея меня, глаза свои опять вполне мирно закрывал.

А бывало, что когда лампы гасились, то я обнаруживал, что Бог из темноты незримо на меня глядит.

«Мы просто с котом тута лежим...» – жалобно и безголосо сознавался я Богу.

Точно так же и нашему объездчику, заставшему меня и моего товарища в минувшее лето пасущимися на гороховом поле, я с ужасом пропищал: «Дядку, мы тута гуляем толечки, горох мы только чуть-чуть попробовали...»

А объездчик, всегда свирепый, всегда на всех потравщиков колхозных угодий полоумно орущий, вдруг сам своей нечеловеческой ярости перепугался, кнут свой длиннющий скрутил, в голенище засунул, нас успокоил: «Ладно, не буду из вас горох выбивать, бегите домой и батькам своим скажите, чтобы они сами вас, пискарей таких да сяких, стерегли...»

И Бог тоже иногда не выдерживал, и почему-то именно певучим голосом моей матери вдруг начинал утешать меня: «Коля хороший, хоро-о-оший, Коля – пташеняточко самое доброе...»

Словно бы в немом и темном бездонье ночи был я у Бога единственным, тайно для его ласки и добра припасенным человечком...

Бывало, что я еще уснуть не успевал, а Нина – самая старшая, ещё довоенная, моя сестра – уже возвращалась из клуба и, не торкнувшись в кромешной тьме ни в ведро, ни в чугуняку, переодевалась, лезла ко мне на печку отогревать ноги после своих хромовых и невесомых сапожек. И, обнаружив меня бодрствующим, она меня сначала, как кота, гладила, а потом голову мою на свой локоть укладывала и я тут же мысли все свои забывал, проваливался в сон.

Иногда я на всякий случай пытался выведать у родителей:

– А Бог может каждого, как Иова, испытывать?

Но мать с перепугу тут же начинала меня целовать, а отец тоже на вопрос мой не отвечал, и, посуровев, напоминал мне:

– Ты вот швейную машинку покрутил, а я потом налаживал её три часа... Сколько раз тебе я говорил, чтобы к швейной машинке ты даже и не прикасался!

Впрочем, однажды про Иова он сам со мною заговорил...

То есть, была у нас в саду яблоня, которую отец посадил, когда меня еще на свете не было, и которая родить начала только после того, как он, взявши в руки топор, беспощаднейшее пообещал ей: «Сбросишь весь цвет, не завяжешься также и в этом году, не пожалею ж, срублю, как труху остатнюю, вот этим топором!»

Я, тогда еще бесштанный, одного только скрипучего отцовского голоса перепугался, заплакал. А отец будто и рад был моему плачу, яблоне еще более настойчиво пригрозил: «И пусть кто угодно вот так по тебе плачет, тебя ж я не пожалею!»

Пока моложавая, но уже высоченная яблоня стояла в цветах своих, как в густой сметане, я к ней по несколько раз в день подкрадывался, пытался в корешках цветочков различить кругляшечки завязи. И – яблочки все ж таки появились!

– Мамо, мамо! – закричал я что есть мочи. И все, в том числе и отец, ко мне перепуганно прибежали, мать на руки меня подхватила, а с высоты её роста я до ветки дотянулся и показал всем на первые пушистенькие горошинки.

– А то ж... – отец с важностью одно яблочко пальцем было пошевелил, но и сам вдруг удивился: – Гля-а-ань, и корешочки такие тута крепенькие, что, даст Бог, яблочки не осыпятся...

Далее начались мои страдания по поводу того, что уже и белый налив сошел, уже даже антоновки я наедался до оскомины такой, что языком во рту невозможно было пошевелить, а огромные яблоки на яблоне, у которой, как оказалось, даже своего названия не было, оставались ядовито зелеными, кислыми и твердыми, как камень. «Аж за полкило свежатины из неближнего к нам села какой-то человек на базаре мне её саженец выменял, а я да не записал, что за сорт, и вот, забыл же», – сокрушался и отец. А уже перед морозами, когда весь наш сад стал оголяться, а с удивительными яблоками ничего не случилось, отец, как и учил его человек из неближнего к нам села, сколотил из палок и досок высоченного «козла», и с «козла» этого крайне осторожно яблоки в ведра стал собирать.

У меня шея заныла, пока я, запрокинув голову, дожидался, что, может быть, обнаружит он хоть одно яблоко спелое.

– Что, нема?... – то и дело спрашивал я.

– Да вот опять кидаю тебе самое червивое, попробуй его надкусить... – сжаливался над моим нетерпением отец. Но, к величайшей досаде, даже и самое червивое яблоко раскусить было невозможно.

А уже зимою отец, весь сияя, однажды воскресным утром после завтрака внес в дом полную шапку необыкновенно золотых и пахнущих так, что даже голова у меня закружилась, яблок. Мы, вскричав, кинулись ему навстречу, а он шапку поднял от нас повыше и поставил нам условие:

– Потому как яблоки все одинаковы, то сначала Коля, как самый млад-

ший, должен себе два яблока выбрать, потом Саша и Катя и тоже по возрасту, а уж мы с матерью и Ниной не переругаемся.

Чтобы не прогадать, я, наверно, выбирал бы свою долю очень и очень долго, но так хотелось поскорее зубами вонзиться в чудесное и – что было понятно по одному только медовому запаху! – в сладчайшее золото яблока, что, сознанием помутнев, я схватил самые верхние и принялся их поедать.

А когда яблоки перестали быть новостью, то бывало, что приходилось мне погружаться в самое мучительнейшее раздумье о том, что предпочесть: самое крупное, или то, что золотее самого золотого, то, что с корешком и с листиком, или то, что с корешком голым...

Брат и сестра делали вид, что надо мной посмеиваются, а сами не удерживались, зашныривали глазами в отцовскую безразмерную шапку.

И вот так вполне благополучно продолжалось наше поедание яблок.

А в одно воскресное утро я, как всегда, самые лучшие яблоки выбрал. И когда одно уже надкусил, брат подошел ко мне, и ехидно сказал:

– Глянь, у тебя на бочку черненькая цяточка, а мое яблочко без единого пятнышка... Эх ты, выбирака! Выбрать лучшее яблочко не смог!

Я тут же предложил поменяться, но он яблоки свои от меня за спину спрятал и пояснил:

– Уговор дороже денег! Ты сам себе выбирал!

И я, вернув свои яблоки в шапку, разрыдался.

Все принялись меня утешать. Брат мне свои яблоки стал с испугу совать. Мать стала упрашивать отца, чтобы он из стога, в котором яблоки хранились, достал их побольше, и чтобы я выбрал себе столько, сколько захочу.

И отец потерянно у меня спрашивал:

– Дак принести тебе новых или не принести?

А я плакал и плакал.

Вернее, я уже не столько плакал, сколько в собственный голос вслушивался. И мне вроде бы как было хорошо оттого, что вот, я из своего плача рисую самые разные, как на заиндевелом от мороза оконном стекле, узоры, а все меня жалеют и жалеют.

И тогда отец шапку на голову одел и, никому слова не сказав, вышел.

– Всё, Коля, не плачь, не плачь... Сейчас выберешь себе яблочек столько, сколько душа твоя пожелает...

Но отец, видимо, наконец-то догадался, какое чудовище из меня получается, пока он старших настойчиво приучает уступать более младшим. И потому вернулся он с вишневым прутиком в руке.

И, посвистев этим прутиком перед моим носом, он грозно спросил у меня:

– Мне что, надо с тебя шкуру спустить, чтобы ты не себя, а мать хотя бы разочек пожалел и душу ей не надрывал своим плачем?

Я от ужаса даже дышать перестал. Мои брат и сестра про свои яблоки позабыли и тоже затихли, как неживые. А мать с перепугу у отца прутик выхватила, кинула его в печь.

– Всё, всё... успокойся... Коля уже не плачет... наш Коля умненький хлопчик... – стала она просить у отца пощады.

А отец, оставшись безоружным, ничего не видящими глазами куда-то в сторону уставился и только поддакивал ей:

– Да... да... да...

Наконец, отец потерянно вымолвил:

– Вот, когда с вами по-человечески, дак вы и рассудок теряете... А когда силу вам свою покажешь, дак вы и становитесь людьми...

А потом он вдруг выпрямился, одним только своим затвердевшим взглядом меня пошатнул и пророкотал так, что аж посуда в посуднице зазвенела:

– Вот так же и Иов должен был Бога-Отца бояться! И запомни ты, Коля, пока страха у тебя не появится за свою бессовестность перед братом, который тебе во всем уступает, я, твой отец, пороть тебя буду беспощадно!

Бесконечно долго мы все молчали. Потом отец, обмякнув, гладил меня по голове своею огромной и шершавой, как камень, ладонью. Потом мать, усадив меня себе на колени, стала шептать мне на ухо: «Да отец так тебя жалеет и любит, что даже и сам себя он бы как следует высек, если б это тебе помогло понять, что и брату твоему яблочка того, что получше, хочется, и сестре...»

И я опять чуть было не расплакался, уже неизвестно от чего.

– Ну надо ж... – первым опомнился отец. – Приготовил я пойло для коровы, а из-за вас отнести ей забыл...

И наша жизнь продолжилась уже обыкновенно. И очереди перед шапкой с яблоками мы уже не соблюдали. Хотя, конечно же, я у шапки успевал оказаться самым первым и, наверно, только делал вид, что свою долю выхватываю наугад. Хотя, иногда я, оглянувшись на брата, со смущенной улыбкой поверх нас с сестрой протягивающего свою руку к отцовской шапке, вдруг словно спотыкался...

...И вот теперь давние наши вечера под чтение Библии я вспоминаю, ищу на своих книжных стеллажах богословские толкования смыслов тех мест в Старом и Новом Заветах, которые особо волновали мое детское сердце. Но именно то, что от отчаяния прогромыхал мне мой отец, и то, что мать из жалости ко мне нашептала в моё ухо, так и остается для меня наивысшей богословской мудростью.

Валентина ЕРОФЕЕВА *(Россия)*

В КРУЖЕНЬЕ КРЫЛ
Стихи разных лет

* * *

Ну, что там было,
Что кружило так,
Что пело так тончайшими стихами?
И волны удивлённые стихали,
И камешки прибрежные ласкали
Усталый лунный свет своим теплом.
Что было с нами
В лунном свете том?!.

* * *

Измучились и ночь и тишина
От несвобод словесных оболочек.
И опустело место у окна,
И будничная музыка слышна,
И сердце болевых лишилось точек.

Валентина ЕРОФЕЕВА *родилась в Оренбуржье. Филолог по образованию. Вела литературную передачу на оренбургском радио.*

Член СПР с 2003 года, автор нескольких поэтических книг, публикаций малой прозы в литературных журналах.

С 2002 года работает в редакции «Дня литературы», в данное время – гендиректор издания и выпускающий редактор одноимённых газеты, журнала и сайта. Живёт в Подмосковье.

И мир утих и съёжился у ног.
И стало пусто, тускло и свободно.
И не манят к себе те сто дорог,
К которым мог шагать, не чуя ног.
И всё былое кажется бесплодно.

И чёрно дерево. И мёртвый лист.
И холодом луна дарует властно.
И горизонт без зорь. И не лучист.
И равнодушен. И ненужно чист.
И все былое кажется напрасно.

Но первый луч и первый лёгкий звон,
И первое воздушное молчанье
Стеклись по капельке со всех сторон –
И ожил мир. И в музыку влюблён.
И на столе дымится чашка чая.

ОЖИДАНЬЕ

Озвученные каплями дождя
Бесшумные шаги струятся слепо
И формируют ожиданья слепок,
Не прикасаясь, мимо проходя.
И разнося встревоженные волны
Угаснувшей в бессилье тишины.
Терпеньем ожиданье полно.
И миражи достоинства полны.

ПРОЩАЛЬНОЕ

Нет, больше никогда
Шагами быстрыми не подойти
К светящемуся издали окну –
Оно безжизненно.
Воображенье,
Устало сжавшись, отступает,
И тёмное пространство
Терзает зазвеневший
И страхом обронённый ключ.
И звук тягуч
И не хранитель таинства паденья,
Лишь тягостное возбудит смятенье
И всколыхнёт забытое волненье –
Надежды затаённый луч.

* * *

Пером тончайшим, лёгким скоком,
Бумаги впитывая пламя,
Недрёманным сияя оком,
Бежит строка под небесами.

И в синеву уставшей дали,
В чужое стойкое предзимье

Волной врывается печальной –
Всё зыбкое, всё позабыто.

Исчезли звоны ночи дальной,
Окна распахнутого ветер,
И шёпот – надысповедальный
И ненасытно быстротечный.

Исчезло марево рассвета,
Закат восторженный утих,
И обернулось в осень лето,
И прозой обернулся стих.

Но так бессмертна ритма сила,
Так бесконечна, так вольна,
Пером легчайшим возносила
И, вознеся, не уронила,
Лишь только голову вскружила
На веки вечные она.

* * *

Поэт – ума лишённый человек.
Он равен воздуху над крышей,
Босой земле и ощущеньям свыше.
Поэт – ума лишённый человек.

А вы – разумны и великодушны,
Спокойны в меру, в меру же важны.
И ваши руки, ваши души
Необходимы всем, нужны.

Своим покоем и доверьем силе,
Своей простой, нормальной красотой
Вы уважение не заслужили –
Завоевали крепкою рукой.

Но не обидьте святости доверья
Безумца, возомнившего себя
Распахнутою в небо дверью,
К которой приглашает вас, любя.

* * *

Изумрудное море противится ветру
И сердито терзает берег, пирс и скалу,
Корабли в дальней дали бессменно,
бессмертно
На турецкую сторону отгоняют волну.

Им и сыро и холодно, и мрак неуютный
Подступает повсюду и душит огни.
И тревожную музыку брега беспутного
Напряжёнными спинами ловят они.

Ну а берег расцвечен величием осени,
Нежной кошкою ластятся листья к ногам.
Шалый ветер всё дальше
и дальше
уносит их
К чуждым им неродным и пустым берегам.

Остаются лишь самые стойкие,
цепкие,
Не предавшие древо, родившее их.
Будут стужей вселенскою
мёртво оцеплены.
Доживут ли до дней – до других?
Одесса, 3 октября 1993

* * *

Моя звезда далёкая, не гасни!
Мне без тебя печально и темно.
Прости мое угрюмое безгласье
И распахнись лучом в моё окно.

Какие ветры тяжкие задули
Тропинки наши в милых нам краях,
Какие смерчи и какие бури
Все вздыбили и превратили в прах?..

Звезда моя, одна лишь ты в пространстве
Ещё дрожишь и тянешься в ночи
Спасти и сохранить в великом постоянстве
Три истины святых: люби, терпи, прости.

* * *

Журча, звенит сухая ночь...
Но дай Бог силы превозмочь
Её разломанный поток,
Испепеливший мой порог,
Лишивший сна, лишивший сил,
Отнявший всё, что ты любил,
Воспевший пустоту и мрак
И вперивший свой тёмный зрак
В остатки отражённых лет.
Им невозможно крикнуть «нет»,
Их невозможно растоптать
И раздавить, и расшвырять
По свету пеплом пустоты.
Звени, сухая ночь... И ты
Достойна утренней зари,
Но душу мне не разори.
Не трогай. Пощади меня.
Дай насладиться светом дня.
1993г.

* * *

Старая пьяная баба упала
И рядом с дорожкой, где я гуляла.
Интеллигентно, чинно гуляла,
Воздухом чистым вечерним дышала.
А старая пьяная баба – упала.

Но может не старая – просто больная?
И может не пьяная – просто такая?..
От жизни от этой многих шатает,
По жизни по этой многих болтает.

Руку мне женщина тянет во тьме,
Руку за помощью – прямо ко мне.
Больше-то не к кому – я да она,
Да над дорожкою светит луна,
Только что юркий ночной «ястребок»
Нос ей дельфиний приделал и бок.
Глазом смешливым туманным глядит –
Горе и смех невесёлый с людьми.

А старая пьяная баба – упала.
И рядом с дорожкой, где я гуляла.

Да, она старая – лет сорока.
Да, она пьяная – грязны бока,
Грязна рука, подвернулась нога.
Ну настоящая баба Яга!..

Зубы сцепив, её тяжко тащу.
Мёртво схватилась, прилипла к плащу,
Что-то там шепчет в бессильном бреду:
«Дочка, родная, прости, не дойду.
Пьяная дура!.. Прости ты меня,
Что не хватило мне светлого дня,
Чтобы добраться. Вон там я живу, –
Тычет клюкою направо ко рву. –
Там у меня уж готова постель...».

Мерзкая осень. И скоро метель...
1999г.

* * *

Застыла в онемении и боли
Растерзанная русская душа.
Всё воинство, бесстыдное и злое,
Обгладывать накинулось, спеша,
России тело, плотоядно воя
С экранов, содомистски голубых,
О новом рае, о ковчеге Ноя,
В который понатискать бы своих,

Помеченных цифирью разложенья;
А остальных? – им место там, на дне...
Всё замерло, застыв в изнеможенье
В уставшей от предательства стране.

«Народ безмолвствует...». То ль не рождён,
То ль с пулею во лбу – юродивый
С отнятою копейкой. Храм освящён –
В бетоне и стекле. И вроде бы
Благое это дело. Но спешно,
Слишком спешно он произрос
На тине и грязи. Усмешка
Строителя кривила рот.
Он вольный каменщик –
И оттого смешливый.
Захочет ли Творец наш терпеливый
Спасителя как Сына Своего вернуть,
И станет ли Он Сам
защитной сенью храма?..
В густой тяжёлой мгле России путь.
Но занавес пошёл. И без антрактов драма.
1999г.

* * *

Уходит боль из правого виска,
И мир теплеет.
Новорождённо чистая доска
Восторгом млеет,
Предчувствуя каракули любви –
Весенней блажи.
Неважно чьи – чужие иль свои,
Почти неважно.

И тесный мир притянут и объят
Души распахом.
Немного жаль, что все, конечно, спят,
И не услышать ахов
По поводу спирального витка
И обновленья...
Лишь на закате – тлеют облака
Тоской смятенья.

ВЛАДИМИРСКОМУ СОБОРУ ГОРОДА КИЕВА

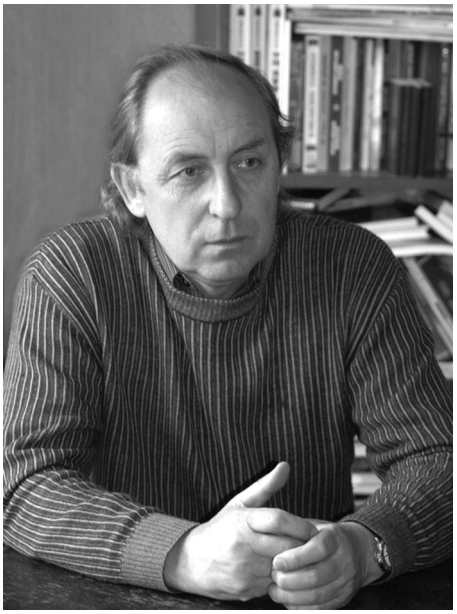
Я – немощь, нищета.
Бог – сила моя.

Так долго ждать нежданной этой встречи,
Не знать о ней, не ведать и в веках.
И вдруг застыть, на миг лишившись речи,
И воспарить в летучих облаках.

И вот тогда с небес голубоглазых
В круженьи крыл, в восторге нищеты
Вдруг все понять и воскресить все сразу,
И истину поникшей красоты
Костром пылающим раздуть в безбрежность,
И источиться нежностью души,
И содрогнуться ощущеньем прежним
Любви, всесилья, счастья, чистоты.
1986г.

* * *

Несуетная тишь, невиданная гладь,
Быть может, даже Божья благодать
Намоленного домика
вдруг снизошли ко мне,
И тени мягкие колышутся в окне,
Чтоб тайной росчерка улечься на ковёр
И воскресить забытое с тех пор,
Как помню я себя.
А время, ненавидя и любя,
Раскручивает звёздную спираль,
Но не уходит по привычке вдаль
По проторённо Млечному Пути,
А медлит, медлит – не спешит уйти.
И зависает вдруг над головой,
Стирая грань меж счастьем и бедой,
Ушедшим и стремящимся ко мне,
Дождём скользящим шелестит в окне,
Врачуя искажения души, –
Пред вечностью блаженной не спешит.



Геннадий ИВАНОВ *(Россия)*

БЕЛОРУССКИЕ СТРОКИ

* * *

Строчка – по-белорусски *радок*.
То есть рядок, ряд.
Но тут просматривается и *рад, радость*.

Радость, когда приходит строка!
Стихи – это радость.

* * *

Белорусский поэт
стремится стать президентом.
Он хочет изменить жизнь народа
к лучшему...
Я не вижу причин не верить ему.
Но я не верю в поэта-президента.
23.10.11.

* * *

Был такой белорусский поэт
Максим Танк,
был такой пулемёт – «максим»...
Были и танки, и пулемёты,
и советская власть...
Были «Ура!» и «Вперёд!»,
были великие победы,
хотя были и поражения...

А что теперь?
Только поражения?

Видимо, надо пройти и это.
И будет у нас ещё поэт Пушкин,
и будут «Ура!» и «Вперёд!»,
и будут победы.
Без этой наивной веры
жить нельзя.

* * *

Держитесь, люди русские, держитесь!
Друг другу помогайте, не ленитесь.
Нам надо выжить, выстоять, подняться,
Чтоб никого на свете не бояться.

Чтоб не грозили нам, не унижали,
Чтоб наконец-то мы соображали –
Кто друг, кто враг, что в нас самих спасение.
Тогда и будет наше Воскресение!

* * *

Мне говорят, что жили мы в Орде –
В Орде советской будто бы мы жили...
Родное было в горе и беде,
И лучших растерзали и убили.

Я жил в Орде?
Возможно, это так.
Союз, орда, республика – словесно
Сказать всё можно. А теперь? Бардак?
Орда, Бардак...
Но если честно.

Честно –
какой бы флаг ни вывесили над
Страной земной
и герб ни рисовали,
Всегда под ними будут рай и ад.
И мы это воочию познали.
19.07.19.

* * *

Кремлёвская стена
кому-то плача
стена,
и я сочувствую таким,
но для меня – восторга, не иначе.
Стена восторга, я охвачен им!

Она красива очень, а по жизни
она твердыня и она оплот

моей страны,
моей в веках Отчизны,
и потому к ней тянется народ.
3 июня 2019 г.

* * *

Я знал, что будет старость, но не знал,
что это, в общем, неплохое время,
что это даже некий пьедестал,
или, допустим, это – стремя...
Ты как бы поднят над самим собой,
над жизнью прошлой, над своей дорогой...
Мудрей глядишь на жизненный прибой,
удачею доволен и немногой.

Я знал, что будет старость – и узнал
теперь её обличье и приметы.
Она пришла не как девятый вал,
она не заслонила мне рассветы.
Не заслонила дивные поля,
не поглотила книги с отвращеньем.
Мне ближе стала родина, земля –
они наполнены возвышенным значеньем.
19.07.19

* * *

Там крестьянки лён прядут,
Прялки на небо кладут...
П.Ершов «Конёк-Горбунок»

Где крестьянки лён прядут?..
Только в памяти придут
Из какого-нибудь года,
Где в избе полно народа...
Там крестьянки лён прядут.
Там и пляшут и поют.
Пашни там благоухают.
В сени ласточки летают.

Там их гнёзда, там их детки...
Там и я сидел на ветке.
Там всё рядом, там всё близко.
Там луна сияла низко.
Там и гуси, там и галки...
Где же, где же эти прялки?
Так уж было суждено –
Прялки на небе давно...
15 марта 2019 г.

* * *

Друг Магомед, сложилось в жизни так,
Что, несмотря на всяческий бардак,

Нас в сентябре водою не разлей –
С тобой мы встретим Белых Журавлей.

Какое чудо – Дагестан, Хунзах...
Когда душа купается в стихах!
Когда с небес приветствует Расул!
Когда нас ждёт его родной аул!
08.09.2018

* * *

Жизнь дарит многими дарами,
лишь были б мы к ней не глухи.
Я выступал перед горами –
читал им новые стихи.

Стоял над пропастью, волнуясь.
Вдали была гора Седло.
Я, настроенью повинуясь,
читал про русское село.

Соединял родные дали
и эти горы всей душой,
чтоб никогда не воевали,
чтоб мы единой силой стали –
Кавказ и мой народ родной.

Читал стихи перед горами...
Смешно, наверно, Магомед.
Но ты читал перед полями.
Тут ничего смешного нет.

И даже это всё не ново.
Стихи читают и мирам.
Я верю в искреннее слово,
оно понятно и горам.
15.10.18.

* * *

Где Чёрная речка впадает в Осинку...
Николай Старченко

Где Чёрная речка впадает в Осинку,
Мой друг уронил вспоминанья слезинку.
Он мальчиком светлым тут плавал и рос...
Потом он уехал под стуки колёс.

Сюда приезжал он опять и опять...
Стучали колёса – пора уезжать.
Шли годы и годы – с седой головой
Сегодня стоит над речною водой.

Он многое видел и много узнал,
И многое понял, но жить не устал.
Эх, Чёрная речка и речка Осинка!
Слеза на листке или это росинка?..

Наверное, тут, где начало начал,
Быть должен последний вокзал и причал...
Где Чёрная речка впадает в Осинку,
Так хочется снова поставить пластинку –

Всё снова и снова прожить, пережить,
На воду глядеть... И – остаться решить.
Хотя невозможно уже никогда
Вернуться для жизни – для жизни – сюда.

ВНУЧКЕ

Спой песню мне, скажи мне слово,
Анастасия Иванова!
Но слишком занята она.
Куда-то вдаль устремлена.

Ей некогда сказать словечко.
И я смиряюсь, как овечка.

Николай ИВАНОВ *(Россия)*

РЕКИ ПОМНЯТ СВОИ БЕРЕГА
Главы из романа

Глава 14

В столице Егора ждал срочный вызов к начальнику управления.

Срочным могло оказаться всё: в стране каждый день что-то горело, взрывалось, прорывалось, а главное – ничего не исполнялось. Ничто никем не контролировалось, никто ни за что, по большому счёту, не отвечал. По телевизору шёл нескончаемый сериал из драк и споров депутатов Верховного Совета, в стране правилом хорошего тона считалось разоблачать историю, обзывать самих себя «совками», ходить на митинги, спорить, собирать бесконечные подписи «за» или «против». Но – только не работать. Впрочем, и работы людям оставалось всё меньше...

ИВАНОВ Николай Федорович родился в с. Страчево Брянской области в 1956 г.

Закончил Московское суворовское и факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Службу начал в Воздушно-десантных войсках. В 1981 году направлен в Афганистан. Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III ст., медалью «За отвагу», знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть».

В 1985 году назначен корреспондентом журнала «Советский воин», через семь лет стал его главным редактором. Продолжил службу в органах налоговой полиции России. Во время командировки в Чечню в июне 1996 года был захвачен в плен боевиками, освобожден через 4 месяца в результате спецоперации.

Секретарь правления Союза писателей России. Автор 20 книг прозы и драматургии. Лауреат литературных премий им. Н.Островского, М.Булгакова, «Сталинград».

Томясь в коридорах управления в ожидании приёма, подошёл к стенду с фотографиями членов Политбюро и высшего командного состава. Всматривался в лица людей, кому выпало на своих плечах держать громадину континента, не вмещавшегося даже на одной страничке географического атласа. И невольно стал усмехаться. Министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе, обязанного первым стоять на страже международных интересов страны, вдруг наградили американской антивоенной премией мира и австрийским орденом «Милого Августина». Вадим Бакатин, назначенный за время отсутствия Егора председателем КГБ, сдал Америке суперсовременную схему подслушивающих устройств, разработкой которых десятки лет занималось несколько институтов. Говорят, начал публиковать главы из своей книги «Избавление от КГБ». Начальник – об избавлении от собственной организации и подчинённых. Бред!

Да что они! Президента СССР Михаила Горбачёва на Западе наперегонки объявляли то «лучшим немцем», то «другом» Америки и Великобритании – но только не собственной страны. Борис Ельцин, ещё вчера ломавший хребты тем, кто не желал вступать в партию, водит толпы демонстрантов по Москве, страстно обличая то, к чему сам ещё вчера всех призывал[1].

Кто пониже и пожиже?

Егор Гайдар, внук яростного борца за Советскую власть Аркадия Гайдара и сын бессменного руководителя военного отдела газеты «Правды» Тимура Гайдара, сам долгое время проработавший в журнале «Коммунист», назвал советские годы химерой и возглавил реформы против того, за что боролись его предки и он сам. Генерал Дмитрий Волкогонов, отвечавший в Вооружённых Силах за идеологию, написавший пафосные книги «Советский солдат» и «Доблесть», которые в армии по его же указаниям заставляли поголовно конспектировать, лично же и возглавил комиссию по... ликвидации этих самых политорганов в армии и на флоте. Под Геннадия Бурбулиса, заставлявшего ещё вчера учить студентов в свердловском институте марксистско-ленинскую философию и научный коммунизм, на американский манер создали должность госсекретаря – с неё он и клеймил советский строй. «Отец» перестройки Александр Яковлев – вчерашний член Политбюро ЦК КПСС...

История России, вне сомнения, не знала примера, когда одномоментно стали перевёртышами десятки людей, оказавшихся в высших эшелонах власти. Океан способен абсорбировать грязь и самоочищаться до определенного уровня загрязнения, а тут в руководстве страны оказались предатели, страну не знавшие и не любившие. Порядочные люди вообще-то стреляются, когда к ним приходит прозрение или вдруг убеждаются, что вели народ не в ту сторону. В крайнем случае, затихают и уединённо отмаливают грехи, совестливо отказываясь от учёных званий и генеральских погон, заработанных на «ложных» основах и учениях. Здесь же в церковь шли лишь под телекамерами, а право стреляться оставляли тем, кто не изменил своим убеждениям...

– Буерашин, – донеслось из приёмной.

А может пришло известие о Звезде Героя? А почему бы и нет? Вроде стыдно об этом думать, но раз уж завертелось...

---

[1] В свое время Б.Н.Ельцин именно за партийное руководство строительством социализма был удостоен орденов Ленина, «Знак Почета», двух - Трудового Красного Знамени. Впоследствии США удостоили его и медалей «Щит свободы» и «За самоотверженность и отвагу»...

Уже без напряжения вошёл к «Кап-разу», ответил на рукопожатие. Только командир смотрит ещё не как на Героя...

– Просят человека в охрану Ельцина. Пойдёшь? Он же для тебя вроде кумира...

В словах горечь и усмешка. Что Ельцин на каком-то этапе в сравнении с Горбачёвым был предпочтителен или что надо ему самому отдавать подчинённого?

– При этом гарантий никаких по твоему обратному возвращению.

«Кап-раз» взгляд не отвёл, и Егор понял: вопрос с переходом из ГРУ в Службу безопасности Президента России ему решать самому. При этом догадываясь, что разведуправлению желательно иметь своего человека около «Тела»[2].

Вообще-то на Полежаевке онемели, когда из ГРУ нежданно запросили офицера в растущую, как на дрожжах, охрану Ельцина, в знаменитую «девятку»[3]. Если уж и там был некомплект офицеров, то можно представить, как упало в глазах политиков КГБ, откуда всегда пополнялась эта самая «девятка»[4]. Не мудрено, на госбезопасность навесили столько собак, ей приписали такие прегрешения, что решили держать старые чекистские кадры от греха подальше?

Генштабовскую, военную «разведконтору» подобное миновало лишь потому, что, в отличие от своих извечных конкурентов, они никогда не занимались политикой – по крайней мере, в своей стране. Не имели военные разведчики в пределах Садового кольца и зданий, памятников, которые можно было бы митингующим громить под объективами телекамер, доказывая свою лояльность и приверженность демократии.

Оказались «грушники» более недоступными и для общественного мнения, которое формировали депутаты вкупе с журналистами, взявшими на себя право оценивать вклад каждого ведомства на алтарь Отечества. При этом за эталон кристальной чистоты принимались «общечеловеческие ценности» и права человека – понятия настолько расплывчатые, что понимались каждым человеком по-своему. Эдакая абракадабра из Сальвадора Шагала в красном круге Малевича.

И вот капитана Буерашина собственный командир спихивал в чан, в котором вчерашние глашатаи коммунизма звали народ идти в прямо противоположном направлении.

– Ты только не раскрывай там рот, – дал моряк самый ценный совет, словно согласие Егора было уже получено. – И не петушись. От тебя ничего не зависит, поэтому...

– Имею право спросить: за что?

– Свои люди везде нужны, – наконец произнес «Кап-раз» ключевую

---

[2] «Тело, Дед, Хозяин» - Б.Н.Ельцин в разговоре между охранниками.

[3] 9-е Управление КГБ, отвечавшеё за охрану важных государственных персон. При этом, как известно, 1-е Управление занималось внешней разведкой, 2-е - контрразведкой (борьба со шпионажем, разработка агентов и т.п.), 3-е - военная контрразведка (особисты), 4-е - безопасность на транспорте, 5-е - борьба с идеологическими диверсиями противника, 6-е - безопасность на промышленных объектах (в т.ч. «оборонка»), 7-е - негласное наружное наблюдение, 8-е - шифровальщики (самые закрытые люди в стране) 16-е - дешифровальщики (ещё более закрытые и самые уважаемые), 15-е - безопасность подземных коммуникаций (бункера, «второе» метро), - 10-е - архив, где служил Юрка Черёмухин, и т.д. Сам принцип обозначения охраны шел от количества первых охранников Сталина – девяти человек.

[4] Не путать с 9-ой статьей расходов, предназначенной для оплаты агентов.

фразу, за которой, надо полагать, и скрывалась глубинная суть нежданного предложения.

Взял стоявший у глобуса военно-морской вымпел, подержал его на весу, словно прощаясь, – и в самом деле протянул Егору. Смысл мог быть двоякий: если на флоте вымпел вручают кораблю, который доказал свою готовность к самостоятельному плаванию, то в разведке самый высший пилотаж – это войти в стан противника под чужим флагом.

Не заговор и не новое ГКЧП, естественно, подразумевались: в этом плане людей в погонах приучили служить «за», а не «против». Скорее всего, Генштаб в самом деле боялся уничтожения разведки как таковой, и потому спешно выставлял глаза и уши в любых местах, откуда могла исходить угроза – рядом с Горбачёвым, Ельциным, где-то в окружении Буша, у самого чёрта на рогах. Геральдисты, определяя в эмблему ГРУ летучую мышь, накрывшую распахнутыми крыльями земной шар, оказались крайне дальновидными[5]. Только вот сам Егор, похоже, подпал под девиз нелегальной разведки: «Без права на славу – во славу Отечества». Без права на славу...

– Когда и куда прибыть? – обречённо уточнил Егор.

– В четверг в 9.45. Белый Дом на Красной Пресне. Метро «Баррикадная»... Что улыбаешься?

– Интересное словосочетание – красные, белые, баррикады, – поймал игру слов Буерашин. – Такое ощущение, что пока не сменим названия, будем обречены на бесконечные революции.

– Только не они, – поднял руку «Кап-раз». – У них одна привилегия — выкашивать далеко не худших людей. И последнее. Тут Олич заскакивал в Москву на минуту, передавал привет и просил по возможности помочь сестре.

– Я звонил, она уволилась с работы...

– Держи домашний.

Заискрило, пошёл ток по крови, воссоздавая образ той, что занимала в последнее время слишком много места в мыслях Егора. Наверное, больше всего удивилась бы этому сама виновница, ни сном ни духом не ведавшая о переживаниях капитана после встречи у Большого театра. Фамилию можно было не называть, ибо не осталось в Москве магазинов, где бы им не были скуплены все мыслимые и немыслимые образцы точилок. Выстроенные в два ряда на полке в малюсенькой однокомнатной комнатушке офицерского общежития, они теперь категорически не давали забыть точёное личико Иры, детскую чёлку, волосы по плечам. Максим, Максим! Где бы тебя и под какой фамилией не носило, ты виноват, что однажды передал ракушку. А с ней не просто шум моря, а и голоса сирен, что тащат в пучину...

Выйдя из кабинета начальника, принялся названивать по долгожданному номеру. Получив раз за разом короткие гудки, через Черёмухина «проколол» номер, вычислил по нему домашний адрес абонента. Помчался на другой конец Москвы в надежде на встречу хотя бы около подъезда. Сидел в засаде до тех пор, пока местные старушки, заприметив лузгающего семечки незнакомца, не позвонили в милицию. Маленький молоденький участковый, которого без формы ещё можно угощать конфеткой, почти грозно потребовал документы, но после их изучения сам всё и доложил: жильцы Точилкины свою квартиру только-только продали, новое местожительство пока неизвестно – требуется оформлять официальный запрос.

---

[5] При этом в каждом подразделении ГРУ эмблемы имеют свои отличия. У боевых пловцов место летучей мыши занимает лягушка.

Вместо сладостей Олег угостил лейтенантика семечками и отправился готовиться к встрече с новыми сослуживцами.

...В Белом Доме с капитаном Буерашиным долго не разговаривали. Возможно, доверяли рекомендации ГРУ, и требовалось лишь удостовериться, что кандидат жив-здоров.

Когда его наличие подтвердилось и не вызвало отторжения, сухощавый подвижный майор прямо в фойе «БиДе» расписал ему ближайшую карьеру:

– Пойдёшь сначала «под сосну», затем поработаешь «мешком».

Названия таили в себе профессиональную тайну, но, судя по всему, должности Егору светили не очень престижные. Да только что офицеру престиж? Как поётся, жила бы Родина... И помятуя наказ «Кап-раза», от уточнений воздержался.

И, кажется, зря, потому что даже рядом с президентом России имелись не просто низшие, а откровенно тупые должности, от которых он мог при собеседовании отказаться. Как бы то ни было, а к Герою представлен. И посмотрим, как все закрутятся вокруг, когда Указ будет подписан...

– Стоишь на этом повороте, – взявший над Егором кураторство майор самолично привёз в какой-то лес и выставил на обочину.

– Задача?

– Просто стоишь. На случай, если здесь поедет Ельцин.

– Как долго?

– Неделю, три, месяц, полгода...

– И всё?

– Всё.

Это было даже не мелководье, где рыба чувствует близкую погибель. Здесь Егора целенаправленно выбрасывали на берег. Два-три взмаха жабрами – и как профессионал останешься навеки с открытым ртом.

Увидев поникшее лицо подчинённого, «рыбак» снизошёл до объяснений:

– Пост круглосуточный, поскольку охрана – процесс непрерывный. Если в ней существуют промежутки, её смысл теряется. В 18 часов сменят. А пока стой под сосной, думай о женщинах или пиши стихи.

О женщинах думать сладко, если предполагаются будущие встречи с ними. Москва оказалась для лирических знакомств у Егора каким-то проходным двором. Таня и Вера из Журиничей далеки и не его. Стихи не слагались, бросил рифмы ещё в суворовском училище, когда занялся рукопашным боем и стрельбой. Скорее всего, последнее его увлечение службе охраны президента более всего и приглянулось. Но зачем же опускать столь низко? Его, аравийского тарантула? Может быть, даже Героя? И ради чего?

После смены и вовсе духом пал. В общаге включил телевизор, а над Кремлём реют уже два флага. Красный, советский – над Горбачёвым, оставшимся сидеть «на уголке»[6], и новый российский триколор – над Ельциным, въехавшим в четырнадцатый корпус Кремля[7].

Два президента, люто ненавидящие друг друга, ужиться в одной берлоге не могли ни при каких обстоятельствах, так что схватка предполагалась скорая по времени. Бедные чубы холопов...

Однако говорить вслух об охраняемых лицах было не принято. Даже менявший Егора «под сосной» майор Штиблет, получивший прозвище за то, что протопал в Кремлёвском полку от солдата до большой звёздочки, гово-

[6] На жаргоне охраны - резиденция Президента СССР.

рил о чём угодно, но только не о нравах нынешних обитателей Кремля. А тем более не затрагивал причину, по которой его самого сослали в лес. Все разговоры Штиблет переводил на своего любимца, бывшего министра обороны Дмитрия Фёдоровича Устинова.

– С ним начинал. Святой человек для страны.

Буерашин при Устинове носил ещё курсантские погоны, в училище министра за огромную фуражку и возраст называли «мухомором», а тут, оказывается, святой...

Штиблет заметил скептицизм сменщика:

– В 41-м, в тридцать три года – нарком вооружения. В 42-ом – единственный военный, кто получил звание Героя Социалистического труда. За то, что перевел все заводы на Урал.

Этих энциклопедических фактов должно было оказаться достаточно, чтобы новичку замереть от благоговения.

– А как он любил скорость! – Штиблет служил у министра водителем, и предстоящему рассказу Егор мог верить безоговорочно. – У нас же по инструкции – не более ста двадцати. Вырвемся на Кутузовский, Дмитрий Фёдорович начинает молча буравить меня взглядом. Втягиваю голову в плечи, но скорость держу согласно приказу. Маршал терпит, терпит, а потом говорит: «Если мы влетим и покалечимся, тебя вылечит Министерство обороны. Но если я тебя выгоню, тебе не поможет никто».

– Логично, – оценил Егор больше юмор, чем непослушание маршала.

– Но ведь не выгонял! – прорвалась у Штиблета уже сегодняшняя боль, когда его убрали с какой-то должности близ «Тела». Скорее всего, по каким-то причинам не оказался рядом с ним в день путча. – Не выгонял. А ежели спешил, сам садился за руль, чтобы не подвести меня. Кстати, тогда и пошло гулять по Москве удивление: если маршал сидит за рулем, то кто же тогда рядом с ним такой маленький и лысый?! Я сидел рядом!

Штиблет гордо погладил свою гладкую тыковку, улыбнулся далёким воспоминаниям, когда можно было гордиться даже втянутой в плечи головой...

Несмотря на грызню двух президентов, «девятка» продолжала оставаться общей и, в отличие от хозяев, лодку не раскачивала, ажиотажа не нагоняла. И это притом, что охранники, оказавшиеся в дни путча рядом с Ельциным, вышли в герои, а «горбачёвцев» таскали следователи. Это и понравилось Егору в «девятке» больше всего, что никто не стал бегать от одного хозяина к другому. Единственное, шутки пошли слишком уж прямолинейные:

– Ну что, стрелять будем друг в друга?

– Только из-за женщин.

Хотя все ждали развязку. Ельцин мог поделиться последней бутылкой водки, но ни при каких обстоятельствах – завоёванной властью, и что одним четырнадцатым корпусом в Кремле он не удовлетворится. При неумении Горбачёва держать удар исход противостояния определялся заранее.

Новая должность позволяла Егору иметь сутки отдыха, и он регулярно вырывался на Полежаевку, добросовестно пересказывал новости, касающиеся президента России. Но в какой-то момент почувствовал, что его слуша-

---

[7] Этот, советский флаг, последним развевавшийся над Кремлём и тайно снятый ночью 25 декабря 1991 года, выкупят потом немцы и вывесят над одним из зданий в Берлине. Для истории. Или насмешки, ведь по мирному договору с Германией красный флаг вечно должен был развеваться над рейхстагом. Чтобы это исключить, все послевоенные годы купол рейхстага находился на реконструкции. Впоследствии именно немцы выкупят и мемориальную доску с дома Л.И. Брежнева.

ют вполуха, что жизнь и контакты Ельцина «грушникам» до лампочки. Вывод напрашивался парадоксальный: «Кап-раз» засунул его в охрану не в качестве засланного казачка, а чтобы элементарно спасти. Как ни странно, около Ельцина оказалось самое спокойное место: здесь никого не трогали, а власти у охранников наваливалось столько, что любое их шевеление пальчиком приравнивалось к постановлению ЦК КПСС и подлежало безоговорочному исполнению. «Кап-раз», вручая вымпел, предполагал его сохранность, сбережение, а отнюдь не выставление напоказ в бою...

А тут сбылось и предсказание майора из «БиДе» насчёт выдвижения. Не успел Егор пересчитать сосны в зоне ответственности, как его выдернули на очередную ступеньку тупости – в «мешки». Отныне его обязанностью становилось сидеть в машине сопровождения президента с единственной обязанностью: выполнять команды старшего экипажа.

– Что, кровь перелили? – усмехнулся грустно Штиблет, узнав новость.

Егор вопросительно посмотрел на сменщика: это значит...

– Ну, ты теперь голубых кровей, белая кость... – пояснил майор новое физиологическое состояние сменщика. – Приближен к «Телу».

Вот оно что! Майор, сам того не осознавая, открыл, наконец, Егору тайну его миссии. Конечно же, его готовили в камикадзе, чтобы однажды он мог направить машину сопровождения на...

Додумывать до конца не хотелось. Да и не верилось, что ГРУ так глубоко влезло в политику.

Ельцин, в отличие от Устинова, на скорость и охранные предписания не обращал никакого внимания. Он говорил, где и в какое время требовалось быть, и охрана сама выбирала и маршрут, и скорость. Сидеть у президентской машины «на хвосте» или идти перед ней «лидером» – это для охранников роли не играло, заменяемость шла полная. Только теперь капитан Егор Буерашин перестал быть просто «мешком»: он стал тщательно анализировать маршруты движения Хозяина, состояние трассы – кюветы, придорожные столбы, парапеты, повороты. Всё, что могло помочь ему в час «Х». Если он случится. Ну, а потом... Потом, если жив останется, позабудет и имя своё.

Глава 15

– В прошлом такого не случалось, – озабоченно мял в руках шапку Фёдор Максимович, склонившись над волчьими следами на первом снегу.

Подобных отпечатков в лесу он повидал немало. Но чтобы волки повадились в село, чтобы топтались около огородов...

– Может, бешеный? – предположил присевший рядом Васька.

– Бешеный – это не так страшно, – не разделил тревогу внука дед. Морозец прихватывал, и он вернул шапку на голову. – С него, как с больного человека, что возьмёшь? Он же не охотится, он просто кусает кого ни попадя и бежит дальше. А через полгода сам помрёт. Хуже, если матерый повадился. С таким сладить – танк из ружья легче подбить.

– Ну, и что там? – попросила известий стоявшая за оградой сваха. Это она услышала рано утром тревожное мычание скотины, а когда Пётр беспомощно развёл руками перед истоптанным снежным настом у штакетника, поспешила к Фёдору, уговорила прийти хотя бы глянуть на ночные следы.

– А может, всё ж какая-нибудь бродячая собака? – попробовала усомниться сваха.

Убеждая больше сваху, чем себя, Фёдор Максимович выбрал отпечаток поотчётливее, достал из коробка спичку и положил её поперёк следа. Кто охотился на волка, знает: если боковые пальцы не доходят до передних и в это расстояние ложится спичка, то собака исключается.

Глянул на сваху – понимаешь? Та не понимала, и Фёдор переключился на отпечаток левой передней лапы. На ней отсутствовали два пальца, и это оборачивалось ещё более худшими предположениями: значит, волк уже побывал в капкане, а недобитки в десятки раз злее и осторожнее.

– Васька приведёт Тузика, привяжешь возле хлева, – единственное, что мог пока предложить Фёдор Максимович. Отмахнулся от приглашения зайти, поесть горячего, хлопнул Ваську по плечу: – Пойдём, пора за уроки браться.

– А может, всё же пробегусь по следу, – кивнул внук в поле, прилаживая на плече двустволку. Хотя понимал: поход по следу становился бессмысленным ещё и потому, что поднялся ветерок и дым из труб потянулся в сторону леса. Для зверя, живущего запахами и слухом, – лучшее подспорье в борьбе с человеком. А вот дней через шесть-семь, когда волк обойдёт по кругу весь свой охотничий предел, свахе надо будет поостеречься...

– Да пусть они с Анечкой у нас хоть зиму переживут, тебе же легче будет, – в который раз попробовала уговорить сваха отпустить к ней внуков.

– Они не бедствуют, – успокоил Фёдор, направляясь по своим же следам с огорода. Снега начерпал в валенки ещё первый раз, сейчас, как ни осторожничал, добавил. Это волк бежит ровной строчкой, да и стая может пройти след в след, как один зверь. А человеку, прежде чем набить тропку, надо сначала замерзнуть, потом вспотеть...

Вспотел Фёдор Максимович ровно через неделю, когда прибежал на крики Мани и увидел в огороде труп растерзанного Тузика. Обычно волки хватают жертву за брюхо, выпускают кишки и оставляют околевать. Но пёс, привязанный на цепь, не смог убежать, отбивался до последнего и потому оказался изрезан клыками весь.

– Не смотри... – Фёдор Максимович положил ладонь на голову оказавшейся рядом Анютке.

Но внучка и без просьбы закрывала ладонями глаза.

– Беги позови Ваську.

– Я б-боюсь одна.

– Ты уже большая девочка.

– Н-ну и что. Б-большие т-тоже б-боятся.

«Твоя правда, девка», – согласился Фёдор Максимович, лаской успокаивая девочку. Васька тоже здесь не помощник, просто внучке надо чем-то заняться, отвлечься...

– А ты чего у бабы Мани делала?

– Ф-ф-фольклор с-собирала.

– Чего?

– П-песни с-с-старинные. В-вера С-с-сергеевна п-просила...

– Брось заикаться.

– Х-хорошо.

– И не бойся, беги домой. Ваське можешь ничего не говорить. Сам похороню. Беги-беги, я буду глядеть за тобой до хаты.

Аня сначала медленно, а потом что есть силы побежала по дорожной санной колее. На повороте около родного дома оглянулась. Фёдор махнул ру-

кой – беги дальше. Но остаться без пригляда даже на малом расстоянии девочка побоялась и свернула к вышедшей подметать крыльцо Оксане.

«Ну и ладно», – успокоился за внучку дед. Пётр, конечно, хорош, что додумался выпустить девку из хаты на смотрины. Ума как не было, так и не появилось. А ещё просят, чтобы внуки пожили у них. Загубят ребят и сами не заметят, когда и почему.

Вернулся во двор сватьёв. Пётр, выбежавший на визг собаки с вилами, так и держал их, словно винтовку. Стрелок хренов. Маня пересчитывала кур в хлеву.

– Прибрать к земле надо, – кивнул Фёдор в полуоткрытую калитку, через которую виднелся окровавленный Тузик. Зимой калитки на огород не закрываются – откапывать их после каждого снегопада ни резона, ни силы нет. Но теперь, видимо, придётся, раз повадились незваные гости. А судя по следу, приходил куцепалый знакомец.

Сват нырнул в хлев за лопатами. Фёдору подал совковую – разгребать снег, себе оставил штыковую – долбить землю. Вроде по справедливости.

– Ломик захвати, – посоветовал Фёдор Максимович.

Пётр никогда не отличался говорливостью, после отсидки ещё больше замкнулся, а уж при свате и вовсе молчал. Но совету внял. А Маня, как переводчица между немым и нетерпимым, вынесла старенькую клеёнку с кухонного стола:

– Не на себе же нести.

Разложили исполосованный кухонными ножами цветастый квадрат рядом с бездыханным, исполосованным теперь уже волчьими клыками, собачьим телом. Пётр вознамерился перевалить околевшего Тузика на волокушу лопатой, но Фёдор не побрезговал стать на колени, переложить окровавленного пса на подстилку руками. Но когда уже сват взялся за края подстилки, чтобы нести собаку на весу, Фёдор махнул рукой – потянем волоком.

Некоторое время за стариками тянулась по снегу кровавая строчка, но мороз быстро прихватил потревоженную рану, и дальше по снежному покрову пошла лишь слегка примятая волна: Тузик рос хотя и балованным на еду, но в хорошую собаку не вымахал. Так что против полусотни налитых зверством волчьих килограммов, снабжённых клыками, ему изначально было не устоять.

«Сам привёл, сам привязал, сам тащу хоронить», – корил себя Фёдор. Пётр своей вины в гибели собаки не видел, выбежал на визг Тузика почти сразу, только надел шапку да схватил на крыльце вилы. Но любое прегрешение на Земле, видать, изначально определялось сватом ему в вину...

До лога, где закапывали павшую скотину, не дошли, выбились из сил около заброшенных силосных ям.

– Тут ему тоже будет неплохо, – определился Фёдор. Тузик не от болезни умер, опасности инфекции нет, и смысла идти к скотомогильнику не имелось. – И приметно.

Подыскали местечко повыше, оглядели околевшего Тузика, примеряясь к размерам ямы. Снега на возвышенности оказалось немного, раскидали быстро. Дольше вырубали будылья прошлогодней травы: земля звенела, не пуская в себя лопаты.

– Без лома не пойдёт, – сменил инструменты Фёдор. С гаканьем ударил несколько раз в одну и ту же лунку, но взял слишком частый темп. Остановился передохнуть. Пока шапкой утирал пот со лба, что-то вспомнил. Хотел

промолчать, но не сдержался: – Вот так же в войну по зиме мы хоронили в лесу и своих.

Сват, подбиравший за Фёдором отколовшиеся земляные комочки, замер. Поднял голову. Наверное, впервые за все послевоенные годы взгляды их встретились, и Фёдор увидел в глазах родственника столько бездонной боли, что пожалел о сказанном. Собственно, он и не намеревался упрекать Петра за прошлое, просто мёрзлая земля сама напомнила, как вгрызались в неё штыками партизаны по печальным поводам...

Но то ли смерть собаки взбудоражила Петра, то ли в самом деле когда-то наступает предел человеческому терпению, но он поднял лопату и, оскалившись, пошёл на Фёдора. Тот от неожиданности отшатнулся, оступился, упал.

– Ну что ты от меня хочешь? – затряс над ним лопатой Пётр. – Всю жизнь ты мне отравил своими попрёками. Все люди вокруг как люди, один ты...

– Да ладно тебе, – сконфуженно бросил Фёдор, стараясь подняться. Едва удалось, поднял ломик – вроде вооружился. Желание продолжать разговор исчезло, но чтобы оставить последнее слово за собой и затушевать страх, возникший от нежданного поступка Петра, поставил свата на причитающееся ему в истории место: – Я тебя в полицию не гнал.

Ещё вчера Пётр промолчал бы, но сейчас лопата не опустилась даже перед ломом.

– Суд определил, что я не сделал ни одного выстрела. Ни одного!!! А за остальное отсидел. Отсидел, понимаешь! – кадык на худой небритой шее Петра задёргался, выдавая близкие слёзы. – И лично тебе я ничего плохого не сделал. Ничего! А вот твой Иван...

– Что Иван? – опешил Фёдор.

– А на чьей совести смерть моей дочери? Что делаешь круглые глаза? Зачем он потащил её в Чернобыль? Всё героями хотите быть?

Ненароком получилось, что попрекнул представлением на Звезду Героя Егорку. Фёдор встрепенулся, но сват не останавливался, продолжал выворачивать наизнанку душу обоим:

– А зачем отваживаешь внуков от нашего дома? Они ж одинаково как твои, так и мои! – Слёзы не удержались в глубоких тёмных впадинах глаз, пролились на длинные отвислые щеки. – Хотя знаю. Все знаю – ты мстишь за Маню! Думаешь, секрет, что сам хотел её взять? А она пошла за меня! Да, за меня, потому и... потому...

Не стал уточнять, швырнул лопату, развернулся и пошёл к селу – сухой, сгорбленный. Увидев, что ступает в следы заклятого врага, перешёл на целину.

– Да ты что, погоди, – прошептал Фёдор, не ожидавший подобного взрыва эмоций.

Но не для того выплескивал наружу боль Пётр, чтобы снова возвращаться к унижениям. В тот страшный сорок первый год, когда одноклассники Фёдор Буерашин и Пётр Климчук разошлись в разные стороны. Неужели у них, проживших жизнь, породнившихся и потерявших самых близких людей, вместе хоронивших безвинного пса, попытавшегося спасти их от общего врага, всё повторяется?

Беззвучно плакал, бредя по снегу, Пётр. Скрежетал оставшимися зубами у могилы собаки Фёдор. И были согласны в том, что война в их судьбах – ерунда позапрошлого снега. Просто Пётр вслух сказал о самой большой тай-

не, которую Фёдор хранил всю жизнь и ни разу не показал на людях – о его любви к Мане...

– Ты что? Что один? – встретила та мужа у ограды. – А где сват?

– Жив твой Фёдор, – оттолкнул старик сначала прихваченную снегом калитку, потом жену. Маня прикрыла ладонью рот, сдерживая вскрик, но поспешила вслед за супругом в хату: слишком незнакомы были, а потому пугали вид и состояние мужа. А пуще всего – слова о Фёдоре. – Чтоб его ноги и близко у нас не ступало! – не оборачиваясь, приказал Пётр. – Санки брала у него? Сегодня же свези обратно.

Хлопнул дверью перед носом.

– Господи, – перекрестилась Маня, – с немцами уже примирились, а меж собой всё лаемся...

Отыскала глазами санки у ступенек крыльца. Не брала их – Анютка привезла сама:

– Бабуль, в руках и одно ведро от колонки несёшь – спотыкаешься, а тут поставила флягу на саночки – и за одну поездку управилась с водой на целый день.

Сам Пётр не шибкий-то ходок к колонке, по утрам ещё хорохорится, а чуть вихлянётся – и ладнает втихаря шерстяной платок на поясницу. Трудно без санок будет. Но и ослушаться – себе дороже, муж вроде тихий-тихий, а флягу под горячую руку враз опрокинет в снег...

Прислушалась, что творится в хате. Тишина. Пётр отличался спокойным и отходчивым нравом, и чтобы не теребить его, торопливо направилась с санками к внучке, надеясь разминуться с Фёдором. Со свадьбы избегала глядеть в эту сторону улицы. Думала, слюбится с Петром, стерпится, забудется всё остальное. И слюбилось, стерпелось, раз прожили жизнь, не насмешив людей. Да ещё и детей нарожали. Она – себе, Фёдор – себе...

– Б-бабушка, – услышала голос Ани.

Внучка махала ей с крыльца родного дома, на который после похорон дочери и зятя Маня не ступала ни разу. Фёдор дал понять через людей, что дом переходит к внукам, которых определил жить до взрослости у себя. Как будто они с Петром позарились бы на детское. Да и не шли ноги туда, где сомкнулись глаза дочери...

Остановилась около калитки, поинтересовалась:

– Домой пойдёшь? Я санки везу.

– П-пойду. П-подожди меня.

Внучка воротилась в дом за пальтишком, а вместо неё вышла из хаты новая постоялица. Не погребовала, спустилась со ступенек, подошла к калитке поздороваться.

– Может, зайдёте? – предложила на всякий случай. А когда Маня, как и все прошлые разы, отказалась, шёпотом поведала: – У Анюты какой-то нервный срыв. Рыдает, как взрослая. Может, надо полечить чем от испуга?

Обговорить болезнь не успели – выбежала Анна, на ходу вновь разрыдалась и уткнулась бабе в тужурку.

– Т-тузик... Ба-абушка, к-как он е-е-его...

– Не плачь, детка, не надо, внуча. У дедушки Феди есть ружьё, и серый своё получит.

– П-правда?

– Правда. Пойдём потихоньку домой, а то Васька без завтрака сидит. Ребята – они такие, что без женских рук никак в этой жизни не будут ни сытыми, ни обстиранными, ни умытыми, – махнула при этом учительнице рукой –

до свидания, мы пошли. А сама всё шептала и шептала безостановочно: – Ты тут про праздники давеча спрашивала, так я вспомнила ещё один. Кукушкины слёзки называются, расскажу потом. Хороший праздник, девичий. Как раз под тебя скоро подойдёт, там девочки двенадцати лет хороводятся. И песни вспомню, в нём много песен. А Вера Сергеевна молодец, что собирает приметы и праздники, и вам оглянуться будет на что. Ты, наверное, тоже станешь учительницей, когда вырастешь? Кем хочешь быть?

– У-учителем.

– Вот и умничка, вот и ладнушки. На санках, хочешь, повезу? Ну и правильно, уже большая, это маленьких возят. Васька не обижает? Ох, Анна, глаз да глаз за ним надо держать. Связался, дурак, с такими, которые на кусок хлеба не поторопятся, лучше украдут. Так что ты его без своего догляда не оставляй, приструнивай. Погоди, дай раздышусь, а то за тобой не угнаться. Ты у меня девка легконогая, но надо бы валеночки новые справить. Или уже к весне дело? Покажешь, какие сапожки остались с осени? А пенсию принесут – пойдём вместе в магазин, примерим какую ни есть обновку. Или даже в Суземку на рынок съездим, там выбор богатый. Сядем на автобус, я пенсионерка, ты дитё – вот бесплатно и доедем, в хозяйстве не убудет. Поедем, как потеплеет?

– Д-да!

– Значит, договорились. А вон и Васька крыльцо метёт. Уж не заболел ли – веник в руки взял? Теперь добежишь сама? Держи санки, чтобы мне не чекалдыкать с ними обратно. А завтра привезёшь, я как раз тесто на блинчики замесю. А дедушка Федя сейчас придёт. Замёрзнет, небось, а ты поставь ему чай кипятиться. Справишься?

– Д-да.

– Беги, а я постою.

Затирая следы санками, внучка побежала к дому. Правильнее было остаться с девочкой до прихода Фёдора, но с ним пока и впрямь лучше не встречаться. Что наговорили друг другу мужики, лучше сначала услышать от своего. Любимый иль вынужденный, но мать приучала с девок: почитай мужа своего, как крест на церкви. Благодаря этому и жизнь сладилась, и не на её краю менять привычки...

Дождалась, пока Аня добежит до брата и примется рассказывать ему про Тузика. Конечно, про него, потому что не стало для внучки на земле большего горя, чем смерть собаки. Белолобым щенком привёз Тузика из Брянска Иван, когда навсегда выписывался из больницы по безнадёжности. Последняя ниточка оборвалась живой памяти об отце – да ещё так страшно.

– А чего заикаешься? – как ни был удручён известием о гибели собаки Василий, а подумал о живых.

– Н-не з-знаю. Р-рот не г-г-говорит. Н-надо к б-бабке Ал-лалылихе, улёк вы-иливать.

Зойкина бабка жила тем, что лечила от заговоров и заикания. Зажжёт свечу, поводит кружкой с водой вокруг головы, пошепчет чего-то, а затем выливает в посудину растаявший воск. По причудливым формам, принимаемым воском, и разгадывает, от чего пришёл испуг. У Аньки наверняка получится пасть волка. Так это и без шептания ясно, и не обязательно отдавать за это кусок сала или десяток яиц ворожеи.

– К бабке, бабке... – пробурчал Василий. Не сало, конечно, жалел, а с Зойкой не хотел встречаться, если заставит дед вести сестру на лечение. –

Погоди тут, в дом зайдёшь, когда позову. Домети пока, – вручил сестре стёршийся веник.

Сам скрылся за дверью. В серванте отыскал фонарик, в шкафу – белую простынь. Укутался в неё. Задёрнул шторы, создавая темноту. От ребят слышал, что клин надо вышибать клином: тех, кто заикается от испуга, следует напугать ещё раз. И как можно страшнее.

Приоткрыв дверь, крикнул сестре:

– Заходи.

Едва Анна с белоснежной и слепящей улицы шагнула через порог, Васька бросился на неё с включённым фонариком, заорав и замахав балахоном. Сестра от ужаса отшатнулась, ноги у неё подкосились и она рухнула на пол, безмолвно хватая ртом воздух.

– Ну что, полегчало? – склонился над ней Васька.

Анька лишь мычала, бессильно отстраняясь от брата, как от исчадия ада.

– Ну скажи, скажи что-либо, – просил Васька, сам перепугавшись: не переборщил ли? Правду говорили ребята или сочинили брехню на ходу? – Ты можешь говорить? Ну хотя бы позаикайся!

Аня только мычала, мотая головой. Во дворе послышались шаги деда, и Васька бросился отдёргивать шторы, засовывать в шкаф простынь. Поднял сестру, притащил на диван и показал кулак: молчи.

– Что тут у вас? – с порога почуяв неладное, спросил дед.

– Ничего, – пожал плечами Васька. Скосил глаз на сидевшую в оцепенении сестру. Вытер пот на лбу: – Анька про Тузика рассказала...

– Отнеси сватьям лопаты и ломик, – приказал дед. – И санки наши забери.

– Баба Маня уже привезла.

– Ага, сами догадались. Ну и ладно. Иди, что стоишь.

Васька разрывался надвое: и хотелось из-за Аньки смыться из дома как можно скорее, и страшился, что та без присмотра скажет или покажет деду, почему стала немой. Выходя, попросил сестру взглядом: пока ничего не говори. В смысле, ты, конечно, заговори, но ничего не рассказывай. Я же хотел как лучше.

Глава 16

– И как служба?

«Кап-раз», даже если и хотел выразить сочувствие Егору, добился обратного. Уж кому ни знать настроение бывшего подчинённого! Но раз командир отыскал его в выходной день, предложил погулять в Сокольниках и поинтересовался службой – пора потирать руки? Курок, надолго оставленный во взведённом состоянии, или заклинивает, или у него происходит самопроизвольный спуск...

– Руки-то чешутся по настоящему делу? – считал, как с листа, мысли Егора «Крокодил».

Ладони вообще-то хотелось потереть от мороза, потому что конец ноября не баловал теплом, а от прошлой зимы осталась одна перчатка – вторые народ теряет так же часто, как и зонтики. А вот командир внимания на холод не обращал, хрустел себе промерзшими с краёв лужицами на дорожках да покуривал. В какие-то мгновения он забывался в своих думах настолько, что Егор чувствовал себя рядом с ним лишним. Но едва делал неосторожное движение, выпадавшее из ритма, «Кап-раз» встряхивался, оглядывался вок-

руг и закуривал новую сигарету. Вне сомнения, всё шло к тому, что прозвучит приказ. На что?

– В Белоруссии бывал? – вдруг поинтересовался командир.

– Пролётом, проездом.

– В начале декабря планируется встреча Ельцина и Шушкевича. В Минске.

Егор слышал о её подготовке, но мало ли с кем встречается президент России. Имеет право. Но только и командир спецназа ГРУ о лишнем, второстепенном заводить разговор не станет. Пришло время «Х»? И что ещё не сделано в этой жизни? Кому чего и сколько должен? Эх, Героя не успел получить. Лучше бы вообще не всплывало это представление...

По телу пошла мелкая дрожь, и Егор, согреваясь, глубоко засунул руки в карманы полупальто. Сжал там кулаки. Но плечи всё же передернуло от озноба, и «Кап-раз» внимательно посмотрел на него сбоку. А что смотреть? Чай, не каждый день выходишь на остриё копья, которое... Которое – что?

– Мне напрашиваться на мероприятие? – дал понять Егор о своей готовности действовать. Но при этом хотя бы чуть-чуть заранее знать, что от него потребуется.

Командир остался доволен реакцией.

– Встреча планируется в Минске, но белорусам прошла команда готовить резиденцию и в Вискулях, это небольшой охотничий домик в Беловежской Пуще. И не на двоих – Кравчук из Украины ожидается тоже.

Судя по сказанному, Егору доставалась роль информатора. Слово для гражданских крайне пренебрежительное, тянет на «стукача», зато для разведки первичные сведения – это ключ для дальнейших действий. Правильных действий.

– И что они могут нашептать друг другу? – осторожно начал выуживать уже для себя информацию капитан.

«Грушник» растёр уши, то ли согревая их теплом ладоней, то ли невольно намекая, что о разговоре не должен прослышать ни один человек. Ответил, словно зачитал справку:

– Анализируй. В августе Ельцин издаёт Указ и переподчиняет себе всю исполнительную власть СССР, включая Министерство обороны, МВД, ГКБ, печать, правительственную связь. Бред, но Совету Министров РСФСР предоставляется право приостанавливать любое распоряжение кабинета министров СССР. В октябре под юрисдикцию России переходят вся наука и высшая школа СССР. Ноябрь. К России переходит Госбанк, вся прокуратура, включая военную. Продолжать?

– Скоро от СССР останется только должность Горбачёва, – согласился спецназовец.

– В состав российской делегации вкупе с Ельциным включены Бурбулис, Гайдар, Шахрай, ненавидящие советскую власть. Ориентирован на Запад Шушкевич. Референдум на Украине вообще прошёл в пользу отделения от СССР, и Кравчук с этого конька теперь не слезет. Так что желательно знать обстановку на встрече из первых уст.

– А Горбачёв что?

Усмешки командира в усы хватило, чтобы Егор сам же и ответил себе: с президентом страны каши не сваришь. Если не пересолит, то сожжёт.

– Против Горбачёва и играют. А он сопли жуёт. Поработай.

Что ж, приказы иногда отдаются и вот так обыденно, без стойки «смирно» и металла в голосе. Тем более, «Кап-раз» уже и не командир Буерашину,

и вообще – не дело Главного разведуправления Генерального штаба расшифровывать словоблудие политиков. Спецназ – он там, где война, где реальный противник...

– Сам ни при каких обстоятельствах в одиночку ничего не предпринимай. Но когда вернёшься – встретимся.

В конце аллеи показались мужчина и женщина, и увидев их «Кап-раз» протянул руку для прощания и поспешил на новую встречу.

Егор в задумчивости вернулся в общежитие. Значит, никаким наконечником никакого копья ему не нужно становиться. И ни к чему особенному можно не готовиться. Радоваться или огорчиться? Солдат на войну не напрашивается, но и отказываться от неё погоны не позволяют.

От дум оторвала постучавшая в дверь комендантша:

– Вас к телефону.

– Я обещала появиться, здравствуйте! – услышал он тихий женский голос. Ира? А она умолкла. Одно дело – ею восхитились при первой встрече, и совсем другое – возобновить отношения, которые, собственно, и не начинались...

– Вы где? Мне куда бежать? – заторопился Егор, до конца не веря звонку.

– Если успеете, в 18 вечера на «Маяковке», – поддержала тон Ира.

Через пять минут Егор уже шерстил магазины в надежде купить подарок. Однако на полках красовались выложенные кремлевскими стенами банки килек в томате, для разнообразия прерываемые батареями из бутылок с уксусом. Какая шоколадка, мужчина? Какая коробка конфет? Про цветы и речи не шло.

Метро утопало в мусоре: город, погрязший в политике, обречён утонуть и в грязи. Теснясь поближе к теплу и свету, старушки выставляли на кусках картона банки с закрутками, самодельные лепёшки и булочки, старые вещи. Мелькали бутылки со спиртным. Попрошайничали дети и «синяки», как прозвали бомжей. Москва пыталась выжить, дотянуть до тепла и подножного корма. Днём она ещё водила по улицам миллионные толпы митингующих, а вечерами обнаруживала, что жизнь лучше не стала, зарплаты не прибавилось, а на витрины магазинов наклеивались всё новые и новые образцы блекло-зелёных талонов, по которым, предъявив столичную прописку, только и можно было получить масло, колбасу, крупы, табак, спиртное. И потому потрошились людьми кладовки, перебирались вещи и летние заготовки – перепродать второстепенное, чтобы перекупить нужное. Но утром вновь слушали, где и чей митинг. И бежали поднять флаг, транспарант, написанный от руки лозунг. Или влиться в общий хор голосов с единым и главным как у демократов, так и у коммунистов лозунгом – «Долой!».

Но к вечеру круг замыкался: картонки с призывами отправить Ленина на свалку, Ельцина на помойку, а Горбачёва отдать под суд вновь ложились в месиво около входов в метро. На них становился размокшей обувкой митинговый электорат и вновь выгадывал копейки на прокорм.

Чтобы народ взревел в яростной натуге, не хватало только спички, лозунга, призыва. Однако ни у Горбачёва, ни у Ельцина, ни у Зюганова, сцепившихся в мёртвой хватке за власть, не хватало сил на решительный рывок к финишной ленточке. Словно сам Всевышний оберегал Россию от безусловного лидера, готового повести народ на баррикады. Но и подобное противостояние без результата бесконечно продолжаться не могло, поэтому победа гарантировалась тому, у кого окажется больше коварства.

А Егору нужен был всего лишь букет цветов. Хотя бы одна гвоздичка – за всё царство-богатство, что скопилось в портмоне.

Но, видать, слишком неходовой товар потребовался ему. Баловство среди всеобщего безденежья. Потому что среди ломаных, плотных рядов торговцев, желающих промышлять цветами, не наблюдалось. Бросился вдоль скользкой улицы и, наконец, увидел желаемое: около пельменной стояла девушка с хиленьким, привёрнутым в газету букетиком розовых гвоздик. Скорее всего, ей самой кто-то подарил их, но Егор набрался наглости:

– Извините, вы не могли бы мне продать цветы?

Губы девушки скривились в такой презрительной усмешке, что Егор сложил в мольбе руки:

– Извините, просто очень нужно было. Доброго вечера.

Теперь требовалось хотя бы не опоздать к назначенному времени.

– Я без цветов. Но хотел... – признался Ире, вбежав минута в минуту в центр зала «Маяковской».

Она сама выбрала это место, даже уточнила – «под самолётом», и благодаря этому Егор рассмотрел мозаику под сводами станции. Как нам порой не хватает времени, чтобы остановиться, оглядеться, задать себе вопрос: куда бегу и зачем это делаю? Что вокруг?

– Зато такой точилки у вас точно нет, – он протянул ей обыкновенное лезвие, легендарную «Неву», способную пилить брёвна, но предназначенную почему-то для мужского бритья.

– Такой нету, – согласилась Ира. Но улыбнулась лишь на мгновение.

– Что-то случилось? – передалось её волнение Егору. Как всё же мало он знает Иру! Настолько мало, что не может предположить, в чём она нуждается.

– Не смертельно, но малешко есть, – Ира взяла его под руку, развернула в направлении эскалатора, вывозящего пассажиров из подземного благолепия в реальную жизнь.

Что оказалось удобным при свидании на «Маяковке» – очень много крутых ступенек для выхода на улицу. И тот не джентльмен, кто не поддержит спутницу под руку. Её можно не выпустить и на тротуаре, потому что улицы давно никто не скоблил от наледи.

– Мы прогуляемся немного? – попросила Ира, слегка прижавшись к Егору. И не успел он перевести дыхание от такой нежданной близости, попросила: – Я могу с тобой посоветоваться? – неожиданно перешла она и на «ты», выказывая высшую степень доверия.

Остановилась, чтобы посмотреть в глаза попутчику. Егор неуверенно улыбнулся, заправил Ире под берет выбившийся локон. Так ухаживают за детьми, для которых пропажа любимой игрушки становится вселенском горем. Какое горе заставило её позвать практически незнакомого мужчину? Но он готов свернуть горы, остановить движение на Тверской...

– Знаешь, меня познакомили с одним шведом...

Швед? Били их под Полтавой...

– Что швед? – встрепенулся, боясь, что Ира неправильно расценит его улыбку. Он готов говорить хоть о шведах, хоть о Петре Первом, лишь бы оказаться полезным.

– Он... предложил мне выйти за него замуж.

– Но ведь вы... ты замужем! – ничего не понял Егор. – Разводишься?

– Нет. То есть... да. Я и хочу с кем-то посоветоваться. Проговорить ситуацию. Подруги поддержат безоговорочно, а из мужчин... Из мужчин выбрала

тебя, раз Максим опять на какой-то войнушке бегает. Куда пойдём? – оглядела перекрёсток.

Удобнее было идти по Тверской, ветер в таком случае дул в спину. Но название улицы, приютившей «ночных бабочек», в сочетании со шведским замужеством Иры заставило свернуть на Садовое кольцо. Около Военно-политической академии негр в советской морской форме скороговоркой объяснял туристам, как лучше пройти к Патриаршим прудам.

– А где вы так хорошо научились коворить по-русски? – судя по акценту, туристы приехали из Прибалтики, и до них не могло дойти, как можно негру прекрасно знать городские закоулки и бойко изъясняться великолепным разговорным языком. Они пятьдесят лет в Союзе, а язык ломается до сих пор.

– А у нас в Рязани все так хорошо говорят, – удивился в свою очередь вопросу негр-моряк. Отдал честь застывшим прибалтам и направился в академию[8].

– Мне бы выучиться так по-шведски, – вернулась к своей проблеме Ира.

– Для... – подвиг её к продолжению разговора Буерашин.

– Я хочу ребёнка.

У людей есть удивительная способность – после «а» не говорить «б», заставлять собеседника задавать всё новые и новые вопросы. Только вот с Ирой тема слишком интимная, семейная...

– А... здесь? А муж?..

– У меня, к сожалению, не может быть детей. Пока... пока не пройду курс лечения. Мы поменяли с мужем трёхкомнатную квартиру на однушку в «хрущёвке»...

– Я тебя искал по старому адресу...

– Пустили все деньги на врачей, но... у нас в стране пока нет той методики, какая существует в Швеции. А если я выйду за господина Оберга, то, как подданная Швеции, буду лечиться практически бесплатно. В этом суть.

– А потом?

– Потом мы снова разойдёмся, и я вернусь к мужу.

– А он знает об этом?

– Пока нет. Этот вариант предложил сам господин Оберг, и... я не знаю, что делать...

Помолчали. Слишком деликатная тема. А ведь Ира ждёт совета. Точнее, поддержки...

– А ему, шведу, какая при этом выгода?

– Ему тоже нужна фиктивная русская жена, чтобы начать бизнес в России.

– Но он... не обманет?

– Не знаю.

– Думаю, что своей жене я бы разрешил подобное, – совсем не уверенный в этом, сказал Егор то, что хотела услышать Ира. Но, конечно, никому бы он её не отдал! Ни шведам, ни самому Петру Первому!

– Плохо, что я не твоя жена, – искренне ответила Ира.

Егор застыл на месте, взял её за плечи, повернул к себе. Поняв, что может сейчас услышать, Ира замотала головой, умоляя молчать – слишком много на неё навалилось, слишком многое ей придётся решать самой. Попросила лишь:

---

[8] Ира и Егор, скорее всего, встретили Джона Петерса, героя фильма «Цирк» - он в самом деле родился в Рязани в семье оставшихся в СССР артистов цирка, закончил военно-морское училище, стал поэтом.

– Ты только никуда не пропади, как Максим.

– Только на чуть-чуть. Туда и обратно.

– Не в Швецию, случаем? – свет клином сошёлся Ире на этой Скандинавии...

– В какие-то Богом забытые Вискули.

Господи, а Вискулей-то этих оказалось – три запорошенных снегом деревянных коттеджа, банька, хозблок да сам охотничий домик, построенный в 1957 году по указанию Никиты Хрущёва. И двигала им не блажь, но зависть. Однажды во время визита в Югославию его вывезли на охоту, организация отдыха превзошла все ожидания, и Хрущёв, не сделавший ни одного промаха, возжелал заиметь что-либо подобное у себя в СССР.

Для высокосветских охотничьих забав выбрали урочище Вискули – самое высокое, под 200 метров над уровнем моря, местечко в центре Беловежской пущи. Оригинальными не оказались: в этих местах бродили в своё время с ружьишком и литовские князья, и польские паны. Заезжал сюда и Александр II.

За строительство отвечал лично председатель правительства СССР Алексей Николаевич Косыгин, и резиденцию соорудили всего за пять месяцев. Косыгина редко кто видел улыбающимся и довольным, и когда он прибыл на приёмку объекта, тоже недовольно пробурчал:

– Могли бы сделать и пониже.

Два этажа, не приносившие экономической выгоды стране, у Косыгина считались роскошью.

Кто-то из строителей, замотанный сроками и проверками качества, шепнул:

– Если взорвать, станет ниже.

Охрана председателя правительства не успела повернуться к шутнику, как тот растворился. Ах, если бы тогда его всё же послушались! История СССР в любом случае оказалась бы несколько иной. По крайней мере, географически...

Павильон Никите Сергеевичу тоже не понравился. Проведя в нём всего одну ночь, утром буркнул:

– В этой комнате только спьяну можно выспаться.

Имел в виду сырость – комнату из-за спешки попросту не успели просушить. Но слова Первого секретаря ЦК КПСС не забылись, и ко второму его приезду в Вискулях уже стояли два дополнительных деревянных коттеджа.

Поохотился в Беловежьи и Леонид Ильич Брежнев. Стрелял он метко, так что кабанов к деревьям не привязывали. Однажды во время застолья даже предложили создать здесь элитный клуб «Одного выстрела» – это когда на охоту, даже на кабана, стрелок идёт с одним патроном. В полной гарантии, что выстрел окажется точным. В противном случае в карман предполагалось положить ещё один – застрелиться от стыда самому.

Юмор оценили, но до создания клуба дело не дошло: не все имели меткий глаз, а жить хотелось бесконечно долго. Так что в Пущу продолжали выходить, имея на поясах увесистые патронташи.

Ценил эти места и любимец народа, многолетний руководитель Белоруссии Пётр Машеров, для которого построили ещё один деревянный коттедж. Для него, белорусского партизана, прогулка по лесу была делом привычным, но вот что могло потянуть в заснеженные белорусские леса Бориса

Николаевича? Какая охота? Вся страна знала, что Ельцин увлекается теннисом, а отдых превращает в хорошее застолье.

Впрочем, эти вопросы – не для охраны. Её дело – зачистка. Проехать от военного аэродрома «Засимовичи», где сядет самолёт с российским президентом, до Вискулей: осмотреть качество дороги, оценить безопасность поворотов. Деревья, которые теоретически могут упасть на кортеж, – спилить. Это сажать в Беловежской Пуще ничего нельзя, лес должен оставаться девственным, самовоспроизводящимся, иначе исключат из списка ЮНЕСКО как заповедный. У съездов на лесные дороги, откуда возможно появление лыжников или даже зайца, выставить переодетых в форму гаишников сотрудников КГБ. Вынюхать все углы в здании, где будет находиться Дед. Вычертить схему ходов-выходов, окон, дымоходов и печных труб. Перекрыть, замуровать, опечатать, зачистить лишние. Проверить всех живущих в округе. А в первую голову тех, кто окажется приближен к «Телу» – егерей, истопника в бане, поваров. Впрочем, кухню обязалась привезти с собой минская команда, что значительно облегчало задачу.

В российской охране набралось человек двадцать, так что свою зачистку провели за полдня. К вечеру 6 декабря подкатил присланный из Москвы персональный ельцинский ЗИЛ. Начал крепчать мороз, и машину от греха подальше загнали в тёплый гараж, выдворив на холод белорусские «Волги».

Шушкевич прислал пятерых охранников, которые не посмели что-либо возразить россиянам. Кравчук оказался чуть «подороже» – от Украины прибыло с десяток парней, но они держались особняком, словно подчёркивая: всё, ребята, отныне табачок и сало врозь. С тем и разошлись по закоулкам резиденции переспать ночь.

...Утром первыми поскакали прогревать заиндевевшие машины сябры. Официальный протокол неизменен: первым на объект прибывает хозяин резиденции, чтобы самолично встречать гостей у трапа самолёта или у крыльца.

В белорусской делегации больше всего мельтешили корреспонденты и официантки, и это чуть успокоило Буерашина: на тайную вечерю свидетелей не приглашают. Да и с чего «Кап-раз» взял, что встреча таит опасность? Какую? Для кого? Сработало профессиональное недоверие к тем, кто исподтишка тявкает на хозяев? Но достаточно взять хлыст, и любая моська подожмёт хвост, заюлит и, если не примется лизать руку, то заползёт под диван. Или командир боится, что Горбачёв как раз и не способен взять хлыст?

Вторыми схватились за рации украинцы – на подлётном времени находился самолёт Кравчука.

– Берите наши машины, – кивнул им Шушкевич, решив не ехать по морозу на аэродром. Обернулся к стоявшему за спиной премьер-министру: – Всё же прибыл Макарыч. Никуда не делся.

– Это в Москву он ни ногой, – ответил Кебич. И вздохнул в предчувствии проблем: – Надо ждать, что будет настаивать на чем-нибудь более серьёзном, чем просто разговоры.

За плечами президента Украины был референдум, на котором 60 процентов проголосовало за самостийность. Результату откровенно завидовал Шушкевич, уважая политическую силу соседа. У Кравчука – сила, у Бориса Николаевича – дурь. Прокрутись между такими соседями...

Вздохнув, пошёл на второй этаж смотреть помещения, подготовленные для гостей.

Хотя было бы из чего выбирать: в резиденции имелось всего четыре комнаты, пригодные для жилья. Ельцину отвели самые комфортабельные апартаменты, предназначавшиеся некогда для Хрущёва. Шушкевич выбрал себе деревянный, «машеровский» коттедж, который усиленно протапливали. Держали «под парами» на непредвиденный случай и оставшиеся два домика.

Егор Буерашин, памятуя разговор с командиром, старался вникать во все детали, отлавливал обрывки любых фраз. Но они пока ничего не проясняли. Или политические реверансы намного хитроумнее армейских тактических уловок? В бою уже знал бы, куда вызывать огонь артиллерии, где самому поднимать людей в атаку. Как ни крути, а войны выглядят более честным занятием, чем игры политиков. Наверное, прав Рузвельт, когда умолял не идти в политику тех, у кого кожа тоньше, чем у носорога...

Время тянулось в ожидании Кравчука, а по большому счёту – Деда. Как ни старались руководители Украины и Белоруссии строить из себя равных братьев, но именно они больше всех понимали, что дела начнут крутиться от состояния и настроения Ельцина.

– Только бы держался на ногах, – переговаривались меж собой телевизионщики. – Из минской встречи так и не смогли выбрать ни одного трезвого кадра.

Приметив Егора, прикусили языки, уткнулись в камеры. Уткнулся в пол взглядом и он сам. Парадокс: политика страны определяется тем, насколько пьян её правитель...

Кравчук оказался значительно ниже ростом, чем виделся по телевизору. Этот зрительный обман играл для политиков исключительно важную роль, превращая едва ли не в недосягаемых божков. А на деле, оказывается, они такие же, как все – чихающие, сморкающиеся, мерзнущие человечки. Отведи от них телекамеры, пусти по улице без охраны – ни одна собака не обратит внимания и не гавкнет.

Время клонилось к вечеру, из аэропорта по российскому борту №1 не поступало никаких известий, и Егор слонялся без дела.

– У кого-нибудь случайно нет казахстанского флажка? – метался по резиденции шеф белорусского протокола. – Может, кто-нибудь помнит, хоть как он выглядит?

На встрече ждут и Назарбаева? Егор невольно пожалел об этом: казахстанский президент казался мужиком рассудительным, без националистических вывертов. А может, это к лучшему: возьмёт нагайку и по-азиатски прочистит славянские мозги?

Мороз крепчал, усиливался снег за высокими окнами, сооружая для каждого пня персональную шапку Мономаха. Нашли зелёный флажок с восходящим казахстанским солнцем. Всё же не зря, видимо, «Кап-раз» положил на белорусскую встречу глаз: в послепутчевское время сход подобного формата вдали от Кремля, да ещё без приглашения Горбачёва, ожидался впервые. Ясное дело, в Пуще на каждом суку должны сидеть ребята из КГБ. А может, и сидят.

Прошелестело, наконец, сообщение и российской «девятки»: самолёт с Первым на подлёте. Начал торопливо одеваться Шушкевич, вознамерившийся, в отличие от Кравчука, лично встречать Ельцина. То, что у президента Украины не оказалось своей машины, выходило на пользу: Леонид Макарович и Борис Николаевич терпеть не могли друг друга, и вместе их

свела только ещё большая ненависть к Горбачёву. Так что чем дольше гости не будут видеться, тем спокойнее Беларуси.

– Кравчука займите, организуйте ему охоту, что ли, – торопясь к машине, бросил на ходу Шушкевич.

От длинного хвоста свиты отстали нужные люди, подозвали директора заповедника Сергея Сергеевича Балюка. Тот пожал плечами: проблема, что ли, с лишним кабанчиком? Выгоним...

Ельцин, к сожалению, оказался верен себе. Даже Шушкевич отвёл взгляд, когда в проёме самолёта обозначилась покачивающаяся фигура российского коллеги. Дело усугубилось тем, что на военном аэродроме не оказалось нормального трапа, и к борту лайнера пришлось приставлять техническую стремянку. Её со всех сторон придерживала аэродромная обслуга, но под неустойчивой тяжестью гостя она всё же заскользила вдоль самолётного борта. А тут ещё прибывшие машины подсветили фарами трап, и ослеплённый, теряющий устойчивость российский президент кувыркнулся вниз.

Но «личка», великое дело – телохранители рядом с охраняемым лицом! Вот кто не даёт небожителям прилюдно падать носом в салат или на бетонку аэродрома! Не позволяет им проявить свою истинную суть. Вот кто надёжнее телеэкрана лакирует и выставляет на обозрение свой объект в наиболее выгодном свете.

Успела охрана ухватить, удержать своё непутёвое «дитя». Замахали руками – уберите свет, это он стал причиной конфуза. Уж на что Егор, никогда не уважавший «всенародно избранного», – и тот вслед за Шушкевичем отвёл взгляд, стараясь не замечать усмешек белорусов.

Не спасли ситуацию и полтора часа, отведённые Ельцину для отдыха в резиденции. По крайней мере, на ступеньках маршевой лестницы он появился со сбитым набок галстуком и вылезшей из брюк рубашкой. Один из фотокорреспондентов вскинул камеру, но тут же получил по рукам от собственной белорусской охраны. Пишущая братия, поняв рамки дозволенного, на всякий случай поспешила убрать в карманы даже блокноты.

Самого Бориса Николаевича публика внизу чем-то не устроила. Не сказав ни слова и даже не кивнув для приличия, прямым ходом направился в обеденный зал, где мелькали в белых передничках официантки. За ним вынужденно тронулись остальные, выталкивая вперёд Шушкевича: хозяин отвечает не только за стол и кров, но и за поведение приглашённых.

– Часа на два ужин, потом баня, – кто-то за спиной у Буерашина шёпотом расписал распорядок предстоящего вечера. «Кап-разу» потребовался очередной компромат по пьянке? Что-то дёшево... – А тут бы минут по шестьсот на каждый глаз, – не унимались за правым плечом.

– И грамм по триста на них же, – добавили уже из-за левого. Может, впервые сатана и ангел нашли точки соприкосновения.

Кто кого в итоге услышал после ужина, роли уже не играло: президентская троица гуськом пропетляла меж сугробов в баньку, отправив остальных отдыхать в гостиницу.

В ней оказалось холоднее, чем на улице, и корреспонденты, народ более ушлый и коммуникабельный, набились в одну комнату. Принялись группироваться и охранники. Егор своим в группе так и не стал и не стремился к этому, пить со всеми не хотелось, и потому ушёл к себе в номер. Поначалу даже привычно разделся, однако через несколько минут облачился обратно в свитер, а затем и в полупальто. Это не спасло, и спать улёгся в подвязанной под подбородком шапке, укрывшись сдёрнутым со второй кровати матра-

цем. Знала бы охрана того же Буша, в каком виде пребывает «личка» президента России – посинела бы от зависти.

К утру посинел сам Буерашин, вкупе с корреспондентами и «личкой» сразу трёх президентов, хотя они и спали вповалку там, где грелись. Небритые, покормленные в дымном буфетике тёплой коричневой водичкой, названной чаем, и яичницей с зелёным горошком, они выдвинулись к переполненному огнями, запахом кофе и тепла охотничьему домику – пусть как к отчиму, но в надежде получить хоть немного обогрева и пищи.

Внутри здания лунатиками бродили с листочками бумаг такие же невыспавшиеся, небритые Козырев, Гайдар, Шахрай и Бурбулис, именуемые прессой молодой порослью российской политики. Они вычитывали какие-то тексты, морщились от их корявости, чёркали слова, согласовывали друг с другом варианты и расползались по разным углам. Похоже, текст документа нужен был только российской делегации или его подготовку просто удачно спихнули на них более сообразительные украинские и белорусские коллеги, которые продолжали нежиться в постелях.

– А что, телефон не работает? – вдруг поинтересовался вечно любопытный фотокорреспондент, ходивший тем боком, на котором висело больше всего аппаратуры. Все озадаченно переглянулись: в резиденции главы республики отсутствует связь? Пример с Горбачёвым в Форосе во время ГКЧП был слишком свеж.

– Буерашин! – позвал со второго этажа старший группы, всю ночь продежуривший у дверей Ельцина.

Егор поднялся по ступеням, отрапортовал и перевёл взгляд на худощавого мужчину, стоявшего рядом с полковником. Лишних в домике быть не могло, и начальник, подтверждая это, кивнул:

– Это здешний лесничий, Георгий Константинович. Поедете с ним в Каменюки, привезёте машинистку. И не забудьте захватить бумагу и копирку. Естественно, машинку тоже. Чего дрожим?

– Северный полюс, – дал характеристику гостинице Егор.

– А что, не знаем, как согреваться? – удивился полковник.

– Я на службе.

Тот едва не сорвался: «А мы?», но в это время из комнаты напротив вышел Кравчук.

– Как Борис Николаевич? – с ехидной усмешечкой поинтересовался он у российских охранников.

– Выспался, бодр, уже работает, – заученно отчеканил полковник.

Кравчук снова усмехнулся, предупредил:

– Если вдруг поинтересуется мной, я на прогулке.

Егор вместе с ним стал спускаться вниз, но на последних ступеньках отстал, чтобы не открывать дверь Кравчуку: в швейцары не нанимались. Тем более к таким, как Леонид Макарович. Хочется самостийности – отныне и толкайте сами свои двери.

Уазик из местного гаража уже ждал у крыльца, и, объехав заваленные сугробами клумбы, посыльные нырнули в узкую лесную дорожку. Снег здесь расчистили под одну колею, и приходилось надеяться, что навстречу никто не выедет.

– Далеко ехать? – спросил Егор у лесничего. Уазик, хотя и обтянутый внутри утеплителем, напомнил комнату в гостинице и хотелось побыстрее вернуться в тепло.

– По птичьему полёту – километров десять, напетляем все двадцать, – завидно кутался на заднём сиденье в полушубок лесничий. В таком одеянии хоть сотню накручивай.

– Что тут у вас интересного помимо зубров? – попробовал отвлечься от холода Егор.

– Обитают ещё 55 видов млекопитающих, 214 – птиц, 7 – пресмыкающихся…

«И ещё три вида поселились сегодня ночью», – отметил про себя капитан, особо не вникая в пространный ответ лесничего.

Утренний снежок прекратился, но под его тяжестью шлагбаумами нависали над дорогой березки. Они так и не смогли загореть за лето, но особо удручающий вид представляли собой участки со старыми соснами, потерявшими хвою – словно высветились у леса рёбра, обглоданные зверьём. Спасала картину мельтешившая среди просветов легкая серебристая изморозь – так летом при заходе солнца вьётся столбиками мошкара.

На скорости проскочили центральное здание заповедника. Лесничий лишь успел показать в замерзшее окошко памятник, на гранитном постаменте которого застыл за «максимом» пулемётчик:

– В сорок первом трое бойцов в соседнём квартале в полном окружении положили роту эсэсовцев.

«И теперь трое собрались, да ещё ровно через 50 лет», – вновь машинально и без какой-либо связи отметил Егор. Командировка не нравилась ему ни по каким параметрам, а уж если исходить из бытовых условий, то лучше добывать воду в песках Аравийского полуострова, чем хранить остатки тепла в родном советском уазике посреди Европы.

Каменюки оказались основательно вытянутым вдоль центральной улицы селом. И, конечно же, по закону подлости секретарша директора жила на самом дальнем краю. Видать, собирались «беловежские зубры» в Вискули всё же спешно и, скорее всего, не намечали ничего подписывать, ежели не захватили собственных машинисток. А вот после ночной баньки, видать, спохватились: если не появится пусть и дежурного, но письменного сообщения о встрече, у Москвы и народа возникнет вопрос: о чём шептались? Это в разведке молчание означает жизнь, а для политиков закрытый рот – смертельный приговор...

– Все, Юра, тормози, – попросил водителя лесничий, когда поравнялись с раскрытой калиткой в одном из палисадников. В доме, выкрашенном в голубой цвет, из трубы валил густой дым, во дворе слышались голоса. Вроде рановато хозяйничать зимой.

– У-у, пенёк! – стукнул себя по лбу лесничий. – Какой сегодня день?

– Восьмое декабря. Суббота. Выходной, – перечислил водитель все параметры наступившего дня.

– У её мужа сегодня юбилей, 60 лет! – сконфузился Георгий Константинович, захлопывая обратно дверцу кабины. – Хуже татар будем.

Он посмотрел на капитана, признавая его за старшего и испрашивая совета. Егор пожал плечами: если есть замена, давай возьмём другую машинистку. Хотя приказали везти именно секретаршу директора, с собственной машинкой...

«Ничем не могу помочь», – развёл руками Егор, торопя Константиныча. Знобило всё сильнее, и Егор испугался: не хватало ещё заболеть!

Глава 17

Евгения Андреевна Потейчук разглаживала ладонями скатерть, примеряя её к будущему праздничному столу, когда в сенцах завозились с дверной ручкой. Не справившись с ней, постучали в дверь.

– Андреевна, ты дома? – узнала голос главного лесничего заповедника. – Здравствуйте вам в хату.

– Заходи быстрей, не студи дом, – впустила внутрь хозяйка неожиданного утреннего визитёра. Муж хотя и не работает в дирекции, а вот начальство приехало поздравить. Приятно...

– Павел Григорьевич, с юбилеем! – протянул гость в знак особого расположения к хозяину обе руки для пожатия. – Извини, что без подарка – всю ночь на работе. И супружницу твою на часок-другой велено привезти.

– Кому там неймётся в выходной, что за срочность? – удивилась Евгения Андреевна.

– Да директору позарез потребовалось отпечатать какой-то документ. Думаю, ненадолго. Назад, не волновайся, привезём.

Хозяйка обернулась на невестку, протиравшую фужеры. Та махнула краем переброшенного через плечо полотенца: езжайте, справимся, до прихода гостей ещё половина дня.

Евгения Андреевна набросила шубу, надела шапку и теперь уже сама подтолкнула бусурманина к двери – только быстрее. По привычке намерилась сесть впереди, но рядом с водителем располагался сумрачный незнакомый парень, она здравсткнулась с ним и поглядела на коллегу: кто? Лесничий махнул рукой – всё потом.

В дирекции их никто не ждал, и хотя сопровождающий остался в машине, Константиныч продолжал играть роль простачка:

– Нам тут взять лишь машинку и листы с копиркой. Балюк в Вискулях.

– Так что сразу не сказал! Это же не ближний свет, – расстроилась Евгения Андреевна. Что за полуправда? Вроде и не обманули, а рассчитать время возвращения к гостям не можешь.

Лесничий взял со стола синюю «Оптиму». Вилка в разболтанной розетке подгорела и шнур не желал выдергиваться, отпускать машинку с исконно рабочего места. Уметь бы кому-то из них расшифровывать тайные знаки...

– Темнишь что-то, Константиныч, – собрав папку с бумагами, пожурила коллегу секретарша. Помогла справиться с розеткой.

– Сама всё увидишь, – не стал отрицать тот важности вызова, но и язык проглотил ещё глубже. История научила: его не вырывали только немым.

А увидела Евгения Андреевна в Вискулях скопом всех тех, кто не сходил с экрана телевизора. Слушок по дирекции ходил, что могут приехать высокие гости, но их перевидали в Беловежье столько, что если всех держать в памяти, места для таблицы умножения не останется. Но тут оказались такие чины и такие персоны, что щипать себя за руку – синяки останутся. Потому что не во сне...

– Машинистка? – подошёл к ней незнакомый полный мужчина. – Сюда.

Провёл в небольшую комнатку сбочь центрального входа. За ними боком, боясь наступить на волочившийся по полу шнур, внёс «Оптиму» Константиныч. Не успели разложиться, влетел с исписанными листами в длинных пальцах Бурбулис – уж его-то острое лицо с коротко посаженными глазами нельзя было спутать ни с каким другим. Как и тонкий, нудный с первой фразы голосок.

– Вам как лучше – диктовать или сами разберётесь? – шныряя глазками по листочкам и всем углам комнаты, спросил он.

С сомнением, но дал Евгении Андреевне возможность заглянуть в бумаги. На листках почерк оказался разный, но одинаково неряшливый, с множеством вставок и зачёркиваний, и она осмелилась:

– Лучше диктовать.

Бурбулис намерился сразу начать работу, но вошёл молчаливый парень, который сопровождал её в машине. Помог снять шубу. Протянул руку и за шапкой, но Евгения Андреевна вспомнила, что не успела причесаться, и трогать головной убор не осмелилась. Подвигала машинку, устраивая её поудобнее. Вот теперь готова. Однако Бурбулиса позвали со второго этажа, он взглядом настоятельно попросил охранника выйти, и Евгения Андреевна, оставшись в одиночестве, уже спокойно заглянула в оставленные листки. Сначала выхватила несколько фраз, но потом они сложились в текст, и руки, зависшие над клавиатурой, задрожали. Испуганно оглянулась: знают ли другие, какие бумаги ей дали печатать? А Союз ССР – это СССР? «Союз ССР как субъект международного политического права и геополитическая реальность прекращает своё существование...».

Как прекращает? Когда? В честь чего? Глупость какая-то.

Рядом вырос очередной незнакомец в строгом тёмном костюме. А раз в пиджаке и при галстуке, то либо высоко партийный, либо из КГБ.

– Ну что, теперь по всем Каменюкам будешь рассказывать, что печатаешь?

Она ещё ничего не печатала. Но потому, что назвали пренебрежительно на «ты», что испортили юбилей мужа, что ничего не сказали заранее, что в шапке становилось жарко, что документы государственные, а не для заповедника, а подошедший даже по телевизору незнаком, – огрызнулась:

– Будь слишком разговорчивая, не работала бы тут.

– Извините! – понял свою ошибку надсмотрщик и сам огляделся по сторонам: не заметил ли кто из начальства нервозность машинистки? Нервничают нынче все, но при каком-либо срыве мероприятия нагоняй получит крайний...

Вместо Бурбулиса в комнатку бочком протиснулся министр иностранных дел России Козырев. Бочком же, как сова, посмотрел на бумаги. Она отметила его крючковатый и словно бы прищемленный нос – будто однажды просунул его куда не надо, а дверь взяли и прихлопнули.

Но то были личные проблемы министра, а ей требовалось печатать. Только вот руки продолжали дрожать.

– Соглашение, – немного гнусаво начал диктовать Козырев.

Терпеливо подождал, пока Евгения Андреевна сменит листы – в первом же слове от волнения сделала ошибку. Чувствовала, что российский министр торопится, но подгонять, слава Богу, не стал, и она осталась ему благодарна.

– Соглашение, – повторил Козырев, хотя увидел, что Евгения Андреевна уже перепечатала заглавие. Тоже волнуется? – Принимая во внимание...

Заглянул мимоходом знакомый охранник. Его лицо с красными воспалёнными глазами выражало озабоченность, словно по обстановке в комнатке он хотел понять, какой важности документ печатает попутчица, но Евгения Андреевна постаралась не проявлять эмоции. Уткнулась в машинку со стёртыми до металлического блеска краями рядом с клавиатурой. Кто тут чего удумал – её дело маленькое, она из Каменюк, ей не тягаться с верхуш-

кой из Москвы, Минска и Киева. Чай, не дурнее её. А охранничка жалко – похоже, заболевает. Чаю бы с медом ему и пропотеть...

Пожалела и своих, домашних – как там без неё соберут стол? И сколько времени ей придётся здесь пробыть? Надо выкроить минутку позвонить домой, предупредить о задержке...

Козырева вновь сменил Бурбулис. Не успев начать диктовку, вернулся на чей-то возглас обратно. Нервозность гостей передалась и ей, стало доходить, что документ, который она печатает, – это серьёзно, очень серьёзно, то есть по-настоящему. Но нет, не может быть! Прямо вот не нашлось во всём Советском Союзе на такой документ машинистки, кроме как в Каменюках?! Скорее всего, она распарилась в тепле и недопонимает мудрёных фраз...

– Печатаем дальше... – раздалось за спиной, и Евгения Андреевна вздрогнула: в комнатке незаметно обосновался небольшой человечек с чёрными усами. По телевизору тоже не раз его видела, но фамилия сразу не вспомнилась, потому что даром была не нужна.

Незнакомец прочёл из-за её плеча уже отпечатанное и безошибочно продолжил текст, который она ждала с наибольшим страхом:

– ...констатируем, что Союз ССР как субъект международного политического права и геополитическая реальность прекращает своё существование...

Далее перечислялись ещё более многозначительные и непонятные пункты, статьи, ссылки и уверения всех в вечной дружбе. После последнего, четырнадцатого пункта, в котором столицу нового государства переносили в Минск, диктовщик крикнул в дверной проём:

– Ну что, оставлять подпись под Назарбаева?

– Оставляй. Он уже в Москве.

– Надо заканчивать, – скорее для себя, чем невидимого собеседника, проговорил усач и так резко вырвал отпечатанные листки из каретки, что валик взвизгнул.

Наэлектризованная копирка не хотела отлипать от бумаги, и Шахрай – да-да, точно Шахрай, она вспомнила, по-украински это ещё означает «мошенник», смеялись над фамилией, – нетерпеливо стал сдирать её с документа ногтями. Копирка взамен притянулась к его волосатой руке, и «мошенник» принялся отмахиваться от чёрных листков, как от дьявольских меток.

– Вам принести кофе? – на этот раз в комнатку заглянула официантка с подносом, и Евгения Андреевна торопливо кивнула – да-да, дайте попить. А ещё лучше – отпустили бы домой. Там гости, там семья, там всё понятное и родное и соседи по ночам топоры и косы друг на друга не точат...

– Машинистку отпускать? – вновь кто-то «позаботился» о ней.

– Пусть посидит. Ждём до последнего, вдруг Назарбаев всё же решится...

До последнего ничего не сообщали и журналистам, которых захватил по личной инициативе в Вискули премьер Белоруссии Вячеслав Кебич. Отправив их ночевать в гостиницу, обратно, в отличие от охранников, не привозили до тех пор, пока не расставили все запятые в тексте Соглашения: чтобы не путались под ногами, не задавали лишних вопросов и раньше времени не проговорились. Хотя кому проговариваться? Связь в резиденции оставили только внутреннюю, из посторонних – директор заповедника, лесничий да машинистка.

Вообще-то подписывать на встрече ничего не планировалось. Поговорить узким кругом о том, как урезать права доставшего всех Горбачёва – да, тут желание у всех совпало, в первую очередь у Ельцина, который не мог простить президенту СССР свои предыдущие унижения.

Вовремя подсуетились и те, кто ходил под Борисом Николаевичем – в этом плане тот мог погордиться своим окружением. Шахрай выдвинул саму идею – Советский Союз как бы легально существует, но уже ничем не управляет. У министра иностранных дел России Козырева от одного этого возбуждённо заблестели глазки. Бурбулис пошёл дальше и осторожненько, испытывая реакцию окружающих, выстроил фразу про то, что СССР как субъект международного политического права и геополитическая реальность прекращает своё существование.

Едва это прозвучало вслух, пока только на пробу, в делегациях онемели. Даже Кравчук, ратовавший за наибольшую самостийность, посмотрел на Ельцина, ожидая громы и молнии на голову зарвавшегося Госсекретаря. Но президент России или вообще не слушал окружающих, или после ночной бани до него не дошёл смысл произнесённого. Тут даже белорусы хмыкнули: раз русским ничего не надо, то им – тем более. Заварили москали кашу, пусть и готовят её до конца. Соглашение – так Соглашение!

Замешкались на другом – очень хотелось подтянуть на подпись хотя бы ещё одного президента из союзных республик. Более всего подходил Назарбаев, авторитету которого в стране отдавал должное даже Ельцин. Ради этого даже пошли на изменение заглавной формулировки документа: вместо первоначально одобренной фразы «Союз славянских государств» записали – «независимых».

Однако время шло, а вестей от казахстанского президента, которого попросили срочно прилететь, не поступало. Приходилось соглашаться с очевидным фактом: Нурсултан Абишевич или по-восточному хитро решил выждать на стороне, или его самолет просто не выпускают из Москвы, где он приземлился на дозаправку. Так что машинистку можно было отпускать: под документом, к сожалению, останутся лишь три подписи. Точнее, шесть – для большей его легитимности решили присовокупить к главам государств и премьеров.

Где-то к четырнадцати часам в фойе стали заносить столы. В центре установили бело-красно-белый флажок Белоруссии, по правую руку – российский триколор, по левую – жовто-блакитный Украины.

– Авторучки, надо положить на стол авторучки... Вдруг у них не окажется.

– Попросите у журналистов.

– Куда подевали папки?

– Кто отвечает за журналистов? Никаких вопросов Ельцину! Никаких!

Милая бестолковщина, если не знать уровень встречи.

Ельцин как раз спускался по лестнице с левого крыла анфилады, нависавшей над фойе. Как ни хорохорились, ни старались держать независимый вид Кравчук и Шушкевич, главным действующим лицом оставался Борис Николаевич. Подними он сейчас на смех ночное эпистолярное наследие своих помощников, выгони их взашей на мороз прочистить мозги, все дружно закивали бы – возможно, даже с облегчением, что затея сорвалась. Для того и наступает утро, чтобы стать мудрее себя вчерашних...

Но Борис Николаевич молча направился к своему флажку. К столам торопливо шагнули и Кравчук с Шушкевичем: у Ельцина что с правилами про-

токола, что с нормами приличия всегда было туговато. Плюхнется хозяином на стул первым, а ты потом мельтеши, изображай равноправность...

Успели, порадовав телевизионщиков синхронностью. Шефы протоколов подсунули папки с документами. Ни речей, ни гимнов, ни благодарности, ни сожаления. Шесть размашистых подписей в гробовой тишине – и всё! Оказалось, чтобы прекратить существование империи, не нужны ни войны, ни миллиарды, – надо просто вырастить амбициозных политиков, столкнуть их лбами, заставить их грызть друг друга. Стареющее Политбюро не захотело делиться властью с выросшим подлеском, и молодая поросль сама рванула вверх так, что затрещали суставы-сучья у вековых дубов. Хотя какая молодая! И Ельцин, и Кравчук, и Шушкевич десятилетиями подвизались на ниве политпросвещения и пропаганды КПСС. Амбиции, всё же неуемные амбиции и месть двигали ими в тот день...

Заместитель главного редактора белорусской «Народной газеты» Валерий Дроздов по журналистской привычке зафиксировал время подписания документов, а по сути, распада СССР – 14 часов 17 минут. По иронии судьбы на циферблате его часов были прорисованы контуры Советского Союза...

– Ну, а что же никто ничего не спрашивает? – удивился, явно красуясь перед журналистами, Ельцин.

Зная непредсказуемость российского президента, Кравчук и Шушкевич тоже вышли вперёд. Вопросов, согласно предварительной установки, не возникло, и тогда Ельцин сграбастал врагов-единомышленников, подтянул к себе: вот так мы всегда будем вместе.

Из столовой выплыли официантки с подносами, на которых стояли фужеры с шампанским. Раздался хрустальный звон, приглушённые здравицы. Веселья тем не менее не получалось, не говоря уже о торжественности. Вольно иль невольно, но делегации стали группироваться вокруг своих лидеров, одинаковыми полюсами магнитов отталкивающихся друг от друга. Премьер Беларуси даже вышел на улицу, несмотря на тридцатиградусный мороз. Вгляделся в сумрачное небо.

– Не летят? – поинтересовался у возникшего рядом фотокорреспондента АПН Юрия Иванова, не доверяя своему слуху и зрению.

– Кто?

– Бомбить.

Удивиться или уточнить слова премьера Иванов не успел – из здания вышли директор заповедника Сергей Сергеевич Балюк и наконец-то освободившаяся машинистка.

Медленно, боясь поскользнуться, они сошли на вычищенный к приезду гостей тротуар, направились к воротам, за которыми их ждал заиндевевший уазик. Осознание того, что они оказались первыми, кто узнал о ликвидации Советского Союза, что своими глазами и ушами всё видели и слышали, а более того, и печатали документ, повергло их в глубокое смятение. Но молчать оказалось ещё тягостнее, и Евгения Андреевна по-бабьи взяла вину на себя:

– Развалили мы с вами Советский Союз, Сергей Сергеевич.

Оглянулись назад, на светящийся огнями домик, где продолжалось настороженное веселье. Балюк развёл руками: а что мы могли сделать?

– Если бы знала, оделась бы в траурное, – хоть так попыталась оправдаться Евгения Андреевна.

Похоже, они оказались единственными, кто пожалел в тот вечер о случившемся.

А у противоположных ворот, которые вели к аэродрому, заходясь в кашле, мёрз Егор Буерашин. Едва поняв суть беловежской встречи, он выскользнул из резиденции и перекрыл отход заговорщиков к самолётам. Не сомневался: раз о встрече знали в Москве и, скорее всего, догадывались о возможных решениях, то с минуты на минуту в Вискулях должны появиться десантники или обыкновенная зековозка.

Но время шло, гул в доме нарастал, а никто не летел и не ехал. Горбачёв надеется, что всё рассосётся само собой? Тогда где КГБ? Под каким кустом, на какой ветке сидят и прячутся? В крайнем случае, почему молчит «Капраз» со спецназом ГРУ? А если изначально был политически бессилен, зачем послал его сюда? Констатировать факт? Завтра в газетах обо всём можно прочесть, не влезая в тапочки. Или заговорщиков будут брать на аэродроме? Или каждого в отдельности по прибытии в Москву, Минск и Киев? И неужели ещё кто-то будет носить им сухари в Лефортово? А уж памятника, как советским солдатам из 1941-го года у въезда в заповедник, им точно никогда не поставят...

Ельцина, Кравчука и Шушкевича занимало иное: кому и как сообщить о свершившемся? Без огласки Соглашение как бы не фиксировалось, не обретало силу. Ельцин показал рукой на второй этаж, и Кравчук с Шушкевичем пошли, как на Голгофу, вверх по ступенькам в номер российского президента.

Дождавшись, когда закроется дверь, Ельцин не без удовлетворения назвал первого адресата:

– Я думаю, теперь надо и Михаилу Сергеевичу сообщить.

При этом усмешкой дал понять, что лично он этого делать не станет. Кравчук стоял с каменным выражением лица: основное для меня сделано, больше я ни в чём не участвую. Ельцин, прекрасно поняв Леонида Макаровича, запустил бильярдный шар в белорусскую сторону:

– Станислав Станиславович, ты с ним больше всех разговариваешь, позвони. Ну, и мировую общественность, наверное, надо проинформировать. Кому сообщим первому?

– Ты его лучший друг, – не называя имени и страны, вернул шар российскому президенту Шушкевич.

Так и стали созваниваться: о неприятном – Шушкевич в Москву, Ельцин о радостном – американскому президенту Бушу. Козырев, владевший английским в совершенстве, подсел рядом за переводчика. Первыми зацепились они и за абонента.

– Джордж, привет!

Ельцин мог себе позволить подобную фамильярность в общении с Бушем хотя бы потому, что в российском правительстве к этому времени работало около двухсот американских советников, перелопачивавших законы, политику и экономику России на американский лад.

В это время отозвался и Горбачёв. Узнав голос белорусского председателя Верховного Совета, вдруг неожиданно и заискивающе обратился к нему на «вы», чего никогда не делал:

– Что там у вас?

Ельцин отвернулся, чтобы разговор Шушкевича с Кремлём не перебивал его беседу с Вашингтоном. Собственно, Горбачёв улетал, как олимпийский Мишка, в небытие, и уже ни на что не влиял, ничего не озарял и ни к чему не вёл. У него уже отобрали судейский свисток и отстранили от игры, но он, не

желая верить в случившееся, в свою никчемность, начал кричать Шушкевичу от кромки поля:

– Да вы понимаете, что вы сделали?! Вы понимаете, что мировая общественность вас осудит? Гневно!

Шушкевич отстранил от уха трубку – и чтобы дать остальным послушать, и поберечь собственный слух.

– Что будет, когда об этом узнает Буш? – не унимался Горбачёв.

Ельцин уже прощался с американским президентом, и Шушкевич пожал плечами:

– Да Борис Николаевич уже сказал ему обо всём. Нормально он воспринял.

В трубке, наконец, установилась тишина, и Шушкевич, используя момент, положил её на аппарат. Не глядя в глаза друг другу, а ещё больше боясь, что телефоны зазвонят и придётся вновь объясняться, заговорщики поспешили выйти из апартаментов Ельцина. Когда-то именно в них провёл свою единственную бессонную ночь Хрущёв. Потом уверял всех, что находиться в таком номере можно лишь беспамятно пьяным...

Первыми Вискули покинула украинская делегация – едва начало темнеть. Под покровом уже сплошной темноты увёз на аэродром Ельцина его персональный «ЗИЛ». Проводив гостей, дал команду на отлёт и Шушкевич. Все трое клятвенно договорились лететь в Минск и дать в новой столице совместную пресс-конференцию, но в небе самолёты взяли курсы в разные стороны. Лидеры трёх государств разлетелись, чтобы больше никогда за свою политическую карьеру не встречаться вместе. И ни разу не посетить Беловежскую Пущу[9].

Только через пять дней после прибытия из Вискулей Ельцин испугается по-настоящему. 13 декабря в Ашхабаде соберутся лидеры бывших Республик Средней Азии и в противовес славянскому Союзу предложат создать тюркский Союз – Центрально-азиатскую конфедерацию, которая бы раскалывала бывший СССР по оси Европа – Азия. Ельцин в лучшем случае мог остаться губернатором Московского края, и потому каждые полчаса звонил Назарбаеву, умоляя вразумить собравшихся. Чаша Горбачёва не была испита им до дна только благодаря Нурсултану Абишевичу, уговорившему ашхабадских гостей повременить с созданием Конфедерации: мы же все из Советского Союза, были партийными руководителями...

Не лукавил. Борис Николаевич Ельцин – секретарь ЦК КПСС. Шушкевич Станислав Станиславович более двадцати лет состоял в рядах партии. Кравчук Леонид Макарович партийной работой занялся едва ли не раньше всех – в 1960 году, и не простым клерком, а на самых острых направлениях: возглавлял отдел пропаганды и агитации, заведовал идеологическим отделом ЦК Компартии Украины. Бурбулис Геннадий Эдуардович преподавал в Уральском политехническом институте марксистско-ленинскую философию. Кебич Вячеслав Францевич заканчивал Высшую партийную школу. Премьер Украины Фокин Витольд Павлович являлся членом КПСС с 1957 года...

Во времена, когда на охоту в Беловежье ездил царь Александр II, самым

[9] Бориса Николаевича, приезжавшего в 1995 году на празднование 50-летия Победы в Брестскую крепость, пригласят посетить и Беловежье. Ради такого случая там даже обновили теннисный корт, завезя для него из Чехии песок. Но президент России, словно совестясь воспоминаний, уклонился от приглашения.

зрелищным моментом считался так называемый царский штрек, когда добытые туши свозились ко дворцу и укладывались в определённом порядке перед парадным входом. В первом ряду располагали по видам дичь, подстреленную Государем Императором, за ней – добычу других участников охоты. Трофеи в обязательном порядке украшались гирляндами дубовых веток. Здесь же выстраивалась вся охотничья команда. По краям стояли дворцовые работники в красных рубахах и с факелами в руках, освещая счастливые лица участников празднества. Начинался подсчёт туш и их взвешивание, после чего устраивался грандиозный ужин. Собирали на площади и жителей Беловежи, чтобы раздать им часть добычи.

Как, в какой последовательности выстроятся в истории участники охоты на СССР? Захотят ли они, чтобы ярко горели факела, освещая их лица? Кто будет взвешивать и оценивать трофеи?

Эти мысли не давали покоя Егору Буерашину, пока летел до Москвы и добирался до дома. Кого обманывала всю жизнь беловежская троица – себя или других? Зачем десятилетиями призывали и вели за собой коллег, подчинённых, студентов, целые народы, если ни во что не верили? Или это и составляло их истинную натуру – ломать жизнь другим, мешать другим, надзирать над другими и поучать их? Предавать и бросать! И вновь тащить, звать и увлекать за собой. Кто же они?

Милые Августины. По оперативной терминологии – «кроты», выгрызающие все изнутри. И неужели им служить дальше?

Глава 18

Егор появился в хате настолько неожиданно, что Фёдор Максимович выронил из рук пакет с макаронами. Трубочки покатилось по полу под ноги сыну, и тот, чтобы ненароком не наступить на них, отступил к порогу.

– Ты... как?

– Автобусом, – Егор наклонился, стал собирать макаронины. И по той разнице, как шумно привозили сына в прошлый раз, и как втихомолку оказался он дома сейчас, – в том угадывался Фёдором Максимовичем плохой знак.

– А...

– Не стал никого тревожить, без шума спокойнее, – всё прочитал в недоумении отца Егор и, наконец, обнял его. И впервые почувствовал, какая худая у него спина...

Объяснение немного успокоило Фёдора Максимовича, и он затоптался по дому, хватаясь за сто дел сразу. В итоге, не одевшись, поспешил в огород. Там, разметав ногой снег, подступился к соломенной копне, притулившейся к стенке сарая. Уготованная для подстилки скотине солома служила ещё и незаменимой кладовой для яблок. Фёдор Максимович полез рукой вглубь стожка, отыскивая на ощупь антоновки. Закладывал по осени яблоки далеко, детской рукой не долезть, потому и сохранялись до самой весны. А Егору будет подарок из детства, давненько он зимой не наведывался домой.

Угодил. Сын, уже награждавший подарками проснувшихся племянников, сразу ухватил яблоко, впился в него зубами. Оставив от огрызка только хвостик, поинтересовался, словно отсутствовал в селе только день:

– Как живёте тут без меня? Какие новости?

– Какие могут быть новости! Волки вон на село пошли, крутятся под свахиным забором.

Про Тузика промолчал, ребята тоже опустили головы.

– Отстреливать пора.

– Кому? Зверя не обманешь, он слабину чует за три версты. А новости – они у вас в Москве, хоть телевизор не включай. Васька, воткни шнур в розетку.

Внук поднял с пола шнур с привязанной верёвочкой: перед сном, чтобы не вставать с постели, дёргали за неё и выключали телевизор. По экрану шла рябь, и хотя Васька попытался покрутить ручку настройки, выбирать пришлось что-то одно – либо звук, либо резкость.

– Послушаем, – остановил внука Фёдор. Сам незаметно попробовал ноги – вроде работают, можно лезть в погреб. Там и грибков баночка должна где-то затесаться, сваха пырнула по осени. Хорошо, что картошку в печь поставил вариться, да как знал – полный чугунок. – А вы чего портфели не собираете? – прикрикнул на внуков.

– Дед, так мы же с третьего урока, – глянул Васька на ходики. В селе зимой испокон веков учатся днём, когда не так холодно и больше света в классах.

На крыльце затопали, сбивая снег с обуви, и в дверях появился военком, вновь зацепившийся раненой ногой за высокий для него порожек.

– Непорядок! – с ходу напал он на Егора. – Мне говорят, видели вас и точно поехал на автобусе. А я не поверил, потому как нельзя так. Думал, догоню, высажу и заставлю пешком идти. С приездом.

Вновь первое внимание уделил Егору, потом лишь хозяину. А Фёдору Максимовичу это только в радость – гордость за детей и внуков сияет ярче собственных дел. И спокойствия больше: раз майор рядом, значит, и впрямь волноваться не за что.

– Анна, стол пустой! – приказал внучке готовить еду.

Пока всем гуртом занимались сервировкой, по телевизору прорезался голос Ельцина. Егор и военком вслед за хозяином прошли во вторую половину хаты, в которой на круглом столе доживал свой век под вышитой салфеткой старенький белорусский «Витязь». Егор по памяти безошибочно покрутил нужные ручки, и вместо звука появилось изображение, заставившее Фёдора Максимовича вздрогнуть: протянутая вперёд левая рука Ельцина с отрубленными пальцами напомнила перебитую лапу волка, растерзавшего Тузика.

Егор постучал по крышке «Витязя», и вместо Ельцина проявилось искажённое полосами лицо президента СССР.

– Оставь, оставь, – попросил отец.

Горбачёв собирался зачитывать какое-то сообщение, бумажка дрожала в его руках, и Егор торопливо принялся ловить звук. Из мутного экрана донеслось:

– В силу сложившейся ситуации с образованием СНГ прекращаю деятельность на посту Президента СССР. Только что мной подписан Указ о сложении Президентом СССР полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил СССР и о передаче права на применение ядерного оружия Президенту Российской Федерации...

Звук хрипел, угасал, и стало слышно, как погнал под окнами короткохвосток петух. Чего они делают в палисаднике зимой? Опять Степан пожадничал чулан открыть? Но не лето же на дворе, где живности прокорм в снегу найти! Самого бы вот так же...

– А как же теперь... награда? – глянул растерянно на сына.

Тот закусил губу, но совладал с собой, усмехнулся как над чем-то мелким, несущественным:

– Значит, не успели[10]. Значит, пойдём в этой жизни как нелегалы.

– Какие нелегалы? – не понял отец.

– Разведка. У них девиз хороший... – Егор замялся, глянул на поникшего и растерянного отца и произнёс лишь вторую часть: – «...во славу Отечества».

– Но заработанное-то отдай, – по-крестьянски не понимая несправедливости, поднял взгляд на сына Фёдор Максимович.

– Ничего. И это я... – кивнул на экран. – Надо было мне действовать самому, а не ждать приказов...

Его не поняли: каких приказов надо было ждать? Но Егор отмахнулся:

– Закрыли тему.

Пальцы выбивали на дверном косяке чечётку, и увидев свою нервозность, отдёрнул руку. И сам же не выполнил приказ насчёт молчания, не удержав внутри себя боль:

– И кому сделали лучше?

Телевизионный диктор охотно объяснил:

– Как подчеркнул в своём заявлении Президент США Джордж Буш, «Соединённые Штаты приветствуют исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами Содружества. Несмотря на потенциальную возможность нестабильности и хаоса, эти события явно отвечают нашим интересам», – подчеркнул Буш.

– А вот теперь всё ясно. Цинично, зато откровенно, – усмехнулся Егор. Приложил ладони к печи, и хотя нагретые кирпичи жгли руки, не отстранял их, словно через боль наказывая себя за один ему ведомый проступок.

– А можно нам не пойти сегодня в школу? – поймала нужный момент Анна.

– Можно, – разрешил Егор. – Налей нам, отец.

Фёдор Максимович, присевший послушать новости на табурет, не вставал, растирал ноги, и Егор сам прошёл к серванту с посудой. Заграничные бутылки, оставшиеся с прошлого приезда, отодвинул, взял за тонкое горлышко бутылку водки. Сдёрнул за ленточку алюминиевую бескозырку-пробку. Провёл булькающую поллитровку полумесяцем над стаканами. Протянул первый растерянному военкому, разрывающемуся между необходимостью мчаться к служебным телефонам и страхом остаться одному перед рухнувшим миром. А здесь хотя бы Герой, человек из Москвы, из самой охраны Ельцина...

Подошёл, задевая половики, вслед за Егором к Фёдору Максимовичу. Тот, не дождавшись объяснений от сына, глянул на военкома как на должностное лицо:

– Что же они творят...

– Пьём! – прервал стенания Егор.

Поднял стакан. Привычно подождали друг от друга тоста. Но что было говорить: выпили, как на поминках, не чокаясь и молча. Испугавшись хмурой тревоги взрослых, Васька сам увёл в школу Аньку, на ходу набивавшую портфель гостинцами.

---

[10] Последним Героем Советского Союза станет военный акванавт, водолаз-глубоководник капитан III ранга Леонид Михайлович Солодков - Указ о присвоении звания подписан 24 декабря 1991 года.

– Дядя Егор приехал! – прокричала та с улицы в закрытую дверь родительского дома.

На крыльце тут же появилась Вера Сергеевна. По счастливому лицу девочки и пузатому от подарков портфелю предположила причину её радостного настроения. Торопливо скрылась обратно в сенцах, прислонилась к дверному косяку. Прикрыла глаза. Если бы Егор в августе пришёл, как обещал, вечером в их лагерь! Если бы он, а не Борис...

– Ты чего, Вер? – выглянула из избы Оксанка.

– Ничего. Собирайся в школу, Анька с Васькой уже пошли.

– Там по радио какие-то новости про Советский Союз говорят...

Вера отмахнулась: при чём здесь Советский Союз, тут бы зиму прожить в заметённых сугробами Журиничах, обложенных волчьими следами.

Зато недалеко по улице, в избе брянского лесника держали за страну гранёные стаканы три её воина – старый партизан, прошедший Афганистан военком и бросивший начальству вместе с погонами рапорт на увольнение спецназовец, не успевший стать Героем Советского Союза. Пили коренники, рабочие лошадки, которых ни о чём не спросили, о которых политики и не вспомнили при своих играх с Союзом.

Эх, по третьей!

Угнетённые стенами, вырвав за шнур изображения кривляющихся друг перед другом президентов, мужчины убито вышли из дома на улицу. Вышел морской диверсант, три месяца вырывавшийся из колумбийской сельвы на родину, которая теперь осталась только на картах. Уже привычно зацепившийся раненой ногой за порожек артиллерийский корректировщик огня, оставивший здоровье на афганских склонах. И старый партизанский разведчик, пускавший под откос фашистские поезда, идущие на Москву. Вроде бились насмерть за правое дело, но когда пропустили врага в столицу? Почему не разглядели на дальних подступах – ни в горах, ни на море, ни в лесах? И теперь, 26 декабря 1991 года, им оставалось черпать ладонями колкий морозный снег и растирать им лица.

Не помогало.

Не трезвели.

И только, давая надежду, тянулись из деревенских труб к застывшему от мороза небу белые, извивающиеся под собственной тяжестью столбцы дыма...

Александр КАЗЕКО ***(Беларусь)***

«ВОЗВРАЩЕНИЯ ПУТЬ...»

* * *

Не спится мне, мой друг, не спится.
Сознанье дремлет на границе
Мечты, прозрения и сна...
И только тайнами полна,
Всегда печальна и бледна –
Чужою волей отдана
Неукротимому вознице –
Недосягаемо одна,

КАЗЕКО Александр Николаевич – член Президиума Союза писателей Беларуси. Председатель Могилёвского областного отделения Союза писателей Беларуси. Редактор альманаха «Прыдняпроўе. Магілёўшчына літаратурная». Член Координационного совета общественных организаций и политических партий Могилёвской области.

Александр Николаевич – кадровый военный. В 1980 году с отличием окончил Орловское высшее военное училище. Служил в Орле, Владивостоке, Брянске, Могилёве... После выхода в отставку работал учителем в школе, заместителем директора Могилёвской областой филармонии, возглавлял подразделение в системе МЧС.

Пишет на русском и белорусском языках. Автор книг поэзии: "Души моей родник", "Мелодия надежды", "Единственный друг" (сборник песен с композитором Николаем Яцковым), "Час сяўбы", "Медуніца", «Перекрёстки судеб»,- "Марыйка". Лауреат специальной премии Могилёвского городского исполнительного комитета "Достижение". Награждён медалями и отличительными знаками СССР, Республики Беларусь, Российской Федерации.

Сквозь ночь закрытого окна,
Летя в небесной колеснице,
Чуть улыбается Луна –
Душа в когтях у синей птицы.

* * *

... А за окном по-прежнему дождит –
Как будто там, в объятиях ненастья,
Подолом из туманов шелестит
Осенней грусти шёлковое платье.

Сквозь зыбкий морок пелены дождя
Стучат в моё окно былые грёзы,
Глазами одиночества глядят,
На зеркало стекла роняя слёзы.

И умоляют снова их впустить
Под тёплый кров и новые одежды
Для будущих желаний подарить
Из светлых тканей паруса надежды.

Но марево остылых грёз былых
Я к очагу души не пропускаю.
Благословив, прощаю слёзы их
И в прошлое навеки отпускаю.

РОМАНС

Мне так искренне жаль:
Ваших глаз колдовская бездонность
Утопает в бокале,
Туманясь в игристом вине.
Излучает печали,
Сжигая мосты, обречённость.
Да и Вы так устали
Сомневаться о прожитом дне.

Как в затерянный мир
Увлекло, припорошило илом
Беспредельное зло,
Создающее счастья мираж.
И разрушило в пыль
Вашу суть, изнутри подточило,
Болью в сердце легло,
Завернув на последний вираж.

Безысходности вой,
Тупики без обратной дороги
Тянут камнем на дно,
Рвут последние струны из жил.
Осознав эту боль,
Рядом с Вами стою на Голгофе

И молюсь об одном,
Чтоб Господь нас к себе обратил.
Возвращения путь
Бесконечен без искренней веры.
Нам бы в небе парить,
А не путаться в илистой мгле.
Боже, милостив будь!
Приоткрой сокровенные двери,
Сохрани и спаси
Наши души на грешной земле.

* * *

Моей жене Светлане

Я пою Вас, святая и грешница!
Вечность времени пишет рукой.
Полноводна река твоей нежности,
Жизнь любви бесконечна тобой.

С материнством и честью повенчана,
Мир в тебе и тобою открыт.
Мать земная по имени Женщина,
Ты – начало, награда и смысл.

Плотью в детях своих повторяешься,
Через всё мирозданье продлив
Миг бессмертия, снова рождаешься,
Тайну, суть бытия приоткрыв.

Красотою души покорённый,
царь и раб, пред тобою стою
И целую, как крест напрестольный,
материнскую руку твою.

* * *

1.
Вечная память павшим.
Слава в веках живым!
Мы уходили с марша
В ярый огонь, и в дым.
Чтобы своей Отчизне
Славу и честь нести.
Чтобы, во имя жизни,
Мир на земле спасти.

2.
Стали легендой судьбы
Тех, кого с нами нет.
Встали другие люди
Вместо ушедших в свет.

В мире родных раздолий
Новая жизнь кипит.
Есть у Отчизны вольной
Меч и надёжный щит.

3.

Только не выжжет время
Память народа в прах.
Подвиг отцов и дедов.
В наших живёт сердцах.
Мы от забвенья фальши,
Свято его храним.
Вечная память павшим!
Слава в веках живым!

* * *

Светлой грустью берёзы склонились у ног обелиска,
Где сожжённых покоится прах посреди тишины,
И в багряное зарево осень окрасила листья,
Возвращая печальное эхо минувшей войны.

Сколько отнято лет, сколько песен о счастье не спето!
Сколько будущих жизней унёс беспощадный огонь!
Как застывшую искру войны, уходящее лето
Жёлто-рыжий листок на мою уронило ладонь.

На просторе – за властью огня – только вороны рыщут,
Почерневшие трубы столпами на острове слёз.
На просторе – за властью огня – только дым, пепелища,
Да ещё, обожжённые ужасом, пряди берёз.

Убаюкала раны кричащие мирная осень,
Но, под тяжестью скорби, тревожно молчит тишина.
Перед Вечною Памятью время прощения просит –
Что ещё на Земле громыхает по судьбам война.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ.

Спи, мой котёнок родной,
Глазки скорее закрой.
Пусть тебе ночью подушка
Сказку расскажет на ушко.

Спи, моя ласточка-кветка,
Спи, моя доченька-детка.
Над колыбелью спою:
Баюшки – баю – баю.

В небе, за шторой окна,
Нам улыбнулась луна.

Лучик ее золотой
Сон принесет и покой.

Спи, моя ласточка-кветка,
Спи, моя доченька-детка.
Я над кроваткой спою:
Баюшки – баю – баю.

Ласковой ночи покров,
Тайны далеких миров,
Сказочных снов звездопад
Брызгами счастья летят.

Спи, моя ласточка-кветка,
Спи, моя доченька-детка.
Я над тобою спою:
Баюшки-баю-баю.

Вырастешь скоро большой
И улетишь за мечтой.
Пусть от невзгод и обид
Бог тебя всюду хранит.

Спи, моя ласточка-кветка,
Спи, моя доченька-детка.
Рядом с тобою спою:
Баюшки – баю – баю.

* * *

Моей совсем ещё взрослой
дочери Маруське

Каким путём ты думаешь идти?
За птицей счастья странствовать по свету,
Чтобы, найдя, доверить ей нести
Известные всем издревле секреты?

Или, украсив скукой постный лик,
Изображать надуманные скорби,
Когда внутри клокочет и бурлит
Зов естества, пуская в душу корни?

Непросто на пути преодолеть
Безверия и слабостей препоны,
Чтобы успеть доподлинно прозреть,
Увидеть смысла высшего законы.

Но, об одном прошу, не преступи
Черты, что отделяет безвозвратность, –
Иди вперёд и ввысь, переступив
Пустых желаний суетную страстность.

Не оглянись! Спеши, что станет сил,
Омой себя страданием и болью,
В смирении молясь, чтоб Бог открыл
По вере путь к спасению Любовью.

ГРОЗА

Чарующе красив грозы приход:
Дохнув лесной прохладою, восход
Родных раздолий запах принесёт;
В испуге птиц стремительный полёт
Привычных ритмов нарушает ход;
Купается, туманясь, небосвод
В измятом шёлке древнего Днепра.
Взбивая тучи, сердятся ветра...

Зеркально-серой глади дыбят шёлк,
Мешая мелкой зыби порошок
С бездонным отражением небес...
Всё ниже, ниже многотонный вес.
Внимая ветру, глухо стонет лес,
За тёмной синью горизонт исчез,
Прогнулось небо – кажется: вот-вот
Не выдержит, на землю упадёт.

Разбили вихри тихий летний зной,
И свежестью пахнуло неземной.
Пронзила тучи молнии стрела,
С громадин чёрных сбила купола,
Стократным громом землю взорвала,
Мир сдвинула, реальность унесла...
Затихло всё... мгновенье погодя,
Упали капли первые дождя.

За каплей капля дробью об асфальт,
Взрываясь пылью брызг, стучат, стучат
Секундами неистовых часов.
Все гуще стук... Воды сплошной покров,
Шрапнели шум, и тысячи ветров
Сливаются в шипящий г розный рёв.
Нет воздуха, земли, а лишь одна
Воды летящей плотная стена...

Прошла лавиной... Отшумел поток
И потянул, слабея, на Восток...
Пробилось Солнце волнами тепла,
Купаясь в них, природа ожила,
На Землю росный жемчуг пролила,
К реке от леса радуга легла...
Как в детстве, манит и уносит ввысь,
В счастливую, безоблачную жизнь...

ОДА ЛЮБВИ

1

Основа Вечности – Любовь.
Родник Любви неиссякаем.
Её Божественный покров
Как жизни хлеб воспринимаем
И, отдавая, умножаем
Любви поток и укрепляем
Основу Вечности – Любовь.

2

Любовь – как истина – одна,
Любовью истина верна.
И потому Любовь нужна,
Что без неё была б страшна,
До бесконечности длинна
Дорога, смысла лишена
Цель жизни – истины страна.

3

Любовью побеждает жизнь,
Небытие поправ. Держись
За веру жизни и Любви!
Ты этой истиной живи,
Любовью утверждая жизнь
И повторяя миру вновь
Призыв: «Да здравствует Любовь!»

Мария КОБЕЦ *(Бедарусь)*

«КОГДА ТВОЙ ОБЛИК СОВСЕМ РАЗМОЕТСЯ...»

К ПОЭЗИИ...

Погибель?.. Надежда?.. Спасенье?..
Громоздкая ноша, иль крест?..
В промозглости горькой осенней
Души молчаливый протест?..

Весны изумрудной цветенье!
Бурлящий, стремительный плёс!
Любовь до безумств, исступленья!
И ненависть въедливых слёз!

Печалей и скорбей плененье
И мудрость вещуний-шептух!
И Веры Святой искупленье,
Раскаянье, исповедь вслух!

Трёхперстье... Потир... Очищенье...
Начало начал и... конец.
Погибель... и ради спасенья
Холодного жвира[1] свинец!..

КОБЕЦ Мария родилась в Пинском районе Брестской области. Окончила институт журналистики БГУ. Поэт, переводчик, журналист, заместитель председателя Минского областного отделения СПБ член СП Союзного государства, лауреат нескольких литературных премий. Автор поэтических сборников. Стихи Марии Кобец были переведены на многие иностранные языки.

ПОЛЫНЬ

Опять зацветает полынь...
О, как она, жалкая, гнётся,
К земле припадая со злым
И неутолённым сиротством.

Им, горечи вечной раба,
Питает тоску и унынье...
И кажется мне, что судьба
Навеки пропахла полынью.

За что ты, седая полынь,
Вливаешь мне в душу отраву?
За что ты прогорклую стынь
Разносишь по шёлковым травам?

О, сердце больное, отринь
Угрюмую спутницу ночи!
Опять зацветает полынь.
Опять мне разлуку пророчит...

(Перевод Юрия Щербакова)

СОЛНЦЕ

... Да, только солнце
Ведает тропинку к гнездовью Жар-птицы.

Тщательно и надежно скрывает оно этот маршрут
И от праздных прохожих, и от одержимых искателей.
Истощенные нелегкой дорогой,
Лишь единицы из сотен тысяч находят Его
Среди миллионов ложных убежищ.
Находят и остаются в Святости Его
Навсегда просветленными.

Возможно, мне не хватало силы в ногах,
Мне не хватало прозорливости, слуха, или понимания,
Чтобы одолеть этот маршрут,
Поэтому сегодня
Я брезгливо глотаю ядовитый запах чужих волос,
Неохотно приобщаюсь к толпе таких же, как я,
И еле-еле выдерживаю очевидное:
Я – в числе остальных сотен тысяч.

НЕБО

Я отдала тебе свое Небо.
А ты...
Ты заселил Его воронами и тучами,
Громом и молнией...
Обласканные суховейными вихрями
Они парализовали силу Его,
Блокировали волю Его...

Заче-е-ем?!
Отчаянно поднимаю руки вверх и... ужасаюсь –
Громы рвут тело прозрачное,
Вороны клюют глаза лазурные,
Кровавый багрянец стекает
по груди рассветной...
Довольно-о!..
Твоими, да твоими усилиями
Беспомощно погибает в лоне Реки Времени
«Розовая лилия Нила» – лотос[2] священный.
Довольно-о-о-о!..
... Но тонет голос в звуках немого бесчувствия...

* * *

Слова Ваши – звуки торжественной молитвы,
что легко и непринужденно входит в мою подсознание.
Высокий голос Ее – заполняет все сокровенные уголки души и сердца.
Это голос Вневременности и Небытия,
Голос Священного Писания, что помнит еще голос Пророка...

Я – Христолюбивая сестра, что заселились в Храме Души Вашей.
Светлый, уютный, возвышенный и таинственный...
Он – место моей отрешенности и... небовознесения.
Осмысление, что вызревало в уголках внутренней растерянности –
Есть необходимость паломничества в это Святое место.
Оно отводит тело мое от края отчаянно-жуткой бездны
И порождает Веру...
Веру – в себя.
Веру – в Человека.
Веру – в будущность Человечества.

ПИСЬМО К СПАСИТЕЛЮ

СПАСИТЕЛЬ!
Когда облик Твой совсем размоется
в призрачной неге горизонта,
смогут ли глаза мои распознавать силуэт Твой?
СПАСИТЕЛЬ!
Когда в бесконечной пустыне следы Твои
заметут суховейные Ветра столетий,
смогу ли я отыскивать путь Твой?
СПАСИТЕЛЬ!
Когда свидетели Твоих страданий –
кровавые отметины на сукне – исчезнут со Святой плащаницы,
смогут ли люди чувствовать ту боль, которую Ты выдержал ради них?

ГОСПОДИ! Криничка моя пересохла,
сандалии поизносились, руки устали просить,
плечи еле-еле выдерживают тяжесть креста моего,
а тело уже почти не в состоянии следовать за Тобой по воде.
Господи! Щеки мои пламенеют[3] – это реют флаги побед моих обидчиков.
И всё же...

Смилуйся над ними, Иисусе!
Смилуйся надо мной и моими сыновьями!
Смилуйся над людьми, что все равно предают Тебя!

Лицо мое освещается соленой влагой покаяния,
руки взволнованно перебирают Святые Четки, а губы шепчут:
«Господи, помилуй!
Господи, помилуй!
Господи, помилуй!».

... Иисусе! Я знаю, Ты слышишь меня...
Минск

---

[1] *Жвир* – здесь: кладбищенский песок (белорусск.).

[2] В Древней Индии лотос выступает как символ творческой силы.

[3] 38-й стих Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея. Мф. 5.38-42. – И не противьтесь злу силою: «Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: нет противьтесь злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».

Николай КОНОВСКОЙ *(Россия)*

ПОСМОТРИ, КАК МНОГО НАС!
Из «Браславской тетради»

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Душа и тело. Камень и вода.
Закатный час. Полынная дорога
Бог весть куда. Пустынно-одиноко
Взошла на небе первая звезда.

И водный блеск – обманная слюда,
И облаков туманные отроги,
И вещий гул в лесном дремучем слоге –
Как бы с трудом отверстые врата

В прошедшее навеки – не туда ль,
Где осиянно-незакатна даль,
Где смерти нет, и все добры как боги,

Где земляничных сладостных полян
Бессмертен дух; по золотым полям
Ещё гуляет отрок босоногий...

КОНОВСКОЙ Николай родился в 1955 году в Белгородской области. Служил в армии, работал на заводе, стройках, в охране РЖД. Окончил Литературный институт им. Горького. Член Союза писателей России. Печатался в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Наш современник». Издал несколько поэтических книг. Живет в Москве.

РОДИНА. ПАМЯТЬ. СВЯТЫНЯ...

В дымке горящей пустынные серые веси.
Тихо, высоко забвенье родимой глуши.
Дни беззакатные длятся и длят равновесье
Мига и века, Вселенной и слабой души...

Струи бессмертные жарким почувствуешь телом –
Глуше, пахучей, чернее вода, тяжелей...
Ветер томительный запахом душным и спелым –
Сладостно веющий – с дальних доносит полей

Житное тускло-белёсое страстное тленье,
Благостным шумом поющее в знойной крови...
Родина. Память. Святыня. Земля. Утоленье
Боли, тревоги, раскаянья, смертной любви.

СЛУЖБА

Сёстрам Свято-Пантелеймонова
женского монастыря г. Браслава

О бедность и скудость – суровая правда земли! –
И гул затаённый, едва различимый вдали –
Соснового бора!
А всё-таки стоит, пусть даже мучительно, – жить,
Когда в отдалённом безмолвии чайка кружит
Да блещут озёра...

И время само замедляет стремительный ход
Под кровом, где медленно-медленно-медленно служба плывёт
Дыханьем надмирным,
Где ветры поклоны за стенами истово бьют,
И кроткие сёстры хваленье Творцу воздают
Распевом старинным...

И чудится будто, что всё уже произошло,
Священным елеем уж влита в распевов стекло
Грядущего вещность.
И стелется ладан, и медленно служба идёт,
И кончилось время, и вот она, страшная, вот –
Блаженная вечность!

ОРЁЛ ИОАННА

Могучие крыла простёр,
Надземное имея кровом,
Всепобедительный орёл,
Плывущий над землёй сурово.

Споткнётся конь, устанет вол.
Всю вечность зрящий из былого,
Орёл парящий есть символ
Апостола и Богослова.

Седой, вневременный полёт.
Не тающий на скалах лёд.
Ущелия в полдневной бронзе.

Творцом из твари лишь ему
Дано на свете одному
Глядеть – глаза в глаза –
На солнце.

НА БЫВШЕМ ЕВРЕЙСКОМ КЛАДБИЩЕ БРАСЛАВА

Какое столетие ныне, и месяц, и год.
И где этот избранный, изгнанный Богом народ? –
Всё кануло в Лету...
Движение крон в поднебесном просторе слежу,
Под рюмку на старом еврейском кладбище сижу, –
Которого нету.

Холодная супесь объяла упорство и пыл.
Ни духа Завета, ни следа старинных могил,
Ни света страданья.
За кромкой озёрной закат кровоточит, распят.
Да вечные сосны над вещею бездной шумят,
Взрывая сознанье.

Есть край непостижный в надмирной своей чистоте,
Последняя правда и милость откроются где...
Здесь – бури и ветры
Как тыщи мятущихся в дверь затворённую бьют.
...Иль что-то родное сыновнему праху поют
Ливанские кедры.

* * *

Звезда, и камень под ногой,
И мысль, и духа плоть –
В руке могущей и благой,
В Твоей руке, Господь.

В миры иные уводя,
Враждует с древним злом
Акафист летнего дождя,
Гремящих гроз псалом.

ШТОРМ

Как будто не было беды,
Ни в прах развеянной мечты,
Ни радости, ни горя, –
Преодолев земное зло,
Косноязычно-тяжело
В лицо дохнуло море.

Далёко на краю земли
Трепещет в штормовой дали
Теряющийся парус.

Медлительно – за валом вал –
Из бездны мировой восстал
Освобождённый хаос.

В восставшей – до небес – стене,
В слепом восторге – что же мне
В том рухнувшем полёте? –
От мировой гнетущей лжи
Освобождение души?
Освобожденье плоти?

О, море, море!.. Искони
Темны недвижимые дни
С пророческою скорбью,
И вечны, как простор и шум –
Снов нескончаемых и дум
Гудящее подобье.

УШЕДШИМ

Не странно ли, – кого любили, –
В глухие пропасти земли
Ушедши, – дверь не затворили,
А, может, вовсе не ушли.

Не странно ли: в закрытой зоне.
В незаходящем свете дня
Душа моя, как на ладони
У вас, а ваша – у меня...

ТЫ ДА Я

Снова вместе, ангел мой,
Ты да я, да мы с тобой.

Вместе – вот и весь наш сказ!
Посмотри, как много нас!

Век, который не объять,
Как пытался нас разъять,

Как пытался извести,
По вселенной развести!..

Смертной болью обожглись.
Повинились, обнялись...

Тихий-тихий свет лица...
Вместе будем до конца,

Терпеливый ангел мой, –
Ты да я, да мы с тобой.

---

*Браслав – *старинный город в Витебской области.*

Наталия КОСТЮЧЕНКО *(Беларусь)*

ВРЕМЯ И ВОЗРАСТ
Фрагменты из романа-эссе

ВРЕМЯ ЖАТВЫ И ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ

Возраст чем-то напоминает несамостоятельное, неопытное дитя, которое с момента своего рождения пытается удержаться за руку ведающей всё на свете матери – времени.

Мать и дитя – время и возраст. На первый взгляд, такие родственные, неразрывно связанные друг с другом категории. Но различие между ними не имеет аналогов в сотворённом по неким непостижимым для человеческого сознания законам мире. Подобно заданному маршруту, возраст всегда отмеряется началом и концом. Время же ни начала, ни конца не имеет. Есть лишь замкнутый цикл смены времён года: за летом идёт осень, затем зима, за зимою – весна и опять лето. Иллюзия бессмертия... И беспрерывного движения по кругу...

Всё ещё отношусь к своему возрасту легко, без страха и сожалений. Может потому, что нередко слышу комплименты? Кто его знает, каким окажет-

---

КОСТЮЧЕНКО Натадия родилась в Брагинском районе Гомельской области. Окончила лесохозяйственный факультет Белорусского технологического института. Прозаик, публицист. Лауреат Республиканского литературного конкурса «Лепшы твор года», VIII Международного славянского литературного форума «Золотой витязь», Литературной премии имени Ивана Шамякина. Награждена медалью Франциска Скорины. Заместитель председателя Минского городского отделения СПБ, председатель секции прозы. Член Общественной Палаты Союзного государства. Живёт в Минске.

ся моё восприятие возраста, когда в зеркальном отражении увижу навсегда утратившее свежесть, изрытое старческими морщинами собственное лицо. Что, если возраст, словно острое лезвие, полоснёт по моей, внезапно протрезвевшей душе? Покажет время.

До сих пор для меня возраст отождествлялся с определёнными способностями воспринимать то, что окружало и с чем я соприкасалась. Каждый возрастной период был неким своеобразным, мало похожим на предыдущий, континентом ощущений и чувств.

В ту блаженную пору, когда ещё не умела читать и хоть сколько-нибудь рационально мыслить, я будто невидимой пуповиной была связана с истинным, не искажённым ни своим, ни чужим знанием, многомерным и многогранным миром. Его краски казались ярче и плотнее, звуки – отчётливее и тоньше, а волнение, вызываемое ими, потрясало душу. Тогда, в детстве, меня окружали не просто небо, деревья и травы, а Небо, Деревья и Травы. Всё имело другое величие, другой масштаб и словно благовествовало о том, что мир существует для меня и, может быть, даже возник ради меня. Я ощущала, улавливала это не умом, не мыслями, а кожей. И, исполненная доверия к этому сотворённому для меня миру, не сомневалась: ничто и никогда не сможет омрачить мою радость.

Но когда эта радость при первом же, пусть даже детском испытании, из-за незначительного, на сегодняшний взгляд, удара вдруг разлетелась на крошечные осколки, я поняла, что мир существует не только для меня одной. Что на земле есть множество других людей. И каждый из них имеет такое же, исключительное право на этот мир.

Неожиданным потрясением стало осознание того, что им, людям, по большому счёту, нет никакого дела до меня, и, растерявшись, я вдруг почувствовала себя одинокой, незначительной и уязвимой. Так, наверное, появляется на свет, словно цыплёнок, вылупливающийся из яйца, робкое и неокрепшее, только-только начинающее сомневаться и думать «я», и вместе с ним – «эго».

Тогда, искренне оправдывая и воспринимая как справедливое это своё «эго», я не догадывалась, что придёт время учиться распознавать почти каждый из его многочисленных оттенков и, вывернув изнанку мною же искусно упрятанной от посторонних глаз его порочной сущности, до изнеможения, «до крови» сражаться с ним. И с каждой, пусть даже с самой незначительной победой над своим «эго», вглядываясь в других людей, я больше и больше буду понимать: все мы похожи в главном. И эта похожесть – естественна. Потому что общий «архетипный» опыт коренится в каждом из нас, притом достаточно глубоко. Индивидуальное как бы погружено в него. И такая широко распространённая схема (нет человека, который бы в те или другие моменты жизни не воспринимал мир по ней!): «я!» – центр, а по периферии – «они», то есть народ, – сегодня стала для меня неприемлемой. Ведь «я» – это тоже «они». И все мы похоже радуемся в детстве, мечтаем в молодости и печалимся, когда стареем. Пусть простит меня читатель, но смею думать: аналогичное тому, что чувствовала в том или ином возрасте я, где-то в другом уголке земли чувствовал немец, француз или африканец.

Поэтому, описывая пусть незначительные, но особенные, острые по ощущениям ситуации и события, произошедшие со мной может быть где-то в глухой белорусской деревушке, и в помине не знавшей ни одного иностран-

ного гостя, я не сомневаюсь, что тот же немец, француз или африканец поймёт меня, вдруг обнаружив что-то созвучное моим чувствам и как будто знакомое в собственной душе.

В детстве мне казалось, что небо над моей любимой деревней с её невысокими хатами простиралось во всю ширь земли. Днём оно было то безоблачным, бледно-голубым, то в причудливо клубящихся облаках. Вечером – насыщалось тревожащими душу, сгущающимися красками: от сине-фиолетовых до багровых. Ночью небо становилось таинственным и влекущим, особенно когда на нём проявлялись звёзды.

Бывает, во время бессонницы отчётливо видишь то яркое и невозвратное, что когда-то взволновало и до конца твоей жизни удержится в памяти.

Вот я, брат и родители в нашем первом совместном «ночлеге» на днепровской песчаной, поросшей молодыми вербами косе... Папа переправил нас сюда с берега на лодке. Соорудил из лозовых веток шалаш.

Догорал костёр. Вчетвером мы лежали рядышком на душистой свежескошенной траве и смотрели в черневшее небо. И те впечатления от звёздного неба во мне даже ярче и яснее, чем от первого поцелуя, поступления в институт и даже чем от тех минут, когда впервые, на самолёте, взлетела в его бескрайние просторы. Я вспоминаю то ночное небо с гораздо большим волнением, чем многие другие важные события моей жизни.

Тогда я не могла отвести глаз от мерцавших, завораживавших внеземной красотой больших и маленьких звёзд, чиркающих темноту метеоритов, пролетавших самолётов, а может быть даже и спутников. Папа тихо, загадочным полушёпотом рассказывал о планетах, непостижимости для нашего познания и бесконечности вселенной, о вечности. И мне казалось, что я смотрела в космос из колыбели земли. И космос чувствовал меня, безмолвно мигая звёздами. В такие минуты открывается тайна: если в небо смотреть долго, теряешь границу между ним и землёй. Или звёзды опускаются, или ты возвышаешься к ним и втягиваешься, втягиваешься бездонной далью...

О, какое же это было счастье – находиться рядом с самыми близкими тебе людьми и, лёжа под открытым, бесконечным, полным загадок небом, вдыхать запахи трав и реки!

Днепр с его обрывистыми берегами, в которых ласточки делали свои норки-гнёзда, с его плёсами, песчаными косами и отмелями, со старицами и заливными лугами был самой красивой, самой главной рекой на земле, потому что он был моей рекой. Мне нравилось смотреть на проплывавшие мимо ракеты, катера и баржи, на стремительно наворачивавшуюся, слизывавшую с берегового песка свежие следы волну, на стайки мальков, замиравших в прозрачной воде на прогретой солнцем песчаной отмели. Любила вкус днепровской воды, тогда ещё вполне чистой, которую черпали прямо из реки кепкой или панамкой и тут же, процеживая через свой головной убор, пили. А ещё нравилось, присев на берегу, смотреть вдаль, в ту сторону, куда несла свои воды моя река. К морю. Представляла, как она ширится и набирает силу. И думала, что вот так же будет шириться, устремляясь в будущее, и набирать силу моя жизнь.

Память... В ней всё: и запахи, и звуки... И даже вкус пищи... Случается, что какое-нибудь одно, пусть даже мимолётное, ощущение вдруг возвращает тебя в детство. Причём настолько живо, настолько осязаемо, что воспоминание словно становится реальностью.

Как-то, немного приболев, я заварила полынь и бессмертник. Запах, горечь этого отвара так не нравились в детстве... Бабушка выводила меня в сенцы, протягивала кружку с этим горьким лекарством и уговаривала сделать глоток. Я морщилась, отпивая невкусный отвар. Горечь... Помню то неприятное ощущение... Делала глоток через силу.

Сегодня с волнением вынимаю из полотняного мешочка сухую траву, собранную летом. Заливаю кипятком и с благоговением, трепетом настаиваю.

Как пахнет... Родным... Чувствую присутствие бабушки, которой уже более двадцати лет, как нет. Делаю глоток... Замираю от ощущений... И нет ничего слаще этого горького напитка.

К сожалению, то, что в детстве волновало меня, – тонкое, слитое с невидимой первоосновой бытия, – постепенно стало угасать. И с возрастом это угасание становилось всё заметнее.

Пришло время, и постучался в мой ещё неискушённый, неопытный мир «эрос», чтобы стать властителем эмоций и страстей, заглушая тихую, нежную мелодию детских чувств. И эти страсти и эмоции требовали душевных сил, всех, без остатка. Серебристый голос детства звучал всё тише и глуше.

И вот теперь, прожив почти полвека, я слышу уже другой голос. Он делает всё ровным и почти безэмоциональным. Хотя ещё по привычке восклицаю: «Как чудесно!» или «Прекрасно!», но редко чувствую это чудесное и прекрасное. Новый, зрелый голос быстро гасит редкие всплески радости, не позволяя ожидать от судьбы чуда, как бы благополучно ни складывалась жизнь.

Может, в этом мире, сплетённом из всех открытий и достижений человечества, дороже всего маленький бесплотный сгусточек детской души?

Я редко снюсь себе в теперешнем возрасте. Мои сны как будто отказываются воспринимать настоящий возраст и застряли в прошлом. Иногда во снах я совсем юная и, радуясь, вижу живыми и полными сил своих дедушку и бабушку, а также многих из тех людей, которых больше нет на этом свете. И нередко, как в молодости, волнуясь от переполняющих меня чувств, тороплюсь на одно из своих первых, далёких, которым больше никогда не повториться в реальной жизни, свиданий.

Человеческая жизнь словно вращается вокруг молодости. Молодость – «осевое время» человека. Только в молодости тебе даётся безусловная вера в себя, предощущение значительного, непременно счастливого будущего, скрывающего невероятные, мыслимые и немыслимые возможности. Тайна твоей судьбы пока ещё не раскрыта. Поэтому всё, что впереди, манит и привлекает. И ты чувствуешь своё особое предназначение, избранность.

В детстве я предвкушала молодость, нетерпеливо ждала её прихода (вот вырасту большая!), а сейчас с грустью думаю о ней. И хотя молодость, как принято считать, обладает полнотой сил и возможностей, я с горечью тушу последние угольки её былого дерзкого и самонадеянного высокомерия.

Впереди – старость. Её приближение остро чувствую, видя, как стареют, теряют физические силы самые дорогие для меня люди – мои родители. Иногда, мысленно примеряя их старость на себя, боюсь самого страшного – разлуки. Удивляюсь, насколько недавно, чуть ли не вчера, им было столько же лет, как мне сегодня, а теперь ещё более короткий, можно сказать, нич-

тожный промежуток времени отделяет мой возраст от их. Вот он где, жестокий и необратимый закон ускорения! Уже не тянутся, а всё быстрее пролетают зимы и вёсны. Теперь ты не только обретаешь в этом неудержимом беге жизни, но и теряешь. И с каждой очередной потерей всё чаще задумываешься о смерти. Мысли о ней вызывают щемящую, необъяснимую тоску, некий холод, который сосёт изнутри.

Больше всего боюсь потерять близких. И этот страх, безотчётный, подсознательный, почти всё время со мной... А в те минуты, пусть и редкие, когда он неожиданно становится пронзительным, перед глазами возникают эпизоды из жизни – обыденные, ничем не примечательные, – но которые теперь, с возрастом, воспринимаются как главное и самое дорогое. Вот мама, ещё молодая, укладывает перед зеркалом в строгую причёску свои длинные русые волосы... Папа, сидя на диване, при свете бра читает газету. Лицо у него сосредоточенное, чуть нахмуренное, серьёзное. Мне не хочется ему помешать, ведь комната родителей – зал – проходная, и только через неё можно попасть в крошечную прихожую, ванную, кухню. Иду мимо него на цыпочках, тихонько, чуть ли не крадучись, чтобы не отвлекать... Вспоминается и наша с братом шестиметровая комнатка-спаленка с диванчиком и креслом-кроватью, одноместной раскладной партой, за которой я школьницей готовила уроки, и с двумя книжными полками на стене. Эта маленькая, небогато обставленная квартирка-полуторка до сих пор снится и кажется мне уютнее, чем нынешняя – просторная, с тщательно продуманным интерьером.

Давние, полузабытые эпизоды возникают перед глазами и исчезают быстро, словно в немом кино. И хотя во всплывающих в памяти мгновениях ничего особенного не происходило, они для меня бесценны. И я люблю до боли, до слёз тех, кто предстаёт в этих мгновенных картинах: маму, отца, брата...

Иногда думаю, до чего же уязвима человеческая жизнь, сколько всего угрожает ей. Её защищает только тонкая нежная кожа да маленький язычок дверного замка. И ещё – оконное стекло. Оно, правда, вообще не защищает. Недаром говорят: хрупкое, как стекло... А вокруг – полный опасностей мир. Телевизор посмотришь: где-то наводнение, ураган, цунами, астероиды летают, звёзды взрываются, а там война, террористический акт, кого-то убили... Нет-нет, да и промелькнёт мысль: как хорошо, что не меня, не ближних моих. И каким призрачным и неустойчивым покажется вдруг благополучие твоё и твоих родных. Оказывается, смерть всегда наготове, рядом, постоянно дышит в затылок... Только ей одной позволено поставить точку в конце твоего земного пути. И только о ней никогда не хочется думать. Кажется, пока о ней не думаешь, ни с тобой, ни с теми, кого ты любишь, ничего не случится.

Но вот уходит знакомый человек. Не близкий. Его, конечно, очень жаль. И вдруг в подсознании, где-то очень глубоко в тебе вспыхнет и потухнет мысль, даже не мысль, а импульс какой-то, совсем не похожий на сострадание: «Не я!» – «Пока не ты», – соглашается смерть. Однако, у чьей-то, пусть даже чужой, могилы больше боишься не за себя, а за того, кто дорог.

С каждой утратой и вызванной ею жгучей, невыносимой болью – стареешь. Да и сами мысли о смерти – первые вестники приближающейся старости.

Хотя, наверное, умение быть старым – особое искусство. В старости больше не требуешь от мира того, что он не может тебе дать, и обретаешь важней-

шее из чувств – смирение. Смиряясь, становишься ближе к Богу. А в этом, может быть, и есть главный смысл человеческой жизни?

Старость – это постоянная встреча с прошлым, которое уже не мечтает, а взыскует, спрашивает с тебя, тычет тебе в глаза, в душу твоими ошибками, слабостями, пороками и упущенными возможностями. Старость, может, для того и нужна, чтобы спросить с тебя за молодость. Ты уже не имеешь возможности сказать: я многое достигну, многое сделаю... Всё перед тобой: вот оно, смотри, что ты сделал, чего достиг. Не из-за этого ли мучительного ощущения несостоявшегося так не любят старость?

Кто-то считает старость унизительным состоянием, напрасно отведённым человеку природой отрезком жизни.

А может быть старость – это проверка на мужество? Ты становишься немощным, сужается твоё окружение, в какой-то степени ты начинаешь чувствовать себя одиноким, обезображиваешься и неотвратимо приближаешься к черте, за которой – мрак неведения. Нет у тебя ни красоты, чтобы очаровывать, ни силы, чтобы противостоять.

И всё же, по-видимому, неспроста дан человеку этот сложный, последний, но, возможно, самый главный в его жизни период. Время остановиться и время задуматься. Время жатвы и время покаяния. А по большому счёту – момент истины.

ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

Запомнились те ночи... Лунные, ясные, звёздные и тёмные, «хоть выколи глаз». Те ночи покоряли мягким давлением тихих звуков, полной тайн темнотой, трепетавшей в причудливых тенях, запахами, глубоко проникавшими в кровь и становившимися частью твоей плоти. Ночи, которые пахли жизнью и, порождая в твоей душе тончайшие мелодии неведомых ранее чувств, околдовывали тебя.

Каким было очарование теми ночами... Ещё бы! Разве не обостряют восприятие мира свойственные юности восторженность и состояние влюблённости или ожидание, предчувствие влюблённости? Когда тебе ещё пятнадцать. И ты в волнении только начинаешь ощущать, до конца не осознавая, зарождающиеся перемены в тебе, во всей твоей внутренней сущности, перемены, которые как чудо, как некое ошеломляющее открытие уготавливает каждому без исключения природа.

Юное, особенное, неожиданное, волнующее... Потрясающее тебя до глубины души, удивляющее своей силой первое чувство! На то, первое, похожего не будет никогда. По остроте, чистоте, искренности...

Ночи... Далёкие и близкие. Как далеко и близко всё то, что было в твоей жизни. Летние ночи в деревне, тишину которых не нарушало, а даже как-то по-особому усиливало безудержное ликование опьянённых ими кузнечиков. Только лай собак иногда разрывал её, напоминая, что в этом одурманенном, почти нереальном пространстве кто-то не дремлет, а всегда настороже. Ночи, которые незаметно растворяются, сереют и исчезают после первых петухов.

Иногда, с лёгкой грустью и уже взрослой иронией вспоминается, как мы с двоюродной сестрой Ритой возвращались после ночных гуляний. Осторожно, чтобы никого не разбудить в хате, нащупав клямку, медленно отворяли тяжёлую входную дверь, которая, несмотря на наши старания, всё рав-

но предательски скрипела. В сенцах после свежести ночи нас обдавало некой тёплой и сладковатой душностью, знакомой и приятной. Пахло сушёными травами и молоком. Не забуду, пока жива, те ощущения и запахи.

Помню, как на цыпочках, не торопясь, чтобы не задеть лавку или табурет, мы проходили через первую комнату, где спали бабушка и дедушка, в горницу. Там тихонечко снимали с себя нарядные платья, бережно, на ощупь вешали их на спинки стульев и всё так же, на цыпочках, боясь, чтобы не слишком скрипели половицы, крались к своим кроватям.

Уснуть долго не удавалось. Завораживала, не позволяя отвести от неё глаз, перерезанная крестом оконной рамы светлеющая дрёма уходящей ночи. В душе всё ещё ширились эмоции, хотелось поделиться впечатлениями, пошептаться. И мы не выдерживали, шептались, пока на другой половине горницы разбуженный старший брат Риты, уже женатый и утративший интерес к подобным ночным бдениям, сердито не одёргивал нас: «Девки! А нука, не мешайте спать!».

Чувства, похожие на те, что впервые волновали юную душу, будут в течение жизни зарождаться ещё не раз, но никогда уже не возникнет при этом такого искреннего удивления, такой восторженной и жадной восприимчивости, уверенности в исключительности и неповторимости этих поразивших тебя своей новизной явлений. Тому, к чему естественно, по природе своей, готовится ещё неискушённая и наивная душа, суждено стать чуть ли не мистическим, не отягощённым земным опытом чувством. Первая влюблённость остаётся навсегда особенной. Нет-нет, да и полыхнёт она в памяти далёким, негаснущим огоньком, слишком непохожим на те, что были или ещё будут возгораться в твоей жизни.

Девки-девки... Не спится им. Шепчутся... И всё вглядываются, вглядываются в сереющее за окном утро...

Что за этим окном их ждёт? Что?..

Тем летом, когда я и Рита, вдохновляемые самыми лучшими ожиданиями, робея и стесняясь, ходили в клуб или к реке, где у костра собиралась молодёжь, мы хотели понравиться, влюбиться, встретить каждая своего «принца на белом коне».

Не стану судить о чувствах сестры, но уж в моей душе, это точно, огромным рассветным заревом разгоралась надежда. Ещё не успев влюбиться, я уже была влюблена. Волшебно влюблена. Иногда утром, подходя к окну и вглядываясь куда-то поверх деревьев в саду, в то, что пока ещё было невидимым, недосягаемым и далёким, мысленно спрашивала: «Где ты? Кто? Что делаешь? Ты ведь есть, моя половинка. Живёшь... И не догадываешься, что я вот тут, сейчас, думаю о тебе...».

Будучи вот таким странным образом влюблена, я уже была не одна, свято веря в существование его – суженого, единственного, родного. И не сомневалась, что скоро, очень скоро произойдёт наша встреча.

Однако первый, кто смело, решительно и открыто подошёл ко мне, оказался совсем не принцем. Меня, робкую и стеснительную, выбрал самый дерзкий в округе, условно судимый за драку пьяница и хулиган. Фёдор или, как его называли, «цыган», был года на три старше меня. Рослого, плечистого, с крепкими кулаками и броской, какой-то не местной, то ли южно-украинской, то ли молдаванской внешностью чернявого парня обходили и боялись. Да и сам он держался особняком. Я ни разу не видела его трезвым.

Моё ожидание чуда неожиданно раскололось и рассыпалось на мелкие

осколки, когда он однажды, как только закончились в клубе танцы, пошатываясь, подошёл, без смущения посмотрел мне в глаза и, ни о чём не спрашивая, молча, без единого слова, чуть на расстоянии последовал за мной и сестрой. И так же в следующий вечер. И в следующий...

«Ох, ты и попала, девочка. Он же бандит...» – сочувствовали мне.

Я не поворачивала голову в его сторону, когда возвращалась из клуба домой с сестрой и подругами. Но боковым зрением видела его огромный тёмный силуэт и огонёк папиросы. Я его боялась. И это был какой-то особенный, почти животный страх. Раскалённым клубком нарастало нервное напряжение. Весь придуманный мною волшебный мир рухнул. И теперь, кроме Фёдора, никто из парней уже не мог ко мне подойти.

– Ну ж, мае внучки, расскажите, хто вас провожал? – как обычно наутро с лукавым любопытством спрашивала у меня и Риты бабушка. И, озабоченно качая головой, говорила в адрес моего «ухажёра»: – Гэта ж трэба, каб хлопец из самой последней на все деревни семьи да выбрал мою внучку! Кажуть, что у них в хате даже кровати няма. На сене, застланном постилкой, спят, вместе с собаками. Ни коровы, ничога. Тольки горелочку попивают. То ж, моя внучка, самые последние люди! Они у нас тутака недавно, с Украины переселились: Параска, яе мужык, двое сынов – один з их – твой, внучка, кавалер, – да дочка, самая меншая, Ленка. Говорать, у дитяти з обуви тольки галоши... Малая была, ещё в школу не ходила, а уже у батьков выпить просила. Подойдёт до стола и плачет: «Хочу горелки», – и, комкая в пальцах цветастый край своего фартука, глядя на меня, предупреждала: – Гляди ж, моя внучка, ото ж надхудших за них нема.

Риту, хотя она была старше меня, пока никто не провожал. Невесёлая у бабушки о её любимых внучках складывалась картина. Хоть девки и видные, как считала она, городские, но... Повздыхав, а затем приободрив нас: «Ну ничога, ничога... Вашае яшчэ всё напераде», – бабушка выставляла из печи на стол завтрак и спешила по хозяйству.

Однажды Фёдор пришёл в клуб очень пьяным. Его шатало, раскачивало в разные стороны, словно могучий дуб ураганным ветром. И вдруг, когда зазвучала медленная танцевальная музыка, он направился ко мне, вышагивая решительно, размашисто и неровно. Я испугалась. Мне казалось, что такой, как он, если ему отказать в танце, ударит или убьёт. Бросив сестру и подруг, я выбежала на улицу, стрелой пересекла островок света, падавшего от единственного возле клуба фонаря, и, оглянувшись, не преследует ли меня Фёдор, поспешила скрыться в лишь кое-где прореженной жёлтыми огоньками хат тьме.

Чтобы меня было невозможно ни догнать, ни увидеть, я побежала не по деревне, а по бездорожью, через совхозный сад, спотыкаясь и оцарапываясь о кустарник, потом через поле вдоль леса. Я боялась, что он опередит меня и встретит возле хаты. И это уже был не просто страх, а нечто большее. Задыхаясь, я падала, вставала и вновь бежала.

Все следующие дни, до отъезда в Минск, я в клуб не ходила.

* * *

Спустя год, летом, я снова приехала в деревню.

Стояла жара. И, хотя был июнь, в проседи листьев верб, уныло вытянувшихся вдоль деревенских улиц, проглядывала желтизна. Лишь однажды прошёл небольшой дождь, скупо окропив иссушенные добела пески.

В любую погоду, как в горячие дни, обжигая ступни, так и в дождь и в холод, я ходила босиком, думая, а вернее, чувствуя, что таким образом, через соприкосновение, проникает в меня удивительная нежность родной земли. Целый год я тосковала по ней, увозя с собой в Минск в спичечных коробках её малые пригоршни. Приезжая в деревню, разувалась прямо на станции, чтобы так, босой, ходить до отъезда, и обувалась лишь по случаю – в клуб или на несколько часов в ближайший город.

Спокойно, без особых событий, истаивали дни каникул. Я, с радостью обнаружив, что Фёдор в клубе не появляется, снова стала ходить на танцы. Обычно возвращались большой компанией. Меня и моих подруг, ни за кем открыто не ухаживая и никого из нас не выделяя, провожали парни из нашей и соседних деревень. Иногда они катали нас на мотоциклах и, когда ловили рыбу, угощали на Днепре ухой.

Однажды Надя, одна из моих деревенских приятельниц, позвала меня сходить с нею в соседнюю деревню к её родственникам:

– Заболела корова. А Витальку привезли на лето. Мамка сказала, чтобы сходила за молоком.

Виталька – шестилетний белобрысый мальчуган, сын её старшей сестры, которая жила недалеко, в тридцати километрах, в молодом городе атомщиков – Припяти. Там, на Чернобыльской атомной станции, работал её муж. Каждое лето она привозила своего Витальку в деревню к родителям – «на молоко».

Иолча... Соседняя деревня. Она ближе к Днепру. Вдоль неё – вербы-гиганты. Они более могучие и намного выше, чем те, что растут в моей любимой Прудовице. Мы сидим с Надей на лавочке, прислонившись к забору, ждём, когда подоят только что вернувшуюся с пастбища корову. Волнами лоснится на вербах от поднявшегося ветра седая листва. Красновато-розовый закат слегка подрумянивает её, едва заметными мазками накладывая тёплый оттенок.

– Может, ветер дождь нагонит... Пусть бы... А то всё сохнет без дождя, – по-взрослому озабоченно рассуждает Надя.

Иолчанская дорога не песчаная, как у нас в Прудовице. Она выложена бетонными плитами и тянется до Днепра. Бетонные плиты, можно сказать, вечные, они сохранились со времён войны. Дорогу по сей день называют военной. Плиты тёплые, чуть шершавые, по ним ходить приятно. А после дождя кое-где на них лужицами стоит вода. Она настолько чистая и прозрачная, и так быстро прогревается, что в таких лужицах, словно в бассейнах-лягушатниках, любит плескаться детвора.

И вдруг из соседнего двора, огороженного низким, покосившимся, утопавшим в некошеной со стороны улицы траве забором, вышел высокий плечистый парень, выкатывая перед собой велосипед. К раме велосипеда была привязана удочка. Бросив короткий взгляд в нашу сторону, он, легко перекинув ногу, вскочил на велосипед и медленно, оставаясь в поле нашего зрения, стал ездить взад-вперёд по бетонке.

Надя, задумчиво провожая его глазами, заметила:

– Откуда у него велосипед? У Доленюков и на хлеб денег нет. Может, попросил у хлопцев?

Я ошеломлённо и в то же время как зачарованная, без страха смотрела на парня. Это был Фёдор. Трезвый. Клетчатая рубаха, завязанная над животом узлом, на ветру за плечами раздувалась, словно парус. Ветер трепал непослушные чёрные кудри. Шоколадный загар тепло оттенялся закатом. Он дер-

жал спину ровно, голову гордо, казалось, сам смотрел на себя со стороны, и, сделав несколько кругов возле нас, поехал в сторону Днепра.

– Ух ты! – восхищённо и по-прежнему задумчиво выдохнула Надя. – Вот же Бог дал человеку красоту! А между прочим, если бы нашлась девчонка – но чтобы он в неё по-настоящему влюбился – да взяла его в руки, какой бы из него парень мог быть!

Надя выговорила эти слова с такой искренней и страстной убеждённостью, что мне стало казаться, будто они исходили от кого-то другого, более значительного и знающего, кто сказал мне это через неё, чтобы глубоко затронуть мою душу всем их смыслом.

В выходной Фёдор пришёл в клуб. Нетрезвый. В кинозале уже демонстрировали очередной из привозимых ежедневно, кроме понедельника, фильм.

Вспышкой меня пронзила радость. Я хотела, чтобы он пришёл: трезвый или пьяный – любой.

Я сидела во втором ряду. Отыскав меня глазами, он как-то грубо, тяжело обрушился в жалобно заскрипевшее кресло впереди меня. Оглянулся.

– Фёдор, – без страха и смущения впервые обратилась к нему я, – как жаль, что ты выпивший. А я думала попросить, чтобы ты проводил меня домой.

Он на мгновение замер, тряхнул головой и, ничего не ответив, поднялся и ушёл.

До окончания фильма, которого я, тупо глядя на экран, конечно же, не видела, он в кинозале так и не появился. В помещении, где потом были танцы, его тоже не оказалось.

После танцев я в общей толпе вышла из клуба. Вместе с подругами минула освещённую фонарём часть дороги. И тут возник он! Не так, как прошлым летом, чуть на расстоянии, а рядом, совсем рядом.

Мы говорили, но мало. О чём – не вспомню. Больше молчали. Запомнилось только волнение.

Позже он расскажет мне, что тогда, покинув кинозал, направился прямо к колодцу и, вытягивая из него ведро за ведром с водой, опрокидывал себе на голову.

– Ты будешь в клубе завтра? – спросил у моей калитки Фёдор.

– Не пойдём в клуб, Федя, – мы впервые стояли близко, лицом к лицу. Только я смотрела на него снизу вверх, а он – чуть наклонив ко мне голову. Так я ещё никогда ни перед кем не стояла. Чувство, которое я при этом испытывала, не передать словом, но оно остаётся свежим и острым в памяти до сих пор. – Приходи лучше, как начнёт темнеть, сюда. Только трезвый.

Он, согласившись, кивнул. Не прощаясь, я пошла к хате.

Мы даже не условились о времени. На следующий день торопливо и не совсем старательно выполнив несложные бабушкины поручения, я в волнующем, немного нервном и в то же время счастливом томлении выглядывала в окно, наблюдая, как темнеет вечер.

Чувствовала, знала: когда... Казалось, целую вечность шла от хаты до калитки. Дрожащими руками отворила её и в нерешительности остановилась. Мои глаза выхватили на светловатом фоне песчаной дороги знакомый тёмный силуэт, вначале неподвижный, а потом уверенно направившийся в мою сторону.

Я и Фёдор стали встречаться. Не в клубе. А у моей калитки.

Мы бродили по деревне, прогуливались вдоль леса, ходили на луг. Я – неизменно босиком. Мне нравилось быть намного ниже Фёдора ростом и ощущать его превосходство в физической силе. То обстоятельство, что я бо-

сая и что мы прогуливались в темноте, вынуждало его беспокоиться обо мне, чем я втайне наслаждалась. Хотя и выражал он своё беспокойство едва заметно и сдержанно: лишь вздрагивал, если я где-то слегка спотыкалась или оступалась, и осторожно придерживал меня за руку.

Мне было приятно, что такой бесстрашный, как мне казалось, грубый и сильный человек так трогательно боялся брать мою ладонь в свою. Но когда это случалось, я с трепетным восторгом вчувствывалась в надёжную мозолистую нежность его крепкой руки. Постепенно водить меня за руку почти до рассвета – стало единственной близостью, которую он позволил по отношению ко мне.

Фёдор приходил каждый вечер, а утром шёл на работу. И с того первого нашего свидания выпившим я его больше не видела. Во время встреч мы чаще молчали. Но иногда, желая узнать что-либо о его жизни, я осторожно, хотя и с большим трудом, наталкиваясь на угрюмое сопротивление, вытягивала из него скупые слова.

То, что я узнавала о Фёдоре от него самого и от других, одновременно и радовало, и причиняло боль.

– Моя внучка, – то и дело сообщала бабушка, – люди так плохо говорят о тебе. Сегодня знов в лавке пыталися: «Чего это твоя Наташка с этим Доленюком спуталась? А мы ж думали, что она такая хорошая да скромная девочка».

– Бабушка, но почему же я не скромная? Он нисколько не обижает меня. И мы ничего плохого не делаем, – как могла, оправдывалась я.

А она продолжала убеждать:

– Я верю, внучка. Да тольки ж ён не для тябе. Хто ты, а хто ён. Хто яго батьки, а хто твае. – И, вздыхая: – Той жа ж Федька после восьми классов школу бросил, так пил. А ты у нас отличница, городская, разумных батьков! Нашто ён табе? Ох, и стыдно мне людей, моя внучка. Ох, и стыдно. Не такого хлопца я для тебя хотела.

И тогда, слушая бабушку, я вдруг поняла, догадалась о том, в чём не признавалась себе: встречаясь с Фёдором, я стыдилась его, как стыдятся плохих предков или родственников-преступников, и старалась, чтобы меня не увидели рядом с ним люди. Не потому ли перестала ходить в клуб? И вместе с моей душевной слабостью и трусостью зародилось и быстро начало набирать силу предательство, пусть пока ещё не заметное, но настоящее.

Однажды, гуляя с Фёдором поздно вечером по деревне, мы встретили возвращавшихся с фермы доярок. Я не поздоровалась, боясь, чтобы меня не узнали по голосу, хотелось сквозь землю провалиться. Хорошо, что в темноте Фёдор не увидел краски на моём лице.

То, что он изредка рассказывал о себе, когда мне с трудом, но всё же удавалось разговорить его, трогало и волновало. В такие минуты я сама брала его за руку и слегка сжимала её.

С детства Фёдор был скорее не хулиганом, как считали люди, а драчуном. Сам же он называл себя не иначе, как уродом. Да и какой могла быть самооценка у человека, по натуре вспыльчивого, ранимого, гордого и непокорного, но постоянно сталкивавшегося с насмешками, презрением и косыми взглядами односельчан? И в осанке его, и в широко развёрнутых плечах, и в том, как он высоко носил свою чубатую голову на сильной тугой шее, и в желваках, которые нередко жёстко двигались на его смуглых щеках, угадывалась эта гордая непокорность, и я с чувством восхищения, даже какого-то непонятного наслаждения воспринимала её в нём.

Он дрался. Дрался мальчишкой, когда деревенские дети дразнили и насмехались над ним. Поднимал кулак подростком, чтобы нанести ответный удар. Он ненавидел пьянство ближних и, чтобы заглушить то, что постоянно мучило его, выжигая болью душу, пил сам. Пил, курил и, стиснув зубы, молчал. Почему-то именно таким, с часто двигавшимися под скулами желваками, мне вспоминается его лицо. «Пьяница», «бандит», «хулиган», или просто, по данной ему от рождения доле, – изгой...

И та чёрная тень неумолимо-безжалостного людского презрения, которая, сколько он помнил себя, неизменно следовала за ним, подползла, протягивая свои мерзкие щупальца, и ко мне. Людская молва... Люди судили, шептались, обговаривали, смакуя и передавая услышанное в глаза и за глаза. Окружающих, и даже подруг, моя дружба с Фёдором смущала.

И дедушка, услышав дурное обо мне, однажды зашёл в хату и, окинув меня тяжёлым гневным взглядом, процедил сквозь зубы:

– Ишь, какова оказалась внучка! Нашла с кем путаться... Дожить до такого позора!

Бабушка расстраивалась. Я тоже. Едким отвратительным ядом входило в мою жизнь чужое осуждение. И однажды мне так безудержно захотелось освободиться, отмыться от него, как от чего-то нечистого, что я чуть было не рассталась с Фёдором. Перестала выходить к нему за калитку. А он приходил и ждал.

Но в душе человека столько противоречий, одно чувство, бывает, идёт в разлад с другим.

Спустя несколько дней я не выдержала, вышла к Фёдору. Он ни о чём не спросил. И мы просто молча пошли рядом... Только бесконечное, бездонное, наше с ним небо без слов разговаривало с нами, обнимая, понимая и утешая.

Никогда ни с кем мне вот так не приходилось молчать. Но как легко, как счастливо было от того непринуждённого молчания...

Фёдор работал в совхозной бригаде разнорабочим. Чуть позже – на тракторе. Если прежде он каждую свою зарплату, просто говоря, пропивал, то на этот раз...

Вечером, когда стемнело, я долго стояла у калитки, всматривалась в сереющую ленту дороги, нервничала, потом пошла в направлении его деревни, вернулась, вслушивалась – Фёдора не было. Неприятным, издевательским казался на этот раз стрекот кузнечиков. Колючими звёздами холодно смотрело на меня небо. Тихо, неузнаваемо и неприятно пусто было кругом... Без него. Злой пиявкой всосалась в душу тревога.

Не ухожу. Как же это невыносимо – вот так ждать! Час, больше?

Вначале я не увидела его, а услышала громкий топот ног. Я знала, что это он. Фёдор бежал. В темноте он чуть не налетел на меня и резко остановился, прерывисто и шумно хватая ртом воздух. Он был одет во что-то светлое, а на груди по светлому фону – тёмные пятна.

В недоумении я всматривалась в него:

– Что случилось?

– Да вот, – всё ещё шумно дыша, со смехом стал говорить Фёдор, – хотел похвастаться перед тобой. С зарплаты в лавке рубашку купил.

Я протянула руку и потрогала тёмные липкие пятна на ней.

– Что это?

– Кровь, – рассмеялся Фёдор. – Хотел прийти к тебе в новой рубашке, да

не успел. Ухажёры твои помешали. Я-то ничего, а они сдачи получили. Помнить будут. Только кто же так делает: восемь человек на одного...

– Какие ещё ухажёры?

– Да все из вашей компании, в какой ты гуляла до меня.

– Что значит, гуляла? Мы же так, все вместе, чтобы не скучно было. Без ухаживаний.

– Ты думаешь, я не знаю, – Фёдор перестал улыбаться и спокойно, серьёзно сказал: – Я всё про тебя знаю. Нравилась ты там кое-кому. – И, переведя дыхание, явно гордясь, продолжил, словно отчёт перед командованием держал после боя: – Я бы с ними справился быстро, и даже с большим количеством справился, если бы спиной было к чему прислониться. Упрёшься спиной – и все перед тобой. Тогда уж тебя никто не одолеет. А так окружили со всех сторон. Вот и задержался...

Я не знала, плакать мне или смеяться. Спросила:

– За что они тебя?

– Поджидали. Знали, что к тебе иду. Предупредили: буду ходить – прибьют. – И твёрдо добавил: – Хотели остановить. Не выйдет.

У колодца, набрав ведро воды, мы застирали его рубашку. Фёдор сказал, что она бирюзовая. И я представила, как он выбирал и покупал её, и как радовался, когда шёл в ней на свидание.

Сердце щемило. Я попросила:

– Федя, пойдём завтра в клуб.

В течение следующего дня я представляла, как войду с Фёдором в клуб, держа его за руку перед всеми, не отпуская. Как гордо, смело и с презрением посмотрю в глаза тем... Обязательно посмотрю. И уверенно поклялась себе: «Я буду оберегать Фёдора, от всякого зла оберегать. И никогда больше не стану стыдиться того, что я с ним!».

Вечером мы с Фёдором отправились в клуб. Вошли после фильма, когда уже начались танцы. Я держала его за руку. То, что я увидела, было, как в замедленном кино. Почему-то все – так мне показалось – словно в каком-то замешательстве, стали смотреть на нас. И они на самом деле смотрели. Удивлённо и с интересом.

Я опустила глаза и предательски высвободила руку. Фёдор, чуть наклонив ко мне голову, тихо спросил:

– Если хочешь, уйдём?

Я, так и не поднимая ни на кого глаз, кивнула. И мы ушли.

Спустя какое-то время Фёдору выделили комнату в одном из принадлежавших совхозу домов. Он переселился туда и забрал с собой младшую сестру.

– Ладно, я недоучился. А Ленке надо помочь. Там, с моими, какая учёба? Сопьётся. А хорошая ж девчонка. Жалко её.

Меня тронула такая взрослая мужская забота Фёдора о сестре. С зарплаты он покупал ей что-нибудь из одежды и обуви. И когда он делился или советовался со мной, я радовалась и втайне гордилась своей сопричастностью этому.

Во время зимних каникул я приехала в деревню с родителями. Папа у меня, как и дедушка, по характеру суровый, и во избежание неприятностей бабушка, обманув меня, сказала, что Фёдора внезапно призвали в армию.

Я догадывалась, что армия – мечта Фёдора, так как в ней он видел един-

ственную возможность уехать из деревни, где пережил столько унижений. Он часто обращался в Брагинский райвоенкомат с просьбой призвать его. Но безрезультатно. Препятствием стала то ли какая-то врождённая болезнь сердца, то ли условная судимость за драку. Я точно не знала и, чтобы не смущать Фёдора, не допытывалась.

Я загрустила, но в душе и порадовалась за него, а перед отъездом в Минск, поделившись своими планами с бабушкой, решила навестить его сестру, хотя ни разу с ней не общалась.

Ни в какую армию не призванный Фёдор, получив от меня письмо с сообщением о приезде, каждый вечер приходил к калитке, на то место, где мы встречались летом. Бабушка же, как потом мне призналась, его украдкой высматривала и очень переживала, а на третий вечер не выдержала и вышла со двора к нему.

– Мой жа ж внучек, – сказала она Фёдору, – Наташка просила передать, что не хочет с тобой встречаться. Ты ж и сам пойми, – не по тебе она, Федька. Не ходи сюда болей.

А за два дня до нашего с родителями отъезда бабушка мне во всём призналась.

Вечером я, пока совсем не замёрзла, стояла на улице. Фёдора не было. А наутро бабушка, как бы заглаживая свою вину, сообщила:

– Наташачка, внучечка моя, не переживай. Я с самого рання сбегала до его матки и наказала передать Федьке, что ты будешь ждать его в шесть часов вечера у калитки.

Я с нетерпением ждала вечера. Шесть часов, семь – Фёдор не появился. Снова что-то было не так... Обманули, не передали? Или что-нибудь случилось? Уже не испытывая ни страха, ни смущения, я решила немедля сама пойти в Иолчу. Прошла почти полдороги. И вдруг навстречу мне, по снегу, в одним штанах и майке – он. Опять бегом. Не узнав, пробежал мимо.

Я его окликнула:

– Фёдор!

И сейчас вижу, как он стоит передо мной на морозе в тапках на босу ногу и отчитывается:

– Я ж не живу с батьками. Матка вот только пришла и сказала, когда я сидел за столом и вечерял. Гляжу на часы – восьмой. Я в чём был, в том и побежал. Слышал, как матка вслед кричала: «Дурны, вернись! Оденься...».

Стоит ли рассказывать о той встрече, о пережитых чувствах? На следующий день я с родителями уехала.

А Фёдор переболел воспалением лёгких.

Весной, в мае, его и в самом деле призвали в армию. Я приехала с ним проститься. В тот единственный вечер шёл дождь. Мы укрылись в совхозном амбаре, где хранилось прошлогоднее сено. Ворота амбара были широко распахнуты, и через этот огромный проём виднелась тёмная стена леса, который был близко, за фермой. Фёдор лежал на сене на спине, закинув руки за голову, и смотрел на меня. Я сидела рядом, выстелив вокруг себя широкий подол своего нарядного платья, и смотрела на лес. Мы молча прощались.

– Я буду тебе писать, – вдруг Фёдор приподнялся и потянулся ко мне.

Меня этот его порыв взволновал, отозвавшись во мне внезапной горячей волной. Потом он, словно испугавшись, резко откинулся назад.

Фёдор ушёл в армию, так ни разу и не поцеловав меня.

Тамара КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО *(Беларусь)*

«ТАМ ГОДЫ ЗОЛОТОМ ЗВЕНЯТ...»

ТРИ РОДИНЫ

Хозяин дома – муж, отец –
Рождён на Украине...
А в Беларуси – сердцу свет:
Дочушка, и два сына...
Из Брянска я... Ах, как цвели
Сады, и пели соловьи,
Когда на тройке русской
Меня – невестой увезли,
Я стала – белоруской.

Три Родины во мне живут,
Да как же им не жить?
Моя любовь и там, и тут –

Тамара КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО родилась в Брянской области.

Поэт, прозаик, публицист, детский писатель. Член Союзов писателей Беларуси, России и Союзного государства. Лауреат Первой Национальной литературной премии Республики Беларусь в номинации «Поэзия», полный кавалер Государственных наград – медали Франциска Скорины и Ордена Франциска Скорины, пятикратный лауреат Международных литературных премий, нескольких Всероссийских литературных премий

Автор 24 книг, а также коллективных сборников и альманахов. Автор гимна города Витебска. Живёт и работает в Витебске. С 2005 года – председатель Витебского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси».

Её не разделить.
Как своё сердце разорвать?
Россия – детство там, и мать,
Светлей любви не знаю...
На Украине – мужа мать –
Она мне – мать вторая.

А белорусская земля
По крови – Родина моя,
Судьбы моей – соцветье,
Ведь здесь – родились дети,
И внуки... Здесь любовь моя.
Здесь испытанье дал мне Бог,
И жизни здесь моей итог...
И свой последний в жизни вдох
Я здесь готовлюсь встретить.

ПАМЯТИ МАТЕРИ

Моя мама идёт
по дороге из ясного света,
Над садами вишнёвыми,
пеной кипящими сплошь,
Моя мама восходит
по этому белому цвету
Далеко, высоко!
И – зови, не зови – не вернёшь.

Моя мама идёт
через сердце, когда оно рвётся,
И спасает от боли,
как ангел, коснувшись крылом,
А откуда те крылья?
Откуда та радость берётся?
После каждого сна,
где мы – за руку, с мамой вдвоём...

Всё, что есть у меня –
от тебя, моя милая мама,
Все, что детям отдам –
от тебя, от тебя, от тебя...
Ах, как зелень шумит
в этом мае, как машет крылами,
И как жизнь матерей –
коротка, и сурова судьба.

Мама! Что ж ты уходишь?
А яблони в мае всё гуще
Белым снегом горят!
Неба колокол бьёт надо мной...

Почему, почему
эта тропка – всё круче и круче –
По которой иду?
А иду, знаю я, за тобой.

* * *

Постучали не в окно, а в душу,
Четко-четко, ясно так: вставай!
Тишину густую не нарушив,
Тихо в мире... Только – я и май.

Небу хмель подмешивая сочный,
Не такой, как завтра и вчера,
Плыл сирени запах томной ночью,
Уносил куда-то со двора.

А куда? Кругом лишь тьма да звезды,
Подпевает Моцарту луна,
Млечный путь, растянутый обозом,
И земля, тревогою полна.

Спят блаженно в доме домочадцы,
Слава Богу, и соседи спят,
Вот, зачем, кому было стучаться?
И сегодня, знаю, постучат.

ПО СЫНУ

В чистом поле,
Чистом, белом,
Белой ночи свет,
Там – душа
Прощалась с телом
На заре – навек.

Ах, прощалась,
Тосковала
И к родным рвалась,
На мгновенье
Залетела
В дом, где родилась.

Встрепенулась
Среди ночи,
На рассвете, мать.
Горе, горе, нету мочи.
Очи выплаканы, очи –
Нечем зарыдать.

В чистом поле
Белы звуки,
Даль белым бела...

Не подставила
Я руки,
Не уберегла!

Видно, мало
Я молилась,
Вглядывалась вдаль.
И – случилась
Ночью белой –
Чёрная печаль...

В чистом поле
Свет лучистый
Белый-белый свет,
Чистый, чистый,
А от боли
Нет спасенья,
Нет.

БУДЕМ ЖИТЬ

Не ложись засыпать в печали,
Душу светом молитвы омой,
Тайну слово нам открывает:
Не погибнет вовеки живой.

Кто родился на свет, тот вечен,
Он записан в ладонях небес,
Путь ему лежит в бесконечность,
Потому что Христос воскрес.

Отцветают яблони, сливы,
Только ты с тоской не гляди,
Нет у Бога мёртвых – все живы,
Значит, жизнь – всегда впереди!

Не живи душою на север.
Повернись на алый восток,
Жди – дождись звезды своей первой,
День наступит, велик и высок.

Будем гимны петь на восходе,
Будем жить. Будем книги писать.
Раз из вечности строки приходят,
Значит, будет – кому их читать!

НЕ ЖДИ МЕНЯ...

Письмо жене

Я знаю, как тебе – одной,
как холодна твоя подушка,
никто не постучит в окно,
боль – твой помощник
и подружка –

неиссякаемая боль,
нет сил, а жить-то, всё же, надо:
детей оставил я – с тобой,
всё, что имел...
Ещё – награду
дадут: посмертную мою
медаль за битву под Варшавой,
когда Победу запоют,
и зацветут сады...
Я знаю,
всё знаю: как тебе – одной,
какая стылость дней большая,
всё – на тебе, моей родной,
я так любил вас,
но – истаял
в чужой земле, среди берёз
лежу, спелёнутый корнями,
и даже всех на свете слез
не хватит,
чтоб вернулся к вам я
из холода могильной тьмы...
Как я спешил –
домой вернуться,
чтоб дождались меня с войны
с Победой!
Нет меня. Проснуться
мне не дано. И ты – одна.
Как прокормить,
ведь сил – не стало,
одеть, обуть...
Моя война
закончилась. Твоя – осталась.
А я...
Давно не больно мне,
ушёл в бессмертье... Говорят,
что всем,
погибшим на войне,
писать любимым разрешат.
Ты там не рвись,
и не спеши,
не переделать дел,
послушай
в рассветах – крик моей души:
не бойся,
скоро – станет лучше!
И обо мне ты не реви,
боль не буди:
как я оставил
вас, без защиты и любви?
Теперь вот – смог:
письмо отправил

по Троице – через сирень...
То не она цветёт средь мая,
я – море нежности моей
тебе и детям посылаю.
Любящий вас, ваш Ваня,
январь, 1944 года.

* * *

В.В.

Душа – гениальная форма спасенья,
А тело – живейшая форма любви.
Когда родились мы в том давнем апреле,
Где первые травы так звонко росли,

Мы знали, мы знали: нещадно сжигает
Горячая тайна, и нет ей границ,
Но мы никуда не могли, не бежали,
Куда? Бесполезно... Ни глаз, и ни лиц

Мы не различали, ни красок, ни звуков,
И только летели сквозь звёздную высь...
Бессмертием намертво сжатые руки
Вдруг крыльями стали... И мы – унеслись

Туда, где за робкой капелью весенней
Путь вербы пыльцой золотой устилали –
На Пасху! Там Божие чудо Спасенья
Две горьких души у заутрени ждали.

МОЛИТВА

«Отче наш!» – молилась я на зорьке,
И ответил Бог: «Могу простить.
Всё исполню, ты подумай только,
Об одном проси...». О чём просить?!

Попрошу, конечно же, здоровья!
Не болеет тот, кто не живёт.
Вечной жизни? Для рожденных с кровью
В вечность есть один лишь только вход.

Попрошу любви, и пусть мой любый
Лишь меня милует целый век,
И ни на кого не смотрит, губы
Лишь мои целует... Человек

Вольный и свободный – мой любимый,
Не хочу неволить я его
Всемогущей волей... Счастье – мимо
Дома ходит, попрошу всего

Счастья, что живёт на белом свете...
Значит, у кого-то отнимать?

Нет. А попрошу я доли – детям,
Чтоб сумы и горя им не знать!

Дети не научатся трудиться,
Радости труда я их лишу...
Господи! О чём же мне просить-то?
Всё не то, о чём ни попрошу.

Вот ожил бы сын мой, или мама!
Против высшей воли – что скажу?
Или, чтоб враги друзьями стали?
Боже, нет, об этом не прошу.

Попрошу богатства? Только – что же,
Ведь его с собой не унести...
Господи, пошли мне разум, Боже,
Чтобы всё, что дал, перенести...

* * *

Я в храме выросла березово-ржаном,
Я родилась под куполом апреля,
Предсказанным *Николой*, вешним днем,
Когда ручьи так весело гремели,

Когда грома на небе стали зреть...
И «Слава Богу!» – бабушка сказала,
«Такое половодье на дворе,
И мы – с прибавкой...»,
ведра расставляла

Вдоль стен землянки. А вода текла
Слезами счастья: кончились морозы!
Кувшин стоял на краешке стола,
И в нем светились вербы, как мимозы.

ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ

В мартовском небе горит бирюза,
Женщина в красном – с портрета
Синью весеннею смотрит в глаза,
Вся озаренная светом.

Сколько во взгляде том неги, любви,
Мудрости, обаяния,
Словом воспеть, до кипенья в крови
Счастья её страдание...

Где отыскать в мирозданьи слова
О том, как спасает радость?
Вечность зовёт, и пока жива –
Это и крест, и награда.

Горькая участь, великая честь –
Не прерывать звучания,
Нам, среди ночи дерзнувшим воспеть
Огненное молчание.

Живому – не хочется умирать,
Но суждено, неизбежно.
Сделать свой выбор – наступит пора:
Продлиться, или – исчезнуть...

Верные дети – живущих до нас,
Мы – их не изменим цели,
Совесть велит нам: продолжить рассказ,
Допеть, что они не спели.

Кровью, дыханьем своим пламенеть,
Свежесть весны – внутривенно,
Тем, кто нас слышит, мелодию петь
Преданно, самозабвенно,

Не дожидаясь горючих седин,
Пока душа не остыла...
Кто любит всем сердцем – нигде не один,
В любви – и бессмертье и сила.

* * *

Я вас прошу: в угаре увлеченья
Страх отметая, ложь и суету,
Не придавать пустым делам значенья,
Не тратить сил души на пустоту.

Живущему – однажды суждено
Вдруг испытать в отчаянье глубоком,
Что в смерти, и страдании – одно
Дано нам: быть одним и одиноким.

У каждой жизни эти даты есть,
Достойные навек застыть в граните:
Одна – рожденье, а другая – смерть,
А между ними, радуясь, живите!

День каждый – словно с чистого листа,
Не сдерживая слёз и восхищенья,
А чтобы вас не съела пустота,
Не придавайте пустоте – значенья.

ТАМ ГОДЫ ЗОЛОТОМ ЗВЕНЯТ

О чем твой плач? Где тут красоты?
В стенаньях брошенной земли?
В домах, покинутых давно так,
Что и пути к ним заросли?

В заросшей речке? На болото
Похожем, бывшем озерке?
Очнись, прекрасно и давно ты
Живёшь в уютном далеке.

Ах, мне – вовек не наглядеться,
Не видит твой залётный взгляд
Зорь, где моё сверкает детство,
Там годы – золотом звенят!

Там моя мама молодая,
Отец там – сильный и большой,
И вера там живёт святая,
Что мир наполнен добротой.

СКРИЖАЛИ. ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

Зачем нам с вами воевать, бороться?
Ведь мы живем сегодня, до зари,
Когда в последний раз растает солнце
Для тленных нас, и что ни говори,

За все ответим. Только чем? Быть может,
Мы, улетая в омут глубины,
Лишь удивимся: «Милосердный Боже!»,
Так души будут там обнажены,

Раскрыты, и под вечным микроскопом
Все мысли будут тайные видны.
Чем отвечать-то? И зачем мы копим
Яд слов и мыслей, сто пудов вины?

Ведь просто всё: всех заповедей мира
Лишь десять: во вселенной Бог один.
Не измени. Не сотвори кумира.
Не укради. Не лги. И не убий.

Чти мать с отцом – продлится дней дорога.
День отдыха вовек не отменяй.
И в суете не трогай имя Бога.
И ничего чужого не желай.

* * *

Я иду по Витебску на зореньке
И цветов вдыхаю аромат,
А над городом – рассвет лазоревый,
Музыкой берёзы шелестят.

Здравствуй, Витебск! Ты из сказки радужной
Светлых храмов, улиц, площадей,
Я с тобою праздную, и радуюсь,
И грущу, и нет тебя родней.

Ты меня встречаешь всякоразную:
В боли и страданиях со мной,
Нынче праздник – я с тобою праздную,
Завтра труд, и снова – я с тобой.

Все твои проблемы, все старания,
Все заботы, всё-превсё – моё.
И к кому спешить мне на свидание,
Если всё, что любо, только в нём –

Древнем, мирном, Спасом сберегаемом,
Освященном златом куполов.
И в труде, и в песнях, и в страданиях
Ты во мне, как первая любовь.

Здесь на свет родились сыновья мои,
Внуки, здесь – земля моих детей,
Здесь рассветы с суженым встречали мы,
Что же сердцу может быть милей?!

Я иду по Витебску на зореньке,
И цветов вдыхаю аромат,
А над городом – рассвет лазоревый
Музыкой берёзы шелестят...

АВЕЛЬ И КАИН

Я Каин,
я – Каин!
Откликнись же, Авель,
Пришло моё время,
Мой час – моя смерть.
Ищу тебя, Авель,
Ведь ты ж меня слышишь?
Не мог, не простив меня,
ты – умереть.
Ты брат мой... Брат Авель,
Ты – Богом любимый,
Ты добр и наивен,
Ты можешь – прощать...
Ищу тебя, Авель,
Я – Каин, я – Каин,
Откликнись в тумане,
Нет сил уж – кричать!
И нет мне прощенья,
Но ты же – безвинный,
А кто же ещё меня
Может простить?

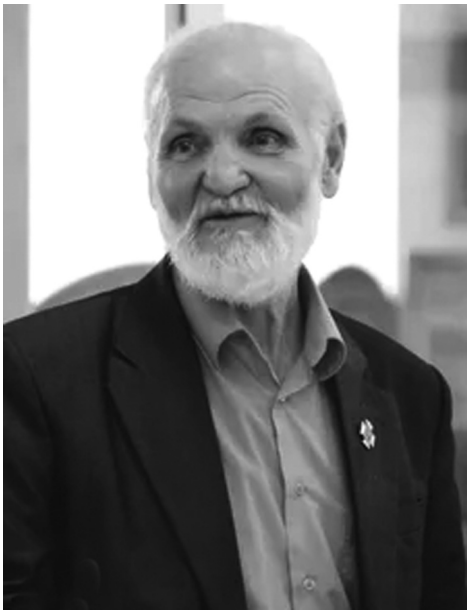
Я – Авель...
я – Авель...
Давно уже слышу

Твой плач и рыданья,
Все крики тоски.
Как тщетно искал ты
В степи – покаянье,
Там, где ты убил меня,
Тяжки пески...
И ноги и грудь мне
Сдавила пустыня...
Простил бы тебя я
В неравной борьбе,
Да встать не могу я...
Но, плачу, внимая,
И слышу, и знаю,
Как горько тебе!
Как холодно, брат мой,
Как невыносимо,
Ходить без прощенья
У кровных могил,
Родной мой, любимый,
Где кровь – там отмщенье,
Нет доли страшнее,
Нет муки сильнее,
Но ты же – убил...

Безбожник не знает,
Какое страданье –
Жить без покаянья,
А я бы – простил...
Но нет меня, Каин.

Я – Авель!
Я – Каин...
Навек неразлучны
В столетиях – рядом
Звучат имена:
Два кровных,
два брата:
Один – убиенный,
Другой – непрощенный,
И пропасть меж ними
Уже не видна...

Я – Каин...
Я – Авель...



Владимир КРУПИН ***(Россия)***

ПРОФЕССИЯ: ПИСАТЕЛЬ

РУССКАЯ МОЗАИКА

ДОРОГА ДОМОЙ. Лечу в самолёте. Впереди, через два ряда, молодая семья: крохотные деточки, сынишка лет двух и совсем малышка дочка. Отец у иллюминатора, мать с дочкой у прохода, сыночек в середине. Взлетели, отец быстро засыпает. Погасло табло. Матери надо выйти с дочкой. Расталкивает мужа, показывает на сына. Муж берёт его на руки, но когда жена уходит, снова закрывает глаза. Малыш становится ножками на свободное кресло и

КРУПИН Владимир Николаевич — русский прозаик и публицист, секретарь правления Союза писателей России. Родился в Кировской области. Окончил факультет русского языка и литературы Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской.

Мировую известность получила повесть Владимира Крупина «Живая вода» (1980). По ней снят фильм, она переведена на многие языки. Здесь в ироничной манере писатель переосмысливает легенду о живой воде.

Обращается он и к другим темам. Повесть «На днях или раньше» (1977) посвящена проблемам семьи, «От рубля и выше» (1981) — проблемам художественного творчества, «Прости, прощай» (1986) — воспоминание о студенческих годах.

В последние годы в творчестве писателя доминирует тема Православия и надежда на то, что оно спасет страну. Эта идея присутствует в повестях «Великорецкая купель» (1990), «Крестный ход», «Последние времена» (обе — 1994), «Слава Богу за все. Путевые раздумья» (1995).

Автор более 30 книг. Был награжден первой Патриаршей литературной премией имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

неотрывно смотрит вслед маме с сестричкой. Не возвращаются они долго, видимо, там очередь. Он стоит и ждёт. Занимает себя игрой. Ставит ладошки с двух сторон спинки кресла, потом, перебирая пальчиками, ладошки бегут навстречу друг другу. Встретившись, сплетаются в один кулачок. Опять разбегаются и опять сближаются. Иногда малыш взглядывает на спящего отца, но его не будит. Время идёт, мальчишечка очень переживает. Ещё бы не переживать – нарушено его мироустройство, семья разъединена, мамы и сестрички нет рядом с ним и папой...

Но вот по личику малыша становится понятно, что мама и сестричка возвращаются. Он озаряется радостью, даже начинает подпрыгивать, и колотит кулачком папу по плечу. То ли чтобы он разделили радость, то ли понимает: папе от мамы влетит за то, что заснул на посту. Папа просыпается, хватает сына, сажает на колени. Весёлая мама перетаскивает сыночка к себе: соскучилась, а папе вручает дочку. Сестричка тянется к братику. Всё прекрасно становится в этом мире: семья вместе – душа на месте.

Как не повеселеть от такой встречи.

«НЕДОБИТКУ» НЕ УГОДИШЬ. Много раз сталкивался я с непониманием. И вот опять. На РНЛ поставлена статья «Опричники Ватикана» – о иезуитах. Сразу окрик: как можно! Опричники – слуги Грозного царя! Защитники России! А тут Ватикан! Вот он, наш писатель. А ещё православным называется!

Да, и называюсь, и являюсь православным. Но если непонятно, что здесь опричники подчеркивают усиление угрозы от ватиканских происков, что я могу сделать? Ну, как не понять? Я взял качества опричной верности престолу, но употребил для привлечения внимания к слугам Ватикана. В России они верны *царскому* престолу, а в Риме папскому. Папскому, не царскому. Непонятно?

Какая-то озлобленность в интернете, грубость. Крики хуже, чем на уличном митинге. Меня, как автора, одёргивают по-хамски, обзывают всячески. Да я-то ладно, не оклеветанные не спасутся, так что хай клевещут, спасибо большое за спасение. Печаль в том, что уровень общения на новом уровне общения не в газете, не в журнале, а в электронном пространстве доходит до оскорблений, скатывается до скандалов, от них близко до потасовки. Кому такое нужно? Правильно, врагу нашего спасения.

А ещё пристал ко мне, вяжется, какой-то «сталинский недобиток». Хоть бы имя сказал, я б за него молился. Приятно, что он отслеживает мои писания, спасибо, но он же только для того, чтоб укусить. Не буду я разбирать его придирки, а то вроде как оправдываюсь, доказываю, что не верблюд.

Милый недобиток, живи и здравствуй. Чего б ты ни насобирал обо мне, я ещё хуже. Да, я серьёзно. Весь в грехах как собака в репьях. И на солнце есть пятна, а из меня какое солнце? На слона даже не тяну, а то мог бы сравнить тебя с лающей моськой.

Нельзя нам опускаться до низкого стиля разговоров. И есть с кого брать пример. В России есть та спокойная величина настоящих людей, которые не орут, не выставляют себя, а дело делают. За которыми будущее.

На РНЛ серьёзнейшие авторитетные авторы, за Россию болеющие. Читайте Величко, Катасонова, Сошенко, Степанова, Платонова, Расторгуева, Шкляева, других, учитесь культуре доказательных доводов, читайте наших священнослужителей. Одного отца Александра Шаргунова хватит для просвещения сотни «недобитков». Которые вовсе не сталинские, а ельцинские.

ВОТ ВРЕМЯ СПАСЕНИЯ. Апостольские слова, говорящие, что любое время – это время нашего спасения. Благоденствия, гонения, холод, голод, война, урожай, неурожай, наводнения, пожары – всё это посылается для спасения души. Чем мы недовольны? Что заслужили, то и получаем. Святой Иоанн Златоустый ставил происходящие в природе процессы в прямую зависимость от нравственности народа. Убийственно точная русская пословица: *что в народе, то и в погоде.*

А уж более благодатного времени для спасения души, чем нынешнее, давно не бывало. В церковь ходить никто не запрещает, иконы не жгут, священников в тюрьмы не сажают, разве не так?

Шёл на службу сквозь кордоны полиции, предъявлял паспорт, смотрел и на проверяющих и на митингующих. Вроде похожи, а разные. Одни кричат, другие молчат. И все невольники. Чего? Чести? Служебного долга? Убеждений?

Зачем уходят из дома на улицу? Хотят улучшения жизни? И их можно понять. Много мерзостей в России, главная – диктатура воровства. Воровать и помногу – это доблесть. Подлецы богатеют, честные беднеют. Конечно, надо протестовать.

Но могут ли быть перемены к лучшему без этих ограждений, дубинок, мегафонов? Да, отвечает Пушкин: самые надёжные перемены происходят не от «бунтов, бессмысленных и беспощадных, а от улучшения нравов».

Пришёл в храм, в нём, по сравнению с уличными толпами, стократно меньшее количество людей. Соль земли. Отстоим службу, пойдём, растворимся в народе. Может быть, на следующую службу нас будет хотя бы на одного человека больше. А на площади убавится крика.

Хорошо бы. Так бы и спаслись. Через сто лет? А куда торопиться? Живём же. Не я же придумал выражение: пока ты недоволен жизнью, она проходит. И ещё: чем человеку меньше надо, тем он счастливее. Скромные запросы всегда одухотворённее. Одет, обут, накормлен, солнце взошло, цветы на балконе расцвели. Ну можно же без зависти? Ну не смотри ты на эти дележи наворованного, не считай чужие деньги, не оставит тебя Господь своею милостью. Где будут все эти особняки, миллиарды, наряды, слава, счета в банке, ты и знать об этом не будешь, в могиле будешь. Милое дело в могиле лежать и правильные блатные пословицы вспоминать: *жадность фраера сгубила; недолго музыка играла – недолго фраер танцевал.*

ОТЦЫ И ДЕТИ. С писательской юности знал одного писателя, сверстника. Моторный был парень. Хвалился тем, что считал государство дойной коровой, жил за казённый счёт. Кончил школу, пошёл в университет. Там стипендия, общежитие. Далее аспирантура, общежитие аспирантское и стипендия аспирантская. Не защитился, ибо к этому времени связался с кино, писал заявки, получал под них авансы. Пошёл на высшие сценарные курсы, тоже стипендия. Уже женат. Из общежития переехал в квартирку в доме гостиничного типа.

То есть это уже лет пятнадцать после школы у него так фруктово провернулось. До 90-х. Ещё надо добавить, что диссидент он был ещё тот, читал стихи и прозу только типа бродских и довлатовых, писал под них. Всем был недоволен: «Свободы творчества нет, везде коммуняки».

Тем временем подрастал у него сын. Воспитанный соответственно. И заучивший уроки папаши, как, нигде не работая, получать за это деньги. Он так же захотел. Всякие ЕГЭ в школе перевалил. Пошли дальше бакалавриаты, магистратуры. На бюджетные места вытянуть не сумел, тянул с родите-

лей, но за это злился на них: как это так, они позволили разрушить такую систему, при которой хорошо жили тунеядцы. Оглянулся вокруг, сообразил, что и сейчас есть упакованно живущие. Только они называются успешными.

И пошёл сынок в подлецы.

«ОНИ ПРОСТИМУЛИРОВАНЫ». Меня нынче в поездке крепко прихватило. Ближе к ночи. Но со мною были жена и дочь, они спасли. Уже с утра на скорой доставили в город, там под уколы, капельницы, всякое питьё, таблетки всякие. Ожил, и живу.

Но что хочу рассказать, заранее предупредив, что больница эта очень хорошая, врачи и сёстры внимательны, красивы, деликатны. То есть я вот о чём:

Мне показалось, что отношение ко мне в больнице что-то уж очень сильно внимательное. Потом ещё одного страдальца привезли: сердце, упал на улице, но и около него хлопотали усердно. Медсёстры и врачи мерили давление, температуру, меняли ёмкости в капельнице, давали пить растворы, горькие и солёные. Выслушивали, выспрашивали. То есть лечение шло кавалерийскими темпами. Вот уже давление не 70 на 40, а 80 на 50, далее по тексту.

Дочка сидела рядом, жена в коридоре читала акафисты православным целителям. Я сказал дочке, что изумлён таким отношением.

– Папа, не волнуйся, они все простимулированы, – успокоила она.

То есть в переводе на обычный язык, они вознаграждены за усердие. Но, повторяю и усиливаю то, что уверен, что их отношение не изменилось бы в сторону небрежения, если б не было «стимулирования». Сосед по палате явно был не из новых русских. Просто радость, что в этой больнице оказались хорошие, порядочные люди.

Через шесть часов я встал на ноги.

Но словечко дочери мне понравилось. И я его применил к нашим законодателям. Вот надвигается на несчастный народ новый закон. Очень непопулярный, прямо вредный для людей, против него выступают многие (против ИНН, например, возраста выхода на пенсию, электронных паспортов, а до этого антиприродный, антироссийский Лесной кодекс, озаривший сейчас страну пожарами...), в Думе звучат страстные противительные речи против принятия закона, мы успокаиваемся, ещё бы: нас защищают.

Наступает день и час голосования. И... и закон принимается. Как? Почему? А потому, что голосуют «простимулированные».

ПОМНЮ, КАК ОДИН ИЗ УЖАСНЫХ ДНЕЙ своей жизни, кончину Василия Шукшина, его похороны, гроб в Доме кино. Я почти не был знаком с ним, не считать же две крохотные встречи. Одна на Писемского, где была редакция журнала «Наш современник», и в котором вышла подборка моих маленьких рассказов «Зёрна» в одиннадцатом номере 72-го года. И в нём же были рассказы Шукшина. Я по телефону узнал, что номер вышел из печати и помчался в редакцию. В коридоре увидел Шукшина и Леонида Фролова, ответственного секретаря журнала.

– Вася, – сказал Фролов, – вот, познакомься: Володя, с тобой в одном номере вышел.

– А, – весело сказал Шукшин, подавая руку, – вот из-за кого у меня рассказ зарезали.

Совершенно внезапно даже для себя я обиженно воскликнул:

– Да у меня их десять зарезали!

Шукшин засмеялся и предложил:

– Пойдём Нагибина бить: их тут не смеют резать.

Третьим в журнале по разделу прозы был Юрий Нагибин.

Вот и вся встреча. Вторая была на пятом этаже «Литературной России», где была касса, и был день выплаты гонорара. За гонораром ли приходил Шукшин или по другим делам, не знаю. Но снова был на скорости, спешил к лифту, но, к радости моей, узнал меня, тормознул, пожал руку, гораздо крепче, чем в первый раз, и обрадовал тем, что мои «Зёрна» ему понравились.

– Только зачем вы торопитесь заканчивать?

– Для умных же пишем, – выпалил я, – додумают, сообразят.

– Так вот умные-то и скажут, что писатель чего-то побаивается.

Я уже хотел напомнить, конечно, известную ему теорию малого раздражителя и то, что всегда лучше недоговорить, чем переговорить, но он уже убежал.

Вот и все встречи.

Осень 74-го. Прощальная очередь от Белорусского вокзала, в которой стояли, так мне показалось, не люди, а огромные букеты цветов.

Конечно, хотелось, чтобы Шукшин упокоился на родине, но и его московское окружение, и начальство Госкино сделали всё, чтобы могила была в престижном месте, то есть на Новодевичьем кладбище. Где она и поныне. Может, оно и неплохо, но очень помню, что лучший друг Шукшина Василий Белов не раз говорил, что писателю после земной смерти надо быть на родине.

Лето 79-го, Сростки, море людей, пятидесятилетие Шукшина. Всего пятьдесят, а уже пять лет как похоронили.

Огромная (два самолёта) московская делегация, в которой сплошь киношные знаменитости. Есть на кого посмотреть. Хожу по улицам, выхожу к реке, представляю здесь Шукшина по его рассказам. Подошёл молодой мужчина:

– Чего, к Ваське приехал?

– Какой же это Васька, это великий русский писатель Василий Макарович Шукшин.

– Ну, кому Василий Макарович, а для меня Васька.

– Почему именно так? – спросил я.

Мужчина пристально посмотрел на меня, выдержал паузу и, качнув головой, значительно произнёс:

– Брат.

– Но у него не было братьев. Насколько я знаю. Сестра Наташа, она здесь, Наталья Макаровна.

– А вот ты сам посуди, – сказал – мужчина, – сам разберёшься, чего мне врать? Брат. Мать меня всю жизнь скрывала. Я не осуждаю, ведь как это для неё, а?

– Что?

– Ну что? Один сын Москву покорил, до космоса взлетел, а другой с утра у магазина, а? А как не пить, если мною мать пожертвовала. Коля, говорит, мне двоих учить – не вытянуть, ты уж Коля, терпи. Терплю. Вот деньги собираю, на могилу съездить. А как ты думаешь, надо поклониться, а?

– Надо, – вздохнул я, понимая, что придётся помогать. – А вот если бы его здесь похоронили, тебе бы и деньги не надо было собирать. Пришёл, поклонился, детство вспомнил. Проси перезахоронить. Он, конечно, рад бы был.

ИЗМЫЗГАННОЕ СЛОВО «общественность». Общественное питание, общепит? Ужас. А забегаловка что? Обжираловка макдональдса? Общага, понятно, в ней общежитие, живут сообща; общак, тоже понятно, его делят.

А как вспоминаешь эти всякие общества любителей гончих псов (не небесных), общества спасения на водах, любителей фиалок, певчих птиц, нет им числа – всего общества. Вроде как без общества книголюбов и книгу бы никто не любил.

Все эти общества в сумме, как можно думать, составляют общественность. Которая якобы что-то решает и от которой якобы что-то зависит.

Ничего она не решает. Ничего от неё не зависит. Поорать может. И только. Массовка в кино, та хотя бы что-то изображает.

И вот творческий Союз писателей низвели в юридическом отношении до положения общества нумизматов, филателистов или там каких-то кошатников. Тоже всё общества. Этим писателей, конечно, унизив.

Здесь, думаю, происходит не от непонимания роли Слова в России, самой до сих пор читающей стране, а от нелюбви к нему. Слово и совесть – синонимы. Совесть сейчас не нужна ни властям, ни ворью – отродью демократии. И хорошие писатели, которые обязаны стоять на защите униженных и оскорблённых, подвергаются дискриминации. Даже такой профессии – писатель нет в регламенте о профессиях. Положим, это разумно, ибо сказать о себе: я – писатель, мало кто решится, это же очень самонадеянно. Писатель – Пушкин, мы члены Союза писателей. Но нас, других, нет. Именно мы обострённо воспринимаем происходящее в России. Политики, дипломаты, экономисты – народ головной, мы болеем сердцами, страдаем душами, народ тянется именно к нам. Наших читателей среди митинговых крикунов нет.

Как за что-то берётся общественность – пиши пропало. Общественность сродни населению. А население умные демократы считают быдлом. Как не считать, живёт оно желудком и развлекухой. Оно-то как раз не читает, его пасут как скотину у телеэкрана.

А народа у нас всё меньше.

СТАЛИ БОРОТЬСЯ с курением, как хорошо! Нигде курить нельзя. А где можно? На улице можно. И вот стоят толпы около учреждений, или, как их сейчас обозвали, офисов, и дымят. А улица – дом Божий. Его, значит, загаживать дымом можно.

Так получается. А дым табачный давно назван кадильным дымом дьявола.

И как назвать выхлопные газы, которые денно-нощно извергаются из ревущих машин, которыми отравлены улицы городов и всех селений? Это кому каждение?

Поднял голову – вот и ещё дым. Тяжелый, густой из вознесённых к небу заводских и фабричных труб.

Этим и дышим.

Но кто придумал добывать из земли спрятанные туда отходы в виде нефти, разлагать их и сжигать? Дал же Господь энергию солнца и ветра, почему нужно задыхаться в дыме от сжигания газа, угля, бензина, солярки?

Вернулся в свой двор, во дворе сосед выбивает облака пыли из ковров, а соседка, выше нас двумя этажами, трясёт половички на наши головы.

Хорошо хоть, что я не курю. Это утешает.

КАК ЖИТЬ В АТМОСФЕРЕ, в которой живём, в Москве? Это же непрерывный шум. Шум круглосуточный. Машины, механизмы, стройки, копания и закапывания, ломание асфальта и его новое заливание, укатывание, утрамбовка, замена асфальта плиткой и снова асфальт, снос домов, возведе-

ние новых, строительство развязок путей для машин на перекрёстках... И всё это шум и шум. Какие там зоны тишины, кто их видел?

Просыпаюсь среди ночи – все равно шум. По Тверской, как будто их режут, сирены машин полиции, скорой помощи, службы ноль-один. Где-то пожар, кому-то плохо, кого-то или чего-то ограбили, какой-то начальник стремится непонятно куда, перед ним несутся гаишники, опять же сиренами и вспышками резкого света прокладывая дорогу. Как сердиться? Может, он спасать Россию летит?

Уже и в моём Никольском спасу нет. Рождение новых жилых кварталов свершается под уханье молотов, забивающих сваи; ревут экскаваторы, роющие ямы для фундаментов нулевого цикла, траншеи для труб канализации, для проводов коммуникаций; потом многонедельный рёв бетоновозов, тягачей с арматурой, цементом, готовыми фрагментами стен; завывание подъёмных кранов... Готов дом, заселился, тут же сотни машин, гаражи, стоянки, остановки для новых маршрутов маршруток, автобусов, магазины, к которым ночью привозят товары и которые выгружают крикливые азиаты...

Нет, невозможно! И вот – счастье: я в милой Вятке. И в моём тихом доме. Тихом? Да, когда-то в нём спали, как у Христа за пазухой. А сейчас всё тот же московский сквозняк шума.

Ушёл, сбежал в тишину Троицкой обители. Нет, и тут достаёт шум тяжелых машин. И не просто привычный машинный шум. А ещё и убивающий тем, что это движутся трейлеры, большегрузные машины, которые увозят мои вятские сосны и ели, и берёзы, не давая им даже дорасти до созревания. Милые мои, для кого вы росли-вырастали?

Печаль, печаль. Убежал, уехал в Такашур, обитель матушки Валентины и батюшки Александра. Обитель на краю вятской земли, после неё нет дорог.

Да, тишина. Да, тут тихо. Иду заросшей дорогой. И... что это? Почему по-прежнему шум? Остановился, прислушиваюсь. Нет же тут близко никаких дорог, никаких механизмов, почему шум?

Может, ветер, деревья шумят. Да, это был бы желанный шум. Но нет ни ветра, ни ветерка, замерли деревья, кусты и травы. Так что же мне шумит, как перед грозою? Прямо как в «Слове о полку Игореве».

И стою среди заросшего поля и слушаю. Понимаю – это шумит тишина. Дождалась и она внимания к себе. Стою и слушаю. И скоро, такое ощущение, лягу на землю, прижмусь к ней и буду слушать. Ведь и земля не молчит. Перед Куликовской битвой слушал землю князь Димитрий Московский.

Так и живём среди шума, Иногда среди шумной тишины.

РАЗВРАТНЫЕ СЛОВА. Так озаглавлю коротенькую запись. Она в том, что супружеская неверность, блуд, прелюбодеяние имеет много слов и терминов, их обозначающих. Но количественное сопоставление русских и зарубежных очень даже в нашу пользу.

У нас привычное: бабник, блудодей, сердцеед, воздыхатель, ухажер, обожатель. Отношение к ним ясное: лярва, курва, странь, лахудра, потаскуха (потаскун), прихохотье, шлюха, сучка... Всё это, конечно, очень грубо, но это народные слова, показывающие отношение народа к блуду. Блудить – сбиться с пути во всех смыслах.

А у них, в Европах? У них изящно, у них супружеская неверность очень красиво называется, это адюльтер, у них нескончаемые ряды выражений, поощряющих измены, неверность, поднимающих их на уровень культурного действия: строить куры (это уже устаревшее, но долго бывшее в употреб-

лении, от слова ухаживать), куртизанка (лёгкое поведение в высшем обществе), гризетка, чичисбей (спутник для прогулок), гривуазный (игривый, непристойный), дом терпимости (тоже от них), метресса (любовница, содержанка), донжуан (это ясно), ловелас (соблазнитель), селадон (назойливый волокита), вакханка (чувственная, сладострастная), гетера (женщина свободных нравов), мессалина (ненасытная в чувственной любви), вавилонская блудница (то же самое), альфонс (любовник на содержании женщины, которую ублажает), далее: бардак, бордель, блудилище – это у них дом свиданий, и тому подобное. И всё рождённое и одомашенное Западом.

Из последнего, омерзительного – защита Западом педерастов и лесбиянок. Оказывается, педерастов нельзя и педерастами назвать. А кто же они? Они же педерасты. Ну ладно, пускай гомосексуалисты, хотя тоже рвотно. Что, и гомосексуалистами назвать нельзя? А как? А, они геи, то есть в переводе: «Я такой же как ты». Нет уж, извини-подвинься, ты не такой, ты педераст. Говоришь: болезнь? Да на 5-10 процентов болезнь, а на 90 процентов разврат. Больных лечить, а развратников учить. Как? Для начала заклеймить позором и презрением. И не голубой ты, а мерзопакостный.

Далее не продолжаю: противно.

МОСКОВСКИЙ ЧЕРЕП. В армии, в каждое увольнение, жадно изучал Москву, узнавал, любил, принимал на веру все её проспекты, улицы и переулки. Старался ходить пешком. Даже так: ехал на метро и поднимался наверх на каждой станции и шёл пешком до следующей. И музеи, особенно Изобразительных искусств и Третьяковка. Много раз бродил по их залам. Легко было: солдаты везде шли без билетов. И в городском транспорте проезд бесплатно. Да и потом, в студентах, доступно. Детям пять копеек, студентам, по-моему, десять? Нет, тоже пять. Если ошибаюсь, поправьте.

В памяти оживилось из того времени: «Моя любимая картина – Романо Джульо, «Форнарина». О, милая, так грустно не смотри, ты лучше этих всяких «Самари». О, натурщицы Ренуара! Помню, помню эти залы.

Любил Москву.

В студентах мы сопровождали группы детей, приезжавших из всех республик и краёв СССР. Даже этим сколько-то зарабатывая. Но именно в Москве был случай, который меня ужаснул. Всегда сейчас, проходя по Звонарскому переулку, обязательно вспоминаю, как тут, у храма святого Николая в Звонарях, я впервые в жизни увидел человеческий череп. Не муляж – настоящий череп когда-то живого человека.

Да, шёл и увидел: раскопки, траншея. В ней шевелятся и копают и выбрасывают на поверхность глину и песок землекопы. Иду, и именно почти мне под ноги выкинули настоящий человеческий череп. Я ужаснулся. Не знаю, что было со мною, но потрясение доселе вспоминаю. Я остановился, не понимая, как идти дальше. Рабочий увидел моё смятение и успокоил: «Да тут же везде кости, это же кладбище, да Москва вообще на костях стоит. Пацаны утаскивают, в футбол играют».

Потом и ещё бывали встречи с московскими захоронениями. Возил черепа и кости в бумажных мешках из Камергерского и Георгиевского переулков, там всё время копали и копали, и нарушали вечный покой усопших.

«Покойся, милый прах, до утренней звезды».

– ПОМОЖЕМ! – ВЕСЕЛО кричит рыжий слесарь Петька, и обязательно добавляет: – Колхоз разворовать! – Он шутник. Когда ему что-то предла-

гают, он восклицает: – Ни за что! – И, после паузы: – Не откажусь. Ещё у него такое присловье: – Скорей бы война, да сдаться бы в плен.

Я раз его упрекнул за такую шутку, он вытаращился:

– Жизни не знаешь! Вот случись война, узнаешь, сколько будет предателей.

ЧАСТУШКА ДЕВУШКИ для родителей: «С горочки скатилися берёзовые сани. Сватались – не отдали, так кормите сами».

– ПРИМИ, МОЙ крестник, мой привет. Стихи твои давно люблю я. Со днём рождения, поэт! Ура, аминь и аллилуйя!

АНЕЧКА О ЗНАКОМОЙ девочке, осуждая её за то, что не стала дружить с мальчиком: «Дура бабёшка, не стала туситься с таким мужиком». – Аня, как можно? – А чего? Он ничего. – Говорить так разве можно? – А чего? Я же говорю.

Это я о красивой и умной семикласснице.

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ – тема конференции. Вроде бы они не мешают друг другу, и те и другие нужны. Но демократия агрессивна, она терпит только свои новации или подбирает отбросы западных силиконовых долин, традиции прошедшего ею оболганы и отвергнуты, и постоянные новации добивают их остатки. Взять этот же ЕГЭ. Сколько он убил не просто знаний, а жизней. В прямом смысле: судьбы ломал. Тупого зубрилу выводил в начальники, а думающего парня отбрасывал.

ВЫСТУПАЮ ПЕРЕД школьниками. О чём я могу говорить? Только о России, о любви к ней, что именно любовь спасёт её. Говорю и о смерти, называя её не смертью, а завершением земного срока, переходом в жизнь вечную.

«Все мы, тут сидящие, умрём. Да. Но будем обязаны отчитаться за то, что делали, когда жили на земле. Тогда и узнаем, чего заслужили. И всё это наступит мгновенно. Я вчера был младенцем, моложе вас, а сегодня старый и седой». Верят не очень-то, но слушают. «Вы же не от обезьяны произошли, всех нас Господь сотворил. Жить надо ради Господа. Кто к этому пока не пришёл, пусть начинает хотя бы с того, что стоит жить только ради высокой идеи. Без высшей цели жизнь приземлена, примитивна. Это понятно?» – Вижу – не всем. «Вы готовы умереть ради родины, ради России? – Делаю паузу. – Все равно же в вас что-то при этих моих словах шевельнулось. А если спрошу: вы готовы умереть ради рыночной экономики?» – тут заулыбались. Смешно стало. Но это как раз хорошая реакция.

И всё-таки дела наши плохи. Пока не овладела людьми идея, которая сплачивает, мы потихоньку погибаем. А тем временем чиновники, вслед за начальством, квакают заманчивые для молодёжи слова: карьерный рост, достойная зарплата, престижная специальность.

Вы скажите молодёжи, что жизнь мгновенна, что любой человек приговорён к смерти, что надо успеть сделать что-то для Бога и Отечества. И вот этому – ощущению временности пребывания на земле никто, кроме Церкви, не учит. Ну вот, сколько таких сейчас: всего достиг, «богат и знатен», а все равно умирать. А далее по тексту: наследники передрались, грязное бельё трясут, на могилу гадят... вот и вся повесть о престижности.

СТРАХ И ЛЮБОВЬ. Страх наказания удерживает от проступков, от греха. То есть страх – дело хорошее. Плохо, что страх-то удерживает, а желание греха все равно внутри живёт. Очень точно об этом в молитве: «яко семя тли во мне есть». А любовь, любовь спасает во всех смыслах. Не хочется огорчать любимую учительницу – выучу урок. Люблю маму, не буду её огорчать, обещал не курить.

Люблю Бога, от того мне и радостно не грешить. А согрешил – не стыдно каяться: простит. Хотя вот это стыдно – надежда на прощение: ведь согрешил же.

ВОТ ДВА ОТКЛИКА на высылку Солженицына. Первый интеллигентский, сочинённый: «Солженицын в самолёте из России в Бонн летит. «Вот-те нате, хрен в томате», – Бёлль, встречая, говорит». Второй, рождённый в недрах народного юмора: «Чапаев и Петька идут по Парижу, а навстречу, окружённый толпой болельщиков, идёт знаменитый Пеле. «Кто это?» – спрашивает Чапаев. – «Наверно, Солженицын, Василий Иваныч». – «Надо же, – говорит Чапаев, – как человека очернили».

И один, и второй почтения к писателю не испытывают.

Да, о Бёлле. И, в связи с ним, об Астафьеве. «На Западном фронте без перемен» – книга, которую читать нелегко: жёсткая, жестокая даже: кровь, грязь, неразбериха, подлости, преступления. Но нет же астафьевской матерщины, хотя немцы в ней давно нас превзошли. У них же не только «донненветтер», много и похлеще.

Это вызвано сейчас утренним разговором с Надей. Она: – Не могу и не буду Виктора Петровича осуждать: он такое прошёл и видел. – Наденька, я не воевал, но служил и любую трёхэтажную матерщину знаю и, прости, Господи, дурака, употреблял. Но что мне, для правды жизни её вставлять в прозу? Да у меня рука не поднимется написать матерное слово. А Белов? А Распутин? Тоже не ангелы, тоже росли не в райском саду. Что ж они так чисто пишут? Без единого матерка обошлись. Потому что русский язык в основе Богосозданный. Я за всех за них молюсь.

Виктор Петрович был нами любим, бывал у нас, весело восклицал: «Люблю Вовку, но Надьку больше.

СБЕЖАЛИ В ОРЛЕ с писательского съезда, конечно, не насовсем, на малое время принятия оживотворяющей реанимационной жидкости. Приобрели.

– Спасибо городу Орлу, – говорит Толя, – мы в нём надыбали мерлу.

– День, безлюдно, сели в сквере, – продолжает он, – насладимся в полной мере. Хороша сия мерла, но пить придётся из горла. Жизнь писателей красна, на Руси когда весна. Открывай.

Кое-как заставили пробку прекратить охрану продукции чилийских виноградников. А чем закусить? Толя опять:

– Закусим запахом цветов, и ты готов и я готов. – После первого глотка: – Зря Ганичев старался так много фамилий назвать. Все же и без него знают, что все гении.

– А гении, – я тоже оживаю, – дай и мне блеснуть эрудицией, гении – это языческие идолы, так что наши гении добровольно рвутся в объятия к нечистому.

– Ну, – соглашается Толя, – нам легче, мы не гении, мы просто вятские записчики прошедшей и, вдобавок на глазах проходящей быстротекущей жизни. Лихо выразился? Гений вырастает среди удобрений, которые тоже гении.

– Он без похвалы плохо растёт, – рассуждаю я. И вспоминаю вятское изречение: – Не похвалишь – не повалишь. – Продолжим?

Как же хорошо – весна! Весна, Орёл. Сейчас на съезд в зал вернёмся. А в зале и в президиуме всё свои да наши. И все живы: и Распутин, и Белов, и Лихоносов, и Астафьев, и Солоухин, и Кузнецов, и Горбовский, в общем, все.

Боже, какая печаль! Уже сколько без них живём.

Вот снова съезд. Гляжу в зал – всё меньше знакомых лиц. И Толя в этот раз не смог приехать. И на дворе не весна.

ОТЕЦ, ВЕРНУВШИЙСЯ из Сибири, из Томска, мог бы работать в леспромхозе, ведь лесной техникум по тем временам был как университет. В леспромхозе и зарплаты больше и техника новее. «Но, – говорил отец, за что я его очень уважаю, – рубить лес у меня не стерпела душа». И он всю жизнь работал в лесхозе. Разница огромная: лесхозы сажали, выращивали, охраняли леса, а леспромхозы оставляли от этих лесов одни пеньки.

Да, нагляделся я, как убивают лес. Конечно, вполне объяснимо, что лес спиливают, он нужен для строек, топлива, он для того и посажен. Это как пшеница, рожь, овёс, просо, гречка – созрели, надо убирать. Но слышать этот вой бензопилы, а до этого, я ещё застал, и визги электропилы, слышать и ждать, что вот сейчас повалится этот шатёр красавицы ели или высоченная золотистая сосна, это было мне всегда не по себе. Вот дерево стоит, вот дрогнуло, вот стало крениться, вот затрещало и повалилось, убитое, как солдат в бою. Разодралось пространство неба, опустело оно без зелени хвойных ветвей, и сострадательно вздрогнула земля.

А ещё же помню пилы и лучковые и двуручные. Но они были всё же как-то милосерднее.

ТАК УБИВАЛА ИЛИ спасала литература Россию? И так и так. Смотря, какая литература. Православная в основе или зараженная сатанизмом? И в какую сторону был перевес, в такую и клонилась жизнь в России. Бесы были всегда энергичнее. И богаче. Тот же «Колокол», та же «Искра». Колокол будил, искра поджигала. А производить их было дорого: бумага, печатание, доставка в Россию, провоз через границу. Со всем управлялись, лишь бы России нагадить. На это денег не жалели. Агенты «Искры» не за так работали. И доселе литература развратная, антирусская, развлекательная хорошо оплачивается и широко издаётся.

Антимонархические, демократические, значит, антирусские, перья всегда были понахрапистей, понагловатей, самоуверенней: за ними Европа. А в Европе извозчики говорят по-французски, а в Европе всё быстро забывают, кроме одного: за что же это Россия такая богатая и как бы нам её ещё пооболванивать, ещё пограбить, ещё поучить.

И отбили бесы от чтения литературы православной, от Слов ума и разума начала письменного периода, забыли и великую литературу дописьменную, былины, песни, сказания, предания о предках, легенды о героях, забыли, особенно, Жития святых. Слава Богу, не до конца, иначе бы и не было уже России. Малое стадо рабов Божьих было не только в Церкви, но и в литературе. А большое скотское стадо пишущих бесов доселе не уменьшилось. Только что зашёл в книжный на Тверской, ну! Завал сенсаций: сплетни, биографии кого угодно, только не героев Отечества. Хожу среди толстых и тонких изданий, думаю: так я в России или где? Такое нашествие обволакивающей пустоты, даже дурнота к голове подступила.

МАХАТМА ГАНДИ спас Индию. В прямом смысле. Как? У него был огромный авторитет. И он призвал соотечественников не иметь никаких дел с англичанами. То есть: ни за какие деньги не идти к ним на работу, не покупать их товаров, не смотреть их кино, не слушать их музыку... Всё! Без единого выстрела. И как ни бедно жили, как ни мучились, а выстояли. И где те англичане? Сами ушли.

Нам-то откуда махатму такого взять?

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ действует всего быстрее. И звука и прочтения. Но прочитанное действует, хотя и медленнее, но прочнее. И держится в уме дольше.

То, что Ленин ухватился за кино, тогда ещё совсем молодое, понятно. «Из всех искусств для нас (большевиков, конечно – *В.К.*) важнейшим является кино». Это киношники цитировали без передышки, пузырясь от самомнения. Тогда как кино вторично. А было нужно для оглупления, как говорили, трудящихся масс. Для выработки стандартов мышления, отношения к жизни, даже для внешнего единообразия в одежде, причёсках. Киношные хохмочки повторялись. Помогали в общении. Создавалась полная иллюзия дружного общества, даже доходило до идеологических уверений, что создаётся, уже и создана новая общественная формация, называемая советским народом.

И всё это натворило в основном кино. Хотя оно без словесной основы никуда бы не двинулось. Но и тут у большевиков не было проблем: писателей, готовых к услугам, было пруд пруди. «Чего изволите?». И напишут, чего прикажут.

Такой интеллигенцией чего церемониться?

Пишу, жена пришла говорит: «Посмотри, умер Данелия, его фильмы вспоминают». И что вспоминают. «Вся страна наизусть знала киноцитаты из его работ». Какие? «Пасть порву! Редиска! Ваше место у параши. Гёрл – чувиха»... словом, пошлость. И кольцо в ноздрях.

Кино отталкивало книгу, ему хватало сценария.

А кинозрители считали себя культурными. Они же в кино разбираются. Да и я многое, особенно, неореализм Италии или новое румынское кино не отвергаю. И все равно: посмотрел, понравилось, а мог бы не смотреть? Вполне. Хотя, например, Пьетро Джерми или Акиро Куросава говорят о своих странах больше иных научных описаний.

Всё так. Но всё же читатели умнее зрителей.

СВЕРШИЛОСЬ – ПРЕЗИДЕНТ подписал введение электронных паспортов. То есть слова об электронном концлагере сбываются. Вообще, это очень унизительно – ощущать себя под колпаком слежки. Сколько у меня денег, сколько снял с карты, что купил, за сколько, где купил, куда и во сколько поехал, на каком виде транспорта, где был и сколько, с кем и о чём говорил по сотовому телефону, да и по домашнему, легко ли это осознавать?

Но я православный, и всё это мне не страшно. Что бы вы агенты спецслужб обо мне ни узнали, Господь Бог давно обо мне всё знает и знает гораздо больше любых ФСБ и ЦРУ. Даже знает, о чём я думаю. И слава Богу. Я перед Богом отчётен, а вы в моей жизни не причём.

Ну, узнали вы, что я чем-то недоволен, и что? Таких, как я, миллионы. Вот бы вы и услышали наш голос, и отменили бы все эти игры в заботу о безопасности народа.

Валерий ЛАТЫНИН *(Россия)*

МИЛОСЕРДИЕ
Рассказы

МИЛОСЕРДИЕ

Полкан тревожно выл ночью. Тётка Марфа несколько раз вставала с постели и, открыв форточку в маленьком подслеповатом окне, зло цыкала на пса. Гремя цепью, собака лезла в будку, но через некоторое время вновь раздавался жалобный, холодящий душу вой.

Старуха вздрагивала. Высвободив из-под одеяла сухое, сморщенное лицо, спешно крестилась на образа Божьей матери и святых угодников: «Господи, милостивый, пресвятая Богородица, отведи лихо-беду!..».

Где-то далеко, под стенами крепости, слышались автоматные очереди. «Чтой-то делается? Сколько душ безвинных загубили, ироды? И как Бог таких извергов терпит?».

Заснуть ей больше не удалось. Тётка Марфа засветила лампу. Надела поверх исподней рубахи стёганую телогрейку, на ноги – тапки, отороченные лисьим мехом, и, отодвинув засов на трухлявой двери, вышла во двор.

ЛАТЫНИН Валерий Анатольевич родился в донской станице Константиновской Ростовской области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище и Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Более 20 лет отдал военной журналистике. Автор многих книг стихов, прозы, поэтических переводов, вышедших в России и за рубежом. Член Союза писателей России и Сербии, Международной ассоциации писателей-публицистов (МАПП), лауреат всероссийских и международных литературных премий.

Полковник запаса. Один из организаторов и лидеров движения за возрождение казачества. Живет в Москве

Светало. На окраине городка хрипло орал петух, лаяли дворняги. К их голосам примешивался какой-то посторонний звук. Женщина прислушалась. Теперь она различала шарканье десятков ног, плач и причитания.

– Неужто хоронят кого в такую-то пору? – старуха выглянула за плетень и испуганно отшатнулась.

По дороге немцы и полицаи гнали колонну евреев. В большинстве – это были женщины с малолетними детьми, старики и старухи. Заклинания слышались сразу на нескольких языках: идиш, белорусском и русском. Дети плакали.

– Господи! – на глаза тётки Марфы навернулись слёзы. Размазывая их по щекам и сморкаясь, она засеменила подальше от изгороди. – Опять в крепость на расстрел ведут. Сколько кровушки пролито, за что кара такая? Детей хоть бы пожалели, охо-хо...

Самой последней в колонне шла молодая женщина, державшая на руках спящую девочку лет двух-трех в плюшевом пальтишке, перевязанном пуховым платком.

В отличие от других, молодуха не плакала, не причитала, а время от времени мельком оглядывала своих конвоиров.

Справа и слева от колонны шли по два полицая. В стороне, по обочине дороги, вышагивал здоровенный рыжий немец-сержант с небрежно болтающимся у пояса «шмайсером».

Иногда немец поглядывал на полицаев и «лаял» короткую команду, те начинали торопить конвоируемых и ругаться. Но серьёзного внимания толпе не придавали.

Даже сходились вместе, курили, грызли яблоки, тронутые первой изморозью, переговаривались.

Проходя мимо высокого плетня тётки Марфы, за которым виднелись наполовину опустевшие кроны густо посаженных деревьев, молодуха остановилась, якобы поправляя сбившийся чулок, и, воспользовавшись тем, что на неё никто не смотрит, быстро втолкнула девочку за дощатую калитку.

Она вскоре вновь шла в строю, но обернувшийся сержант заметил что-то неладное, подбежал к ней и, ткнув стволом автомата в живот, закричал:

– Во медхен, юдин?

– И правда, нет девчонки, – изумился шедший слева полицай.

– Стой! – скомандовал он колонне. – Ты куда своего недоноска дела?

Женщина молча смотрела на конвоиров, глаза её расширились от страха, не за себя, а за ребёнка боялась она сейчас, жизнь которого ценила гораздо больше своей.

– Голубчик, – протянула она руки к полицаю. – Пожалейте ребёночка, в чём повинна маленькая девочка?

Полицай отстранился от женщины:

– Ещё чего? Нашла голубчика. Отвечай, дура, где девчонка?..

– Во? – сержант резко взметнул кулак в коричневой перчатке, ударил женщину по зубам. Изо рта хлынула кровь.

Женщина отшатнулась, выплюнула раскрошившиеся зубы и, вытянув умоляюще руки, истошно закричала:

– Пожалейте... е-ё.

Сержант оттолкнул её от себя и нажал на спусковой крючок.

Толпа замерла. Женщина вздрогнула и осела в дорожную пыль.

– Зухен, бистро, – фашист толкнул стоящего рядом полицая, указывая на высокий плетень. – Искать.

Полицай открыл калитку. Во дворе было тихо, неподалеку, в саду, не вылезая из будки, оскалился огромный волкодав. Направив ствол карабина на собаку, полицай боком подошёл к хате. Требовательно застучал прикладом в дверь, от которой отвалился большой кусок давно прогнившей доски.

– Сейчас, сейчас, сынок, – в окне показалась голова тётки Марфы. – Леший тебя, ирода, принёс, – пробурчала старуха себе под нос, отворяя двери.

– Куда спрятала девчонку, старая карга?

– Господи, спаси! Какую девчонку, соколик? Одна я, нет никого.

Отстранив старуху, полицай зашёл в сенцы, заглянул в чулан, под кровать, за печку. Порылся в сундуке, прихватил оттуда расшитую мужскую сорочку.

– Неужто ты ничего не видела? – спросил он помягчевшим голосом.

– Истинный бог, ничегошеньки, – Марфа перекрестилась на икону.

– Ну, смотри, тётка, не приведи господь, найдём еврейку, тебя вместе с ней повесим.

– Свят, свят, свят... Не брала греха на душу.

– Нигде нет... – развел руками полицай, подходя к немцу. – Найн...

– Тойфель... – чертыхнулся тот и подал команду: – Форвартс!

Тётка Марфа долго смотрела из-за плетня, как поднимается пыль за колонной обречённых на гибель людей. Нескоро услышала она жалобное поскуливание Полкана. А когда услышала, обернулась и обомлела. Собака стояла и повиливала хвостом возле своей будки, в которой, свернувшись калачиком, спала маленькая черноволосая девочка.

АПА

Свою семнадцатую весну я встречал в Казахстане. Заснеженный и коварный в зимнюю пору Курдайский перевал под жаркими лучами солнца быстро скинул ледяной панцирь, обильно затравел и зажег по южным склонам алые фонари тюльпанов. Такие большие и красивые мне прежде не доводилось видеть. Да и сами горы тоже. Синевато-зеленые предгорья, расшитые разноцветьем трав, голубые леса тянь-шаньской ели, альпийские луга, белые шапки нетающих ледников... Взор то и дело устремлялся на ближайшие к поселку отроги Киргизского хребта и неустанно блуждал там, как зачарованный турист или скалолаз. Я часами мог сидеть на каком-нибудь валуне и неотрывно смотреть на дивную гряду гор, дорисовывая в своем воображении красоты этого, неведомого мне, царства природы.

Мой школьный приятель Миша Токарев, с которым мы уже успели пару раз поохотиться на кекликов – горных куропаток, добровольно вызвался быть моим гидом-краеведом и инструктором по горной подготовке. Он провел меня по окрестностям уранового карьера, рассказал таинственную историю о заброшенных золотодобывающих шахтах, показал ближайшие к поселку пещеры и горные озерца. Для меня – урожденного степняка, прожившего шестнадцать лет в донской станице, горы казались сказочно таинственными и оттого несказанно притягательными.

– Нравится? – спросил как-то Михаил, перехватив мой восхищенный взгляд.

– Угу, – кивнул я, – очень.

– Это еще только «присказка», а «сказка» за Кой-Ташом. Там настоящая красотища: арчевые леса, голубые ели, горячие источники... Хочешь увидеть?

– Спрашиваешь...

Мы договорились очередную годовщину Победы отметить походом в горы с ночевкой. Сборы были недолги... Купили несколько банок консервов. Взяли с собой по солдатскому одеялу и по танковой куртке. Надели трикотажные спортивные костюмы, обули кеды. Прикрыли головы от солнца солдатскими панамами... Вот и все снаряжение.

Утром восьмого мая отправились на попутке в столицу соседней республики город Фрунзе, оттуда пригородным автобусом – в село Кой-Таш.

И вот он – исток мечты – подножие Киргизского хребта. До вершины – рукой достать, подняться на первый холм и...

Шли мы с небольшими привалами по едва заметной полевой дороге часов пять, а заветная вершина все не приближалась. За первым холмом оказался второй, потом третий, четвертый... Ноги в резиновой обувке взмокли, неприятно скользили внутри кед. Солнце нещадно прожаривало головы сквозь «сковородки» панам. Негде было укрыться от него даже во время отдыха. Местность в основном безлесая, с редкими кустами боярышника и колючими купами татарника или чертополоха, между которыми еще зеленели, удерживаясь за весеннюю землю когтистыми корнями шары перекати-поля.

Под одним из кустов боярышника, на краю небольшого оврага, мы перекусили и немного прикорнули на своих вещмешках, разомлевшие от жары и пищи. Казалось, что проспали недолго, но солнышко успело подкатиться к белым вершинам гор, и, потеряв свой былой накал, не обдавало жаром, а будто красило предгорья золотистым настоем лучей. Воздух посвежел и наполнился медовыми ароматами цветущего разнотравья.

– Надо торопиться, – сказал Михаил, – не успеем добраться до леса, останемся без дров. Замерзнем ночью. Да и вообще без костра не безопасно ночевать.

Мы резво возобновили подъем. Но быстро сбили дыхание и невольно замедлили движение. Горы не любят попрыгунчиков. Здесь нужнее неторопливая основательность, расчетливость действий. У меня же вообще не было никакого альпинистского опыта, да и товарищ, как оказалось, больше слышал от других, чем испытал сам. Мы понуро тащились вверх по склону горы, уже почти не обращая внимания на окружающую природу, задавшись единственной целью – подняться к зарослям арчи до наступления темноты.

В разлившихся сумерках не сразу увидели одинокую юрту и загон для скота. Просто нас неожиданно остановил женский крик: «Эй... эй, болалар, кель манда! Кель... кель...»*

Навстречу торопилась женщина в белой национальной одежде.

Я ни одного слова не знал по-киргизски, поэтому вопрошающе посмотрел на напарника: «Чего она хочет?».

– Говорит, чтобы мы шли к ней, – пояснил Михаил, – наверное, что-то случилось и нужна помощь.

Немного запыхавшись от быстрой ходьбы, женщина подошла к нам и начала горячо что-то объяснять. Она не говорила по-русски. Во всяком случае, я не услышал ни одного знакомого слова, чтобы хоть догадаться о причине ее взволнованности.

Михаил напряженно всматривался в темные раскосые глаза незнакомки, вслушивался в ее речь, но по его растерянному взгляду было понятно, что и он ничего не может уразуметь в сбивчивом скороговорном речитативе.

Киргизка первой поняла бесполезность слов и перешла на язык жестов. Она указала на юрту и махнула пригласительно рукой – «пошли туда». Заме-

тив наше нерешительное топтание, добавила: «кель... кель...» и, ухватив меня за руку, потянула к своему кочевому жилищу. Я покорно подчинился ее настойчивости. Михаил молча шагал рядом, растягивая губы в недоуменной гримасе.

Женщине было лет около сорока. Невысокая. Гибкая в стане. С лицом и кистями рук шоколадного цвета. Ее загар еще больше подчеркивали белые одежды из домотканого холста – длиннополое платье, расширенное внизу, и короткая жилетка. На ногах были мягкие черные сапожки, как мне показалось, без каблуков. Ее необычный наряд, чисто выстиранный, но не выглаженный (видимо, на ферме не было утюга), был удивительно по ней и выглядел нарядно и даже празднично, украшенный бусами из серебряных монеток в несколько рядов. На руках красовались серебряные браслеты, а в ушах – тяжелые серьги из того же металла.

– Керегез, – пригласила женщина, распахивая полог юрты и отступая в сторону. – Ошагыз, – добавила она и завесила вход за нашими спинами.

Под куполом довольно просторной юрты висел фонарь «летучая мышь», бросая неяркий свет на главный предмет полевого жилища – круглый деревянный стол на низких ножках. На этом столе, почти во всю его величину стояло блюдо с лепешками, на которых лежала разварная баранина. И от нее шел такой пряный дух, что я невольно стал сглатывать слюну, удивленно поглядывая на своего спутника: «Чтобы это могло значить?».

– Бишбармак! – с особой, предвкушающей, интонацией проговорил Михаил. – Вот это повезло нам!

Он наклонился к столику, трепетно ловя раскрыльями чутких ноздрей ароматы диковинного для меня блюда.

– С чего это она решила угостить нас такой горой мяса? – недоумевал я. – Наверное, праздник какой-нибудь в семье?

– У азиатов гость в доме – уже праздник, понял?

– Странно как-то. Ни с того, ни с сего приглашают тебя в дом, за праздничный стол...

– Приглашают, значит нужно принять приглашение и не обижать хозяев отказом, – мудро рассудил Михаил, ставя свой рюкзак в сторону. – Попируем на славу.

Он снял у входа кеды и, вернувшись к столу, присел, скрестив ноги. Я попытался проделать то же самое, но не очень успешно. Азиатская поза никак не давалась мне, и я, в конце концов, встал возле стола на колени, как провинившийся школьник.

Мы завороженно смотрели на поднос с разварной бараниной, не смея взять ни кусочка со стола. Так дрессированные собаки смотрят на еду, ожидая волеизъявления хозяина и его команды. На столе не было ни тарелок, ни вилок. По нашему предположению сервировка еще не была закончена, и следовало, соблюдая приличие, ожидать.

И действительно, через несколько минут вошла хозяйка с новым подносом, уставленным пиалами. Подала каждому по три пиалы. Еще три поставила напротив нас.

«Себе», – мысленно отметил я.

В одной из пиал был горячий бульон с зеленью. В другой – холодная белая жидкость с кисловатым запахом. В третьей – теплая вода.

– Ошагыз, – еще раз проговорила женщина, поклонившись нам, и вышла из юрты.

Вилок она не принесла и на этот раз.

– Приказано кушать, – беря в руки пиалу с бульоном, весело подмигнул Михаил.

– Давай хозяйку подождем, – предложил я. – Она, наверное, за вилками пошла?

– Чудик! – небрежно проронил товарищ, – азиатские женщины никогда не сядут с мужчинами за один стол. Третьим, скорее всего, будет ее муж или сын. Вилками здесь не пользуются. Едят руками. Попробуй вот так: Михаил взял кусок мяса вместе с лепешкой и завернул края лепешки вверх, получилось нечто вроде пирожка. Надкусил половину. И, зажмурившись от удовольствия, стал жевать.

Мне ничего не оставалось, как повторить процедуру. И тесто, и мясо были мягкими, пряными. Жевались без усилий. Как говорится, пролетали сходу, не задерживаясь во рту. Только на пальцах застывали пятнышки жира.

Съев несколько кусочков мяса в тесте, перед тем, как взять пиалу с бульоном, я посетовал:

– Жаль салфеток нет или полотенца какого-нибудь.

– Это вам, синьор, не ресторан, – расплылся в улыбке Михаил, – в полевых условиях сервис ограничен, придется носовым платком обходиться. И он первым стал вытирать засаленные пальцы.

– А это для чего? – покосился я на пиалы с жидкостью молочного цвета и водой.

– Наверное, тоже запивки. – Михаил последовательно попробовал содержимое первой и второй пиал. Неопределенно пожал плечами: – Первая, вроде, кумыс – кобылье молоко. Я сам не пил раньше, но, судя по рассказам отца, похоже на кумыс. Кисловато-терпкий вкус. Жажду хорошо утоляет. И даже, говорят, алкогольные градусы имеет, вроде пива. А вторая.., как будто, вода. Ни соленая, ни сладкая. Просто теплая вода...

Я тоже отпил несколько глотков:

– Да, вроде простая вода...

В это время возле юрты послышалось цоканье копыт по каменистому грунту и фырканье коня.

– Вот и муж приехал, – предположил Михаил.

– Не обидится, что мы тут без него хозяйничаем за столом? – шепотом спросил я.

– Не обидится. Она его предупредит, – так же тихо ответил товарищ.

Но никаких разговоров мы не услышали. Вместо этого распахнулся полог юрты и в нее вошел седобородый аксакал. В халате, перевязанном матерчатым поясом, в остроконечной войлочной шляпе «домиком», в таких же мягких, как и у женщины, сапогах.

– Салам малейкюм*, – произнес он, внимательно глядя на нас.

– Здра... – начал было я.

Но Михаил подтолкнул меня в бок, принуждая подняться, и, встав сам, слегка поклонился вошедшему и произнес:

– Малейкюм салам.

Аксакал едва заметно улыбнулся.

Он неспешно повесил у входа свой головной убор. Так же неторопливо подошел к столу, присел на скрещенных ногах. И неожиданно для нас макнул руки в пиалу с водой. Достал из-за пояса большой белый плат и тщательно вытер ладони. Потом провел ими несколько раз по бороде, как бы оглаживая, поправляя и без того ровный клочок седых волос.

---

* Восточное приветствие.

– В коры идешь? – спросил нас обоих, обращаясь при этом в единственном числе.

– В горы, в горы, – закивали мы, – решили на праздник красоты ваши посмотреть.

– Красота – день, нощь – ощень холодно, – сказал аксакал, – Апа боялся – замерзнешь нощь. Звал юрта и меня звал.

Мы слушали старика, не возобновляя трапезы.

Аксакал пригласительно обвел стол рукой:

– Кушай, кушай, – и сам поднял пиалу с кумысом, – День Победы самый люющщий празник. Апа отец воевал. Мен воевал, – стукнул себя кулаком в грудь и пригубил пиалу.

– У меня тоже отец под Кенигсбергом войну окончил, – отозвался я, поднимая, как заздравную чашу, пиалу с кумысом.

– Третий Пеларусский, – многозначительно констатировал старик. – Щерняховский комантовал... короший кенерал.

Миша молчаливо посматривал на нас, отхлебывая кисловатое кобылье молоко. Ему, наверное, тоже было, что сказать о родичах-фронтовиках, но он уважительно слушал и не перебивал старого человека.

Я же испытывал прилив умиления, что здесь, в горах Киргизии, за несколько тысяч километров от моей родной Донщины, старый аксакал доброжелательно отзывался о командующем Третьим Белорусским фронтом генерале армии Иване Даниловиче Черняховском, как будто об отце моем, воевавшем у него, доброе слово сказал.

Сразу пропали языковые барьеры, ощущение чужой экзотики. Появилось чувство какого-то внутреннего родства, духовной близости, объединенности общей войной и общей победой.

– А Вы где воевали? – поинтересовался я у фронтовика.

– Миус-фронт воевал. Третий Украинский фронт воевал. Мал-мала шив остался, осколок мина сиркнул бок, – старик похлопал левой рукой повыше пояса.

А меня, как током, ожгла его фраза о Миус-фронте. Там на степной речке Миусе между Ростовской областью и Украиной мой батька проходил боевое «крещение».

– Надо же быть такому совпадению! – не выдержал я избытка прихлынувших чувств. – Мой отец начал воевать на реке Миусе. И его тоже задело осколком мины, только по лбу черканyло... Может быть, вы знали его? Латынин Анатолий Алексеевич?

– Латинин? – задумался старик, – нет, не помню. Кем пиль?

– Связистом. Пехотным связистом.

– Я расветка пиль. Ясиков таскал. Мноко-мноко трусей терял. Латинин не помню... Лисо мок фитеть. Фамилию не помню.

– И все-таки, редкое совпадение – в одном месте воевать начали, – уже спокойно добавил я.

– Земля не ощень польшой. Кокта мирно шивешь места мноко, кокта война – мало.

На несколько минут в юрте воцарилась глубокая тишина. Мы молча ели бишбармак, каждый по-своему осмысливая сказанное аксакалом.

Я представил этого старика безусым юнцом в маскхалате, уползающим в поиск за «языком», а в блиндаже передней линии фронта – склонившегося

над полевым телефоном отца. Впереди траншей – небольшую речку, поросшую кугой и камышом, Миус... Как же это я не пораспросил отца подробно о его фронтовой юности? Не знаю никаких деталей, подробностей, чтобы обсудить с интересным собеседником.

Аксакал первым нарушил молчание:

– Муш апа парашек высоко в коры пасет. Апа не мошет нощевать оставить. Мен сторож у всрывников. Есть вакон, есть место спать. Нато ити.

Он снова опустил пальцы в пиалу с водой, ополоснул их и вытер платом. А потом, чуть нагнувшись над столом с закрытыми глазами, опять огладил свою бороду, сведенными на ней ладонями.

Я догадался, что это было не простое оглаживание, а молчаливая молитва.

Апу мы так и не увидели больше. Не смогли даже поблагодарить за праздничный ужин. Поэтому, выходя из юрты, не сговариваясь с Михаилом, в голос пожелали: «Мир этому дому».

...На следующий день, распрощавшись с нашим аксакалом, мы поднялись к ледникам. По дороге видели голубые ели, ковры цветов, удивительной прозрачности речки с юркими тенями форелей. Загорали на снегу, купались в гейзерах. Это было горное чудо – сказка за Кой-Ташом.

Но ярче всех природных красот в моей памяти зацепился образ простой киргизской женщины, как я теперь понимаю, пожалевшей нас – несмышленых дурачков, отправившихся в горы без должной подготовки и снаряжения. Вот только осталось загадкой – для кого она готовила такой обильный ужин?.. А, может быть, это только для нас с Мишей осталось загадкой то, что для нее было привычным движением души – на великий праздник и ужин должен быть праздничным... а гостей Аллах пошлет?!

НЕСТАРЕЮЩАЯ БОЛЬ

День шёл на убыль. На одной из стен палаты ещё плясали солнечные блики, но на кровати и тумбочки уже легли длинные предвечерние тени. И солнце, и тени одинаково раздражали. И я, по примеру своего соседа по палате, положил на лицо раздёрганный и зачитанный номер журнала «Смена».

Так с журналом на горячем лице лежал, молча перемалывая в голове хаотичные, бессвязные мысли, которые, как я думаю, родятся в мозгу или очень счастливого, или очень больного человека. Весь день у меня держалась высокая температура, и весь день мне в голову лезла какая-то мура – отрывки чьих-то рассказов, бессвязные воспоминания и даже сюжеты. Я несколько раз хватался за карандаш, лежавший на тумбочке, и тут же на журнале, только что укрывавшем лицо, принимался строчить беглыми каракулями: «Вся боль на переносице сошлась, где сходятся и брови и морщины...».

Далее этого дело не пошло и я только в нижнем углу журнального листа записал слова для рифмы: «в суровый час... и мужчины».

Потом по контурному портрету бородатого мужчины стал писать возможные заголовки будущих зарисовок или рассказов: «Палата номер тринадцать», на этот номер своего временного жилища я не мог не обратить внимания даже с температурой в сорок градусов. Я, разумеется, при входе в палату не стал плевать через левое плечо или хвататься за пуговицу пальто, но суеверная цифра застряла в моем воспалённом мозгу и выплеснулась наружу.

Далее следовали заголовки не «мудрее» первого: «Айболит из Богучан», «Веста – сестра милосердия». Вскоре весь журнал пестрел карандашными

записями вдоль и поперёк, каждый клочок был забит до отказа словами, как следственный изолятор арестантами.

Я отложил журнал в сторону и тут только заметил, что в палате нет ни солнца, ни теней, а полноправно царят весёлые мартовские сумерки. Товарищ мой спал, неудобно держа правую руку над головой, не дотягиваясь расслабленными пальцами до журнала, который при каждом выдохе сползал с его лица на грудь. В этом зрелом мужчине было столько детского, что невольно хотелось встать и поправить сбившееся в ногах одеяло. К тому же время от времени мужчина тихо, почти беззвучно стонал или плакал, как плачут беззвучно во сне маленькие дети, когда после дневных впечатлений им привидится что-нибудь страшное. Матери в таком случае будят детей или переворачивают их на другой бок.

Мне же оставалось ждать пробуждения своего необычного соседа, чтобы полюбопытствовать, что такое ему привиделось, и кого он оплакивал во сне.

Проснулся я от прикосновения чьей-то руки к моему плечу. Надо мной склонился сосед:

– Слышишь, брат, перевернись на другой бок, а то мне сдаётся, что тебе кошмары снятся.

Я не сразу понял, в чём дело:

– Какие кошмары?

– Стонал ты или плакал во сне.

– Вот те раз, – я хитро улыбнулся, глядя на своего соседа, – а Вы ведь тоже плакали во сне.

Сосед сел на свою кровать и, поморщившись, выпил горькое содержимое мензурок, поставленных медсестрой на тумбочку.

– Пей свои «сто» грамм, пошутил он, – скоро ужин принесут, будем чаёвничать. Нам водички больше пить надо, с медком, смородиной – температуру выгонять.

При электрическом свете лицо его выглядело постаревшим. Суровее нависали кустистые брови, бросавшие тень на глаза, контрастнее выделялись упрямые складки в уголках рта. Но когда сосед улыбался, то глаза его светились детским озорством и чистотой.

За чаем мы познакомились ближе. Подкладывая мне в стакан гречишного мёда, сосед отрекомендовался:

– Меня зовут Вячеслав Чуйков.

Я хотел было спросить: «А по батюшке?», да вовремя сообразил, что это не совсем уместно... Если человек назвал только своё имя, значит, он желает, чтобы его называли только по имени.

Я назвал себя.

Перехватив мой любопытствующий взгляд, Вячеслав спросил:

– Пытаешься угадать, кто я такой?

Я поглядел на его начищенные до глянца форменные туфли и ответил:

– Не гадаю, а знаю, если хотите, насквозь вижу:

– Вы лётчик...

Сосед первое мгновение удивился, потом тоже перевёл взгляд на туфли и задорно рассмеялся:

– Ну и разведчик! Молодец... Держи руку и больше не «выкай». Мы же не на службе.

Общий язык мы нашли быстро, без долгого прощупывания друг друга. Стоило нам заговорить, и через несколько минут мы были уже на короткой ноге – доверительными собеседниками, приятелями. Этот первый вечер

нашего знакомства долго бередил мою память и, в конце концов, стал сюжетом этого невыдуманного рассказа.

После отбоя мне долго не спалось. Дежурная сестра погасила свет в палате. Но я ворочался с боку на бок, считал до ста, повторял мысленно одно и то же слово: «Спать, спать, спать...», но сон не шёл. Сосед мой не ворочался, но тоже не спал. Это я определил по тихим вздохам, что время от времени доносились с его кровати.

– Не спится, Вячеслав?

– Пытаюсь заснуть, – как-то вяло ответил Чуйков, – мысли, понимаешь ли, мешают.

– Какие?

– Да разные.

Сосед не хотел меня тревожить, надеялся, что я смогу уснуть.

– Мне тоже не спится. Всякая чепуха в голову лезет. Как в детстве коров пас. Гусиный ерик с мутной и тёплой водой, дубрава, луг, кузнечики стрекочут. Вода в зелёной ряске и коровы лениво лежат на берегу.

– Детские впечатления до креста.

Слова эти он произнес с затаённой болью, на глубоком, как стон, выдохе, не делая ударения ни на одном из слов и в тоже время тяжело роняя всю вторую часть предложения: «...до креста». А выходило по интонации так, что не до креста, а как тяжкий крест.

– Наша семья до войны в Сталинграде жила, – не поднимая головы с подушки, начал Вячеслав свой рассказ. Без лишних слов начал, как будто прокручивая в памяти давно известную ленту. – Хорошо жили. Отец служил во внутренних войсках, мать нашим воспитанием занималась – три мальчишки в семье, попробуй, сладь... Но жили дружно. Родители друг дружку любили. Отец и на службе преуспевал, и мать за ним никаких забот не знала – всё в дом доставал, всё сделать мог. Каждый день в доме – праздник, смех, песни. А потом – война...

Рассказывать про Сталинград во время войны не буду, это сегодня всякий школьник знает. Только с войной кончился праздник в нашей семье. Отец мог бы не воевать, все-таки внутренние войска для других целей предназначены. Но он добровольно рапорт подал и вскоре уехал на фронт. Погиб в первый же месяц. Мне в ту пору пять лет было, старшему брату Ивану – девять, Мише – семь. А у матери никакой профессии. Замуж из-за школьной парты выскочила.

После «похоронки» на отца – мать, будто умом тронулась. Стала вещи свои на самогонку менять. Плачет и пьёт, пьёт и плачет. А напьётся, плясать начинает. Платок белый на плечи поверх фуфайки накинет, туфли на каблуках наденет и идёт по комнате с притопом: «И пить будем, и плясать будем, а смерть придёт – помирать будем...».

Мы всем скопом за неё цепляемся: «Мамка, не надо». А она как завоет на всю округу: «Да куда ж мне с вами теперь деваться, как жить с таким наследством?».

Соседи её успокаивали, как могли, устроили работать на Сталинградский танковый завод. Нас подкармливали – когда пшена, когда картошки занесут...

Иван с Мишей ходили по дрова, воду носили, поддерживали огонь в печи. Иван кашеварил, нас кормил и маму поджидал. Она приходила поздно, безразлично ела пустую кашу или картошку в мундире и, скинув фуфайку и валенки, не раздеваясь, валилась в постель.

Так было до эвакуации из Сталинграда. Перевезли нас в Казахстан, в небольшой городишко Калмыков на реке Урал. Выделили крохотную комнат-

ку в переполненном людьми бараке. Мать пристроилась в какой-то артели патронные ящики сколачивать. Артель – не завод, дисциплина не та, паёк не тот, люди разные собраны, не было между ними крепкой смычки, как у заводских. И мать опять пошатнулась, опять запила. Без того паёк скудный приносила, а после запоев совсем голодно стало.

Ты вот речку вспомнил, луг, коров, лениво в тени лежащих. А я даже не запомнил, была ли в том городе трава, гнездились ли там птицы, и показывалось ли солнце? Мне до сих пор кажется, что небо там было всегда свинцово-серым, земля мёрзлой, а дни тянулись бесконечно, потому, что всегда хотелось есть.

Острее всего помню кислый запах чёрного хлеба на отрубях. Я ежедневно ждал фургон у хлебного ларька. Нет, хлеба не просил, просил извозчика, чтобы он разрешил мне разгружать фургон, чтоб хотя бы нюхать, вдоволь нюхать кисловато-ситный запах чёрных, ноздреватых кирпичей.

Голос моего соседа звучал приглушённо и я чувствовал, что каждое слово даётся ему с большим трудом. У меня тоже заволновалось и заныло сердце от нахлынувших чувств. Я остро, до щекотки в носу, почувствовал кислый запах хлеба. Да простит меня читатель за то, что, когда Вячеслав говорил о чёрных ноздреватых кирпичах, я видел бруски «Бородинского» хлеба в фирменной упаковке, чувствовал ржаную кислицу запаха и вкуса именно этого хлеба, потому что другого, к великому счастью, нашему поколению отведать не довелось.

– Я пролазил под телегой и между ногами людей, обступивших фургон, стараясь попасть к деревяшке протеза одноногого хлебовоза. – Продолжил Вячеслав, – Чумазый и обтрёпанный, выныривал из-под телеги и, вскинув посиневшее от голода и стужи лицо, просил: «Дяденька, давай помогу хлеб носить».

Первый раз он с горькой усмешкой отстранил меня от возка: «У самого таких помощников семеро по лавкам скачут». В последующие дни несколько раз взывал к людям: «Граждане, чей пацан? Заберите пацана».

Но забирать меня было некому. Из нашей голодной, промёрзшей, пропахшей сивухой и парашей, коморки убежал вначале Иван, оставив записку на столе: «Мамка, не ищи меня, пусть мою пайку Славик и Миша едят, обо мне не беспокойся». А месяц спустя и Миша утёк, вовсе без записки.

– Да что ж ты мне душу выматываешь, – не выдержал как-то хлебовоз, – неужто без тебя у меня горя мало? Иди к матери, пусть она тебя кормит. Мать-то есть?

– Есть, – ответил я и тут же расплакался.

Рядом соседка по бараку оказалась, прижала меня к подолу своей юбки, отломила кусок хлеба от завёрнутого в тряпицу пайка:

– В запое иха мать, в запое, а дети голодают...

Позже эта женщина не раз подкармливала меня, да и одноногий хлебовоз тоже – то краюхой хлеба угощал, то куском сахара. Я только через много лет понял, какая это по тем временам великая щедрость была.

Сейчас, читая газеты, журналы, часто обращаю внимание на растущее с каждым годом число самоубийств. Люди отчаялись выбиться из беспросветной нужды, они не видят смысла в жизни, не имеют опоры и поддержки в обществе. Обществу нет до них никакого дела, а им до общества, как в песне из кинофильма «Последний дюйм»: «Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня?..»

А в далёком захолустном городишке Калмыкове усталые, полуголодные, незнакомые люди согревали меня у своего очага, кормили, отрывая кусок от

своего скудного пайка, старались вернуть к нормальной жизни мою мать, мою отчаявшуюся, безвольную мать, потерявшую над собой всякий контроль. Она даже побега старших сыновей не обнаружила. А когда много позже прочла Иванову записку, то даже не заплакала над ней. Наверное, она была уверена, что наша страна, наше общество не даст сыновьям пропасть.

После освобождения Сталинграда мы вернулись домой. Квартира наша уцелела, но вместо трёх довоенных комнат, нам отвели одну, а в двух других поселили семью многодетного бригадира строителей – дяди Коли со всеми его родственниками. Дядя Коля помог моей матери устроиться работать на стройку, а потом через него она познакомилась с Кузьмичём.

Постепенно её душа стала оттаивать, и в семье наступило относительное благополучие. Её рабочего пайка нам на двоих хватало. К тому же частенько стал наведываться Кузьмич. Он, как мастер – золотые руки, судя по рассказам дяди Коли, зарабатывал прилично. И у нас стали появляться банки с рыбными и мясными консервами, сало, лук. Мне мало что из этого набора перепадало, но всё-таки было легче.

Я пошёл в школу. Впервые увидел птиц, облака, деревья. Впервые узнал, что можно дружить, ссориться, мириться с одногодками. Впервые понял, что могут быть другие интересы, кроме одной, преследовавшей меня раньше, заботы – найти пропитание.

Моя тридцатилетняя мать пыталась найти себе новую опору в жизни. Она, как повилика, не могла жить самостоятельно. Встретив Кузьмича на своём жизненном пути, она уже не отлипала от него, днём и ночью увивалась за ним повсюду, абсолютно забыв о моём существовании. Мне, как и в Калмыкове, нередко случалось провести весь день без макового зёрнышка во рту и засыпать на подушке, мокрой от слёз.

Кузьмич обращался со мной вполне пристойно, но я ненавидел его уже только за то, что он уводил мать с собой в неизвестные мне места, неизвестно, на какое время и зачем? Мне казалось, что все беды от него. И поэтому однажды, в порыве детской безудержной ревности и обиды, я заявил матери: «Или – я, или – Кузьмич!».

Чуйков налил в стакан воды из графина, стоявшего на тумбочке, размешал в стакане ложку мёда и выпил.

– Хочешь воды с мёдом?

Я отрицательно мотнул головой.

Вячеслав взбил подушку и, опершись на неё спиной, полусидя, прилёг на постели, скрестив большие смуглые руки на груди.

– Мать жестоко избила меня, обругала последними словами и без пальто и шапки вытолкнула на лестничную площадку.

Отчаянью моему не было предела. Я осознал всем детским чутьём и всей, горящей от побоев кожей, что со мной никто не собирается считаться, что я никому не нужен.

Все дети, особенно в раннем детстве, эгоисты. Для них самая большая трагедия – невнимание со стороны родителей.

Вначале я закатил дикую истерику – колотил ногами в захлопнувшуюся за моей спиной дверь, истошно кричал до хрипоты, слёзы обжигали мое лицо. Я взывал к сердцу матери. В тот момент она была для меня ещё матерью, женщиной, родившей и воспитавшей меня. Я даже чувствовал себя виноватым перед ней за столь категоричное заявление. Плакал и просил: «Мамочка, прости меня, я больше никогда не буду так говорить. Мамочка, прости меня ... мамочка, пусти меня домой, мне холодно».

Но никто не отвечал из-за двери, ни тогда, когда я кричал, ни тогда, когда, молча, сидел на сквозняке, обхватив руками свои озябшие худые коленки.

«Мама не любит меня», – редкий ребёнок способен произнести такие слова – они, как кощунство над великой силой материнской любви. Но я сказал себе такие слова, сказал их не вслух, подумал так, и стал медленно спускаться вниз по лестнице.

В подвале согнал кошку со старой изодранной фуфайки и, натянув на себя лохмотья, достойные огородного пугала, побрёл в сторону железной дороги.

Ещё возле дверей нашей квартиры у меня созрело решение ехать в Смоленск, к брату отца – дяде Семёну. У меня не было ни денег, ни... адреса дяди, ни понятия, каким образом, и в какую сторону надо ехать, чтобы попасть в Смоленск.

Я шёл по бесконечному коридору из грузовых вагонов. Пролазил под составами и вновь попадал в такой же точно коридор.

Когда пролазил под очередным вагоном, поезд тронулся. Боясь попасть под колеса, я схватился за какую-то трубу и, в страхе ничего не соображая, поволочился за вагоном. К счастью рядом находился какой-то длинный замасленный ящик. С трудом мне удалось забраться в него. Ящик насквозь продувало колючим мартовским ветром, но я ехал, я лежал, натянув на голову ветхое решето фуфайки, и у меня под ухом колеса громко отстукивали неизвестную, пугающую и зовущую, дорожную мелодию.

Окоченевшего, едва живого, меня обнаружили обходчики на станции Сальск. Три месяца лечили в городской больнице от воспаления лёгких и дистрофии, а потом отвезли в местный детдом.

Потом было техническое училище, работа на заводе, армия, авиационное училище, летал больше десяти лет и вот уж который год обеспечиваю полеты...

«А как же братья, мать, ты так и не видел их больше?» – хотелось спросить, но я почему-то не решился, надеясь, что Вячеслав сам продолжит рассказ.

Мой сосед надел пижаму, обул свои форменные туфли и подошёл к окну, за которым бледной каёмкой занимался рассвет.

– Светает уже, а мы с тобой глаз не сомкнули. Надо же, до чего я человека заговорил ... Опять март за окном, как тогда, в пору моего изгнания.

Он открыл форточку:

– Весной пахнет. Весной стараюсь в зеркало не смотреть, в детские игры с ребятнёй играю, и мне кажется, что в эти месяцы я молодею.

Я вспомнил задорный блеск его по-детски чистых глаз и представил, как Вячеслав гоняет с мальчишками футбольный мяч, сражается за шахматной доской. Он заново переживает своё детство, он взрослый ребёнок. А многим ли из нас дан этот великий дар – до солидных лет оставаться молодым?!

– Мать я видел ещё раз, – будто спохватившись, произнёс Вячеслав. – После войны в наш детдом один искатель приключений попал. Потёрся некоторое время, да и признался, что у него в Сталинграде родители живут в полном здравии и достатке. Когда воспитательница собралась везти его домой, я тоже сообщил, что и у меня мать в Сталинграде. Страстно захотелось навестить её. Воспитательница не очень поверила, но всё же взяла меня с собой.

С большим трудом отыскал знакомую улицу и дом. Зашли в квартиру. Мать на кухне пирожки стряпала, Кузьмич часы чинил.

– Здравствуйте, – говорим в один голос с воспитательницей.

Кузьмич от удивления даже привстал с табуретки, а мать, как стояла у примуса, так и осталась стоять, только голову в нашу сторону повернула:

– Здравствуйте.

Воспитательница покраснела от неловкости и затянувшейся паузы:

– Вот сына вашего из детдома привезла. Вначале говорил, что нет у него никого из родных, а потом сознался, что мать в Сталинграде живёт ...

– Нет у меня никакого сына, и не было никогда.

Меня от этих слов зашатало и, чтобы не упасть, я схватился за дверной косяк:

– Мама, это же я – Славка!

Кузьмич тихо выматерился и говорит:

– Ты что же такое удумала, Полина? Ты почему от дитя родного отказываешься, или очи у тебя застило?..

Тут она перетрухнула.

– Не признала, – говорит, – вытянулся он, в лице изменился, теперь по глазам вижу – точно Славка. Объявился-таки?

Посидели мы за семейным столом, чайку попили, поговорили кое о чём, да и стали с Анной Александровной в обратную дорогу собираться. Воспитательница поняла, что лишний я в этой семье, потому и не настаивала, чтобы оставался, когда мать ровным голосом обронила:

– Обратно что ли поедешь? А то оставался бы.

– Друзья у меня там, я без них не могу.., да и привык уже в детдоме.

С тех пор я больше мать не видел. Обмениваемся изредка поздравительными открытками к праздникам. Несколько раз она в гости приехать приглашала. Да всё как-то недосуг.

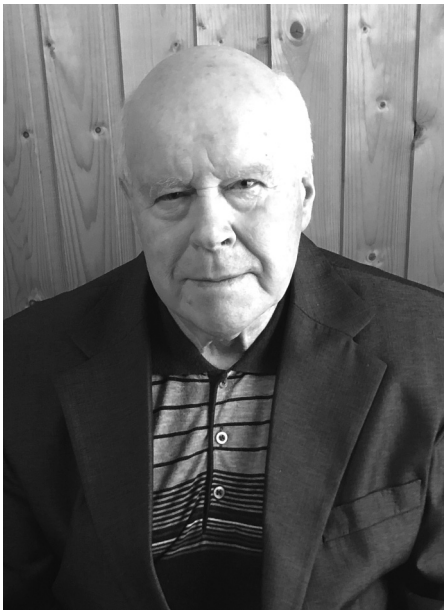
Братьев я лет через десять разыскал. Иван тогда на буксирный катер прибился. Капитан его усыновил. Теперь Иван живет в Астрахани, ходит капитаном пассажирского теплохода по Волге.

Михаил в Саратовском университете преподает.

Все, как говорится, в люди вышли, своё гнездо свили. Живём хорошо, встречаемся друг с другом, переписываемся, в общем, всё, как и должно быть у родных братьев.

Несколько лет назад умер Кузьмич. На похороны меня никто не приглашал, собственно я узнал об этом событии из единственного за все годы письма матери. Смысл его был примерно таков: «Дорогой сыночек Славочка! После смерти Ивана Кузьмича я осталась почти без средств к существованию. Моя мизерная пенсия не позволяет мне жить по-человечески. И это на старости лет и имея троих сыновей. Я надеюсь, что ты сжалишься над старой и больной матерью и, если не заберёшь меня к себе, то хоть часть своей зарплаты будешь высылать ежемесячно. Думаю, что тебя это особо не затруднит, как и братьев твоих Ивана и Михаила. Не затевать же мне суд против вас, чтобы отсудить полагающиеся по закону алименты». Вот и вся история, брат.

Уже совсем рассвело. Чуйков сидел на кровати, откинувшись на подушку, прикрыв одеялом спущенные на коврик ноги. Лицо его побледнело в утреннем молочном свете и казалось, что на нём застыла печать нестареющей боли.



Владимир ЛЯХОВЕЦКИЙ *(Россия)*

«ТОЛЬКО НЕТ ПОКОЯ ДУМАМ СОКРОВЕННЫМ...»

Стихи разных лет

МОРЕ

В сиянье солнечном сверкая,
Играя лёгкою волной,
То пробудясь, то засыпая,
Простор искрится голубой.

То гневно зашумит, вздымая
Валы под пеною седой,
То смолкнет, словно отдыхая,
Покрывшись томно дремотой.

Там ветер, волны обгоняя,
Летит на берег золотой,
Своим дыханьем навевая
И упоенье, и покой.

Там скалы в брызги одевая,
Шумит таинственно прибой.
И море дремлет, чуть вздыхая,
Пленяя гордой красотой.

ЛЯХОВЕЦКИЙ Владимир родился в 1938 году в Одессе. С 1962 года проживал в Казахстане, работая на руководящих инженерных должностях, преподавал до 2011 года в вузе. Стихи писал с 16 лет. Издано несколько поэтических сборников. Проживает в Казахстане и Подмосковье.

ШТОРМ

Шумит разгневанное море,
О скалы злобно волны бьёт.
Как демон, ветер на просторе
Свистит, кружится и поёт.

Несётся вдаль, с тоской рыдает,
То вдруг, страстей горячих полн,
Как друга, нежно обнимает
Холодные громады волн.

В своих объятиях сжимает,
Как человека страшный рок,
И с громким хохотом бросает
На мокрый берега песок.

И снова с диким рёвом мчится.
И, разбивая волны вновь,
Злорадно смотрит, как струится
По камням пена, будто кровь...

Так часто жизнь людей кидает
В поток неведомой судьбы.
И горем счастье разбивает,
Не слыша стонов и мольбы.

МЕЧТА

В небесах одна звезда
Ярче всех горит всегда
Полночной порою.
Пляшет звёздный хоровод
С бледною луною,
И сияет небосвод
Дивною красою.
Если туча набежит
Тёмной пеленою
И мерцанье звёзд затмит
Чёрной бахромою,
Всё равно горит она,
Радостно сверкая...
И уж ночь не так темна,
Не зловеща, не мрачна,
А совсем иная...

ПИСЬМО

Итак, всё кончено. Порыв любви случайной,
Так ярко вспыхнув, медленно угас.
И вы ушли, окутав странной тайной,
Всё то, что разлучило нас.

Вы чувство искреннее молча отклонили.
Тайком смеялись, может быть, над ним.
Вы никогда всем сердцем не любили,
Хотя и были связаны с другим.

Понять ли вам, как часто краткой встречи
В смятенье страшном робко я искал.
И от чего лишался дара речи,
Когда нежданно вас одну встречал.

Суров душой, я с вами был наивным,
И слишком иногда доверчив был.
В мечтах своих я вами был любимым.
Что делать... я ведь вас любил.

Ну что ж, прощайте. Я без боли
Навеки с вами расстаюсь.
Хотя порою поневоле
Назад я с грустью оглянусь.

В честь памяти минувших дней
Последний раз стихи дарю я.
В них всё: и песнь любви моей,
И жар не отданного мною поцелуя.

В КУСТАНАЙСКОЙ СТЕПИ

Чистый воздух, опьяняя, наполняет грудь.
Тень под тополем кудрявым манит отдохнуть.
Ветерок легко колышет кое-где ковыль,
Грузовик вдали промчится, поднимая пыль.

К горизонту примыкая, растянулся лес.
А над всем огромный купол голубых небес.
Тишина. Не слышно звуков птичьих голосов,
Не спеша плывут отары белых облаков.

И залит неярким светом сказочный простор.
Не видны уже за лесом зеркала озёр,
Только шепчется пшеница с ветром иногда...
В каждом зёрнышке крупица моего труда.

Дорогим мне стал и близким этот край степной.
И отныне, где б я ни был, он всегда со мной.

* * *

Золотые берёзы
Шелестят на ветру.
Дождь осенний, как слёзы,
Увлажняет кору.

Барабанит по листьям,
Щедро мочит траву...
Осень дивною кистью
Пишет сон наяву.

Всё в гармонии красок,
Пряном духе земли.
В карнавале без масок
Дождевые струи.

Серой дымкой объяты
Степь без края и лес.
Запах мёда и мяты
В этом чуде чудес.

А в душе восхищённой
Ветра нет и дождя.
Я в блаженном покое
Ощущаю себя...

Величава природа.
И грозна, и добра.
В ней любая погода
Временная игра.

В ней мгновенья и вечность,
В ней и счастье, и меч.
Дай нам, Бог, эту прелесть
Не сгубить, а сберечь.

ЗАГАДКА

Вы уже зрелая женщина,
Много я младше Вас.
Сеткой морщинок изрезана
Кожа у краешков глаз.

С проседью пышные волосы,
Грустный, задумчивый взгляд.
Мягкая дикция в голосе,
Звуки, как струны, звучат.

Вы и доныне красавица.
Статна, походка легка.
Женского счастья избранница,
Что загрустили слегка?

Бродят воспоминания,
Разум тоской бередя?
Или сослали в изгнание
Мысленно сами себя?

Или еще недопетая,
Песня замолкла в груди?
Воспоминаньем согретая,
В тайнах своих не броди.

Жаль безвозвратно минувшее?
Иль настоящее жаль?
Сердце притихло уснувшее,
Иль одолела печаль?

Дымкою грусти подёрнуты,
Тонкие грани лица...
Вами любуюсь инкогнито,
Страсти не видно конца.

Что это? Только влечение
К чуть потускневшей красе?
Может быть, это прозрение,
Данное кем-то извне?

Может быть, внутренне схожие
Мы тайниками души?
В том для меня нет хорошего:
Сказочно Вы хороши.

Чем-то нежданно мистическим
Вами я покорён.
Видимо, просто классически
По уши снова влюблен.

ЗАКАТ В СТЕПИ

Огненное зарево заката
Освещает бледный небосвод.
Облаков пурпурная регата
Проплывает, замедляя ход.

А вдали плывёт иссиня-чёрный
Туч могучих величавый строй.
Тишина. Спокойно и покорно
Степь хранит молчанье и покой.

Потускнел закат. Садится солнце.
Побледнели чудо-небеса.
Свет померк. Как в тёмное оконце,
Чуть видны природы чудеса.

Диво дивное явила нам природа.
Очарована душа, опьянена.
Как в гипнозе схлынули невзгоды,
Только тишь небесная слышна.

ПОКОЙ

Словно на картине, небо голубое.
Чуть подвижны сгустки белых облаков,
Редкая минута полного покоя,
Дивная частица оживлённых снов.

Как во сне, застыли сельские строенья,
В воздухе прозрачном видно за версту.
Сказочною кистью, полной вдохновенья,
Матушка-природа пишет по холсту.

Только нет покоя думам сокровенным,
Только не утихла озорная блажь.
Не прикрыть заботы полотном волшебным,
Не упрятать страсти в колдовской мираж.

ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!

Дорогие авторы и читатели!
Наше издание объявляет подписку на журнальное приложение к газете «День литературы» с редакционной рассылкой по России.
Для жителей Москвы и Подмосковья возможна подписка по минимальной цене с получением журнала напрямую в редакции.
В том и другом случае нужна ваша Заявка.
Форма Заявки:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Адрес проживания (с индексом);
3. Ваш телефон или электронный адрес;
4. Указание вида подписки: получение через редакцию напрямую или рассылка по почте.
Стоимость журнала в редакции – 100 рублей).
Объём журнала – до 400 страниц, выпуск – ежеквартальный.
Наш электронный адрес: denlitera@yandex.ru
Телефон для справок: 8 916 015 80 69 (пн.- чт., с 12 до 17 ч.).

РЕДАКЦИЯ ДЛ

Марина МАСЛОВА *(Россия)*

«ПРОЩАЙ! ВСТРЕТИМСЯ В РАЮ!»

О рассказе Николая Гребнева «Христово Воскресение на Глинище»

Особенность, одна из особенностей русской прозы в том,
что она больше текста и даже авторских намерений – больше.
Поэтому нам есть о чём здесь поговорить.
Алексей Смоленцев

После прочтения трёхтомника Николая Гребнева показалось, что рассказ этот выдаётся и стоит особняком в общем корпусе прозы и публицистики курского писателя.

Начало его ничем не обещает того глубокого трагического содержания, в которое погрузится читатель уже после пробуждения повествователя от болезненного сна, мутного и тяжёлого забытья. Вот когда повествование обращается к современности, когда сознание рассказчика выплывает из туманной дали неких незапамятных времён с их княжескими усобицами и всенародным выборным вече, тогда и начинает формироваться, ощутимо нарастать это напряжение смысла, уже не зыбкого, ускользающего, как в полусонном бреду больного, а самого очевидного, насущного.

Разумеется, и начальные эпизоды несут свою смысловую нагрузку в тек-

---

МАСЛОВА Марина Ивановна – кандидат филологических наук, литературовед. Родилась в 1 селе Покровское Курской области, окончила Курский педагогический институт (факультет русского языка и литературы). Преподаёт церковнославянский язык на иконописном и регентском отделениях Курской православной духовной семинарии.

Автор многих книг. Лауреат премии "Российского писателя" за 2015 год в номинации "Критика". Лауреат премии "Дорога к дому" за 2016 год.

Член Союза писателей России.

сте. Но там всё на грани гротеска, с усмешкой в стиле Салтыкова-Щедрина. Может, и отдалённым созвучием, а всё-таки вспоминается тут сказ про то, как один мужик двух генералов прокормил. И едко-ироничная интонация автора тут весьма гармонично воссоздаёт атмосферу «двоящейся» реальности, когда за образами прошлого угадываются тенденции времени настоящего. Взять, к примеру, такой авторский пассаж:

Неправильно сказать, что Василий (князь. – *М.М.*) *был исключением, из ряда вон. В ряду этом он олицетворял переходный вариант от программно-уставной скромности до демократической беззастенчивости, если ещё точнее, то под диктат сверху разрушался демократический централизм и культивировалась централизованная демократия.*

За этой словесной игрой скрывается, надо полагать, горькая ирония по поводу современного автору общественного устройства. Вспоминается тут заглавие одной из недавних публицистических статей Николая Дорошенко: «О неконтролируемости контроля над контролем контролируемости»...

Или вот картинка по поводу характера одного из известных автору политиков:

Что уж всё про князей говорить... Взять дворецкого. Прежде он себя во всём ограничивал, теперь скоромничает. Стал на людях сало есть. Всякому, кто из приятелей просит отрезать кусочек, не отказывает, говорит так:

– Иди, возьми, на!

– Так возле тебя свора собак!

– Ото ж, – отвечает дворецкий, пряча сало в холодильник.

Трудно его проверить, а уж тем более князя – щедр он или скуп. Доступа нету.

И пока читаешь эти пять «эпических» страниц в самом начале рассказа, акцентной лексикой воспринимаешь те слова, которые, вроде, и не к людям даже относятся: *галдёж, перезвон, гвалт, лай, перебрёх.* Таковы, видать, знаки времени... По старинной журналистской своей привычке автор не воздержался, видимо, от моральной оценки некоторых средств массовой информации...

Лай, перебрёх с нарастающей силой поднимается в княжестве ещё до перезвона колоколов, когда народ должен собираться на вече. Как перед охотой, каждая свора чует наживу.

На этот образ собачьей своры уже доводилось обращать внимание читателя, когда речь шла о рассказе «Псы и голуби» (из того же трёхтомника). Там угадывалось наложение смыслов, и свора дворовых псов мыслилась нами в качестве позитивного художественного маркера: собаки были добрее, нежели свора дворовой шпаны, кидающейся на людей с дрекольем. (http://www.voskres.ru/literature/critics/maslova5.htm)

И в рассказе «Христово Воскресение на Глинище» образ собачьей стаи, вначале неотделимый от образа своры княжеских подданных, затем обретает отчётливые черты обыкновенных бродячих дворняг, лающих на всякого прохожего без всякого повода, только от скуки. Именно этим дворнягам автор доверяет «переключение» повествования из режима сна в режим бодрствования, то есть из бессознательности болезненного забытья героя в состояние отчётливого осознания им окружающей действительности. Напомним, что в данном случае у нас главный герой и автор-повествователь в одном лице.

Лай то яростный, то упреждающий, отдалялся и снова возникал где-то со-

всем рядом во дворе, под окнами... Вперемежку с этим собачьим перебрёхом переливчатыми ритмами звучали слова...

И вот тут, наконец, мы входим в иную стихию художественного повествования из мутных волн накатывающего на слух собачьего лая в прозрачные «переливчатые» струи ритмического поэтического слова. И сколь радостен для читателя этот выход к живой реальности:

Ритмика слов сопровождалась возникшим чувством неосознанной тревоги. Сквозь прищур глаз, мерцающие ресницы виделось сплошь белое марево, но вот обрисовался заляпанный плафон, неровный штукатурный шов меж потолочных плит...

...И думал он:
Идёт грызня, грызутся новые князья,
Как будто белый свет стал тесен –
И многим стало не до песен...

Герой-повествователь приходит в сознание, и читатель «узнаёт» вместе с ним давно знакомые строки поэта Юрия Асмолова. Впервые напечатанные в пригородной газете, стихи эти потом встречались нам в сборнике «Озимая пшеница», а затем и на сайте «Российский писатель», где совсем недавно можно было их прочесть в авторском цикле «А на Земле была весна» (https://rospisatel.ru/asmolov-vesna1.htm)...

Он спал, как мёртвый,
Он устал!
Небес незримые уста
Всю ночь шептали и шептали
И лишь под утро перестали...

Пришло время дать некоторые разъяснения по рассказу.

Написан в 2004 году. Изображенные здесь события следует отнести к 2003 году. Произведение автобиографично.

Автор-повествователь волею житейских обстоятельств оказывается на каталке в бессознательном состоянии в городской больнице скорой медицинской помощи, кратко БСМП, которую все куряне, да и жители области, знают как «больницу на Глинище» (хотя официальный адрес у неё – улица Пирогова).

Выпало так, что заболел герой-рассказчик на Пасху. Попал он в больницу накануне праздника, а пришёл в сознание в самый день Воскресения Христова. И всё, что он увидел и услышал вокруг себя в этот воскресный день, и составило содержание рассказа.

Однако по масштабу художественных откровений произведение это выходит далеко за рамки простого житейского наблюдения. Сегодня, когда Юрия Асмолова уже нет рядом с нами, масштаб этот видится ещё более укрупнённым. Именно стихи поэта помогли автору-повествователю, пребывающему без сознания много часов, прийти в себя. На биографическом уровне, именно тогда, в две тысячи третьем, поэт и прозаик нечаянно оказались в одно время в одном месте при печальных обстоятельствах: у поэта умирала в больнице мать, прозаик сам не чаял выкарабкаться...

Вышло так, что они, встретившись в больничном коридоре, не узнали друг друга. И только стихи, прочитанные больному племянником Алексеем, оказавшимся врачом в той же больнице, заставили его вспомнить о нечаянной встрече.

Алексей читал стихи, а я вглядывался в желтолистный краешек газеты, в колонтитул: «Сельская новь. 15 апреля 2003 г.».

– Алёша, это пригородная газета. У тебя она как?

– В отделении по палатам гуляет. Я-то знаю: стихи любишь... вот эти чьи? Тут написано: «Юрий Асмолов. Член Союза писателей России». Ваш?

– Наш, это мой товарищ...

– Сказать ему про тебя? Он здесь, кстати...

– Как это здесь?

– Ну, мать его парализовало. Неделю как тут. Не отходит от неё...

...Вот оно что, а думал, пригрезилось: лежу на каталке в коридоре, мимо идёт медленно, будто проплывает, Юра Асмолов, глядел на меня в упор, но не видел...

Далее автор пояснит, почему не узнал его поэт, даже глядя в упор, вспомнит о его «неземной сыновней привязанности»: *Измождённый донельзя, как мог, он боролся за каждый вздох матери...*

А сейчас, оставшись один в палате, он пока не замечает, что вовсе и не один... Он ещё всецело сосредоточен на мыслях о поэте.

Алексей ушёл. В палате тихо. Я снова взял газетный лист, пробежал глазами, искал и всё ещё не находил слова те самые, которые, казалось, уже слышал и знал, но всё натыкался на колючие строки. И вот наконец:

А на земле была весна!
Царила праведно она.
И снова чудилось ему,
Что утро – сотворенье мира!
Что Солнце – Бог! И потому
На свет, на Свет, а не на тьму
Уже настраивалась лира.

Из приоткрытого окна тянуло свежестью... Влажный воздух источал благоуханную прелесть первой зелени. Впервые за утро осознанно почувствовал тревогу за это своё лежачее несоответствие окружающему миру, появилось острое желание встать навстречу солнечному свету...

И вот на фоне этих светоносных мотивов, когда читатель пытается представить, «что утро – сотворенье мира», потому что в самом начале этого светлого дня Бог Солнце воскрес и потому, что лира поэта уже настроилась... в это самое время выясняется, что тишина в палате обманчива...

И даже не потому, что со звуками «стук-грюк-шарк» в палату на костылях проковылял другой больной, Николай Михайлович, бывший председатель колхоза...

И не потому, что следом вошёл «богатырь, высокий, с прямой осанкой, будто воевода на коне из тех, кто на голову выше войска». Это третий больной, Бураминский, сын поляка и русской, выросший в степях Казахстана...

А потому, что в палате оказался ещё один живой человек, доселе не подававший признаков жизни, *лежавший молчаливой горкой под одеялом на низкой кровати...*

Вот именно ему, этому неприметному герою, и суждено было стать в итоге центральной значимой фигурой гребневского рассказа. Хотел того автор или нет, а мы неизбежно отдаём всю свою симпатию именно этому герою, с коим сопряжена идея воскресения души.

Пока автор прислушивался к беседе на дальних койках, которая, впрочем, звучала громко, на всю палату, он не замечал присутствия рядом с собой ещё одного человека. Потом в палате вдруг стало тихо...

В этой минутной передышке в их беседе с соседней, по левую руку от меня, койки изошёл звук натужный и хриплый. Я скосил глаза и увидел освободившуюся из-под ветхого больничного белья взлохмаченную голову старика. Впалые щёки, подбородок рыжели щетиной. Глаза широко открытые, немигающие, устремлены в потолок и, казалось, полны безумства. Звуки повторялись, но только то и было понятно, что старик силится что-то сказать.

И вот то, что хотел сказать этот старик, и является ядром смысла происходящего для всех находящихся в этот день в палате. Он не был безумен. Только жить ему оставалось несколько минут. И он это, видимо, чувствовал.

Дальнейшие события вряд ли можно уложить во временной отрезок больший, нежели один час. Притихшие насельники больничной палаты пытались расслышать, что говорит старик, но ничего не понимали. Бывший председатель, будто по привычке окликать подчинённых, рискнул позвать умирающего:

— Он в сознании и нас слышит. Виталий Андреевич! Васильев! Слышишь нас, а? Отзовись!

С соседней койки после короткой паузы снова изошёл горловой звук, хриплый и сдавленный:

— Х-хх...ши-и...шу...

— Вот видишь, он нас слышит. Всё время хочет что-то сказать, но не понятно, что. Совсем плох. Лекарство медсестричка вливает в рот, уколы делает, а толку... Ест мало, да и какая тут еда. Была бы баба — выходила б.

Естественным образом разговор заходит о семье Виталия Андреевича, и выясняется, что он совершенно один. При этом история его предельно трагична...

Он когда в первый день пришёл, о себе рассказывал. Родом из Дмитриева. Ты если слышал, есть в наших местах городок небольшой. В войну немцы всю семью под корень — расстреляли за связь с партизанами. Он чудом остался жив. С нашими пошёл на запад. После войны служил в армии. Женился, детей нарожал, внуков дождался. Полковником в отставку ушёл, и надо же было ему поселиться в Грозном. Случилось это ещё в первую чеченскую баталию. Собрались как-то все дома, а он зачем-то в магазин выскочил. Только отошёл, а тут обстрел, прямое попадание. Погибли все сразу... Приехал сюда на родину, да кому он нужен тут, даже с полковничьей пенсией... А ты говоришь инвалиды в моде...

Абсолютная беспомощность старика подчёркнута в рассказе ситуацией, в которой естественная неизбежность сопряжена с чувством стыда героя, уже ничего не могущего изменить в текущем порядке вещей...

Повариха вносит в палату обед, а ходячие больные, открыв окно для проветривания палаты, спешат удалиться...

— Суп гороховый, каша на выбор: рисовая и перловая...

— Вы к нам не ко времени, барышня, — пояснял не поспевший за Бураминским Окороков. — У нас на вашу кашу результат отрицательного свойства.

...Дверь так и не затворилась. Свежим ветром, бойким говором с шутками-прибаутками ворвались в палату две крепкотелые санитарки — Вера и Галя. С Васильевым они справились, будто с мальчишкой. Ловко и быстро пеленали в сухое, приговаривая:

— Что-то ты, дед, захандрил совсем, а сперва хорохорился, женишился...

Васильев почему-то задирал бороду вверх так, что из распахнутых немигающих глаз слёзы катились по вискам. Он всё ещё силился что-то сказать.

— Ладно, ну что мычишь, а? Уж как разговорился, дед. Ты лучше скажи: кашу будешь?

– Бу-бу...

– Ну жди, сейчас принесём, нагоняй аппетит...

Санитарки удаляются, в палате остаются двое – старик Васильев и повествователь Гребнев. И вот без этой сцены, кажется, рассказ бы не состоялся, не было бы у него главного движущего мотива. Ибо если «Христово Воскресение на Глинище», то, значит, и должно быть в сюжете какое-то максимальное приближение ко Христу. Иначе была бы просто «Пасха». Праздник, который знают все... Но только по названию и атрибутам – куличам и крашеным яйцам...

Стоит признаться, что, впервые читая рассказ, втайне опасаешься этого сужения пасхальной проблематики до обрядовых привычных предметов. Хотя бы потому опасаешься, что это благодатная почва для построения всяких умильно-орнаментальных словесных конструкций, коими нередко и щедро изобилует литература пасхальной тематики.

Сцена «каша не вовремя», судя по всему, как раз и призвана подготовить читателя к трезвому, совсем не умильному восприятию тех глубинных христианских реалий, которые народной поговоркой «умер на Пасху – попал в рай» не исчерпываются, а требуют более серьёзного к себе отношения.

В то же время – текст абсолютно свободен от какой бы то ни было религиозной проблематики, кроме того обстоятельства, что события происходят на Пасху. Писателю не нужно было ни о чём рассуждать, никаких религиозных категорий не нужно было затрагивать. Он только слушал, наблюдал и запоминал. Иногда вспоминал что-то своё, из детства. Но без лирических преувеличений, потому что родители были «образованные», неверующие по своим убеждениям, и только бабушка писателя была «идеологической ослушницей». Она-то и явилась неожиданно звеном связующим для деда Васильева, что-то неразборчиво хрипящего из-под груды больничного тряпья, и автора-рассказчика, вдруг заговорившего с читателем о молитве.

Васильевбыло затих на минуту, но потом снова и снова ритмично повторял одни и те же звуки:

– ...осоди ...сусе ...исте ...сы ...жий...

Я затаился, прислушался. Старик снова и снова повторял:

– ...осоди ...милуй ...еш-ого...

Повторы, созвучные один другому, свидетельствовали об их осознанности:

– ...осоди ...сусе...

Мне вдруг отчётливо вспомнилась самая простая молитва, которой «научала» втайне от отца и матери, людей образованных, неверующих по своим убеждениям, «идеологическая ослушница» моя бабушка.

Теперь уже я думал, как так сразу не мог разобрать эти простые и в общем-то понятные слова: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного...».

Может, лишь для того, чтобы не «превысить полномочия» невоцерковлённого художника, автор тут сослался на прочитанный им православный календарь. Недостаточно убедительное «предназначение этой новозаветной молитвы», якобы вычитанное в церковном календаре, свидетельствует, судя по всему, о новизне этой темы для самого писателя. Называть Иисусову молитву «самой последней просьбой лишенного Божьей благодати» не совсем привычно для христианина уже потому, что это не «последняя», а скорее самая первая его просьба, самая насущная его молитва – при любой степени духовного «облагодатствования»: и когда он чувствует себя лишённым Божьей благодати, и когда эта благодать переполняет его. Даже высочайшего

уровня духовные подвижники, как в начале подвига, так и перед самой своей блаженной кончиной, даже заранее зная о ней, укрепляли себя этой молитвой. «Самая последняя просьба» тут лишь в том смысле, что выше и вместе с тем смиреннее этой просьбы для христианина нет. Не зря же она ежедневно звучит в храме в «усечённом», как бы концентрированном виде, не единожды по сорок раз – «Господи, помилуй!».

...Васильев услышал ответный голос *со*-молитвенника и даже сбился от радости, что в эту минуту пред Богом он не один...

Я вослед Васильеву слово в слово вслух повторил молитву, и вдруг старик как бы сбился с ритма и произносил уже другие звуки.

– ...щай ...имся ...аю...

Он всё повторял, очевидно, страдая от непонимания и всё же надеясь, что я разберу эти слова, как расслышал и молитву.

– ...щай ...имся ...аю...

Старик протянул руку и ловил ею воздух, словно искал и не мог найти опору, и вдруг затих в этом поиске, наткнувшись на мою ладонь. Я почувствовал слабое пожатие, и снова эти непонятные слова... Язык плохо слушался своего хозяина... Я силился, но всё ещё не мог разобрать слов. Только в одном почти уже не сомневался: ...щай – «прощай!», и я повторил это слово:

– Прощай!

Старик судорожно вернул руку, положил на грудь, ближе к сердцу и больше не проронил ни звука.

Для старика Васильева, несомненно, это был сакральный момент. Он уходил в иной мир не в гнетущем одиночестве, а держа за руку собрата во Христе.

Но это сакрального смысла эпизод и для автора, и для нас, его читателей.

«Дай руку мне...» – так называется повесть другого современного прозаика Сергея Щербакова. Он пишет о женщине, участнице Иринарховского крестного хода, что ежегодно совершается в окрестностях Борисоглебска, которая перед кончиной произносила слова: «Дай руку мне, руку мне дай...», и при этом размышляет: «...конечно, в решающую минуту рядом с Татьяной кто-то находился. Сам Господь или Богородица, или Ангел-хранитель, но, скорее всего, преподобный Иринарх, затворник Борисоглебский, ведь не случайно она крестный ход вспомнила; Татьяна – крестоходка Иринарховская... Вспомнилось, как умирал один мой неверующий знакомый, скорее всего даже некрещёный. Перед концом он отмахивался от кого-то рукой и в ужасе кричал: «Уйдите, уйдите...». Да, рядом с ним в решающую минуту явно не ангелы пели, а кто-то страшный его окружал...».

На эту тему у православных писателей написано достаточно много. Отец Серафим Роуз в книге «Душа после смерти» рассказывает о многочисленных случаях встречи умирающего с различными представителями духовного мира, причём не в качестве предположений и фантазий, а в виде научно обоснованных фактов. Архиепископ Иоанн Шаховской в книге «Апокалипсис мелкого греха» повествует о том же, но с более отчётливым морально-назидательным акцентом.

Из всех этих духовных наблюдений и научных выводов следует, что для человека очень важно то, кто будет рядом с ним в минуту отхода его души.

Вот Сергей Антонович Щербаков возжелал, чтобы и ему «с Маришей (его супруга. – *М.М.*) в своё время преподобный Иринарх подал десницу...». Это потому, что они – «крестоходцы Иринарховские», верят, что преподобный

Иринарх их слышит. Точно так и старик Васильев, повторяя молитву Иисусову, верил, что Христос его слышит. Потому и сказал: «Встретимся в раю!».

У христианского упования две грани: абсолютное смирение, даже уничижение и столь же безграничная вера, что Бог не посрамит. Особенно ярко это обнаруживается в другой молитве, которую духовные наставники нередко рекомендуют своим утвердившимся в вере чадам: «Господи, достойны смерти по грехам нашим, но милостив буди нам, грешным!».

Так что возглас умирающего «Прощай! Встретимся в раю!» означает не гордую самоуверенность, а как раз вот эту *симфонию* смирения и упования, страха Божиего и веры. Ведь «Прощай!» это не «До свидания!». Это именно последняя просьба о прощении. Васильев говорит с ближним перед кончиной и так просит у него прощения – в последний раз на земле. Когда о том же просят Бога, произносят «Помилуй!». А вхождение в рай это не «помилование». Это уже *спасение*. И христианская вера это именно вера во *спасение в Боге*, а не просто вера в то, что Бог есть. «И бесы веруют и трепещут». Но в рай входит верующий человек.

В рассказе Николая Гребнева, озаглавленном «Христово Воскресение на Глинище», именно эта мысль оказывается для нас главной. Кончина Васильева не вызвала удручённости у присутствующих. Уход в пасхальный день кажется им событием торжественным и даже светлым.

Дежурный консилиум смерть Васильева установил как факт, и всё те же Вера и Галя управились с покойником легко и проворно: уложили на каталку, укрыли поверх жёлтым саваном – больничной простынёю, приговаривая:

– Ну, вот и всё, дед, отгулял своё, отбегал, отговорил. В раю тебе место, пусть душа радуется.

Окороков, опираясь на костыли, поднялся и перекрестился:

– Царство тебе небесное! Прости ему, Господи, все его прегрешения. Кто на Пасху помер – ему рай обеспечен, от грехов независимо. Будем и мы на рай надеяться, если повезёт...

– Прощай, встретимся в раю! – произнёс Бураминский. Слова эти отозвались во мне, словно эхом:

–...щай ...имся... аю.

Точно! «Прощай! Встретимся в раю!».

– Прощай!

– Между прочим, Виталий Андреевич не раз жаловался, – Окороков говорил непривычно тихо, но чётко произносил каждое слово, – «Вот зря я не веровал в Бога, а вдруг всё правда. Для меня это единственная надежда встретить на том свете своих и детей, и внучат, и отца с матерью, и всю родню... А что теперь: хоть молись, хоть свечки ставь – кто ж меня туда неверующего пустит...».

Слова эти Виталий Андреевич произносил, надо полагать, когда только попал в эту больничную палату, только знакомился со своими *со-болезниками*. А в утро светлого пасхального дня он уже не был неверующим. Его предсмертная настойчивость молитвы говорит о том, что он мысленно *видел* Того, к Кому обращался. Его «широко распахнутые глаза», замеченные писателем, как бы подтверждают это. Так что чаемое всеми *воскресение* умершего на Пасху обусловлено здесь его верой. Но главное даже не в этом...

Главное в том, что умирающий Васильев *уже в раю*.

Царствие Божие уже *внутри его есть*. Монахи на Афоне не судят по внешней жизни человека, но говорят: посмотрим, как умирать будет.

Умиротворение духа в момент кончины всегда было свидетельством бла-

горасположения Божиего к человеку. «Стяжи дух мирен!» – главный завет преподобного Серафима. Если мирен дух при кончине, то и душа человеческая готова быть принятой Богом, «войти в рай». Потому Христос ещё на земле говорит ученикам Своим: «Царствие Божие внутрь вас есть» *(Лк. 17:21)*. Это потому, что Он – с ними. А когда не уверен христианин в своей близости ко Христу, просит Ангела-хранителя помочь ему, и молитва его как раз о том, о чём просил и умирающий Васильев уже близкого ему на смертном одре Христа: «В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити притрепетную душу мою; защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушная мытарства, да храним тобою, безбедно достигну рая ми вожделеннаго...».

Вот об этом «безбедном достижении вожделенного рая», который, казалось бы, уже «внутрь вас есть», как бы это ни противоречиво звучало для внешнего сознания человека, – и все молитвы христианские.

Старик Васильев, полковник в отставке, русский воин, переживший две трагические войны, похоронивший всех своих близких, выбрал самую главную, самую вескую, самую жгучую... Молитву, *пожигающую* всё, что препятствует соединению со Христом! И его внутренний возглас, едва различимый для уха остающихся на земле: «Прощай! Встретимся в раю!» свидетельствует о вере, что Христос *близко*.

Потому названием своим рассказ Николая Гребнева, конечно же, в первую очередь обязан именно этому герою, кончиной своей приблизившему мысль о воскресении Христовом, сделавшему её доминантой повествования.

С Юрием Асмоловым читатель снова встречается уже в эпилоге рассказа, точнее, в главе, названной «Вместо эпилога».

Повествователь сообщает, что выписали его из больницы «на Николу», то есть двадцать второго мая, в день церковной памяти святителя Николая, Мирликийского Чудотворца. Символика, конечно, тут есть, но она никак не развёрнута автором. Нам остаётся самый главный символический знак этой даты – покровительство неба, помощь небесного тезоименитого защитника в преодолении болезни, победа над собой, ибо Николай значит *победитель*.

...И тут опять на авансцену выступает собачья свора, но уже самая обыкновенная, не эпическая, и вчерашний больной, поначалу убоявшийся звериной агрессии, устыдился слабости своей и нашёл красивый подход к собакам – заставил их служить. «Свободные псы терпеть не могут породистых, прикормленных, но цепных собак...», и вот эти разномастные *свободные* псы, чуть заслышав лай «могучего цепного пса» за больничной оградой, послушно «вытянулись в мгновенной готовности к атаке». Едва рассказчик произнёс «Ату!», вся свора ринулась сквозь «прорехи сетчатой ограды БСМП» в овраг, на невидимого противника, а их главнокомандующий благополучно вернулся в больничный сад, где и встретился с поэтом.

Со скамейки навстречу поднялся Юрий Асмолов.

– Знаю: ты уже выписался, ну что ж, рад за тебя... Спрашиваешь, как мама? Есть перемены, но только к худшему. Самое печальное, что сама она устала от этой болезни. А хворь без веры не одолеть! Сам небось испытал?

– Испытал. Спасибо за стихи, за веру...

Поэзия Юрия Асмолова, звучащая со страниц рассказа «Христово Вос-

кресение на Глинище», даёт писателю материал для кольцевой композиции сюжета – стихи звучат в зачине произведения, создавая предметно-мыслительный фон для сознания больного, пребывающего в забытьи, и стихами завершается повествование, поэт сам читает посвящение товарищу, вдохновлённый действенной своей «стихотерапией».

...Юра читал посвящение и вёл меня к выходу, к подъезду, где на автостоянке, заметно волнуясь, растревоженный долгим отсутствием, ждал меня сын Евгений.

«Воскресение» в житейском смысле свершилось – писатель выздоровел, возвращается к семье, к обычной жизни. К выходу из больничного сада ведёт его поэт. И поскольку происходит это уже за пределами того светлого воскресного дня, который именуется Пасхой Христовой, символика *Воскресения*, духовного возрождения, неизбежно распространяется теперь на все действия, совершаемые людьми после пережитых событий.

Какими бы обыденными ни казались нам поступки героев, их слова и чувствования, все они *освящены* здесь пережитой болью и устремлены теперь, кажется, лишь в одну сторону – *навстречу солнечному свету*, навстречу Богу (пусть и не вполне осознаваемо пока), промыслительно соединившему человеческие пути «в БСМП на Глинище, в месте, ... ставшем исходным для событий печальных, каждого по-своему трагичных, месте, где в пересчёте на квадратуру пространства происходят они как нигде часто».

«Стихотерапия» поэта (а он сам придумал это слово в рассказе) тут оказывается в одном ряду с воздействующей на больных атмосферой праздника – и когда очнулся повествователь в палате в солнечное апрельское утро воскресного пасхального дня, и когда увозил его сын из больницы в майский Николин день. Два этих церковных праздника стали рубежными в судьбе героя-рассказчика (как и в судьбе автора, надо полагать). Из содержания рассказа видно, что вынесен им из больницы опыт глубокий и разнообразный (вспомним укрощение своры «свободных» псов), но прежде всего – опыт *соприкосновения* с чужой болью как своей...

Этот *опыт соприкосновения* помогает и нам по-своему расценить художественные акценты рассказа.

Старик Васильев здесь уже не бравый полковник, который, по слову бойкой санитарки, ещё недавно «хорохорился и женишился» (хоть и в шутку, конечно, было сказано, для поддержания духа), но беспомощный инвалид, вынужденный плакать от стыда за свою беспомощность («из распахнутых немигающих глаз слёзы катились по вискам»).

Однако он вновь становится *воином*, теперь уже *Христовым*, когда, мужественно пересиливая слабость и, может быть, даже страх смерти, чувствуя её дыхание, настойчиво повторяет молитву Иисусову, как бы начиная жить уже в инобытии... Уже в ином качестве *начинает воскресать* его измученная земной болью душа.

И потому он радостно и смиренно произносит, будто обращаясь и к героям рассказа Николая Гребнева, и к ушедшему ныне поэту Юрию Асмолову, и к каждому из нас, остающихся на земле:

– Прощай! Встретимся в раю!

Курск

Николай ПЕРЕЯСЛОВ *(Россия)*

ТЯЖКАЯ НОША ПОЭТА
К творческому портрету Алеся Писарика

По своей главной сути известный белорусский поэт Алесь Писарик – тончайший лирик, призванный музами для того, чтобы воспевать все оттенки любовных чувств, музыку купальских вечеров, красоту белорусской земли, голоса возвращающихся с юга к родным протокам журавлей и другие сокровенные мотивы, наполняющие человеческие сердца нежностью, радостью, любовью или же болью и тоской, которые не дают зачерстветь нашим душам в бурях предельно нелирического и грубого века. Поэзия Алеся Писарика – это лунное сияние у пруда, лепет ласковых волн, ведущих влюблённый разговор с лилиями, и прекрасные мифические обитательницы подводного царства, выходящие в полночь на прибрежный луг, чтобы водить хороводы и зачаровывать своей красотой рыбаков и поэтов:

Ночь расплетает косы.
Сказка царит вокруг.
На берег, простоволосы,
вышли русалки в круг.
Руки летят, как чайки,
а среди чёрной воды –
княжество лилий свечами
светится из темноты!

ПЕРЕЯСЛОВ Николай Владимирович родился в 1954 году. Поэт, критик, прозаик, переводчик стихов национальных и зарубежных поэтов. Автор более 35 книг стихов, прозы, критики и поэтических переводов, а также большого количества публикаций в газетах и журналах России, Украины, Беларуси, Молдовы, Татарстана, Казахстана, Армении, Грузии, Болгарии, США и других стран. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Москве.

Для творческой манеры Алеся Писарика характерно не пересказывать сюжеты своих стихотворений, а – рисовать их при помощи ярких и красочных образов, разворачивая перед читателем сцены оживающих, как на экране, картин и видений, и делая его реальным соучастником происходящих в них событий. Открывая книгу стихов Алеся Писарика, читатель невольно становится сопричастным всему, что в ней совершается, как в зале стереокино, погружаясь в движущийся, звучащий и пахнущий мир его поэзии. При чтении стихов Писарика невозможно отделаться от ощущения, что ты находишься не по эту сторону книжной страницы, а – по ту, непосредственно внутри раскрытого перед тобой стихотворения, собственными глазами видя сменяющие друг друга эпизоды цветущей летней жизни и природы:

Ветер мелькнул меж осоками
голыми пятками.
Целую ночь он с красотками
тешился прятками!
Дремлют русалки под ивами,
водные грешницы...
Вот бы – с такими красивыми
ночку потешиться!

Но мечтаниям поэта так до поры и суждено остаться не более как неосуществлёнными мечтаниями, и вовсе не потому, что русалки – существа мифологические и нематериальные, порождённые людской фантазией и ночными видениями, а потому, что само наше время вторгается сегодня в жизнь и грёзы поэтов, разрушая их мечты и изгоняя из наших будней всё, что нельзя оккупировать, приватизировать и перевести в деньги. Война сегодня идёт не только за нефтеносные и газовые регионы, но и за души людей, за их сознание и веру, и эта война уничтожает всё возвышенное, поэтическое, сказочное и Божественное, оставляя на поле мировой и отечественной культуры только уродливые декорации антиэстетики, антиистории и антидуховности, среди которых разгуливают бугрящиеся мышцами антигерои Арнольда Шварценеггера да персонажи других кровавых кинобоевиков, затопивших ныне все отечественные экраны.

Да и сама жизнь сегодня мало чем отличается от этих боевиков, заставляя поэта забывать о русалках и берёзках и говорить о том, что составляет ныне реальность народов вчерашнего СССР:

Закипает в пуле гнев,
в тучах гибель плавает.
День, умыться не успев,
влип в кутью кровавую...

Так, волей-неволей, поэт, созданный для написания нежных лирических стихов, оказался вынужден нести тяжёлый крест политического оратора, говорящего не только о том, что радует его глаз и душу, но и о том, что доставляет ему боль и страдания, уродует подаренную Богом жизнь, лишая её красоты, доброты и лиризма.

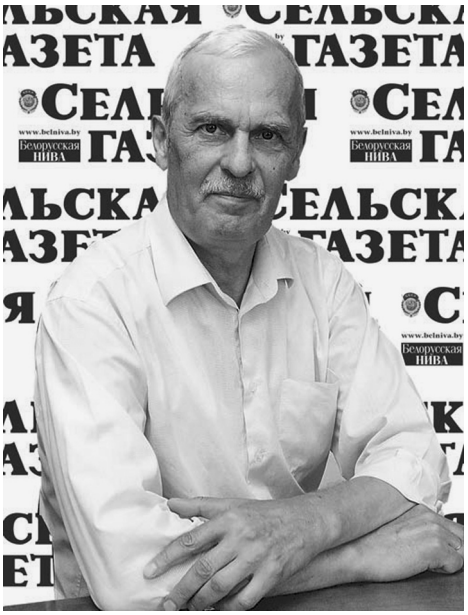
Легко ли лирику выполнять роль глашатая и трибуна? Думается, что не очень, примерно так же, как солисту балета биться на ринге с боксёром типа Валуева. Но Алесь Писарик мужественно несёт выпавшую на его долю ношу,

понимая, что, если он не будет отстаивать своим словом правду, то для его лирики в этом мире скоро не останется места.

Прочно стоя посреди бурлящей страстями современности, он жадно всматривается в то, что ожидает нас за туманом ещё не наступившего завтрашнего рассвета, и одновременно листает страницы нашего героического, великого, славного и вместе с тем драматического и горького прошлого. Как бы ни тяготела к лирическим нежностям его тонкая поэтическая душа, а разум гражданина говорит, что без прочной связи с историей судьба человека будет ненадёжна, как трепещущий на ветке последний осенний листок, того и гляди готовый унестись за порывами ветра и сгинуть в неизвестности. Отсюда – постоянное обращение поэта к своим родовым корням, к фольклору, к истории родной Беларуси и тем годам, когда мы были единой братской державой, на равных несущей на своих плечах бремя славы, горя, радостей, трудностей и решения задач по достижению нашего общего счастья. Почему мы его не достигли – это отдельный серьёзный разговор, но проекция сегодняшних проблем наших стран на события исторического прошлого показывает, что корни многих наших бед находятся именно там – в тех годах, где нами были утрачены такие базовые для жизни народа основы как заветы предков, уважение к истории и отцовская вера. Именно об этом говорится в таком «программном» для автора стихотворении как «Чудотворный крест Ефросиньи Полоцкой», повествующем о спасительной роли этого символа для судьбы белорусского народа на протяжении многих лет истории, до того, как крест был безвозвратно утерян. Но пока народ жив, всегда остаётся возможность наполнить жизнь созиданием и счастьем, Господь никого не оставляет без надежды, и глядишь – святой крест Ефросиньи тоже когда-нибудь возвратится на своё место в Полоцком соборе, а с ним – и державная мощь, и уверенность в завтрашнем дне, и всенародное счастье:

Кляня судьбу, народ беднеет,
но шепчет дождь, в листве шурша:
– Найдите крест – и посветлеет
страны уставшая душа...

Поэзия Алеся Писарика – удивительное явление, она наглядно показывает, как патриотизм и гражданственность преображают музу поэта, наполняют его голос мужеством, взгляд прозорливостью, а душу – смелостью. «Делу время, а потехе час», – говорили наши мудрые прадеды, понимая, что в жизни человека должны иметь место как лирические, так и гражданские составляющие, и новые стихи Алеся Писарика наглядно демонстрируют нам равноправное наличие двух этих русел в его поэтическом творчестве. Какое из них весомее – судить читателю, но для самого поэта эти направления неразделимы, как перекладины одного креста. Нести который мы должны только весь и до самого своего конца...



Алесь ПИСАРИК

«ТАНЕЦ ЛЕТА. МЫ ЧИТАЕМ ФЕТА...»

ЧУДОТВОРНЫЙ КРЕСТ
ЕФРОСИНЬИ ПОЛОЦКОЙ
Он был свидетель вознесенья
Христа – к небесному Отцу.
Он – чудотворен. Но спасенья –
не обещает подлецу!

Из плена, окружённый пеньем,
он возвращался в храмы, чтоб
встречать людей благословеньем,
что перед ним крестили лоб.

Зарницы вслед ему летели
и – голоси, не голоси –
в тоске правители глядели
на крест, что к Белой шёл Руси.

А он смирял кипенье битвы,
что меж соседями велась,
и век склонялся на молитву,
разбойную теряя страсть.

ПИСАРИК Алесь родился в 1954 года в Минске. Окончил филологический факультет БГУ. Автор двух десятков поэтических книг, вышедших на белорусском и русском языках. Президент Ассоциации творческой интеллигенции Беларуси «Духовное возрождение». Член Союза писателей Белоруссии и России.

Среди пожаров и нашествий
в Кремля хранилище святом
его спасали пуще чести...
Сегодня – помнит кто о том?..

Кляня судьбу, народ беднеет,
но шепчет дождь, в листве шурша:
– Найдите крест – и посветлеет
страны уставшая душа...

ПОЭЗИЯ ОДНОГО ДНЯ

Дачный домик. Спелые черешни
приникают взглядами к окну,
где хозяин, как античный грешник,
на латыни молится вину.

Круглый пень в саду накрыт на славу –
не беднее барского стола!
Лес шумит листвой, листая главы,
рюмка жару в спорах придала.

Старый явор никнет бородою,
выкипает пруд из берегов.
Слышно, лещ всплеснулся над водою,
что ему до нас, нам – до него?

Пропоёт комарик, точно флейта,
просверкнёт на солнце стрекоза...
Танец лета.
Мы читаем Фета,
глядя небу и судьбе в глаза.

Водит волны золотая рыбка,
изучая танец поплавка.
Да дрожит, как на лице улыбка,
надувная лодка рыбака...

* * *

Богатый бедному – не ровня?
Откуда меж людьми – стена?..
Горит луна, мир светом полня,
как Троица, для всех – одна.

Прекрасно жить на свете этом,
но, как судьбу ни заверши –
покинешь всё, что льётся светом
с ночных небес и из души.

Вещает жизнь, с бедою споря,
о тех, кто в сердце носит зло:
«Забудь и имя их, чтоб горе
оно к потомкам не несло!..».

КАВКАЗСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Аж трещат у гор хребты,
вкруг – зима голимая!
Ты укрой от мерзлоты
воинов, родимая.

Закипает в пуле гнев,
в тучах гибель плавает.
День, умыться не успев,
влип в кутью кровавую.

Словно конь, летит Кавказ
сквозь века ковыльные.
Смерть рисует без прикрас
розы надмогильные.

От проклятий – ночь темней
и, где тропка узкая,
две души сошлись в войне –
горская и русская.

Утром в небо, точно дым,
взмыли души ратные.
Кто чужим был? Кто родным?..
Им расти бы – братьями...

ОДУРЕНИЕ

Много тех, что на чужое зарятся,
обирая ближних до гроша,
век живут в достатке и не старятся,
по телеэкранам мельтеша.

От обмана счастья не прибавится.
Лишь прогонят старых штукарей –
как уже другие позабавиться
на их место рвутся поскорей!

Но страна – не скопище безмолвное,
не покорный, молчаливый хлев.
Божий гнев – сверкает в небе молнией
и, как гром гремит – народный гнев.

Хоть сквозь боль, но правду надо выстонать.
Ничего не бойся, говори.
Промолчим – и даже Бога выставят
из соборов ушлые хмыри...

* * *

Ложь много лет жила на славу,
прикрывшись заревом знамён,
что водрузил палач кровавый,
перешагнув народный стон.

Повсюду видя лишь могилы,
сорвала крест с груди рука...
Над жизнью, что с ума сходила,
гробами – плыли – облака.

Когда ж тайком вскипала правда –
за рюмкой, без чужих ушей –
она потом полгода кряду
огнём горела на душе!

Край добродушный, хлебосольный
остался с торбой сироты.
Вольнолюбивый край, весёлый...
Неужто, это вправду – ты?

Какие мы – такая участь.
Живём – урвать бы только куш.
Бредём сквозь дни, безверьем мучась...
Но где же свет крестьянских душ?!

* * *

Рассыпаны дни вдоль дороги-дуги,
упав, как игральные кости.
Бывало – тянули за душу долги,
бывало – ломились в дом гости.

Друзей не за рюмкою видеть хочу,
посколь во хмелю – мало правды.
Народ – он всегда бывал рад калачу,
а с ним – и латинице рад был.

И кто бы суды по земле ни рядил,
крестьянину надо лишь хлеба,
и надо – чтоб ниву Господь окропил
слезой благодатною неба.

Земные поклоны кладёт человек,
чтоб жизнь не давала осечку.
Мозольной рукой отсыпает нам век
монет на церковную свечку.

Разлад между братьями сводит с ума,
всю радость из сердца изгладив.
И только судьба всё исправит сама,
с извечными мыслями сладив...

РЕВНОСТЬ

Как ни храни любовь, а всё ж –
порой отыщется причина,
чтобы вошла в твой голос дрожь...
Но ты держись, ведь ты – мужчина!

Сожмись в кулак! Не допусти
раздуть скандал, что всё погубит!
И как ни больно, а прости:
ревнует – только та, что любит...

* * *

– Кто там плывёт сквозь ливень? –
шепчутся вслух камыши.
Хлопают веками липы...
Милая! Поспеши!

Счастье ведёт в беседку.
Что тебе, ночь? Отвяжись!
Бдительною соседкой
хочет вспугнуть нас жизнь.

На полпути к рассвету –
чувства не береги.
Снятся и нам, и лету
ливневые грехи.

Волны сонату лепят,
цедит тоску луна.
Слушая струнный лепет,
озеру – не до сна.

Ночь расплетает косы.
Сказка царит вокруг.
На берег, простоволосы,
вышли русалки в круг.

Руки летят, как чайки,
а среди чёрной воды –
княжество лилий свечами
светится из темноты!

ВЕЧЕРИНКА

А гармошка режет полночь,
от басов спасенья нет.
И никто уже не помнит,
что с утра – вставать чуть свет.

С острой шуткой, с прибауткой
женихи выходят в круг.
Все затихли на минутку...
– Эй, урежь-ка жарче, друг!

Расступись, братва, пошире,
кто без пары – не тужи.
Ничего нет слаще в мире,
чем гармошка, для души!

Нету удержу и меры,
пыль летит из-под пяты!
Что без рюмки кавалеры? –
Как невесты без фаты.

Что ты ходишь с видом строгим,
только смотришь свысока?
Лучше б девок в танце трогал
ненароком за бока!

Лучше б с милой в круг широкий
в танец кинулся, кружа.
Омут глаз такой глубокий –
что не вынесет душа!..

КУПАЛЬСКОЕ

Триптих

I.

Кличь сегодня звонких гусляров,
пой всю ночь о том, что нагадала,
чтобы утро, перепрыгнув ров,
тебя крепко в губы целовало.

Съехав с неба, спит звезда во рву.
Незабудкой молодость смеётся.
Вижу цвет волшебный...
Но не рву! –
Пусть другим на счастье достаётся.

II.

Любит – не любит? – спроси у цветочка.
Любит! – шепнула купальская ночка.

Ночку веночком Купала венчает.
А Василя – Василиса качает.

К водовороту венки подплывают.
Любит – не любит? – их взглядом пытают.

Звезды взошли над ночным хороводом.
Кто-то вздохнул... То ли Бог, то ль природа.

III.

Ночка в грехах не раскается,
как комсомолочка.
Солнышко в росах купается,
греется в ёлочках.
Ветер мелькнул меж осоками
голыми пятками.
Целую ночь он с красотками
тешился прятками!

Дремлют русалки под ивами,
водные грешницы...
Вот бы – с такими красивыми
ночку потешиться!

ЗВЁЗДНАЯ МОЛИТВА

Триптих

I.

Мне б закрыть Беларусь от зла
старой бабушкиной иконою,
чтобы молния не обожгла,
проскользнув под грозы попоною.

Упаси нас, Господь, от снов
с берегов поседелой Припяти!
Не позволь родовых основ
умыкнуть никакому призраку...

II.

Беларусь! Буди в потомках веру,
в сердце память каждому всели,
чтобы в кровном слове знали меру
и при жизни в Божий храм пришли.

Чтобы жили, зависти не зная,
праязык родной неся с собой –
Ефросиньи образ дай на знамя,
чести свет зажги над их судьбой!

III.

Беларусь, услышав гнев Рогнеды,
обновила душу бы в слезах.
Голытьбе – и в счастье снятся беды.
нет единства у людей в глазах!

Беларусь! Ты столько получила
в дар наследный от былой судьбы.
Полочанкой раны залечила
и – взметнула к небу меч борьбы!..

* * *

Сад опустел. И паутину
уносит ветер в синь высот.
Мать плачет, гладя сиротину,
а он без слёз свой крест несёт.

Что ей привиделось сегодня
за вишнями, где даль светла, –
не обещанье ли Господне
дожить до вешнего тепла?..

На долгой жизненной дороге
её Сам Бог не уберёг
ни от беды, ни от тревоги,
что приходили на порог.

К окну рябина прислонилась,
грустя, как близкий человек.
Жила с добром. О всех молилась
перед иконой весь свой век.

В избытке было лишь работы,
но не веселья и рублей...
Проходит жизнь. И наши годы –
летят на клики журавлей.

* * *

Сентябрьский день несёт обманы,
бросая луч последний в бой.
С геройской смелостью туманы
зовут виденья за собой.

Таится в сумраке тревога,
вокруг – не видно ни души.
У дуба – витязя седого –
готовят лежбища ужи.

Голубка искренне воркует
о том, что в память ей вошло.
А холод утренний ворует
из душ последнее тепло.

Открытой книгою – криницы
слезятся из глубин земли.
Здесь летом – тропки-чаровницы
за чабрецом девчат вели.

Калины жарко полыхают
средь листьев жёлтой мишуры,
словно горят – не затухают
любви прощальные костры...

Перевёл с белорусского Николай Переяслов

Михаил ПОЗДНЯКОВ *(Беларусь)*

«ЕСТЬ НАЗВАНЬЯ ИЗВЕЧНО СВЯТЫЕ...»

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ

Есть названья извечно святые,
В каждой буковке – искры любви...
Две сестры – Беларусь и Россия,
Две сестры по судьбе и крови.

Обе искренни и синеглазы,
Над обеими – лёт журавлей,
Отражаются ивы и вязы
В чистых водах, что неба синей.

В душах – вольницы вечной стихия,
И от пращуров в них – непокой.
Две сестры – Беларусь и Россия,
Не отделишь одну от другой.

ПОЗДНЯКОВ Михаил родился в 1951 году в Могилевской области. Окончил филфак Белгосуниверситета, работал научным сотрудником Института языкознания НАН Беларуси, главным редактором издательства «Юнацтва», главным редактором журнала «Вожык», главным редактором журнала «Нёман», заместителем директора холдинга «Литература и Искусство». В настоящее время председатель Минского городского отделения СПБ. Член президиума и правления Союза писателей Союзного государства. Поэт, прозаик, переводчик, критик, языковед, публицист. Автор более 100 книг поэзии, прозы, критики, публицистики. Лауреат более 20 республиканских и международных литературных премий. Живет в Минске.

Наступали годины лихие...
У пучины на самом краю
Две сестры – Беларусь и Россия
Шли на битву в едином строю.

Мир иной... Но кого ни спроси я,
Эти чувства всё так же остры.
Две страны – Беларусь и Россия,
Две руки...
Две любви...
Две сестры...

* * *

Творите, люди на земле добро,
Жизнь ежедневно красотой крепите.
Не золото, брильянты, серебро,
А нравственную чистоту храните.

Своей души не очерните злом,
Животворящей доброте молитесь
И чувствами хорошими светитесь,
И будет в общий дом ваш вклад весом.

Молитесь же Природе, как святой,
Матуле, что под сердцем вас носила.
Любимой, что чарует красотой,
Труду, в котором – радость, свет и сила.

Пусть ваша не поднимется рука
На человека, зверя или птицу...
Пролито столько крови на века!
Пускай убийство впредь не повториться.

Добро – всегда спасительно.
Оно не прорастёт вовеки на обмане.
Нам добротой очиститься дано,
Мы с чувством доброты Народом станем!

ЗАБРОДЬЕ

Рассвет пичугой синекрылой
Плывёт и будит край родной,
Где золотой небесной силой
Налита тучка надо мной.

Здесь рос алмазная прозрачность,
Садов пьянящий аромат...
Я дома... Я совсем не дачник...
Я новому свиданью рад...

Тропинкой пробегу до луга,
Чтоб окунуться в новый день.
Знакомо все в родной округе –
Калитки... Лавочки... Плетень...

И если в жизни что-то значу –
Лишь потому, что ты со мной.
Стою... И тихо-тихо плачу
Среди деревни неживой.

* * *

Звуки вальса Шопена...
С поволокою взгляд.
«Всё, что было – нетленно!»
Мне глаза говорят.

Этот жест звонкорукий —
В целом мире один.
И вливаются звуки
Прямо в гемоглобин.

Будто вновь за плечами
Молодое крыло.
То, что было меж нами —
Неужели прошло?

Звуки вальса Шопена
В такт сомнениям душ...
Почему ж все мгновенно?
Почему ж? Почему ж?

Звуки вальса прощают
Всех обманов вино...
Нам Шопен возвращает
То, что было давно.

Будто всё – неизменно,
Будто всё – на века.
Звуки вальса Шопена...
И любимой рука...

* * *

Вновь загорелся куст сирени
Лиловым пламенем рассвета.
И мир очнулся от забвенья
С желанием любви и света.

И рад увидеть сад весенний
Как через солнечные ливни,

Златые пчелы песнопенья
Переплетают в танце дивном.
Здесь всё пронзительно-святое
Имеет суть, имеет место,
И чувство теплится такое,
Как будто ты вернулся в детство.

И в это трепетное утро,
В гармонии с собой отныне,
Светлеешь мыслями, как будто
Перед иконами святыми.

* * *

Пока ещё июньский луг не лёг покосами,
В соку трава. Спешу сюда, как в рай,
В мой васильковый, в мой ромашково-берёзовый,
Неповторимый, милый сердцу край!

Душа здесь переполненная грёзами
Зовёт меня в безудержный полёт.
Живёт край васильковый, край берёзовый,
Ромашковый, любимый край живёт!

Вмиг распращаюсь я с тревогами столичными,
Проблемы позабуду, словно сон,
Лишь гляну на поляны земляничные
И на волнах качающийся лён.

А как лицо умою утреними росами –
Столичной жизни прошепчу: “Прощай”.
Мне васильками да ромашками с берёзами
Пророс навечно в сердце милый край!

ВЕТЕРАНЫ

Остаётся всё меньше в строю
Ветеранов великой Победы,
И в солдат боевую семью
Всё уходят они как полпреды.

Всё уходят за Родины честь
Постоять с молодыми друзьями,
Что героями пали – не счесть, –
Чтоб земля расцветала садами.

Их медали и их ордена
Умолкают, как будто отвага,
Что гремела-звенела сполна
От окраин Москвы до Рейхстага.

Всё уходят. Привычно. Без слов.
Кто-то руки уже потирает
И погреть на их славе готов,
Но герои ведь не умирают.

Лишь уходят в невидимый бой
За великую правду Победы,
Чтоб прикрыть, как когда-то, собой,
Отвести предстоящие беды.

Всё уходят, но дел их святых
Не забыть на Отчизны просторе:
Это внуки и правнуки их
Салютуют в вечернем дозоре.

* * *

Покачивает тихая река
Кувшиночьи улыбки золотые.
И нежностью на крыльцах мотылька
Трепещут миги детства дорогие.

Вновь душу переполнила любовь,
Разрушив одиночества оковы.
О, луг мой, я к тебе вернулся вновь.
И петь, и плакать сердце рвётся снова.

О, времени качели, дайте мне
Очнуться в сказке детства, словно прежде,
Пока ещё душа горит в огне
Земных грехов и боли, и надежды...

ТРИ СЕСТРЫ

Беларусь, Украина, Россия –
Три сестры из великой семьи.
Три красавицы дорогие,
Три надежды славянской земли.

Неужель друг у друга отнимут
Неразлучных с далёких времён?
Быть научат за пряник чужими
И плетями погонят в полон?

Неужели окажемся снова
Под ордынской тяжёлой пятой?
Неужели в сердцах Куликово
Зарастает забвенья травой?

Неужели кому-то позволим
Зачеркнуть достоянье веков

И загнать наше племя в неволю
На великую радость врагов?

Беларусь, Украина, Россия!
Нам не страшен любой лиходей!
И величие наше, и сила –
В нерушимом единстве людей!

СВЯТОЕ

Пусть бегут, пролетают года,
Увлекая в просторы иные,
Только будут везде и всегда
Возвышать нас понятья святые.

День Победы! Отчизна! Народ! –
С этим мы родились и шагаем,
С этим каждый весною идет
На свидание с праздничным маем.

Май шагает, отвесив поклон
Ветеранам – их мало осталось,
Помня шелест победных знамен,
Помня схваток смертельных усталость.

Каждый третий в пожаре войны
Вечной болью застыл, вечным стоном.
И живем мы, не зная цены
Синим рекам и соснам зеленым...

Хорошо и свободно живем
Среди этой красы величавой,
Каждым сном дорожа, каждым днем
И отцовской немеркнущей славой...

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ

Ночь на заставе брестской. Мне не спится...
И пуща Беловежская не спит...
Ах, знали б вы, что на душе творится –
Со мною наша Память говорит.

Встают бойцы, погибшие когда-то,
Проходят молча предо мной в строю...
Они в бою не дрогнули и свято
Любили мир и Родину свою.

Мне боль потерь окутывает сердце,
И гордости тесно в груди моей...
И понимаю я, что нет на свете смерти...
И ничего Отчизны нет родней...

Я благодарно всматриваюсь в лица:
Фомин вот, Кижеватов, Сивачев...
Как подобает встретила граница
В том сорок первом огненном врагов.

Идут, идут бессмертные солдаты,
В глазах – отвага, радость, жажда жить...
Да, не имеем права мы, ребята,
О подвиге их праведном забыть.

Да, не имеем права поступиться
Их Памятью и Верностью стране,
И потому сегодня на границе
Не спится этой тихой ночью мне.

Переводы: Анатолия Аврутина,
Бронислава Спринчана, Инны Фроловой,
Миколы Шабовича, Юрия Щербакова

Валентина ПОЛИКАНИНА *(Беларусь)*

«МОЙ ВЕК, СМЕШЕНЬЕ ВЕРЫ И ПОРОКА...»

* * *

Всё к жизни приложимо: вздох, рывок,
Дорог судьбы натянутые тросы,
Осенний воздух, сада островок
Да жёлтых дней рассыпанное просо;
Внезапно возникающая мысль,
Готовая развиться до Вселенной;
Стихи и проза, время, вечность, смысл,
Покой души и горсть земли нетленной.
И явь, что дарит встречи на лету,
И неземные сны голов упрямых,
И промысел: знать эту, а не ту,
Скупое «жду», распахнутое «мама».

ПОЛИКАНИНА Валентина — поэт, переводчик, публицист, член Союза писателей Беларуси, СРП и Международной федерации русскоязычных писателей. Филолог по образованию. Работала ведущим редактором журнала «Беларусь», в настоящее время – редактор отдела культуры журнала «Гаспадыня». Автор 15 книг стихов, прозы, переводов, стихов для детей. Лауреат Премии президента Республики Беларусь в номинации «Художественная литература», российской литературной премии им. А.П. Чехова, VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (Золотой диплом), других международных и республиканских литературных премий. Награждена медалью А.С. Пушкина.

И сердце-друг в кругу друзей иных,
И сердце-недруг, горестный и меткий,
Мельканье лун да в книгах путевых
По-детски непутёвые заметки.

* * *

Мы живём, отражаясь в колодезной глуби свободы,
Хоть в унынье времён неизбежность нельзя обминуть,
И с трудом постигаем земные законы природы,
И поверить легко, и нельзя седину обмануть.

Но когда серой пылью в часах спеленаются стрелки
И отпустим на волю пугливых своих голубей,
Станут: слаще – словарь, отстранённее – мира проделки,
Небо – ниже, синей, запредельная даль – голубей.

Не ропщи на судьбу, мы к её похвалам не готовы.
Затеряться б, как в чаще, в её прописном букваре.
Мы ещё прикоснёмся к магической зыбкости слова,
Мы ещё загадаем: проснуться на сонной заре.

И пока нам сопутствует ветер, на солнце румяном
Зреет колос любви, цветом полнятся радуг слои,
Пусть ещё удлинится рассвет мой неспешным туманом,
Пусть ещё упадут сотни звёзд на ладони твои.

* * *

Слово – творчество. Слово – венец,
Завершение мысли, огласка.
Слово – выкормыш. Слово – птенец:
Ртом согрет и дыханьем обласкан.

Слово – выход на свет. Слово – свет,
Звёздный импульс мерцающей точки.
Слово – словно у дерева ветвь.
Все слова – население в строчке.

Слово – следствие. Слово – печать.
Можно впитывать – можно отторгнуть.
Затаившийся гнев у плеча –
Захлебнувшийся кратер восторга.

Слово – тождество действию, цель,
Поводырь, указательный палец.
Слово – кружево, замкнутость, цепь,
Узелочек на долгую память.

Слово – пепел пожарищ, зола,
Камень в сердце, прокисшая брага,
Если слово на службе у зла.
И зерно – если служит во благо.

* * *

Пуст мамин дом. В дверях затвор непрочен.
Но образ чистый светел, как всегда.
И смотрят мамы праведные очи
Сквозь жизнь и смерть на все твои года,
На почерк твой, что рвётся безутешно
В надгробных начертаньях сжечь вину,
На твой надрыв, на твой приезд поспешный,
На волосы твои, на седину...
Хлебнёшь печали, лишь беды не трогай.
Все души ходят к близким напрямик.
И ты, почуяв позднюю тревогу,
Прозреешь – и увидишь в тот же миг,
Что зло растёт из трещины убогой,
Что грешный мир теряется во мгле,
А мать идёт над грязною дорогой –
По воздуху идёт, не по земле.
Идёт она, как светоч, как спасенье,
Над горестным смешеньем чёрных вод,
От Рождества идёт до Вознесенья –
Плечами подпирая небосвод.

* * *

Для добрых дел земных – широко полюшко.
Ох, порадеть бы нам о тех делах.
Мы – только зёрнышки,
Мы – только зёрнышки,
Сухие зёрнышки в Твоих руках.

Спеша и падая, идём по краешку.
Судьба беспечная – на волоске.
Мы – только камешки,
Мы – только камешки,
Глухие камешки в Твоей реке.

Тоска нездешняя, печаль кромешная
Не научили жить с душой в ладу.
Мы – только грешники,
Мы – только грешники,
Слепые грешники в Твоём саду.

Живём – не молимся на ясной зорюшке.
Беда приходит к нам, ей – хлеб да соль.
Мы – только горюшко,
Мы – только горюшко,
Земное горюшко Твоё да боль.

В траве растут кресты, грустят березоньки
Да льётся кровушка на образах.
Мы – только слёзоньки,
Мы – только слёзоньки,
Живые слёзоньки в Твоих глазах.

АДАЖИО

К чему весь хлам, когда души – не нажито...
Не ночь была, а поиск слов к «Адажио»,
Тому, что Альбинони написал,
Как вечный плач, без суеты и паники.
А мне сегодня при луне беспамятной
Вдруг память возвратила голоса...

И я оглохла от земного ужаса.
Вдруг мама показалась мне вернувшейся
И вкруг сошлась премудрая родня.
И ожили все реплики финальные.
Слова зажглись, как свечи поминальные.
И поглотила музыка меня...

А память воскрешала наболевшее.
И говорили прадеды ослепшие:
«Молись над словом, плачь, ведь ты – поэт,
А значит, для тебя не риторически
Звучит вопросом этот гул космический
Над самой горемычной из планет...».

И я слилась с бессонницей нездешнею,
Улавливая вздохи безутешные
Родных, познавших немоту земли,
Свершивших все пожизненные подвиги...
Слова, как зёрна, мне катились под руки:
Сказаться помогали, как могли.

Созревшие слова и осторожные,
Они сливались с музыкой тревожною...
А утром, что вставало за селом,
Вдруг аист пролетел над полем скошенным
Душой распятой, будущим испрошенной,
Пронзительно напомнив о былом.

ВОСПОМИНАНИЯ СОЛДАТА

Ещё от боя земля дрожит.
Ночь фронтовая. Страх не дожить...
Но над бедою, любить спеша,
Другой душою живёт душа.
Всё помню, Лида: поля черны,
Зловещий холод, огонь войны...
Как мог, служил я родной стране,
Да вражья пуля досталась мне.
Тогда попал я в твой медсанбат.
Ты – медсестрёнка, а я – солдат.
Бог дал мне счастье продлить деньки
От милосердной твоей руки.
Ты мне казалась родней родных,
Но грусть читал я в глазах твоих.

В недобром месте, в недобрый час
Любовь слепая настигла нас.
Ты мне шептала в ночи земной:
«Я буду вечно твоей, одной...».
Но сон растаял и наяву
Тебя не стало, а я живу...
От боли, скорби и слёз моих
Мне были силы за нас двоих.
И, ненавидя врагов, в бою
Я мстил им, Лида, за смерть твою.
Сошлись сто вёсен на той весне:
«Победа, братцы! Конец войне!».
А я – как лишний – в кругу солдат,
Как будто жизни своей не рад...
Один я, Лида, с тех пор, один.
Всё вспоминаю, как брал Берлин.
На разговоры ко мне с утра
Слетелись птицы да детвора.
Санёк, притихший, как голубок,
Мальчонка русый, сидит у ног.
Мои рассказы – ему урок.
Таким же мог быть... и наш сынок.

МОЙ ВЕК

Мой век, смешенье веры и порока,
Хоть мельком, но на прошлое взгляни.
Там поле было чисто, ясно – око,
Там соколы не знали западни.

Кровавое, увы, твоё начало.
Какие испытания в конце?
Играешь с нами, эхом отвечая.
Смеёшься в обезличенном лице.

Обману и корысти дал приманку,
Тарелку отодвинул, словно цель.
То вывернешь все смыслы наизнанку,
То ставишь добродетель под прицел.

Иных уже постигла участь злая.
Уныние, упадок и падёж...
Чего ещё смертельно пожелаешь
И что к рукам бесстыдно приберёшь?

Глядишь прощально, как листок осенний,
Заброшенный дождём на пьедестал.
От войн, беды и горьких потрясений
Ты сам уже, наверное, устал.

Мой век, сомлевший до седьмого пота,
Дай душам от Любви не отойти...

Твои необъяснимы повороты.
Твои непредсказуемы пути.

* * *

Простите нас... Сумейте нас простить
За наши годы гордые, шальные.
Все те, кого уже не возвратить,
Простите нас... Родные, неродные...

За то, что мы не жили в горький час,
За Родину до смерти не стояли...
Простите нас, ушедшие от нас,
За то, что вашу правду растеряли.

Простите нас за нашу немоту,
Скрывающую нас за именами...
За мелкость, глухоту и слепоту
Простите нас, идущие за нами.

Нам и своей не вынести тоски.
Простите нас, впитавших страсти века.
Мы – поколенье, взятое в тиски
Времён, давно враждебных человеку.

Ещё не откровенна наша речь...
Простите нас, седых и моложавых,
За то, что мы не можем уберечь
От злобы и вражды свои державы.

Ещё душа не смыла чернозём.
Ещё до Бога – жизни расстоянье.
Простите нас за то, что не ползём,
Как раненые к солнцу, – к покаянью.

Ещё без веры мудрствуем, скорбя.
Неверию готовим возвращенье.
Простите нас, прощающих себя
За то, чему вовеки нет прощенья.

ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ

1.

Порасставлены вехи-флажки
На земное холодное темя,
И наточенных стрелок движки,
Как ножи, режут чёрствое время.

И гудят под дождём города,
Новый век по-весеннему зелен.
Лишь печаль, как мирская беда,
Чёрной ласточкой пала на землю.

Что могли, всё с собой унесли...
Наш покой, как века, не оплачен.
И сплелись корни нашей земли
С материнским космическим плачем.

Землю ту – поперёк или вдоль –
Обнимаем душевным прощеньем.
Это наша с тобою юдоль,
Поднебесной сумы угощенье.

2.

Волчий стон пробежал, ввысь взметнулась пропащая птица,
Память-музыка где-то играет, да струны не в лад...
В гуще зарослей тёмное время, теснясь, копошится:
Зацепилось за елей верхушки – и тянет назад.

Повзрослели слова, и моря не сжигают синицы.
В буераках пустых притаилось в испуге зверьё.
В эту ночь лишь младенцам да грешным поэтам не спится.
Этой ночью природа припомнила имя своё.

Эта чёрная ночь напекла чернобыльного хлеба,
Чтоб его все века-поезда увезти не смогли.
Пуще реквием крон, что до крови врезаются в небо,
Гуще пляска корней, разрывающих недра земли.

Постепенность часов вдруг сменилась обратностью мыслей:
До голодного крика, до свитка в утробной ночи.
Над моею страной тучи чёрные горем провисли.
Горе – горше полыни – в надорванном горле горчит.

* * *

Я скучаю по России,
Белой-белой, синей-синей,
Словно храм, мне ставшей домом,
Словно небушко, бездонной;
Полной света и покоя
По-над Волгой и Окою;
С деревянною резьбою,
С расписной её судьбою;
Той, что верить не устанет;
Зацелованной устами,
Как вода, что нету слаще;
Непродажной, непропащей,
Не распластанной над бездной,
Сострадательно-болезной;
Той, по-радонежски торной,
По-саровски чудотворной,
Куполами позлащённой,
Покаянной и крещёной,
Сильной в трудную годину,

Неделимой и единой;
Не измеренной шагами,
Не истоптанной врагами,
Уходящей от полона,
Мощной духом, непреклонной;
В бой со злом ведущей сердце,
Породившей страстотерпцев;
Душу ввысь привыкшей кликать –
По Святой Руси, великой.

МОЛИТВА О РОССИИ

Упаси нас, Господь, от проклятий грядущего дня,
От пустой очерёдности серых нестоящих будней,
От шального родства, там, где мать своё чадо, кляня,
Опоив молоком, закачает рукой беспробудной.
Огради нас, Всевышний, от низменных мыслей и дел,
От погибельной скачки в сетях штормового развала,
От гарцующей гонки, несущей проклятый удел:
Быть глупцами, слепцами, в чьём доме беда ночевала.
Отведи нас, Грядущий, от прошлых поверженных стен,
Там, где камня на камне мы, буйствуя, не оставляли,
Оставаясь, как нищие да с погорельцами, с тем,
Что, как память, живило, желание жить утоляя.
Охрани нас, Святейший, от адовых очередей,
Где к душе прижимаются намертво бесы-проныры,
От безбожных идей, от не знающих веры вождей,
От кровавых дождей, заполняющих чёрные дыры.

Михаил ПОПОВ *(Россия)*
БЕЛАЯ ВЕЖА
Главы из романа «На кресах всходних...»

Глава третья

Так, осенью 1908-го в Порхневичах появилась интересная парочка: два сосланных в лесную болотистую глушь петербургских студента. За какие такие дела – сельчане не разбирались, смотрели на господ в потертых форменных тужурках чуть иронически, но и с опаской. Для селянина человек в мундире, даже под знаком недоверия к нему верховной власти, все равно представитель господского сословия. Поселились они в большой хате у моста. Когда-то там был шинок и дом шинкаря. Не процветающий шинок – клиентура ввиду тупикового состояния места была небогатой, – а после и вообще захиревший. Дом был разделен на две части; в задней, что имела особое крыльцо и две большие довольно комнаты, и была «гостиница».

Вёска Порхневичи никакой постоянной стоянкой имперской власти оснащена не была, лежала, в соответствии со словами гостеприимного батюшки Ионы, в стороне от всех ниток всяческих путей, как бы в выемке огромного, охватывающего, густого лесного небытия; даже от соседних Гуриновичей её отделяла река с непреднамеренно загадочным названием – Чара.

ПОПОВ Михаил Михайлович – *поэт, прозаик. Родился в 1957 году в Харькове. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор четырех сборников стихотворений и многих книг прозы. Произведения переводились на пять языков мира.*

Лауреат премии за лучшую первую книгу (1988), имени Бунина, Платонова, Гончаровской, Горьковской, Большой литературной премии России, премии Правительства Москвы, Национальной имени Валентина Распутина (2018).

Член высшего творческого Совета союза писателей России.

Преподает в Литературном институте им. Горького.

Она осторожно выбиралась из-под сени Далибукской Пущи, проскальзывала под настилом неширокого моста и опять уходила в ноги деревьям, там, уже по пути, в глубине оснащаясь мельницами, принадлежащими пану Порхневичу, и полуразвалившимися пристанями, неизвестно кому принадлежащими.

Жизнь стояла там стабильная, не размываемая ни в малой степени внешними влияниями и модами. Даже слухи сюда доходили или уже опровергнутые жизнью, или состоявшиеся как факт. Хорошее место для ссылки. Сбившимся с пути молодым умникам полезно окунуться на время в настой первобытной жизни.

В Порхневичах, как и во многих белорусских деревнях, была такая особенность: видимо, оттого, что располагались они рядом с подавляюще мощным лесным массивом, на их непосредственной территории было крайне мало деревьев. Редкие липы на улицах, редкие яблони на картофельных делянках, что тянулись опять-таки в сторону леса; во дворах кусты поречки по внутренней части заборов. Или вот сирень по неизвестно чьему капризу. Еще где-нибудь – такой же случайный жасмин под окошком. Можно подумать, что люди, выпроставшись из-под воли вековечного леса, хотят немного пожить на открытой местности.

Дверь комнаты, в которой стояли на пыльном полу две железные кровати и много перепачканных дорожной грязью саквояжей, была открыта в бесшумный дождь. Скиндер и Ивашов сидели рядом и, несмотря на полное совпадение их житейских ситуаций, выглядели очень разно. Юрист ужимался весь внутрь, затягиваясь последней петербургской папиросой, инженер уже мысленно что-то конструировал.

Ни тот ни другой не заметили, как и откуда у сирени, вяло сносившей морошение невидимых капель, появился человек. Он длинно снял картуз и улыбнулся, кажется, желая продемонстрировать приветливость, но вышло почти страшновато. Большой рот распахнулся, показывая два ряда больших и очень редко торчащих зубов. Щеки и нос в сетке мелких красноватых капилляров. Главное – рост: таких больших людей не приходилось им видеть и в больших городах. На плечах – пришитая к пиджаку волчья шкура.

Это был Ромуальд Северинович Порхневич. Не чиновный, но природный правитель здешних мест. Он проверил документы и, кажется, вычитал из них что-то новое для себя.

И без специальных его объяснений наступило понимание: лучше ему не перечить, и тогда жизнь будет терпимой.

Шинок стоял запертый уже не первый год. Ромуальд отодрал доски с оконных проемов, велел растопить печь и приставил к кухне девку для обедов. Сказал, что сам даст дров на это дело и будет даже платить три рубля в месяц той кухарке. Взялась Машка Жабковская, рослая, великовозрастная, вечно вздыхающая («Аб чем вздыхаешь, Маша?» – «Аб жизни!..») девка из дома, что через один от шинка. Три рубля – деньги.

– А будешь стирать, так и еще два рубля.

Машка вздохнула и согласилась стирать.

– Теперь – чем вам, господа, заняться?

В полицейских бумагах были прописаны запреты для господ студентов на разного рода занятия. Но запрещалось им по большей части такое, чего в здешних местах и так не имелось в заводе.

Ромуальд Северинович легко нашел для обоих полезное применение. Особенно быстро – для инженера. Уже на третий день повез его на своей

бричке на мельницу в лесной излучине на Чаре, что арендовал у него молодой мужик из Сынковичей, по фамилии Кивляк. Там надо было наладить колесо, которое с прошлого месяца после наехавшей на него коряги стало сбоить и вообще останавливаться. Попытки поправить его обычным мужицким способом результата не давали.

Скиндер осмотрел уже довольно старое устройство и предложил выбросить его и переделать все по-новому, он-де видел на выставке в самом Брюсселе. Дорого? А это ничего, скоро окупится, и мельница станет знаменита на всю округу. Кивляк не очень хотел. Он стремился в собственники и почти уж выкупил мельницу у Ромуальда Севериновича, а тут намечалось сильное продление кабалы. Не хочешь? Тогда пошел вон! Так поставил вопрос Ромуальд, выразительно поправляя волчью шкуру на плечах. Нрав его был известен, спорить долго было опасно. Тем более он обещал помочь с деньгами, пришлось согласиться. В конце концов бельгийское устройство выписали и установили, и оно заработало, только арендатор конечно же попал в новый, совершенно неоплатный долг своему благодетелю. Кивляк скрытно ярился, но что было делать, у мельников всегда почему-то огромные семьи. Как-то надо кормить.

А инженеру-то что, по своей профессиональной части он сработал наилучшим образом. И его стали приглашать то туда, то сюда. Ромуальд Северинович велел только, чтобы все эти отлучки происходили с его «высочайшего» ведома. Он никогда не запрещал даже дальние экспедиции, но желал, чтобы все они проходили как им лично позволенные.

Пан Гигевич из Новосад попросил наладить маслобойку. Съездил Скиндер, наладил. А заодно разобрался с водонапорной башней у пана Разгонского, что хозяйничал совсем уж далече, за аэродромом на краю Пущи, почти у костела.

Были и мелочи – вроде фейерверков по праздникам в городском саду в Волковысске.

Скиндер больше времени проводил на работах, чем в Порхневичах.

Ромуальд Северинович так поставил дело, что с просьбами о профессиональном применении ссыльного инженера обращались обязательно к нему, и он конечно же не отказывал разным уважаемым соседям. Выглядело все так, будто молодой немец отдается в инженерную аренду от пана Ромуальда. Прямые вопросы в провинции не принято задавать – тонкости обхождения среди местной «шляхты» соблюдались сугубо. Предлагалось домысливать и злословить в сторонке. Становой пристав, пару раз наезжавший в порядке «наблюдения за соблюдением правил», а на самом деле по тихой жалобе некоторых соседей, пил чай с Ромуальдом Севериновичем, уложив в портмоне банкноту, и тем самым как бы узаконивал сложившийся порядок вещей.

Скиндер обо всей этой паутине тончайших местных взаимоотношений ничего не знал, поскольку вел образ жизни, который ему, в общем, нравился и приносил определенный доход.

Петя юрист отбывал ссылку стационарно; применить его с пользой оказалось труднее. В полицейском документе прямо прописывался запрет воздействия на народные умы со стороны ссыльного. А Ромуальд Северинович, после того как в Гуриновичах скончался пан Пшегрода и закрылась школа – указанный пан был единственным учителем, – очень был занят мыслью о том, что «его дети» растут неуками.

К отцу Ионе обращаться за помощью по этой части невозможно было по

двум причинам. Первое – не одобрит ксендз Бартошевич, а от него в очень большой степени зависело, будет ли пан Порхневич полноценно принят местным «обществом» в число своих. Второе было связано с первым. Иона сам бы ни за что не согласился пойти навстречу Ромуальду Севериновичу после той истории с подружкой дочери ксендза Бартошевича и решительным вмешательством в это дело пана Порхневича.

Сосланный юрист показался очень подходящей фигурой на роль Пшегроды. Ромуальд решил, что «его дети» будут учиться. Он делил детей на «своих» и «чужих» по особому принципу. Старшего собственного сына Доната, чуть замедленного в развитии, он и не собирался мучить науками, а, скажем, вечно сопливого, но очень сообразительного Ваньку Михальчика велел его родителям обязательно отдать юристу в ученики и даже выдал мешок ячменя как бы в компенсацию за отсутствие хлопца на домашних работах.

Ивашов, когда ему предложили, пожал плечами: в общем, что же, дело было ему знакомое, он, как многие студенты, иногда подрабатывал уроками, но нерегулярно, а лишь в виде фронды против вполне состоятельной родни, от которой зависел финансово. То есть не кормился уроками, а развлекался. Но объяснять эти столичные детали громадному белорусскому зубру с волчьей шубой на загривке – какой смысл?

Ладно.

Собрался вокруг «учителя» небольшой класс. Кроме сына Витольда, ради которого Ромуальд, собственно, и затевал всю эту кампанию, начал учиться и младший братишка Тарас, суетливый и непоседливый хлопец. На самом деле его звали Ольгерд, но это имя перебила кличка, мальчик очень любил при всяком удобном и неудобном случае вставить в разговор польское словечко «терас», что означает «сейчас». Оно и трансформировалось в новое имя – Тарас. Все привыкли. И даже отец его так звал. Имя он давал своим сыновьям в соответствии с давней традицией – чтоб было у любого Порхневича оно звучное и не мужицкое, но с годами ясно стало, что звучное имя Ольгерд никак парню не идет: простоват, вспыльчив, упрям. И Ромуальд достойного наследника рассчитывал найти во втором сыне – Витольде.

Помимо уже упоминавшегося Ваньки Михальчика был еще Петро Жабковский, и его тоже больше знали по кличке – Бажа. Она родилась от уличной дразнилки – Жаба. Если тараторить подряд – жабажабажаба, то и на выходе получается та самая Бажа. Не то чтобы он очень тяготел к наукам, просто жил поблизости. К тому же старшая сестра Машка была та самая, что обстирывала и кормила ссыльных, так что будет какой-нибудь присмотр и кусок для обоих Жабковских.

Еще два племянника Ромуальда вошли в число учеников, но и они учились без охоты, и родители их все время выдергивали для каких-нибудь дел по хозяйству, так что про них осталось неизвестным – продвинулись они в чтении или совсем нет.

Программа обучения была составлена самим Ромуальдом Севериновичем. Сначала совсем аскетический вариант: только письмо и счет. Исключительно практические навыки. Бумагу и чернила выписали из Новогрудка. На первых порах обучение шло без каких бы то ни было учебников. Деревенский голова страховался на всякий случай, ему было не вполне понятно, насколько внимательно поглядывает государственный глаз в сторону учительского дома в Порхневичах. И на тот случай, если господин пристав решит проверить, чем заняты ссыльные, хотелось иметь поменьше причин для нареканий. Никаких книг, например, не завозим.

Скоро выяснилось, что власти до этих двух господ дела нет, об образе их жизни она в общем-то в курсе и разъезды инженера Скиндера по разным мелким заказам в пределах двух-трех уездов ее волнуют мало. Значит, и насчет «школы» переживать особо не стоит.

Ромуальд Северинович намекнул, что можно, пожалуй, расширить образовательный фронт. Но чтобы без вольных, беспокоящих наук. Долго обсуждали с господином Ивашовым, что можно было бы прибавить к программе, не выступив ни шагом против правительственных установлений. Сошлись, что география и древняя история позволительны. Был выписан глобус из Вильны – не сочтет же господин исправник, что таким образом ссыльный готовится к побегу из-под надзора. Что касается древней истории, то вообще получилось хорошо – у студента имелись при себе книги про месопотамские времена. Ромуальд Северинович поднимал тяжелые мрамористые обложки и разглядывал бородатые профили древнейших царей и истекающих кровью львов, пробитых целыми пучками точных стрел. Заметив, что глаза Витольда горят при виде этой рисованной древности, он позволил, пусть. Непонятно для чего это может пригодиться, но пусть!

Детям господин учитель, можно сказать, полюбился, был он человек мягкий, если не сказать, тихий, любитель поговорить, и все больше на отвлеченные темы. Ни о какой требовательности речи и быть не могло, цифры и прописи кое-как пройдены, есть что предъявить отцу. А дальше... Учитель очень тосковал по запретному для него Петербургу, и тоска эта выливалась у него в длинные мечтательные рассказы о великом городе. Дети слушали его внимательно, особенно потому, что понимали: пока он рассказывает, он не заставит считать и выписывать на бумаге.

А когда была хорошая погода, он отправлялся со всем выводком на прогулку. Обычно к речке. Как и многие дарвинисты (а он был дарвинист), природу он не знал и не слишком-то любил. Часто повторял циничную шутку своего отца-сибарита: я люблю природу, но желательно, чтобы на горизонте все время маячил официант. Однако было исключение в этом леностном снобизме: учитель любил поудить рыбку в непосредственной близости от этой мрачной лесной стены. Витольд – ему было уже лет девять, зрелый по деревенским меркам возраст, – сооружал снасти на пару с Тарасом, Жаба копал червей, и они вчетвером устраивались на бережку Чары, между двух ивовых кущ; следили, как скользит мимо неторопливая светло-коричневая вода, а в заводях лежит на неподвижной темно-коричневой воде цветочная пыльца и носятся водомерки. Это были лучшие минуты, потому что можно было не отвечать на обычные у детей вопросы: а почему корова дает молоко? а почему солнце заходит вечером? В избе он отгораживался от этой жажды постижения мира прозаическими поэмами о петербургских тайнах, а на берегу Чары запрещал их, прикладывая палец к губам: рыбки разбегутся.

Так в полусне на берегу он провел первые месяцы ссылки, пока отец Иона не затащил их со Скиндером во Дворец. Явился сам в школу и уговорил. Ему было необходимо частично вывести молодых людей из-под влияния «волка». Священник был во вражде с Ромуальдом Севериновичем, и причина вражды была серьезная.

Молодые люди отнекивались. Для чего их, ссыльных, везти в законопослушный дом – компрометация для хозяев.

Наоборот, вы только развлечете Турчаниновых. К ним никто из местных практически и не ездит, потому что сплошь поляки, и они помнят, каким путем данное имение перешло к нынешним владельцам.

Поехали.

Надо сказать, при первом знакомстве разочаровались друг в друге.

Хозяева Дворца были люди просвещенные. Елизавета Андреевна, маленькая, улыбчивая, легкая и точная в движениях, первенствовала в доме; Андрей Иванович, супруг, больше старался остаться на втором плане в районе своей необыкновенной оранжереи, или, как любил говорить, «станции».

Молодые люди разочаровали хозяев. Те рассчитывали увидеть перед собой чуть ли не карбонариев, а тут с одной стороны расплывчатый мечтатель, а с другой технический делец.

На обратном пути молодые люди обменялись мнениями. Скиндеру были смешны полуманиловские поползновения графа в область естественных наук. Графиня раздражила не меньше своей абстрактной сердечностью, планами устройства больницы для крестьян в одном из флигелей барского дома. «Остаточное народовольство» – таков был вердикт инженера. Юрист же только загадочно улыбался.

Поначалу молодые люди бывали практически регулярно, по средам, во Дворце – благодаря общественной активности отца Ионы. Он был мотором маленького общества, что собиралось на широкой веранде господского дома Турчаниновых за вечно действующим чайным столом. На одном конце его располагался большой начищенный самовар, искажавший физиономии гостей. Казалось, что они все время улыбаются, и истекавший от него тонкий хвойный дымок порождал колючее сомнение: а так ли беззаботны и прозрачны здешние посиделки? Душой всякой среды была Елизавета Андреевна, наша Дюймовочка, как назвал её однажды отец Иона, вызвав неудовольствие Андрея Ивановича, её мужа. Ему, если честно, просто не нравилось словечко «дюйм», он был из просвещенных почвенников и предпочитал, чтобы супруга наводила на мысль о Василисах Прекрасных. Но даже он не мог не признать, что мощный простонародный заряд, заключенный в этом имени, не шел к его воздушной, легонькой женке так же, как не пошла бы мощная русая коса.

Елизавета Андреевна была добродушна без манерничанья, ласкова без слащавости. Облик её был одновременно очаровательный – худенькая, тоненькая в талии, с голубыми распахнутыми глазами – и исключающий какой-либо грешный на нее взгляд. На нее можно было любоваться не влюбляясь. Особый эффект рождала игра семейных имен, со стороны могло показаться, что тут мы имеем дело с папенькой и дочкой. Андрей Иванович мало сидел собственно за столом, его полномочным представителем был огромный фланелевый пиджак, увенчивавший стул рядом с самоваром, так что могло показаться, что это именно чайный богатырь сбросил его, чтобы отдышаться от внутреннего жара. Андрей Иванович все время был погружен в какое-нибудь дело, всегда неотложное – лоснящаяся спина его жилета мелькала то среди деревьев, то у входа в каретный сарай, то на оранжерейной лесенке. В первый же день он показал Скиндеру и Ивашову свою гордость и, как это водится среди гордых родителей, сопровождал показ жалобами на неказистость драгоценности. Был жаркий, ясный день, студенты расстегнули тужурки своих мундиров, Андрей Иванович попросил их «войти стремительно», приоткрыл дверь и почти впихнул студентов внутрь. И они попали из жары в топку. Жители самых горячих мест Земли нуждались в особенной атмосфере, и они получали ее во Дворце. Впечатление эта ощетинившаяся коллекция производила: жарко, колко – в общем, полное

ощущение, что часть мира просто-напросто вывернута тут наизнанку. Кактусы были и маленькие, величиной с картошку, – ими были уставлены столы, – и гигантские: от пола до выгнутой дугой стеклянной крыши, по которой прохаживались три-четыре вороны, отвратительные, как критики на торжественном вернисаже. Андрей Иванович обещал по полтине серебром за каждую дохлую ворону своим дворовым, но, правда, грозил смертной почти казнью тому, кто повредит стеклянный кожух «станции». Условие было невыполнимое, поэтому самоуверенные вороны нагло топали по стеклянному кожуху.

— Бакарнея отогнутая, по-другому еще называется «слоновая нога», цереусы... Это, господа, цереусы, опунция мелковолосистая белая, да. Толстянка, прошу заметить, древовидная. Тут обрегония конечно же, а это маммилярии. Гордость – агава королевы Виктории. И еще гордость – эриокактусы Ленингхауса.

Ничего из объяснений хозяина этого игластого чуда запомнить было невозможно, мозг неподготовленного человека кипел от жары, и сведения испарялись, откладываясь причудливыми рисунками на стеклах крыши.

Вслух все гости восхищались устройством и наполнением «станции», когда вышли из-под искусственного неба под перистое. Только отец Иона вдруг повел речь о том, что лишний раз убедился: мир Божий устроен человеку на благо, а то, что человек способен учинить сам, собрав, например, в одном месте дикорастущих иноземных чуд, производит впечатление хоть и сильное, но отдающее чем-то адским.

Молодые люди от отца Ионы настолько ортодоксального заявления не ожидали и от этого полемически заостренного мнения мягко отмахнулись. Скиндер верил, что окружающая действительность в очень немалой степени может быть улучшена и переоснащена по толковым потребностям человека. Ему это, как инженеру, и полагалось. Ивашов искоса, но во все жадные глаза смотрел на Елизавету Андреевну и был не в силах еще и поддерживать какое-то развернутое мнение по абстрактному поводу.

Андрей Иванович с улыбкой указывал, что отец Иона ревнует – раньше него сюда, «на станцию», был зван ксендз Бартошевич (так непреднамеренно получилось), и поскольку деятель римской церкви начинание одобрил, то православному священнику осталось только впадать в прямолинейное критиканство.

Елизавета Андреевна мирила всех с помощью крыжовенного, или вишневого, или айвового варенья.

– Вы не против айвы, раз она не растет у нас в бору?

– Нет-нет, что вы, любезнейшая Елизавета Андреевна, откушаю и похвалю, поскольку уверен – найду в нем вкус.

Упоминание о пане Бартошевиче расстраивало не только в кактусовом разрезе. Пару лет назад имел место бурный и досадный эпизод. Тогда еще совсем молодой отец Иона, только-только прибывший на место своего служения по консисторскому предписанию, увидел в гостях у Турчаниновых семейство вышеупоминавшегося ксендза. Пан Бартошевич привез с собою двух польских красавиц – свою племянницу и подругу племянницы; по какой причине они оказались в таких дебрях, как Далибукская сельва, сейчас уже никто не вспомнит. И надо же такому случиться, одну из девушек молодой священник, весь сверкавший риторическим реформаторским пафосом, очаровал. Да настолько, что дело дошло до тайной переписки и даже – но это, скорее всего, домыслы – до приватной встречи в условленном месте. Понятно, что отец Иона выглядит в этой истории каким-то Арамисом, но

что поделаешь, в песне было и такое слово. Да надо иметь в виду и совсем юный возраст отца Ионы, и революционный душок времени, и мысли его вообще выйти из рукоположения. Заигрался, в общем, отец.

Пан Бартошевич утверждал, что подруга его племянницы была слишком юна и доверчива, слухи утверждали, что племянница ксендза чуть ли не сама первая писала к служителю чуждой конфессии. Составился эпистолярный пока, но все же рискованный треугольник. В общем, надо было из ситуации выбираться. В силу сана, субтильности и возраста пан Бартошевич деятельного, а тем более физического участия в деле принять не мог. Такой человек должен был быть сыскан несколько на стороне – и был сыскан.

Ромуальд Северинович Порхневич. Положение этого могучего и, кажется, весьма состоятельного человека было и значительным, и двусмысленным. Он старался со всем своим кланом затвердиться в шляхетском качестве, но для этого у него весьма недоставало внешних показаний. Бумажная его битва с архивами и канцеляриями шла своим чередом, а повседневная практика служила поводом для всяких мелких досадных уколов в самый центр самолюбия. Вот хотя бы в костеле его семейным не дозволялось помещаться во время службы на местах среди родовитых поляков. Приходилось тесниться среди простонародья, где можно было застать и мужика-оборванца, но католика. Чуть ли не в притворе приходилось слушать проповедь, до того доходило, что хоть не езди совсем на службу от стыда. Да и в остальном жены местных шляхтичей или лиц, в своем достоинстве претендовавших на подобное звание, ни за что не пригласили бы супругу пана Ромуальда на чашку шоколада, как это было принято в их среде. И это притом, что большинство из них или были должны Порхневичу, или подумывали о том, чтобы у него занять.

Но и богатство его само по себе не обладало полновесностью. Еще дед Ромуальда Франц Донатович каким-то непонятным, канувшим в волнах времени способом приватизировал право представлять мелких арендаторов своей деревни и мельников типа Кивляка не только перед лицом землевладельцев вроде того же графа Турчанинова, но и перед властью. Он не был официальный откупщик, однако положение его было особое. Никто не знал в точности, в каком таком документе с какой такой печатью права пана Франца Донатовича оговорены. И оговорены ли вообще. Да, жизненное дело движется таким образом, что будто бы все законно с его стороны. Ко временам Ромуальда Севериновича положение стало привычным, и никто против него умышлять и не пробовал.

Но сомневающихся, пусть очень тихо, было немало. Крестьяне вёски Порхневичи, тем более что треть от их числа имела имя деревни в виде своей фамилии, были, надо сказать, довольны, что у них есть этот как бы барин; он умеет обойтись с отдаленными господами, и до голода в деревне никогда не доходило, как у некоторых. Надо – открывал Ромуальд и свои закрома, если кому-то нечем было отсеяться.

И вот случай. Пан Бартошевич вечерней порой прибег к подмоге пана Ромуальда Порхневича. Так-то и так-то, выручайте, уважаемый! Ума, мол, не приложу, как тут быть! А именно той самой ночью в тени липовой аллеи должна была произойти встреча неосторожного отца Ионы то ли с племянницей ксендза, то ли с подругой племянницы. Да, ксендз Бартошевич использовал тайну исповеди в семейных целях. А что делать, если без того не обойтись!

Молодые люди только-только протянули друг к другу трепещущие руки,

как явился Ромуальд Северинович на своей бричке прямо из ночной тьмы и разрубил нарождающуюся двусмысленность своей тяжелой, безапелляционной дланью. Говоря проще – отстегал молодого батюшку хлыстом, да так, что тот чуть не неделю хворал.

Девы отбыли в Вильну, отец Иона – в койку зализывать следы разговора, а пан Порхневич теперь взял достойное место в костеле Святого Казимира.

Правда, не обошлось без дополнительных усилий. Имелся «в обществе» некий пан Лелевич, желавший быть, что называется, святее папы. Всегда в обществе находится такой. Даже зная о благодарности ксендза Бартошевича в адрес Ромуальда, он попытался показать «псякреву», представителю собачей то есть крови, что рано ему числить себя полноправным членом парафии. В праздничный день, при стечении народа и транспорта у костела, озлобленный Лелевич перегородил своей чахлой коляской дорогу перед носом коляски Порхневичей. Три брата – Донат, Витольд и Тарас – молча выгрузились из экипажа и одним махом сковырнули преграду Лелевича в кювет, после чего проследовали далее, оставив того бессильно злобствовать. Ромуальд Северинович оставался сидеть в коляске и даже глазом не моргнул.

То, что совершил пан Порхневич, было явным преступлением, но отец Иона решил не затевать дела. Во-первых, стыдно, во-вторых – ему был отлично известен настрой местных царских чинов: им было велено не трогать поляков без явной необходимости. Поляки в представлении Петербурга непрерывно находились в преддверии очередного бунта. И местные суды все сомнительные дела, если судился кто-нибудь из русских с поляком, решали в пользу шляхты. Да и обращение к благочинному по этому поводу не добавило бы молодому батюшке авторитета. Он решил затаиться. Настанет день.

Интересно, что, продвинувшись в храмовом измерении, пан Ромуальд остался там же, где был в измерении светском. Этому было объяснение: супруга громадного Ромуальда Тамила Ивановна была обычная крестьянка; брак в свое время совершился по сильной взаимной страсти и даже расстроил Северина Францевича, тоже, как и все Порхневичи, питавшего высокие виды, да ничего уж не поделаешь. Принимать неловкую, вопиюще не знающую форм обхождения тетку из лесного мешка церемонные провинциалки тотально отказались. Вот так: спаси женскую честь, и нарвешься на черную женскую неблагодарность.

Вот и приходилось только словесно разить тень католического врага.

– Вы наговариваете на него, батюшка, – тихо, дружелюбно улыбалась Елизавета Андреевна.

– Где же наговариваю, дорогая моя, одну только правду и имею донести.

Супруги Турчаниновы были демонстративно светским семейством – времена стояли такие, что по-иному людям их круга вести себя было как-то даже и странно. Крещенные в Православие, они даже на Пасху не делали визита в храм, к глубочайшему огорчению отца Ионы. Он вел упорные и неравные бои с католическим окружением. Правда, простой народ был весь у него, но часть элитная была вся у Бартошевича.

– У нас здесь территория совершенно нейтральная в конфессиональном смысле, – напоминал Андрей Иванович, когда градус религиозного разговора, бывало, поднимался за столом.

– Потому все тут кактусами и зарастает, – шептал едва слышно отец Иона, а вслух замечал графу, что вот польское дворянство сплошь религиозно, тогда как наше...

Турчанинов ласково улыбался ему, как бы говоря: мы смотрим сверху вниз, со своей просвещенной точки зрения и на темный народ в вашей церкви, и на господ в костеле Бартошевича.

Скиндер согласно кивал: науки и машины – вот откуда нас ждет благоденяние будущих благ.

Чтобы лишний раз не встречаться с отцом Ионой, Ромуальд Северинович почти не навещал Дворец, хотя у него глаз сильно зарился на некоторые части этого имения. Например, кактусовод неразумно, по его мнению, забросил небольшой стеклолитейный цех, что за ельником при прежнем владельце, пане Суханеке, был устроен при самом впадении ручья в Чару. Ромуальд Северинович мечтал затеять небольшие лавки в Волковысске, Новогрудке и Лиде, где рассчитывал открыть пивную торговлю, а для этого требовалось известное количество бутылок. Отливая свою посуду, он мог бы выброситься на широкий губернский рынок с дешевым продуктом или войти в долю с кем-нибудь из заслуженных пивоваров.

И так, и эдак подъезжал Порхневич к графу, но тот только морщился. Мысль о хлопотном и неверном, на его взгляд, предприятии ему была неприятна. Ромуальд Северинович наставлял Скиндера на то, чтобы он готовил графа к необходимости технической революции в пределах имения, опутывал его натуральное сознание прелестью технических сказок.

Андрей Иванович не соглашался, но и не отказывал решительно, он обнаружил, что, несмотря на весьма «волчий» антураж гиганта из Порхневичей (он его, кстати, про себя прозвал Кадудалем – в честь одного из лидеров Вандеи), он имеет дело с человеком понимающим, рассудительным и, без всякого сомнения, полезным. Граф рассчитывал с его помощью все же наладить отношения с окружающими дворянчиками, а то живешь как на острове. Местные, даже самые нищие из шляхетского сословия соседи, не хотели забыть, каким образом Турчаниновы добыли имение гордого и даже, кажется, павшего в боях пана Суханека.

Ромуальд Северинович, таким образом, вел речи об экономии, а граф о гордости. Эти контакты на несовпадающих курсах продолжались довольно долго. Однажды Кадудаль сказал графу напрямую:

– Позвать кого-то, наверно, можно, да только не приедет никто.

– Мы же даже в церковь не ходим, – немного не к месту, а вообще, к месту заметил граф, намекая, что религиозного барьера между Турчаниновыми и местными поляками быть не может.

Ромуальд Северинович вздохнул, ему не хотелось отказывать в помощи графу, слишком многого он сам от него хотел.

– Даже если кто и явится, допустим, если вы объявите у себя во Дворце ассамблею, то такой едкий мозгляк, как Лелевич, и первым же тостом призовет помянуть прежнего хозяина – пана Суханека. То-то будет радость и взаимное удовольствие.

– Но мы же не отнимали имения, мы... – захлопала фантастическими ресницами Елизавета Андреевна.

Она, как выяснилось, даже плакала ночами от жестоковыйности соседей и мечтала о всеобщем замирении. Состояние войны тяжко для доброго сердца. Елизавета Андреевна задумала даже строить народную больницу – где-то между Дворцом и Тройным хутором.

Ромуальд Северинович только вздыхал. Да, это намного более дельное участие в окружающей жизни, чем «станция» Андрея Ивановича, но шля-

хетские сердца не растопит. Богатеи здешних мест ездят лечиться в Волковысск или Новогрудок, мужики мрут стационарно. В общем, общество больницей не покоришь. Заискивание перед голодранцами не повысит акций Дворца в глазах злоумных Лелевичей.

Елизавета Андреевна вздыхала:

– Но я же обещала Ивану Петровичу (это был фельдшер на пенсии, знаний которого хватало для обслуживания простых деревенских организмов).

– Он же и так, хвала Господу, справляется в своих двух комнатках. В одной лечит, в другой спит, и никаких нареканий.

– Так что же, вы прикажете и лес теперь уже не завозить? – в сердцах воскликнула Елизавета Андреевна.

А вот лес завозить надо!

Ромуальд Северинович уже мысленно нашел место для применения ему. Когда все же дело дойдет до строительства бутылочного цеха, леса понадобится немало.

Андрею Ивановичу постоянно втиралась в сознание мысль: не надо искать себе общества среди уездной мелочи. Глянуть надо выше и дальше. Если удастся привлечь человека с солидным губернским капиталом, то и круг общения станет соответствующим.

Андрей Иванович отмахивался: опять вы о своем заводике!..

Так это же барыш, и вернейший. И вы сможете завести себе самых-самых заморских чуд колючего вида. Сейчас вы копейки считаете, а там контейнеры пойдут из Южных Америк. Ромуальд Северинович беспардонно баснословил, но дело не трогалось с места. Но из Пущи надо было как-то выбираться, и поэтому пан Порхневич пробовал и другие пути. Самого младшего из братьев, Генадю (так звали дома и на улице), отправил в Волковысск, в пивную лавку самого Льва Вайсфельда, учиться на приказчика. Разумеется, без жалованья.

Во Дворец стал наведываться регулярно, чтобы держать ситуацию под присмотром. Если виделся там с отцом Ионой, раскланивался, тот отвечал так же вежливо, со стороны было и не увидеть, какой взаимной злости струна натянута меж ними.

Маленькой победой пана Порхневича в великой кампании по постройке стекольного цеха было внедрение во Дворец Савелия Сивенкова. Обыкновенный уездный мещанин с женой и двумя детьми искал места, где бы был прокорм немаленькому его семейству. Как оказалось, во многом был умел и, главное, понятлив. После короткого разговора с ним в буфете у Волковысского вокзала Ромуальд Северинович понял: такой ему нужен. Был до недавнего времени в управителях в доме Гайворонского, но хозяин разорился, пустил себе пулю в лоб из-за игр на лодзинской ткацкой бирже, и теперь Савелий Иванович искал, где бы притулиться. Посоветовал его управляющий лавкой, где пристроился Генадя.

Андрею Ивановичу пан Порхневич сказал, что при нарастающем количестве дел и перспективе лавки где-нибудь в уезде он не сможет больше уделять столько внимания делам Дворца лично, но есть замена. Вон у вас флигелек на отшибе – отремонтирую, и пусть там живет ответственный человек. Андрей Иванович, надо сказать, порядком уставший от напора Ромуальда Севериновича, от всех его могучих, неопровержимых хозяйственных аргументов, легко согласился. Пусть Сивенков, он, по крайней мере, не станет диктовать и вмешиваться.

Не станет, уверял пан Порхневич – тише воды и травы ниже житель. Одна тихая, мелкая от него будет польза.

Шла своим невзрачным чередом и ссылка студентов. Скиндер все время на колесах, в делах. Ивашов сидел тихо, как ученая мышь, ему уделялось менее всего внимания, что его устраивало вполне. Он, надо сказать, был натурой чувствительной, и конечно же именно он влюбился в Елизавету Андреевну, да до такой степени, что даже видеть ее не мог, и, стало быть, перестал наезжать во Дворец. Когда Скиндер с Ромуальдом Севериновичем отправлялись на роскошной рессорной бричке «на гумовых колах» веселым полднем, дабы, кто приятно, кто полезно, провести время на веранде или в прогулках вокруг господского дома, он отказывался включиться в компанию, бурчал что-то про «срочный урок» и брел на Чару с удочками и мальчишками. Ромуальд не ломал его – пусть, главное, Витольд при деле и бесплатной наукой пропитывается.

И вот однажды смурной юрист, одетый по-крестьянски в полотняную рубаху и белые от вечной стирки портки, тащил из коричневатой воды под обрывом берега очередную плотвичку, как за спиной у него выросла тень, заслонившая небо. Витольд, Бажа и остальные судорожно вдохнули горячего полдневного воздуха и, обернувшись, замерли: Ромуальд Северинович нависал над учителем громадиной. Более того, он сгреб за ворот рубахи студента, так что тот косо растопырился, а с удочки сорвалась жалкая добыча.

Что случилось?!

Ромуальд Северинович не захотел в присутствии учеников обрушивать на зажмурившегося пана учителя клубившиеся в груди и уже даже во рту грозные речи.

А случилось вот что. Машка Жабковская, эта здоровенная, замедленная, рассеянная, немного нечистоплотная, ну, то есть совершенно непривлекательная с куртуазной точки зрения девка – такую Ромуальд и подбирал, предусмотрительно избегая осложнений по той самой части, – забрюхатела.

Когда, как, от кого?

Молчала. Упорно и с видом «хучь убейте, не откроюсь».

Быстрое, рьяное и бестолковое расследование провели родственники и явились к голове уже с челобитной: помоги, ибо сами докопаться не можем. Случай и правда сложный: возраст танцулек и женихований Машка давно переросла, и если уж в более свежем варианте никого из местных хлопцев не увлекла... Все подозрительные личности из числа деревенских ходоков были доставлены на допрос к Ромуальду Севериновичу. Никто не отрицал его права на это дознание. Уж если он своим братьям не попускает (а он не попускал вольностей по части женского пола, была такая родовая особенность у Порхневичей), то всем остальным надо было быть готовыми к ответу в этом смысле.

Случаи тайного распутного поведения в деревне, конечно, случались, но исключения лишь оттеняли всем известное: Ромуальд Северинович бесчинства и похабства такого не поощряет.

Во время этого короткого следствия все подозрительные личности вёски, и Гордиевский, и шустрый Саванец отбоярились. Да и Машка только брезгливо морщилась, когда у нее спрашивали о них. Не они!

Скиндер всегда в отъезде, да и немец он! Брезглив. По крайней мере, так почему-то всеми считалось.

Кто-то из Гуриновичей пробрался ночной порой?

Да кто же ради такого рябого добра станет время тратить и рисковать нарваться на гнев Ромуальда!

Простого лихого прохожего в здешних местах быть не могло. Разве что на медведя подумать.

Походив методом исключения, добрались до единственного мыслимого кандидата.

Юрист!

Он все время дома, скучает, зевает, а она тут, прямо рядом, полы моет, – почему бы и не составиться быстрому греху?

Юрист сидел на берегу, то радуясь ласковой природе и таинственной реке, то слегка завидуя ловкому Витольду, который дергал одну плотвичку за другой, и ни о чем не подозревал. А между тем метод исключения, примененный Ромуальдом, неизбежно вел к его персоне.

Где он?!

Ромуальд бросился на берег.

И вот над юристом скала с цепкими руками и острым взглядом. Но убежденность скалы треснула при виде предполагаемого виновника. Куда уж такому своротить крупную девку; она его лягнет – и он калека.

Не сходится все как-то.

Нет, не он: перепуганный, жалкий.

Впрочем, жизнь учит – иногда жалостью берутся такие крепости, какие устояли против геройства и денег.

Но Ивашов так искренне отпирался... Не сходилось в голове Ромуальда; как ни прикладывай, не прикладывается.

От гнева на возможного виновника следствие перешло к уговорам потерпевшей стороны:

– Маша, вспомни, может, кто-нибудь как-нибудь ненароком, когда ты прилегла подремать после обеда, подскользнул под твое одеяло, а ты и не заметила: с такой коровицы, как ты, станется; при твоих телесных талантах ты и родила бы не проснувшись.

Маша Жабковская в ответ только вздохнула.

– Если не он, тогда кто? Дух Святой?!

И Маша вдруг кивнула, будто осененная новой мыслью:

– Он.

– Кто «он»?

– Пан учитель.

Что её побудило на оговор? Скорее всего, она своим неповоротливым умом дошла: лучше хоть на кого-нибудь указать, чтобы скрыть подлинного дружка сердечного, а то, судя по обстановке, ему достанется: Ромуальд Северинович человек страшной строгости.

Совершенно ополоумевший от нелепого обвинения, юрист и отнекивался, и клялся, и взывал к разуму – не помогало. Пробовал сам опросить кухарку – когда это было? Она загадочно улыбнулась и высказалась в том смысле: чего там, много раз было.

Испуганный, помятый при разговорах, впадавший то в ярость, то в отчаяние, юрист извивался на своей постанывающей железной койке и кричал хозяину Порхневичей, сидевшему напротив на табурете, расставив былинные по размеру ноги, сдвинув брови и оскалив немного страшный рот, – что этого не может быть, он не виноват, ему всего этого не надо, она сумасшедшая!

– Она, может, и дура, да только тебе, пан учитель, от этого не легче. Вину придется загладить.

Юрист замер.

– Что?

– А то, обрюхатил девку – женись!

– Я?!

Ромуальд кивнул.

– Это вздор!

– Нет.

– Я не виноват!

– Как же она брюхата?

Юрист даже подпрыгнул на месте:

– Я-то почем знаю!

– Ты не знаешь, зато я знаю.

– Я дворянин, – проныл юрист, пытаясь с этой стороны указать на абсолютную абсурдность претензии Ромуальда.

– Ай-яй, а нынче как раз не старое время.

– Вы что же, извините, серьезно? Вы представляете себе, что я, что я... женюсь на...

– Да.

Сказав это веское, окончательное слово, Ромуальд вышел вон из комнаты, до краев полной горем. В заявление Машки он не то чтобы поверил, просто для него оно открывало какой-то выход из ситуации. Он по принятому на себя статусу не допускать такого надругательства не допустит его. Род Порхневичей испокон веку стоит на том, чтоб беззащитных женщин не обижать.

Дворянин впал после яростной двигательной фазы в ступор. И чем дальше и дольше вилась мысль, тем отчаянней выходило его положение. Бежать? Но полицейский надзор! Правда, говорят, многие уезжали даже из Сибири за границу. Но нужны деньги. А пока он получит ответ из дому – если получит, – уже эти дикари его окрутят. Тут не один полицейский надзор, а еще страшный мужицкий. Но не сдаваться же! Ни за что!

Кошмар предстоящего был так абсолютен и подступил так близко своей распахнутой омерзительной пастью, что... Из-за стенки, что отделяла его комнату от кухни, донеслись звуки разговора между Ромуальдом и нехорошей девкой. И разговор этот всего в несколько секунд перешел в крик. Там ругались, причем страшно, очень громко, но неразборчиво, голоса наползали друг на друга. Одно можно было понять: ор идет о браке.

Потом все резко стихло.

Юрист сидел не шелохнувшись, только инстинктивно приложил подушку к груди, как будто защищаясь от чего-то неведомого.

И тут Ромуальд Северинович вдруг вернулся. Опять сел на табурет. Юрист болезненно вздохнул, горло было пережато судорогой, болезненно, но и радостно: у них что-то не сходится.

Пожевав нижнюю губу, подвигав ноздрями, Ромуальд сказал:

– Повезло тебе.

Юрист схватился за горло, массируя его, боялся задохнуться от радости.

– Не идет она за тебя.

И вышел.

Кошмар неловкой неопределенности продолжался дня четыре. Маша ходила гордая и загадочная. Отвергнутый, но и осчастливленный, Ивашов вел себя тихо и зябко: не дай бог, передумает. При этом ему было еще и обидно где-то глубоко внутри. Его отвергла деревенская кухарка! О, как это страшно – быть полностью в руках женщины!

Разъяснилось все скоро, Маша была не мастер хранить тайны.

Был среди детишек, что составляли «класс» при Ивашове, один очень резвый, очень белоголовый, синеглазый, ярко конопатый – Антон, из семьи Сахоней, что занимали самую крайнюю хату Порхневичей, дальше всего от моста, глубже всего в Пущу. Батька его был вторым из двух главных деревенских самогонщиков. Испокон веку они гнали свое неподакцизное пойло в лощинах леса, что начинались сразу за опушкой, только войди меж елками вглубь. Волчунович вроде как тайком от официальной власти согласовал с Ромуальдом Севериновичем свой заводик в лесу и вечно варил адскую свою водку из местного белого бурака.

Сахонь заупрямился, не захотел отчего-то – скорее всего, просто от характера – падать в ножки Ромуальду и не подносил бочонок к празднику. Семен Сахонь, отец Антона, дерзкий, языкатый мужик, держался на удивление независимо и на угрозы Ромуальда: посажу! – отвечал, скаля зубы: посади! Приходилось его терпеть: тронешь мерзавца, полезного и покладистого Волчуновича, – подведешь под неприятность. Но уязвить Сахоня случая Ромуальд Северинович не упускал. Увидев, что мальчонка Семена тянется к наукам, велел Ивашову: шугани его. Мягкотелый юрист отнекивался от этой роли. Тогда обязанность эту взял на себя «староста» класса – Витольд. Антон был ему изначально, с первых сознательных дней, противен, потому что во всех затеях детских оказывался первым на вёске. Лучше всех бегал, плавал, дрался. Витольд охотно стал гонять Антона, да тот не слушался, а будучи все же отогнан, сидел неподалеку и высмеивал «дурных бурсаков». Побить его раз и навсегда было невозможно: силы и годы были равны. Но и не звать же Доната, это как-то против сердца. Порхневичи, учил Ромуальд Северинович, не кулаком должны прежде всего действовать, а авторитетом.

Оставалось терпеть Антона как мелкое неизбежное зло. Но тут он неожиданно помог.

Заметили бабы у колодца, что Машка Жабковская гоняется за малым, да вся раскраснелась, кричит страшно и кулаки задрала выше головы. Колодец с журавлем стоял напротив главной резиденции Порхневичей испокон веку, у него всегда толклись бабы – не столько набрать воды, сколько набраться новостей, – и вот при всем народе такая гонка. Хлопец бегал, смеялся и помавал по воздуху каким-то платочком. Жабковская все же догнала его, платок отобрала и стала драть уши, когда другие бабы вмешались.

Что за платок, лазоревый, шелковый, таких сроду у простых девок в Порхневичах не водилось.

Откуда такой?

Маша смешалась и сдалась: друг сердешный баловал.

Ромуальд, когда ему доложили, мгновенно вычислил – инженер!!!

И даже по затылку себя постучал: как это я раньше не сообразил?!

При первом же вопросе Маша раскрылась, вздохнула и обильно заплакала. Да, инженер, он такой, он с подходом к женщине и всегда как приедет...

– Что ж ты его таила, от всех прятала?

– Жениться обещал, если тайну сохраню.

Мстя за пережитой страх, юрист поинтересовался у Ромуальда Севериновича, да еще и при многочисленных свидетелях: будет ли распространяться его справедливость за пределы Порхневичей и всех ли она касается или только таких слабогрудых и безответных, как он, то есть заставит ли он инженера Скиндера жениться на обманутой Машке?

Делать было нечего. Ничего не отвечая, утром следующего дня Ромуальд Северинович заложил бричку, посадил рядом с собой двоюродного брата Ефима, крупного, мрачного мужчину, который и без волчьей шкуры на плечах не уступал в значительности Ромуальду, и они укатили через мост в Гуриновичи; дорога предстояла неблизкая – до Пружан, там инженер ставил паровую пилу в лесопильном хозяйстве.

В Порхневичах поселилось само ожидание, оно принимало разные формы: мужики, возясь по хозяйству, вдруг разражались внезапным смешком или, покуривая, неожиданно швыряли окурок самокрутки в грязь и давили лаптем. Многие помалкивали, жадно ожидая фиаско хозяина, ибо устали от его нависания над их жизнью. Когда его обломает столичный специалист по машинам, авось станет всем легче держаться против гордости этих Порхневичей. Гогот баб у колодца не стихал. Одни верили, что «Северинович добьется», другие отказывались верить в такое, уж больно крупной рыбой казался им пан инженер. Попутно очень снисходительно высказывались про юриста: «Таго, можа бы, и абжанил».

Порхневичи даже и сами внутри себя разделились. Многие считали, что да, раз такое правило установил Ромуальд, раз он смотрит тут за народом, то должен добиться. Другие считали, что зря он так разинул рот: а полезет ли кус? Откажется инженер, и придется вернуться ни с чем, а это для всех Порхневичей ганьба.

Особенно усердствовал другой двоюродный брат Ромуальда – Сашка. Редкий случай непреодолимо неудачливого Порхневича. У него все мерли: и жены, и дети, и скотина, и если урождался бурак у всех поголовно, то у него он всецело гнил. Сашка искренне и шумно не любил Ромуальда и по любому случаю задирал его. Бывал бит неоднократно, и открыто, и тайком, но гордо нищенствовал среди цветущих, зажиточных или хотя бы пристойных хозяйств своих родственников и умудрялся гордиться этим, как какой-нибудь благодатью.

Теперь он предвкушал общий, широкий, детальный реванш. Он разгуливал по деревне и с каждым заводил разговор о предстоящей неудаче Ромуальда и о том, какая в этом будет правота и избранность его, Сашки.

Кончилось все поразительно.

Через три дня Ромуальд Северинович въехал в деревню вместе с братом и с господином Скиндером. Прокатили до «замка» Порхневичей, там он велел вынести ему чересплечники сватовские и особые фуражки с цветной тульей.

Ромуальд Северинович безошибочно вычислил, на кого надо было возложить почетную обязанность:

– Сашка, иди сюда.

Двоюродный брат не посмел ослушаться, понимая, что проиграл. Послали еще за Иваном Цыдиком и назначили их сватами. По мужицкому православному чину. Негоже было человеку из костела, самому пану Порхневичу, сидящему во втором ряду перед кафедрой ксендза Бартошевича, пачкаться в эту историю.

Бричка, кое-как развернувшись на улице, заросшей репейником под заборами, покатила к воротам Жабковских, благо были они в полусотне шагов. Скиндер сидел как влитой и вкопанный, не моргнув глазом, не дернув ноздрей, хотя народу собралось множество и все внимательно на него смотрели.

Ромуальд и Ефим остались стоять у ворот двора, в хату вошли Сашка и Иван Цыдик, Жабковские сидели там, внутри, ни живы ни мертвы. Им уже донесли: ждите. Прошли глухие, картонные переговоры: у вас товар, у нас купец; мальчишки налипли на окна, но ничего толком не успели рассказать – все вышли. И Маша, и батьки, даже кое-как переодевшиеся в приличное к случаю.

Скиндер все сидел в бричке. А за ней уже пристроили две еще другие, пусть и не «на гумовых колах», а попроще.

Только когда Маша вышла за ворота, Скиндер изволил покинуть свое место и помог невесте подняться в бричку. С ними поехал и Ромуальд. Родители и прочие родственники двинулись на двух других повозках, а прочие бегом следом.

Отец Иона, изображая несуществующую солидность, обвенчал их.

Ромуальд, Ефим и еще человек шесть взрослых Порхневичей стояли вне церковной ограды, покуривали, изображая поляков. Рядом терся Ивашов. Он никак не мог выбрать, куда ему, бывшему революционеру и агностику по убеждениям, ближе: к православным или к католикам.

Когда вернулись, на дворе у Жабковских уже на быстро сколоченном сосновом столе накрыли угощенье – отъезжая, Ромуальд отдал команды. И даже брама стояла благодаря местным, немного смущенным хлопцам. Они получили свое за работу, пропуская молодых во двор... А дальше уследить за событиями уже труднее: много выпили самогону.

Скиндер уехал даже не на рассвете, а еще ввечеру. Ромуальд сурово велел Маше не рыдать по этому поводу, ибо у мужа дела важнейшие, аж в самой Жабинке, и не скоро он будет обратно.

После этой истории авторитет Ромуальда Севериновича вознесся уже туда, куда не достигает человеческий ум, как бы критически он ни был настроен.

Один лишь юрист Ивашов задавался мыслью: какую мзду или какую угрозу предложил Ромуальд Арсению Скиндеру за этот спектакль? Интересно, что никто из деревенских, понимая где-то в душе, что все наблюдали что-то условное, а не полноценную женитьбу, тем не менее в обсуждение этих сомнений вступать не любил – не работала народная фантазия в этом направлении, и все тут. Отнеслись как к установившейся погоде: раз она такая, так с ней и будем жить.

История не закончилась вечерним отъездом немецкого мужа. Скоро выяснилось, что имеется тонкая, но вместе и вполне ощутимая нить, связывающая его с семейством. Как только родилась дочка у Марии, ее назвали Моникой, и все семейство стали сначала дразнить, а после уже и просто называть Скиндерами. Причем моду эту начал юрист. Увидев кухарку с ребенком на руках, он скаламбурил при большом стечении свидетелей:

– Ну что, Маша, теперь ты у нас с киндер?

Селяне поняли не сразу, но он потрудился объяснить, очень ему хотелось, чтобы его остроумие было оценено.

Теми же днями пришли первые деньги от господина инженера. Сразу десять рублей. И для деревенских это было весомым доказательством того, что отсутствующий муж не против того, чтобы в Порхневичах прижилось его имя.

Скоро выяснилось, что деньги приходят регулярно, хотя и не часто, все привыкли и уже без всякой игры словами звали Жабковских Скиндерами. Отсутствуя в деревне физически, инженер очень даже принимал участие в здешней жизни.

Нина ПОПОВА *(Россия)*

«МЕЧТЫ НАДМЕННОЙ ВЕРТИКАЛЬ...»

* * *

Выбираю совесть, а не страх, –
Мне Россия сердце подарила,
На её берёзовых ветрах
В отчем слове – праведная сила!
Больше жизни Русью дорожу,
Никому издревле не покорной,
Хоть и рвётся ворог за межу,
Тянет жало к чистоте соборной.
Никогда иудам не понять,
Что навеки, свято и сурово,
Встала за Россию Божья рать
И – плечом к плечу – солдаты Слова!

РОДНИКИ

Всё так же ходики стучат,
Скрипит протяжно половица,

Нина ПОПОВА – поэтесса, публицист и переводчик. Член СПР. Лауреат литературно-общественных премий и наград имени Есенина, Лермонтова, Державина, «За вклад в просвещение», «За гражданское достоинство» и др.

Окончила Высшие литературные курсы (семинар Валентина Сорокина) и аспирантуру Литературного института. Кандидат филологических наук, исследователь творчества Павла Васильева.

Родилась на Белгородчине. Живёт в Москве. Советник председателя Московской городской организации СПР.

И с фотографий всё глядят
До боли мне родные лица.

Салфетка на резном столе
И тканый коврик на пороге,
Икона в старом серебре...
Здесь навсегда сошлись дороги.

Лишь здесь — исток моей реки
И памяти святой страницы.
Моей Отчизны родники,
Где свет любви всегда струится.

РОССИЯ

Я тропинка на вечных просторах России,
Среди множества тропок родимой земли...
Русь моя, подари и любовь мне, и силу!
А душа заболит – под крылом исцели.

На твоих берегах одолею невзгоды,
Буду честно служить до закатного дня,
Согревая озябшие робкие всходы
Строк, которыми ты озарила меня...

* * *

К горизонту стремлюсь —
он зовёт меня выше и дальше,
В тот прозрачный простор,
где сияют рассвета лучи.
В предрассветной поре этой
нету ни страха, ни фальши,
И никто не ворчит позади:
«Подожди, помолчи!».
И куда ни стремилась бы,
где бы меня ни носило,
Кто б вослед ни шипел,
упрекая во всяких грехах,
К горизонту стремлюсь,
там где машет платочком Россия.
Где лежат все пути,
что хранятся в судьбе и стихах!

ОБРАЩЕНИЕ К ПОЭТУ

Выхожу на старую дорогу...
Так когда-то выходил поэт.
Успокоит лунную тревогу
Несказанный лермонтовский свет.

И сквозь шёпот демонов, в бессилье
Сеющих на землю грусть и страх,
Слышу шорох белоснежных крыльев
Ангелов, парящих в небесах,

О высоком и печальном чувстве
Со звездой звезда заговорит...
В иностранцы записали русских,
Выдали на жительство нам вид.

Эта ночь, разодранная в клочья,
На туман похожий горький дым,
Воронье нахальное пророчит
Горькую судьбину молодым.

Поле брани пролегло сквозь хаты,
Сквозь могилы дедов и отцов...
И спешат погибшие солдаты
С журавлиным клёкотом на зов.

Сотни лет кровавого причастья,
Горя, слёз, предательств и смертей...
Где же нам обещанное счастье
Господом, Которому видней?

Накренилось золотое солнце,
Зори братской кровью налились,
Каин вновь над Авелем смеётся,
Братья вновь на битву собрались...

О, поэт, пророческой строкою
От братоубийства охрани!
Что ж никак не обрести покоя
Тем, кто были рождены людьми?

* * *

Кому ветра поют,
Кому ветра пророчат
И тайно гнёзда вьют
В совиной гулкой ночи?

И чью печаль-тоску
Мотают по чужбине...
И чей курок — к виску,
Чья кара на осине?

Чей чёрный человек,
Судьбу и жизнь порушив,
Возьмёт во тьму навек
Измученную душу?!

Ветра, что испокон
Взметают пламя ночи,
Летят со всех сторон,
Обугливая очи.

И слепнет род людской,
И Божий мир — темница.
Утративший покой
Над всем и вся глумится!

...Пусть воют ветры всласть,
Как волки, жертву ищут,
И каркает напасть
Над серым пепелищем.

Но не всевластна тьма:
Спешат ветра иные,
На пашни и дома
Льют ливни золотые.

И веришь — места нет
Ветрам тем окаянным,
Где незакатный свет
Над миром осиянным!

КОСТЁР

Лижет костёр не сучья,
Смотрит в упор на меня —
Тянет язык паучий,
Сотканный из огня.

Плавится меж ветвями
Накипь житейских дней.
Хищное это пламя,
Адовых мук страшней.

Не оправдать, наверно,
Суетной жизни путь.
Жизнь без любви и веры
Мне не мила ничуть...

К людям любовь-привычка
Мне принесла беду.
Пламенной еретичкой
Я на костёр взойду.

Песня моя не спета.
Прочь, погребальный хор!..
Все, кто рождён поэтом,
Всходят на свой костёр.

* * *

Женщина в белом рядом присела:
— Как ты тут, пленница грешного тела?
Всё безутешнее день ото дня?..
Охолонись и послушай меня:

Слишком глаза твои дерзко лучисты,
Стань поскорее же благостно-чистой.
Неугомонное сердце уйми,
Страсть порицается в свете людьми.

Что ж ты, родная, никак не уймёшься:
Любишь, страдаешь, тоскуешь, клянёшься?
Бог даровал людям разум, а ты
Бьёшься в сетях неуёмной мечты...

— Женщина в ангельском белом наряде,
Не осуди меня, Господа ради!
Главную песню я в жизни не спела,
Бог попущает мне жить неумело.

Женщина в белом печально склонилась:
? Что ж, над тобою небесная милость!
Непобедимый душевный пожар,
Видно, не мука, а избранным — дар.

* * *

Однажды меня поделили
На маму, подругу, жену...
При этом, однако, забыли
Про важную долю одну.

Где время, реальность сметая,
Шальною кометой летит.
Но сила родная, земная,
Не даст мне сорваться с орбит.

Сигналы далёких галактик
Пульсируют вечно во мне.
Я тайной магических практик
Владею при полной луне!

Мне это дороже премногих
Уютных житейских минут...
Поэзии вечной дороги
Меня в неизвестность влекут.

Безмерность пространства знакома,
Вмещённая в строчку одну.
Пусть даже любимые дома
Во мне видят мать и жену.

* * *

Ну где же ты, моя синица?
Зачем ты улетела вдаль?
Теперь мне будет долго сниться
Мечты надменной вертикаль.

Пернатую, тебя держала,
Кормила ласково с руки.
Но я тоски твоей не знала,
Небесной неземной тоски.
Я поневоле оказалась,
Прости, тюремщицей твоей.
А ты рвалась – какая жалость! –
В простор некошеных полей.
Я без тебя осиротела,
Синица милая моя.
Поверь, я вовсе не хотела
Тебя сменять на журавля!

ОСЕНЬ

Чем-то пронзительно русским,
Чем-то забытым давно,
Чем-то прощальным и грустным
Осень дышала в окно.

Листья дрожали на клёнах —
Осень к листве не добра,
В гулких полях отдалённых
Стыло сквозное «вчера»...

Этой размытостью серой,
Этой палитрой скупой
Осень мне сердце согрела
Перед суровой зимой.

Что-то крылато и вольно
Вдруг встрепенулось в груди,
Стало не грустно, не больно —
Стало светло впереди...

* * *

Я боли познала немало,
А счастье вместилось в горсти.
Однажды я всё же устала
Житейскую ношу нести.

Опять загрустила по свету
В объятьях глухой тишины.
Я песнею стала неспетой,
Я стала зимой без весны...

И в этом отвергнутом мире
Лишь звёзды в небесном раю
Мне льдисто надежду дарили
У света и тьмы на краю...

Чтоб песней я снова взлетела,
На зов отозваться смогла,

Чтоб я отогреться сумела,
Мне много не нужно тепла!

* * *

Потерпи немного, подожди,
Видно, доля выпала такая,
Нам с тобой попутчики — дожди
И туман от края и до края.

Помолчи, ты слышишь? Не спеши,
Лучше разговаривать молчаньем,
Сохраняя в тайниках души
То, что там хранилось изначально.

Не нужны ни письма, ни звонки,
Чувства в них не станут дорогими,
Словно птицы, улетят с руки,
Разделяя высоту с другими...

* * *

Ты мне больше не верь,
Утомлённая ложью душа.
Моим клятвам теперь
И сама я не дам и гроша.

Пусть свободы глоток
Не щадит ни тебя, ни меня.
Пусть шальной кровоток
Закипит от любви и огня.

В перекрестье путей,
Под прицелом неласковых глаз,
Путь из лжи и потерь
Стал вдруг выбором здесь и сейчас.

Ты мне больше не верь,
Отпусти и не вздумай страдать...
Волей меченый зверь —
На свободу я вырвусь опять!

* * *

Свет окна в полумраке разлуки
И размытый во тьме силуэт,
Под протяжно-вокзальные звуки
Превращается в соло дуэт.

Отголоски ушедшего счастья,
Поцелуй, что ожогу сродни,
И осеннего цвета ненастье,
И души покаянные дни...

Как из жизни — уйди из вагона!
Разлюбил, так душой не криви...
И прощальное эхо перрона,
Словно эхо прощальной любви.

* * *

Охотник мой,
Лишь небо заалеет,
Шалунью-ночь прогонит строгий день.
Глаза искрят,
И скулы каменеют...
И я — твоя желанная мишень!

Лук натяни,
Чтоб тетива дрожала,
Чтоб хищница-стрела рвалась в полёт.
Бей прямо в сердце! —
Не нужна мне жалость:
Ведь сердце лишь от боли
Оживёт!

* * *

Счастье подарю такое,
Что тебе не унести.
Ни за лесом, ни за морем
Лучше счастья не найти!

От любви я стала смелой.
За тебя, родной, молясь,
Руки к небесам воздела,
Милый мой пресветлый князь!

Страсти роковое пламя,
От него не убежать,
Что случится между нами —
Только нам с тобой решать...

* * *

Закрутило, завертело
Вдруг судьбы веретено!
Я-то думала, что спела
Песню главную давно.

Я грустила, что снежинки
Припорошили косу,
И что ясеня рябинке
Не найти в людском лесу...

Но нежданно яркой силой,
К счастью или на беду,
Озарился дом остылый,
И растаял снег в саду.

А душа тепла вдохнула,
И шепнула мне: «Живи!».
Словно в небо, заглянула
Я в глаза своей любви...

* * *

Свет окна в полумраке разлуки
И размытый во тьме силуэт,
Под протяжно-вокзальные звуки
Превращается в соло дуэт.

Отголоски ушедшего счастья,
Поцелуй, что ожогу сродни,
И осеннего цвета ненастье,
И души покаянные дни...

Как из жизни — уйди из вагона!
Разлюбил, так душой не криви...
И прощальное эхо перрона,
Словно эхо прощальной любви.

* * *

Словно в бездну, в тебя окуналась,
А казалось — лечу вышиной.
Принимала за целое — малость,
И платила высокой ценой.

За убогой тянулась полушкой,
Растоптав каблуком золотой,
Будто с паперти, с нищею кружкой,
Совесть-тень — я брела за тобой.

Всё распято — и гордость, и сила,
Припечатано сердце к кресту,
Я молитву тебе возносила,
Забывая молиться Христу.

Но рука опустилась бескрыло.
Ты был молод, и дерзок, и смел,
Я, безумная, рай нам открыла,
Ты войти в него не захотел...

* * *

А ты знаешь, я и не верила,
Что так просто приходит счастье:
Я случайно открыла двери —
И в твоей оказалась власти.

Я уже не припомню точно,
Говорили о чём, молчали...
Почему после первой ночи
Крылья выросли вдруг за плечами.

Пусть мне скажут: совсем не новы
Эти вещие перемены,
Но нашёл ты такое слово,
Что оно разрушало стены.

Наши юные чудо-вёсны
Нас венчали шальной капелью...
Неужели всё это серьёзно?
И бывает на самом деле?

* * *

Где же ты, друг мой далёкий?
В тайных узорьях каких?..
Бродишь ли ты одинокий
Иль среди лиц дорогих?

Годы, рассветы и реки
Зябко меж нами текли,
Имя твоё, как доспехи,
Строки мои берегли.
Шли за тобой по проспектам,
Шли за печалью, скорбя,
Шли по затерянным метам...
Но... потеряли тебя.
Где ты, заветный, не знаю.
Хватит ли вспомнить нам сил?
Я ли тебя забываю...
Ты ли меня отпустил?..

* * *

Юный месяц бросил мне на плечи
Серебром украшенную шаль.
И затеплил окна, словно свечи,
Озаряя призрачную даль.

Тонкой, невесомой поволокой
Стелется по городу туман.
Дышит безмятежно и глубоко
Вдаль идущий звёздный караван...

* * *

Расцелованы солнцем запястья.
Синеглазый степной ветерок
Посулит безмятежное счастье
И уляжется мне на порог.

Приоткрою я ставни гулёне,
Промурлыкает что-то в ответ
И скользнёт по лужайке зелёной
Сквозь звенящий сиренью рассвет...

Уврачует горючую память,
Синевою зашторит окно,
И оттает тяжёлая наледь,
Что таилась на сердце давно...

ПОЛУСТАНОК

Выхожу на глухой полустанок,
Где домишко заброшенный спит,
Поезда не гудят спозаранок,
И обходчик с флажком не стоит.
Лебеда разрастается пышно,
Семафор заржавелый грустит,
Ни души тут не видно, не слышно,
Словно жизнь здесь давно не гостит...
Поневоле становится страшно
В этой мертвенно-зябкой тиши...
День ли тут затерялся вчерашний,
Или век заблудился в глуши?..

АВГУСТ

Причалил август к середине,
Листает лунные тома,
Небесных самоцветов иней
Швырнув по-царски в закрома.

И поступь августа повсюду,
Ведь августейшему — почёт,
Плоды земли на чудо-блюде
В листве червонной нам несёт.

Подарит нам с улыбкой странной
(О, как сарказм его знаком!)
Отрез лебяжьего тумана,
Подшитый синим холодком.

Сквозит над тихою рекою,
Таится в кронах тополей,
Добавив летнего покоя
В оправе предосенних дней.

Уходит август беззаботно,
И безутешно жаль, до слёз,
Его сердечные заботы
И шёпот гаснущих берёз.

* * *

Я, опасаясь детство позабыть,
Изобрела целительное средство —
Представила, что вдруг смогла купить
Билет на поезд, уходящий в детство.

Я села в тихий призрачный экспресс,
И в никуда мои года уплыли...
Вот за окном мелькнул уснувший лес,
И озеро, и дом, в котором жили.

Там было на завалинке тепло,
На ней любил сидеть мой дед когда-то.
Улыбчиво оконное стекло
Баюкали спокойные закаты...

Такое всё родное на века,
Как будто до рождения знакомо...
О, как же ты близка и высока,
Мелодия родной земли и дома!

* * *

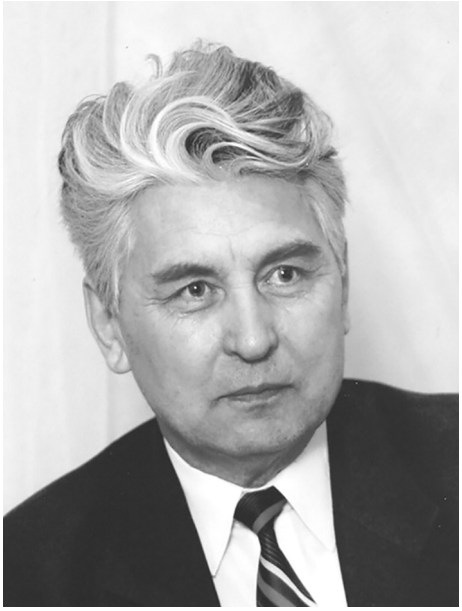
Льдинкой ночь обречённая тает,
Улетают снежинками сны,
Тёмный бархат небес обнимает
Царский шлейф золотой тишины.
Зябкий проблеск зарницы манящей,
Оживляя небес окоём,
Над лесной затуманенной чащей
Полыхает рассветным огнём.

ЛЕС

Я войду в этот лес,
Где гуляет озябшее эхо,
Где надмирной звезды
Угасает полуночный свет.
Предсказанья небес
Никому никогда не помеха,
Чтоб оставить следы
Там, где не было следа и нет.

Заблужусь в синеве
Молодого шального апреля.
Звёздный свет в полумраке
Струится, как вешний мотив.
Я побуду в родстве
С этой зыбкой, как сон, акварелью,
В каждом поданном знаке
Реальность на миг ощутив...

Не зову за собой,
В дом, где время сожжёт, словно свечи,
И напевы лесные,
И заветную мудрую тишь...
Вековечный покой
Обнимает усталые плечи,
А ветра зоревые
Заверяют: «Ты всё сохранишь!».



Андрей РУМЯНЦЕВ

«А ОН, МЯТЕЖНЫЙ...»

К 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова

Когда-то Ярослав Смеляков написал:

О, этот Лермонтов опальный,
сын нашей собственной земли,
чьи строки, как удар кинжальный,
под сердце самое вошли!
Он, этот Лермонтов могучий,
сосредоточась, добр и зол,
как бы светящаяся туча
по небу русскому прошел.

Поначалу кажется, что наш современник довольно точно уловил сущность лермонтовской поэзии. Действительно, смелый, сумрачный, язвительный взгляд Лермонтова таит в себе всепроникающий и целительный свет, и это производит впечатление светящейся живительной тучи над полем русской жизни. В судьбе поэта можно найти объяснение, почему первые же его стихи явились перед читателем не восторженно романтическими, не юношески солнечными, а тревожно грозовыми, несущими сумрачный небесный огонь. Мальчик рано, в неполных три года, лишился матери, а затем, собственно, и отца, у которого бабушка будущего поэта Елизавета Алексеевна отняла право видеться с сыном. Это душевное сиротство Мишеля, при его пробуждающемся могучем даре, обострило внутреннее зрение юного человека, обнажило перед ним трагизм существования на неприветливой земле. Даже если не брать во внимание стихи Лермонтова последних лет, то есть произведения уже оформившегося великого таланта, а взять лишь его первые самостоятельные строки – даже и они отмечены трагическим, провидческим знанием о земной жизни, о душе, о любви:

Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет.

(1832г.)

И все же образ «светящейся тучи», хотя и броский, запоминающийся, не вполне объясняет суть. Особость М. Лермонтова в том, что он впервые в русской поэзии (да и, в целом, в литературе) обнажил перед читателем глубины человеческой души с ее светлыми чувствами и темными страстями; он открыл ее противоречивый и трагический мир. Позже этой способностью обладал разве что Ф. Достоевский.

В чем гений Лермонтова проявился сразу, в поразительной новизне, так это именно в необыкновенной способности выразить в лирическом стихотворении противоречащие друг другу чувства или настроения, размышляет ли он о родине, о жизни или о счастье:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой...
.....
В себя ли заглянешь? –
там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и все там ничтожно...
.....
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови...
.....
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...

Даже любовь (или влюбленность) несет в себе противоречивые внутренние начала:

И черные глаза, остановясь на мне,
Исполнены таинственной печали...
.....
Понять невозможно ее,
Зато не любить невозможно...

За всем этим стоит, конечно, духовная сложность человека, которой раньше касался не каждый поэт; для Лермонтова это естественная среда, в которой живет его муза.

* * *

Вспомним, сколько лет судьба отвела Михаилу Лермонтову для творчества. Немногим более десяти. А если учесть, что наиболее значительные

произведения в поэзии, прозе и драматургии созданы им после гибели А. Пушкина, то и еще меньше – четыре года. Никто из великих русских поэтов не развернулся во всем блеске своего таланта за столь короткое время. И никто из них, кроме Пушкина, не создал до двадцатисемилетнего возраста столько гениальных творений, обратившись к самым коренным, глубоким и таинственным вопросам человеческого бытия: что есть жизнь и смерть, добро и зло, красота и духовный тлен, служение отечеству и равнодушие к родине, возвышенная любовь и нравственная грязь, душевная чистота и пошлость? Заслуга Михаила Лермонтова в том, что он, возможно, единственный в русской лирике представил столь полно и трезво, с беспощадной правдой портрет своего поколения, его духовную, нравственную физиономию и поселил на многие десятилетия тревогу в русское сердце: что же будет с нашей родиной, если мы и дальше станем чувствовать, думать, поступать, как сегодня?

Проницательный и страстный поэт, Лермонтов лучше других видел пороки современного человека, общества, устройства жизни и с беспощадной прямотой говорил о них.

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит,
как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию – презренные рабы.
.....
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш,
с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

(«Дума», 1838)

Лермонтов имел право на такие суровые, откровенные слова. Еще совсем юношей, написав стихи на смерть Пушкина, он бросил вызов самым могущественным силам империи; затем попал в гущу Кавказской войны и с честью вынес кровавые испытания. Он рано стал национальным поэтом, познавшим противоречивый, загадочный характер своего народа.

Но нас сейчас интересует новизна лермонтовского чувства, привнесенного в русскую поэзию. Да, новизна, потому что именно он утвердил в нашей лирике любовь к отечеству, не раз спасавшему мир и страдающему от равнодушия современников к его судьбе, – любовь к нему, как сокровеннейшее и, может быть, главнейшее чувство русской души.

У Лермонтова и признания-то, обращенные к отечеству, особые, не похожие на строки его предшественников; эти признания словно бы намеренно «снижены», «одомашнены», как беседа с родным полем за околицей или крестьянскими хатами за окном. «Слава, купленная кровью» не шевелит в нем «отрадного мечтанья», будто не он вчера вдохновенно воспел эту славу в стихотворении «Бородино». Такой «шаг на попятную», конечно, нужен был пылкому Лермонтову для того, чтобы с особой душевной теплотой напомнить читателю о близких, материнских чертах своей дорогой родины. Сейчас особенно ясно видно, что он первым с такой огненной страстью, душевным напряжением,

общественным темпераментом сказал свое слово о боли и надежде русского человека – о России. Он первым сделал эту тяжкую думу главным содержанием собственного творчества.

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю – за что, не знаю сам –
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

(«Родина», 1841)

* * *

В критической литературе написано немало о мрачном характере лермонтовской лирики, о «демонизме» поэта. Но если это так, то почему его строки завоевали читательскую душу, поселили там любовь к его бессмертным песням?

Думаю, особость Лермонтова еще и в том, что он, как никакой другой русский поэт, открыл бесценные сокровища своего сердца, во многом идеальные качества человека – сострадание к живому на земле, милосердие, порыв к духовному совершенству, тихую святость. Иные его стихи можно шептать, как сокровенную исповедь:

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, –
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, –
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога...

(1837 г.)

Этим «молитвословным языком» написаны многие-многие стихотворения Михаила Лермонтова. А ведь надо помнить: поэт приходил к этому языку в дни житейских бурь (что стоят две ссылки на Кавказ, под чеченские пули); он приходил к этому языку после черного отчаянья, горчайших открытий, поражений в любви, незаслуженных обид и клеветы. Но они не замутили его душу, не ожесточили ее и не заглушили чистого поэтического родника. Вот лермонтовская «Молитва» – недаром этот заголовок венчает несколько стихотворений поэта разных лет:

Я, матерь божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.
Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную –
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

(1837г.)

Стихи Михаила Лермонтова – это психологически затейливая, тонкая и захватывающая повесть о том, как в жестоком мире, среди не понимающих певца людей, в среде, чуждой творчеству, пылкая и чистая душа ищет тепла, участия, братского отклика. Возвращаясь в северную столицу с Кавказа, поэт тревожился:

Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?
Узнают ли друзья и братья
Страдальца, после многих лет?

Или среди могил холодных
Я наступлю на прах родной
Тех добрых, пылких, благородных,
Деливших молодость со мной?

(1837г.)

Постоянный мотив лермонтовской лирики – найти на земле родную душу, опереться на нее и стать ей опорой, поделиться с ней теплом и согреться ее участием. В этом порывистом, безжалостно-ироничном, склонном к постоянным проказам человеке жила бессмертная нежность. Такое бывает только с великим сердцем. Кажется, вот они – трезвые, осуждающие строки о своем всегдашнем окружении, из которого не дано вырваться:

Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски...

Можно ли в таком ежедневном соседстве быть способным на сентиментальность, детскую непосредственность, на непрошеные слезы, наконец? Оказывается, можно.

Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый,
Как птичка в клетке,
Сердце запрыгает;
Встречу ль глаза твои
Лазурно-глубокие,
Душа им навстречу
Из груди просится,
И как-то весело,
И хочется плакать,
И так на шею бы
Тебе я кинулся.

(1838г.)

Это как проявление Божественной благодати: Всевышний вливает в земного человека благородство, самоотвержение, братскую любовь к другой душе, то есть чувства, которые и должны быть свойственны Его созданию, но осквернены или подорваны нашими грехами. И вот, наконец, в поэте они торжествуют, проявляются во всей своей красоте. Приведу строфы лишь из трех посвящений М. Лермонтова женщинам – адресаты разные, но сердце, исторгнувшее эти слова, согрето одними и теми же чувствами уважения, благодарности, нежной приязни:

Залогом вольности желанной,
Лучом надежды в море бед
Мне стал тогда ваш безымянный,
Но вечно памятный привет.
.....
Что ж делать? – речью безыскусной
Ваш ум занять мне не дано...
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.
.....
Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.

За каждый светлый день
иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому что весело тебе.

Нет, что ни говорите, а только душа художника еще остается верна тому образу, что хотел видеть в человеке Творец; только она еще сопротивляется проискам зла, тлетворному дыханию среды и времени.

О, полно извинять разврат!
Ужель злодеям щит порфира?
Пусть их глупцы боготворят,
Пусть им звучит другая лира;
Но ты остановись, певец,
Златой венец – не твой венец.
Изгнаньем из страны родной
Хвались повсюду как свободой;
Высокой мыслью и душой
Ты рано одарен природой;
Ты видел зло, и перед злом
Ты гордым не поник челом.
(1830г.)

* * *

Лермонтов продолжил после Пушкина миссию человеколюбия. Поэзия осталась храмом, войдя в который человек очищается от нравственной грязи, дурных помыслов. Стих, «облитый горечью и злостью», предназначен только для демонов зла; для тех же, кто ожидает ангелов света, поэт находит самые нежные, ласкающие душу слова:

О грезах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...
О, если б знало ты, как я тебя люблю!
Как милы мне твои улыбки молодые,
И быстрые глаза, и кудри золотые,
И звонкий голосок! – Не правда ль, говорят,
Ты на нее похож? – Увы! года летят;
Страдания ее до срока изменили,
Но верные мечты тот образ сохранили
В груди моей; тот взор, исполненный огня,
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня?..
(«Ребёнку», 1840)

Поэт умел быть благодарным за малую искру любви; он умел оценить нравственный подвиг любой души. То, что эта благодарность и эта добрая оценка чужого бескорыстия постоянны в его стихах, не ускользает от внимательного читателя. Мы любим Лермонтова за свет, который развеивает и тоску, и неудовлетворенность, и злость – то, что недобросовестные толкователи выставляли в его творчестве на первый план.

Слепец, страданьем вдохновенный,
Вам строки чудные писал,
И прежних лет восторг священный,
Воспоминаньем оживленный,
Он перед вами изливал.

.....
Я верю, годы не убили,
Изгладить даже не могли
Все, что вы прежде возбудили
В его возвышенной груди.
Но да сойдет благословенье
На вашу жизнь за то, что вы
Хоть на единое мгновенье
Умели снять венец мученья
С его преклонной головы.
(1838г.)

* * *

Можно только удивляться, что уже в юные годы Михаил Лермонтов осознавал особую миссию поэта, его подотчетность только Творцу. Чтобы утверждать это тогда, нужна была смелость и независимость от людского суда: свет смотрел на художника, как на лицо несамостоятельное, находящееся на содержании сильных мира сего. Следовало отстаивать его свободу – и Лермонтов был одним из первых поэтов, которые заложили этот фундамент для отечественной лирики. Полтора столетия звучит полное достоинства его предостережение бездушной и властной черни – этим охранительным доводом великого предшественника всегда может воспользоваться любой подлинный поэт:

Укор невежд, укор людей
Души высокой не печалит;
Пускай шумит волна морей,
Утес гранитный не повалит;
Его чело меж облаков,
Он двух стихий жилец угрюмый,
И, кроме бури да громов,
Он никому не вверит думы...

У поэтического слова есть тайное очарование, и Лермонтов первым дал читателям возможность почувствовать это. Почему *тайное* очарование? Потому что это очарование необъяснимо, потому что оно не только присутствует в слове, но и разлито вокруг него и за ним, в дальней дали. Эту тайну русской поэзии позже пытались объяснить символисты. Дмитрий Мережковский, прозаик, поэт, критик, приведя строку Фёдорова Тютчева «Мысль изреченная есть ложь», заметил: «В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами». Эту мысль развил другой поэт и теоретик символизма Вячеслав Иванов: «...если ...я, поэт, не умею заставить самую душу слушателя петь со мною другим, нежели я, голосом, не унисоном ее психологической поверхности, но контрапунктом ее сокровенной глубины, – петь о том, что глубже показанных мною глубин и выше разоблаченных мною высот, если мой слушатель – только зеркало, только отзвук, только приемлющий, только вмещающий, – если луч моего слова не обручит моего молчания с его молчанием радугой тайного завета, тогда я не символический поэт».

Опустим слово «символический» как понятие условное. То, о чем говорят оба автора, – это верные и глубокие замечания, относящиеся к коренному свойству русской классической поэзии: многозначному смыслу ее вели-

ких произведений. И, может быть, именно Михаил Лермонтов первым смог решить эту невероятной сложности задачу: его стихи таят глубины, которые глубже видимых поначалу, и очерчивают высоты, которые выше отмеченных первым взглядом:

По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

(«Ангел», 1831)

* * *

Еще в юности Михаил Лермонтов написал одно особенное стихотворение. В нем поэт провидчески предугадал свою короткую жизнь, определил особенность своего творческого дара и судьбы, заявил, что он способен выполнить миссию, возложенную на него Богом. Это стихотворение знает, конечно, каждый школьник:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я – или бог – или никто!

(1832г.)

Пожалуй, это ключ к недолгой жизни и к бессмертному творческому наследию Михаила Юрьевича Лермонтова. Он во всей полноте открыл свою душу, и его исповедь оказалась столь бесценной, поучительной, близкой нам, что мы помним в ней каждый звук. «Прочувствовать великого поэта, – словно бы и от нашего имени написал в свое время Виссарион Белинский, – это значит пережить целую жизнь, принять в себя целый, отдельный и самобытный мир мысли, следовательно, дать своему нравственному существованию особенную настроенность, отлить дух свой в особую форму». Так оно и есть. Все, что успела высказать великая душа поэта, осталось с каждым из нас как самое сокровенное, самое нужное и ценное для собственной жизни.

Владимир САЛАМАХА *(Беларусь)*

ФРОНТ ТАМ, ГДЕ ТЫ...

Фрагмент романа «Если упадет один...»

...И еще несколько дней и ночей младший политрук Груздев вел своих бойцов на восток. Возле Довска повернул налево, на Москву. А до Москвы, если фронт там, еще идти и идти.

Иногда думалось о том, что фронт должен быть ближе. Думал, что бы ни было, а наши до Москвы отступать не будут. Костьми лягут, а врага к ней не допустят. Может быть, фронт возле Смоленска, но ни в коем случае не дальше. А может быть, и ближе, на границе России с Беларусью. Хотя пока не слышно, что он где-то близко. И в деревнях, куда направлялась разведка, о фронте ничего не слышно. Одно ясно – на востоке.

То что шли по Беларуси и без карты было понятно. Разведка время от времени заходила в деревни, парни разговаривали с местными жителями, речь белорусская, но в нее вплеталась русские слова, и чем дальше, тем больше. Значит, все ближе и ближе к России.

И вот уже она, Россия. А узнали об этом, встретив в лесу старика, который неожиданно вышел из чащи на поляну, на которой бойцы остановились на привал. Парни – кто сидел, прильнув к дереву, кто лежал в тени. Груздев даже не выставил дозор, посчитав, что в такой глуши им ничто не угрожает.

Заметили старика только тогда, когда он словно вырос из-под земли, явив-

---

САЛАМАХА Владимир родился в 1949 году в Кировском районе Могилевской области. Прозаик, критик, публицист. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь, лауреат Национальной литературной премии за лучшее произведение прозы, а также ряда иных престижных литературных премий.

Автор многих книг прозы, литературной критики и публицистики. Российскому читателю известен по публикациям в журнале «Наш современник».

шись перед ними. Седобородый, в латаной свитке и лаптях, с топором за поясом, сначала кивнул головой, потом сказал:

– Ну что, сыновья, здорово! – И не дожидаясь ответа, добавил: – Дозор-то, командир, выставить надобно. Немец и здесь хаживает. И колоннами, и так. Вчера даже постреливал с воздуха.

Вскочили парни, смотрят на Груздева. Кто-то даже щелкнул затвором.

– Не дури, парень, еще настреляешься! – прикрикнул на него старик. – И не пугай! Не из пугливых. Я этой дряни (показал на винтовку) еще в империалистическую навидался.

– Здорово, отец! – подошел к нему Груздев. – За совет спасибо. Выставлю.

– Издалека путь держите?

– Издалека.

– Издалека, говоришь... – старик тяжело вздохнул. – Теперь все издалека идут, а то и бегут. Должно быть, уже время остановиться. А они все идут и бегут, по одному, группами, сегодня одни, завтра другие. Случается, одни других боятся. А надо было бы, чтобы вместе. Как у нас говорят, сообща и отца легче бить. И откуда, коли не секрет, идете?

– Почти от самой границы, – сказал Груздев.

– Ого!

– А почему, батя, так смело ходишь, когда немец рядом? Да еще один. А сейчас – прямо на нас вышел. А вдруг мы немцы.

– Немцы меня на моей земле, да еще в моем лесу не заметят. Сам же я к ним, как к вам вышел, не выйду. Немцы они... Какие вы немцы? Говор выдает: наши парни, русские, белорусы, кажется, и другие нации есть. Слыхал. Да и видел, как идете. Устали, растоптанной обувкой по земле шаркаете. Голодные, ягоду на ходу хватаете.

– Есть маленько, отец, устали, голодные... – сказал Груздев, и добавил: – Говоришь, надо бы вместе. Вот и идем к своим, чтобы быть вместе. Ты лучше скажи, отец, где мы? Фронт далеко, не слыхал?

Старик не спешил с ответом. Внимательно посмотрел на парней, будто считал, а может, и считал. С Груздевым их было четырнадцать. Посмотрел, чем вооружены: автоматы немецкие, несколько винтовок, у некоторых гранаты за поясом. Наши и немецкие с длинными ручками. А у Груздева, как и подобает, на боку кобура.

– Спрашиваешь, фронт где. Как тебе ответить, командир? Оружие в бою взяли?

– Не совсем. Боев у нас не было. По дороге подобрали.

– Говоришь, не было. Вот вы все к Москве идете, спрашиваете, где фронт. Знать, под ее, Москвы-то, крылышко спрятаться норовите. А что будет, если все побегут? Да все под крылышко?

Груздев молчал.

– Фронт... А кто знает, где сейчас фронт? – уже более спокойно продолжал старик. – Хотя слух о нем далеко разносится, а попробуй точно определить, где он. А что наша земля под чужим сапогом стонет, так мы видим и слышим. А фронт... Слыхали о таком городе Кричеве?

– А как же? Позавчера обошли его. Немцы там.

– А как им не быть, если все, как и вы, мимо него идут?.. Шоссе недалеко от города есть: Москва – Варшава. Я по этому шоссе на империалистическую в четырнадцатом шел. И назад тоже.

– Так мы правильно на Москву идем? Не на Варшаву?

– Погодь. Сказывают, там солдатик, вроде твоих, тоже совсем мальчиш-

ка, вражескую колонну расколошматил. Много машин и танков подбил и немало немца положил (подвиг старшего сержанта-артиллериста Николая Сиротинина, который 17 июля 1941 года, прикрывая отход товарищей около деревни Сокольничи под Кричевом один вступил в бой с вражеской колонной. По официальным сведениям в этом бою он уничтожил 11 танков, 7 бронемашин, большое количество живой силы противника. Похоронен там же врагом с воинскими почестями. – *В.С.*)

– Неужели один?

– Сказывают, один. С пушечкой маленькой. Долго бой держал, и сам лег. Немцы его, врага своего, потом с почестями похоронили. Даже местный люд согнали, мол, смотрите, воин какой. Вот и решай, где для него фронт был.

Старик умолк. Положил руку на сердце, будто прислушиваясь, как оно бьется, потом резко опустил, махнул. Груздеву показалось, что при этом старик пренебрежительно посмотрел на него.

– Да-а, – снял фуражку Груздев. Глядя на младшего политрука, сняли пилотки и его солдаты. – Ты вот что, батя, не суди меня уж очень строго. Так получилось. Если бы я был один, может, как тот воин, уже давно где-нибудь лег. А повоевать я успел. Не на этой, на другой войне, на финской. За спины бойцов не прятался. Если бы прятался, сам знаешь, свои шлепнули бы.

– Ведаю, не крыўдуй *(не обижайся)* – старик неожиданно перешел на белорусский язык.

– Есть среди них, – Груздев кивнул на парней, – и те, кто служил. Правда, только двое. Остальных по дороге встретил. Мальчишками были, даже присяги не успели принять. А сейчас – воины. А тот, о котором говоришь, пожалуй, неплохо обучен был, коли с пушкой.

– Мабыць, так.

– К своим придем, и – в бой! А надо будет – и раньше. Кажется, пока надобности такой не было.

– Дай бог, если так, – старик перешел на русский язык. – Что ж, тогда ты правильно делаешь, командир. Береги их. А к фронту, если не за день-два, все равно дойдете. А пока выдели мне пару-тройку парней. Со мной пойдут. По дороге растолкую им, как вам дальше идти. В деревне еду дадим. Что старуха моя соберет, что люди. Деревенька наша небольшая, она отсюда недалеко, в лесу. Я почему за вами шел. Кто знает, какой сейчас люд по лесам ходит. Мы вас еще издали заметили. К деревне вы шли. Я направился навстречу, чтобы вас отвести от нее, а вы сами свернули в сторону. Дорогу к деревне мы лаўжамі завалили, мол, дальше хода нет. Дальше – глушь.

– Чем, чем? – спросил Груздев.

– Валежником, говорю. Жена моя – белоруска, это ее слово. Я – русский. Кучи хвороста, лаўжы, по-русски – валежник.

– Вот оно что, – сказал Груздев, – видели кучи хвороста. К ним и за ними на дороге есть следы от машины. Надо было бы замести, если такая маскировка.

– Ишь ты, заметил. Заметем. Есть еще кому, хотя из мужиков одни старики остались в деревне, а крепимся. Все наши парни и мужчины сразу пошли в район, как только узнали, что война. Прибежала моя внучка из района, она там десятилетку закончила, кричит: «Война!». А коли так, то воевать пойдем все, кто может. А мне куда? Лета мои уже не те. Так что мой фронт теперь там, где я. Это не я придумал, так люди говорят, те, что поднялись против врага не на фронте, а в тылу. У нас так всегда говорили те, кто не мог на

фронте с врагом воевать, это я хорошо помню, пожил на свете немало, всякое видел и слышал. Думаю, что еще и я пригожусь. Может быть, вам, а может, другим, если они наши. А может, и враг еще узнает меня. Не первых вас таких встречаю, и не последних. И военные идут, и гражданские. И молодые, и старики. Но вот что нас тревожит: вчера детишки с учительницей на машине приехали. Детдомовцы. Мы хотели, чтобы они остались. Накормили, как могли утешили, а учительница говорит: «Дальше пойдем». Правда, внучка моя, Олька, пошла с ними. Как же учительнице одной? Вдвоем смелей. Олька путь к шоссе знает, и дороги по лесам – тоже. Деревня там одна есть большая, я родом оттуда. Хотя бы туда им дойти – все-таки ближе к фронту. Надеюсь, найдутся там люди, помогут, если не фронт перейти, так едой, согреют, а может, и по домам разберут детишек-то.

– А машина, что?

– Машина на ходу, хотя побита пулями. С шофером плохо. Детей он вез. Поле там длинное, дорога между лесом и полем, выйдете отсюда, луг увидите. Самолет налетел, ну и давай стрелять. Шофер детей высыпал из кузова: «В лес!». Побежали они в чащу. А ему куда? В лес дороги нет. Ну и погнал по краю поля. Пока дорогу нашел, пуля и попала в плечо. Насквозь. А затем, пока самолет разворачивался, шофер дорогу в нашу деревню нашел, смог в лес заехать. А здесь я и мой сосед Трофим на дороге, как раз собирались ее завалить валежником. Трофим с шофером в деревню поехал, его перевязать надо было. А детей я пособирал. Всех. Только перепуганные. Шофера женщины перевязали. Детей накормили, успокоили. А дальше что? Самолет над деревней пролетел, правда, даже не стрельнул. Мы, если что, своих в лес отведем, спрячем в болоте, наши привычные. А эти городские, их же комары съедят, они же там исплачутся. Да и не сможем мы их досмотреть, в деревне одни старики и дети. Кто знает, когда война закончится. А все равно хотели оставить у себя малышей, но учительница говорит: «Нет, спасибо. Доведу». Ну и пошли на восток по этой дороге, по которой вы шли. К шоссе направляются, знать, где-то впереди вас. Я чего: по дороге за ними идти будете. Догоните, доведите их, сынок, доведите. Боюсь, сами не дойдут. Если б мог, сам с вами пошел бы. А теперь парней давай. Время бежит.

– Товарищ младший политрук! – Гаврила подбежал к Груздеву. – Машина ведь на ходу! Догоним! Вы нас на дороге ждите, чтобы не разминуться.

– Гаврила, Петро, Василий, идите с батей! – приказал Груздев. – Машину сюда!

Старик вопросительно посмотрел на него.

– Батя, слышишь, что парни говорят? – сказал Груздев. – Обязательно довезем!

Старик молча пожал ему руку, повернулся и направился в чащу леса. За ним – Гаврила, Петро и Василий. Остальные стояли молча. Слышали, что говорил старик. И о том, что бегут, и о детях. Чувствовали себя посрамленными: бойцы!..

Парни вернулись часа через два. По лесной дороге на полуторке приехали. Гаврила был за рулем, Петро и Василий сидели в кузове. Привезли сало, хлеб, даже отваренную картошку и две большие бутыли молока. Было чем сейчас перекусить, и что оставить на потом, на ужин и завтрак.

Груздев и бойцы, ожидавшие Гаврилу, Петра и Василия, подошли к машине. Осмотрели ее. В нескольких местах пулями пробит кузов, кабина и капот. Удивились, как она еще могла ехать.

– Как?! Это же полуторка! – сказал Гаврила. – Она все могёт. Ты мне

оставь раму, колеса, руль, мотор – больше ничего не надо: поеду на ней. На учениях ездил. Конечно, горючка нужна. А она есть. Старики запасливые. У друга деда литров двадцать нашлось. Говорит, когда-то военные недалеко лагерем стояли, выменял на самогон.

– А вам водки дали? – спросили парни.

– Никодим, Ваня, где ваша кружка? Доставайте, Гаврила плеснет.

Бойцы рассмеялись.

– Какая кружка? – не понял шутки Никодим. – Вижу, понравилась. Ты мне кружку не оскверняй! Одна женщина дала в дорогу, мать троих солдат. Может, где-нибудь встретим их, отдадим. Ее из гильзы сделал отец этих ребят. А ты...

– Вы что? – настороженно посматривая на Груздева, сказал Гаврила. – Какая водка? Предлагали на лекарство, но мы отказались. Воды взяли. Бидон. В кузове.

– Воды... Воды мы и без кружки попьем. Пригоршнями.

– Не дури, Гаврила, – сказал Груздев. – Дали так дали. По глазам вижу. Держи. Потом, как выйдем из окружения, разберемся, что за лекарство. Ты лучше скажи, как дальше ехать. Растолковал батя?

– Да, – ответил Петро вместо Гаврилы, который сделал обиженный вид. – Верст через пять выедем на луг. Через него дорога в другой лес. Затем лесом, километров через десять – шоссе. По нему влево – на Москву. Говорил, чтобы на шоссе не выезжали. Сказал, что на внучку надеется, она у него сообразительная, доведет малышей до деревни, из которой он родом. А там, говорил, что его, Матвея Суровцева, все знают. И внучку его знают, так что надо надеяться на лучшее.

– Ну что, перекусывать не будем? – спросил Груздев.

– Какой перекус, товарищ младший политрук! – возмутился Гаврила. – Детей догонять надо.

– В машину! – приказал Груздев.

Машина шла по узкой лесной дороге. Шла тяжело, потихоньку, цепляя кабиной и бортами ветви деревьев, иногда буксуя в лужах. Тогда парни спрыгивали с кузова, толкали ее вперед.

Груздев, когда буксовали, соскакивал с подножки, на которой стоял, рядом с водителем, помогал парням, затем возвращался назад.

Простые парни, еще ничего особенного не видевшие в жизни, кроме того, что делалось в их деревнях, поселках, городах. Без особого образования, книг читали мало, культурный уровень – несколько кинофильмов и, пожалуй, все. Но как замечал Груздев, каждый был с внутренним стержнем, который под воздействием непредвиденной ситуации сжимается, а потом выпрямляется, словно выстреливает: не сломать!

Груздев давно изучил каждого и был уверен, что никто из них не подведет его. Но очень тревожило: как встретят наши? Время военное, действуют жестокие законы, что будет с парнями?.. Конечно, сразу начнутся допросы. Без этого нельзя. Но какие? Кто будет допрашивать: выскочки, службисты, трусы, которые в каждом видят врага, или настоящие люди, для которых каждый из его тринадцати красноармейцев – прежде всего, человек.

Если первые, а таких он повидал немало, те, конечно же, будут выбивать из парней показания против него: младший политрук – трус, оставил роту, побежал. Проще говоря, дезертир, а может, и враг...

Многому за время похода научил своих подчиненных Груздев. Научил пользоваться оружием, нашим и немецким. Учил преодолевать страх. Учил

не пьянеть от успеха – последнее дело. Учил всегда быть людьми. И не предавать себя и товарищей.

Немало рассказывал им о боях, на так называемой финской войне, о своих боевых друзьях. И всякий раз сосредоточивался на том, что самое сложное на войне – оставаться человеком, что бы с тобой ни случилось. Может быть плен... Может случиться, что тебе свои не поверят... Может случиться, что будут требовать подтвердить клевету на товарища... Многое может случиться с тобой на войне, когда вопреки всему должен остаться человеком. А вот сможешь ли, зависит только от тебя. И это, наверное, самое сложное для каждого.

Размышляя так, Груздев понимал, что прежде всего будут допрашивать его: оставил роту, а если и не оставил, тогда почему так бездарно воевал, что оказался здесь, не вступив ни в один бой с врагом. Понимал, что и у него могут «выбивать» признание в измене, и был готов к этому: выдержу – разберутся, отправят на передовую. А не выдержу – расстреляют.

Был уверен, что выстоят все до одного – тринадцать его солдат. Потом их проверят, направят на фронт, где они будут сражаться, как и подобает настоящим воинам. Даже представлял, как они будут вести себя в бою: никто не струсит...

За это время он сумел объединить своих подчиненных, не потерял ни одного, и иногда на привале думал о том, что не все они доживут до победы: и это еще одна суровая правда войны. Груздев знал, что часто для воина первый бой становится последним, и это тоже правда войны, как и та, главная: если ты не убьешь врага, то враг убьет тебя. Ты боец и должен это помнить...

Младший политрук Груздев был единственным сыном учителей – еще тех, дореволюционных времен, перед которыми люди снимали шапки.

Родители его жили в Бобруйске в своем домике на окраине города около реки. Он любил свой город, тесноватый, шумный, многоголосый, в котором на базаре можно было услышать белорусскую, русскую, еврейскую, цыганскую, польскую и еще неизвестно какую речь.

Он жил там, пока не призвали в армию. Уже во время службы его направили на учебу, стал кадровым военным. (Тогда считалось очень почетным звание офицера.) В армии его фамилию Груздик изменили на Груздев. Наверное, командиры посчитали, что этим самым превращают его из маленького человека в большого. (Тогда же поменяли фамилии и его товарищам: Дятлика на Дятлов, Кирильчика на Кириллов, Иванчика на Иванов.) Но став офицером, приезжая на побывку в свой город, встречаясь со школьными друзьями, он не назывался Груздевым: новая фамилия его тяготила.

Бобруйск ему всегда нравился. В армии он грустил по своим друзьям, парням и девчатам, которых звали Пети и Коли, Сары и Сайры, Янки и Янкели, Яковы и Язепы.

Он любил реку, луга и леса за городом. Любил крепость. Знал, что в свое время в ней служили декабристы, которые хотели арестовать царя Александра I, приехавшего туда, и потерпели поражение, читал: «...среди них не было единства».

С детства он хорошо усвоил, что «единство» помогает выжить. (Примеры были: когда на улице у кого-то что-то случалось, на помощь приходили соседи, родители его друзей, и его отца.) И сейчас, когда младший политрук Груздев вел красноармейцев к линии фронта, глядя на них, молча радовался, ощущая, что они едины: одно целое.

Да, он был военным, получил соответствующее образование, мечтал

служить в Бобруйской крепости, но военнослужащий должен служить там, где приказано.

По натуре же Груздев военным не был. Так случилось. Подростком и юношей он писал стихи и прозу. Читал русскую и белорусскую литературу, мечтал, что когда-нибудь что-то напечатает. А пока никуда ничего не посылал, никому ничего не показывал: недостижимыми, великими казались ему те, кого печатали, а он – такой маленький со своими стишками и рассказами, подписанными фамилией Груздик.

Восхищался Горьким. Чувствовал, как писатель в каждом из своих «босяков» стремится увидеть человека.

Восхищался Купалой и Коласом: те, о ком они писали, казалось, жили рядом с ним, «босяки» – где-то далеко. Но и здесь, и там видел живых людей, таких, как сам.

Семьей он не обзавелся, как-то так получилось, что любимую девушку пока не встретил. Конечно, ему, как и каждому юноше, нравились девчата. Какое-то время заглядывался на Катю, сверстницу, дочку учителей, коллег родителей. Но та не обращала на него внимания.

Потом нравилась Рива, дочь сапожника Янкеля Морона. И ей он почему-то не нравился. Зато он нравился однокласснице Дануте, но она не нравилась ему.

Став военнослужащим, Груздев, занятый делами, о девушках будто забыл: занятия, учения, походы. А потом – боевые действия на финской.

Раньше, да и позже, он видел и не однажды, как некоторые люди, казалось бы, даже в самых простых жизненных ситуациях теряли в себе человеческое. Они любыми путями рвались к должностям: наговаривали на сослуживцев начальству, присваивали чужое, и вообще делали много чего плохого другим, чтобы только себе было хорошо.

Видел и удивлялся: как же так? Почему?.. Но пренебрежительно относясь к таким людям, открыто против них не выступал: армия, в ней свои законы. Видел и другое на финской войне: за такими в бой не идут, хотя бы по той простой причине, что такие никогда первыми не выскакивают из окопов.

Груздев все эти дни, сколько вел на восток солдат, готовил их к настоящим боям с врагом. А что такие бои будут, он не сомневался. Но может случиться, что воевать ему не придется, если свои не поверят, если решат, что нарушил присягу.

Почему тогда шел? Была же возможность, когда обходили Бобруйск, вернуться домой и затаиться там до лучших времен. Не пошел, хотя знал, что немало тех, кто попал в окружение пойдут домой. Знал, многие создадут партизанские отряды, подпольные группы. Не сомневался, что и в партизанских отрядах, и в подпольных группах встретятся трусы и предатели. Знал, что некоторые, кто будет прятаться дома, станут служить врагу: так было всегда. Получается, действительно все зависит от того, кем хочет быть сам человек.

В тот же день, ближе к вечеру, выехали из леса и, как и говорил старик парням, увидели широкий нескошенный луг.

Он лежал перед ними – километра на два-три вправо и столько же влево, и шириной километр-полтора, со всех сторон окаймленный лесом. От леса, из которого выехали, к тому, который был виден впереди за лугом, – километра полтора-два, не больше. Через луг шла дорога, петляла. Была она широкая, колея посередине поросла высокой травой.

Вправо круто отходила более узкая дорога, почти тропа и, огибая луг, шла к какой-то деревеньке с десятком хат, еле заметных вдалеке.

Эту деревню они миновали еще вчера. Им показалось подозрительным – деревня как вымершая: не слышно никаких звуков. Обойдя ее Груздев и его бойцы зашли в лес, где за ними и следил старик из соседней лесной деревни, в которой, как потом он говорил, были дети с учительницей.

Петро рассказал Груздеву, что деревню, которую они сейчас видели издалека, на днях навестили немцы. И об этом поведал старик. А еще он сказал, что собирался сходить туда, посмотреть, но увидев Груздева и его бойцов, пошел следом за ними. Старик полагает, что жители той деревни, заметив немцев, могли уйти в лес за реку и там спрятаться. Но могло быть и иначе, о чем не хотелось думать: людей или уничтожили, или куда-то согнали.

Груздев и его подчиненные, стоя на опушке, долго осматривали окрестность, прислушивались, не слышно ли где подозрительных звуков. Звуки были, но привычные: в траве стрекотали кузнечики, в небе пели жаворонки, какая-то птица просила пить, рассыпая вокруг свое «пить-пороть, пить-пороть». Кто-то предположил, что это перепел. Ветерок своевольничал в луговом разнотравье, перекатывая по нему зеленые, желтые, розовые, белые, синие волны. Небо – чистое, без единого облачка. И солнце стояло еще высоко, хотя была вторая половина дня.

Груздев построил бойцов. Сам провел перекличку, хотя уже давно назначил своим заместителем Петра. Тот обычно строил отделение: так Груздев называл группу, и докладывал младшему политруку, что «все люди налицо».

Груздев внимательно осмотрел каждого: выправка, что надо, все подтянутые, хотя форма заношена, а у кого-то и совсем грязная. Все при оружии.

Прохаживая перед строем, он раздумывал, ехать ли сейчас к тому лесу или дождаться темноты. Если ждать, потеряешь время и, может быть, детей уже не догонят. Ко всему может случиться, что дети наткнутся на немцев. Значит, надо рискнуть. Расстояние небольшое, вокруг ничего подозрительного не видно и не слышно. И все же рисковать не хотелось. На всякий случай приказал Петру и Василию Кечику углубиться в луг, оттуда осмотреть местность.

Парни, пригибаясь, прошли по дороге метров двести и вдруг замерли, исчезли в траве. Груздев, вынимая из кобуры пистолет, отдал команду: «В ружьё!».

Бойцы, выполнив команду, в ожидании, что будет дальше, затаились за деревьями у опушки леса. Но по-прежнему вокруг было тихо, только в небе пели жаворонки и перепёлка всё просила и просила пить.

Вскоре парни вернулись назад.

– Товарищ младший политрук, – сказал Петро, – на дороге детские следы, еще свежие, пыль не затянула. Вокруг тихо, ничего подозрительного не видно.

Решение Груздев принял сразу: под прикрытием леса – вперед! А Петру и Гавриле приказал ждать темноты, затем, не включая фары ехать через луг к лесу, где их и будут ждать...

Но Петро и Гаврила не выполнят его приказания. Темноты они не дождутся. Пройдет не более получаса после того, как Груздев с их товарищами, обойдя луг, войдут в лес, как вдруг сзади, там, где была деревня старика, Петро и Гаврила услышат выстрелы. Стрелять будут из автоматов, очередями, иногда одиночными. Стрелять будут несколько минут, затем наступит тишина, но тоже ненадолго, а потом сюда, где они стояли возле машины, дожидаясь темноты, поползет тяжелый глухой гул.

– Гаврила, танки! – крикнул Петро. – Что делать?

– Да, танки! – словно подтвердил Гаврила, прислушиваясь к гулу, доносящемуся из леса, и добавил: – Что делать?.. Наших догонять. Вперед!.. Я – за руль.

Пока Гаврила по ухабистой лесной дороге гнал машину, догоняя Груздева и своих товарищей, те уже настигли детишек... Что дети недалеко, бойцам было понятно сразу же, как только вошли в лес. В песчаной колее они увидели много следов от ботиночек, босых ног и ножек, и следы взрослых.

– Товарищ младший политрук, – осмотрев колею, сказал Дима Моруденко, до войны заядлый рыболов и охотник, – недавно прошли, скоро догоним, не напугать бы. Заметят, подумают, что немцы, разбегутся, до ночи не соберем.

– И догоняй, Дмитрий, – сказал Груздев. – А мы будем идти следом за тобой. Свистни, когда догонишь.

Вскоре они услышали свист, бросились вперед и, миновав несколько изгибов дороги, заметили большую группу детей, среди них двух девушек и Дмитрия.

Дети были обессиленные, искусанные комарами, голодные. Маленькие плакали. Большие вытирали им слезы, держали за ручки, а совсем маленьких – на руках.

– Мы свои! – издали крикнул Груздев, не подумав, что Моруденко предупредил девушек и детей, подготовил их к встрече. – Не бойтесь!

...А тем временем Гаврила и Петро проехали луг. Гаврила вел машину, Петро сидел в кузове, с тревогой поглядывал назад, немцев не было видно, но был слышен далекий тяжелый гул, надвигающийся сюда.

Когда въехали в лес, Петро перегнулся через левый борт, прокричал, что немцев не видно, но гул не затихает: надо гнать!

Они проехали еще несколько километров по лесу, Гаврила остановил машину, выключил, прислушались – гул постепенно нарастал.

– Гони! – крикнул Петро.

...Когда догнали своих, Петро соскочил с кузова, подбежал к Груздеву – тот, отойдя от детишек, глянул на него и тревожно спросил:

– Что?..

– Танки, товарищ политрук! Детишек бы...

– Далеко?

– Не очень, где-то, наверное, на лугу. Успеем.

– Детей в машину! – прокричал Груздев.

Бойцы быстро разместили детей в кузове, четырех самых маленьких – в кабине. Кое-как успокоив детей, учительница и внучка старика тоже разместились в кузове. Учительница возле кабины, Оля – у заднего борта. Бойцы стояли возле машины, тревожно поглядывая назад на дорогу, откуда нарастал гул.

Надо было не мешкая ехать. Петро и Гаврила, ожидая команды Груздева, решали, кто поведет машину. Петро хотел, чтобы за руль сел Гаврила, сам он намеревался остаться здесь с товарищами. Но тот заупрямился, сказал, что останется он.

Груздев, обойдя машину, осматривая ее, глянул на бойцов, ожидающих его команды. Наверное, сначала он должен был отправить машину, а уже

потом скомандовать: «Занять оборону!» или: «К бою!». Но Груздев спокойно и твердо сказал: «К бою!» И это был первый и последний его боевой приказ на этой войне...

Отдавая его, он не колебался, и не сомневался, что иной команды и не должно быть. Хотя могла быть и такая: «С детьми всем – в лес!». И если первые две команды никому из его бойцов, да и самому Груздеву не оставляли никакого шанса выжить, третья такой шанс оставила бы хоть кому-то из его солдат, но, наверное, не всем детям...

Бойцы, получив команду, пробежали от машины в направлении луга метров десять и быстро заняли оборону по обе стороны дороги, как раз в том места, где был узкий длинный поворот.

Груздев подошел к Петру и Гавриле, все еще выясняющим, кто должен везти детей, и попросил:

– Парни, довезите детей, пожалйста.

– Товарищ младший политрук! – почти закричал Гаврила. – Я – здесь! С вами. Пусть Петро едет. Ну дайте ему кого-нибудь.

– Почему я? Давай ты, а я здесь!

– Кончайте... – устало сказал Груздев. – В помощь даю... – Он запнулся. Дать кого-то в помощь двум водителям, конечно, надо. Но кого... Братья Боровцы... Пусть хоть один останется: двое их у родителей.

– Никодим, Ваня, ко мне! – крикнул Груздев.

Подбежали братья. У обоих винтовки. По две немецкие гранаты за поясом.

– Никодим, Ваня, надо одного из вас в машину. Кто?

Оба отрицательно покачали головами: нет. Понял их: «Нам надо быть вместе».

Груздев крикнул:

– Моруденко! С оружием – к машине! Гаврила – за рулем! Петро старший. Выполнять!

Никодим и Иван, услышав это, бросились назад, туда, где раньше лежали в траве у дороги.

Уже лежа на земле, поглядывая через прицел винтовки на дорогу, на которой еще ничего и никого не было, но которая уже дрожала под чем-то тяжелым, Никодим с досадой сказал:

– Эх, кружку не отдал... Да ладно, Гаврила с Петром найдут с чего напоить ребятишек...

– Найдут, – согласился Иван, стараясь унять дрожь, внезапно охватившую его, и тоже глядя через прицел на дорогу, и тоже никого и ничего там не видя...

Машина тронулась с места. Груздев достал из кобуры пистолет. Затем быстро прошел несколько шагов по дороге вперед, туда, откуда приближался тяжелый, очень тяжелый гул. С минуту постоял, прислушался, потом лег на траву между колеями, и сразу же почувствовал, как под ним дрожит земля, и как эта дрожь передается всему телу...

Солнце еще не зашло, его лучи пробивались сквозь ветви деревьев, падали на траву, на спины, головы, руки бойцов, лежащих на земле и притаившихся за деревьями, на Груздева...

Через минуту он, кажется, уже привык к тому, что под ним дрожит земля, почувствовал, как дрожь уходит из тела, такая чужая и не нужная ему, почувствовал невероятное спокойствие, словно нет войны, будто просто прилег на землю отдохнуть после утомительного похода на учениях... И в то же мгновение ощутил, как она пахнет, нагретая за день, пахнет чем-то живым, нежным, манящим, притягивает к себе.

Хотелось закрыть глаза, долго, бесконечно долго и беззаботно лежать на ней, словно младенец на руках матери. Лежать, забыв, что война, которую он так долго обходил со своими бойцами и которая все это время казалась где-то далеко-далеко, уже рядом с ним, с ними. Не хотелось ни о чем думать, не хотелось ничего слышать и видеть, кроме предвечернего леса, еще щедро освещенного солнцем, кроме птичьего пения, голосов парней, лежавших на земле, стоявших за деревьями, поглядывая то вперед, откуда все нарастал и нарастал гул, то назад, где, покачиваясь, исчезла за поворотом машина с детьми, с двумя девчатами, с Петром, Гаврилой и Димой.

Груздев понял, что расслабляется, а это на войне никак нельзя. Он приподнялся, посмотрел вперед, прислушался: гул был уже совсем близко, а земля под ногами все дрожала и дрожала...

Груздев посмотрел по сторонам: бойцы застыли в ожидании, кто лежал за деревом, кто в траве. К нему подбежал Никодим Боровец, прокричал:

– Товарищ командир! Гранату возьмите, гранату! У меня их две!

Груздев взял правой рукой гранату, пистолет переложил в левую, крикнул:

– Головной танк беру я! Остальные – каждый по одному!..

Из-за поворота показался первый танк...

...Через полчаса на этом месте, где Никодим Боровец подбил первый и последний танк в своей жизни, а минутой позже его брат Иван, где неподвижно лежали они и их боевые товарищи, и младший политрук Груздев, ходили немцы.

Еще не стемнело.

Немецкий офицер, обходя место боя, приказал своим солдатам осмотреть карманы убитых красноармейцев (документов ни у кого из них не было), удивлялся: что за воины... Затем он с недоумением взял из рук своего солдата какую-то удивительную вещь, сделанную из снарядной гильзы.

Если перевести с немецкого языка, он сказал: «Такого трофея у меня еще не было. Ну что ж, заберу. После того, как мы уничтожим этих варваров, буду у себя в Баварии пить пиво и рассказывать детям и внукам, как мы воевали». (Детей и внуков у него не будет. На нем и закончится его род, хотя доживет он до глубокой старости.)

А через четыре года после того боя он, пленный, работая на стройке в Минске, обрежет немецкую снарядную гильзу, которую найдет на площадке. Получится нечто похожее на тот трофей-кружку, которую он потерял в лесу почти год тому, когда его вместе с такими же как он отступающими офицерами и солдатами фюрера партизаны взяли в плен... И когда он, пленный, пил из нее воду, то вспоминал, как горстка красноармейцев в лесу под Смоленском остановила колонну танков, подорвав сначала один, потом два, потом еще и еще...

Вспоминал, какая была паника среди его солдат, а затем, когда затих бой, недоумение: зачем им, этим красноармейцам, нужен был такой неравный бой?.. Ведь они могли убежать, спрятаться в чаще леса, а потом идти своей дорогой...

Кружка, которую он сделал из обрезанной гильзы, нравилась ему. Одно было плохо: когда наливали кипяток – обжигала. Кружка была без ручки, ее нечем было припаять.

И еще он не понимал, почему местные женщины подходят к пленным немцам и дают им хлеб...

Владимир СИЛКИН *(Россия)*

РУССКИЙ ВЕТЕР

НА МИНСКОМ АВТОЗАВОДЕ
...А память опять заводит,
Никак ей покоя нет.
На Минском автозаводе
Мне девятнадцать лет.

Празднуем День Победы,
И стадион ревёт.
Там ещё наши деды,
Там ещё наш народ.

Веривший в правду свято,
И – не разлей вода.
Все мы тогда солдаты,
Все мы родня тогда.

Что же случилось, братцы,
Что же у нас не так?
Как нам опять собраться,
Силы собрать в кулак!

СИЛКИН Владимир лауреат Государственной премии России, Заслуженный работник культуры РФ, Почётный гражданин Рязанской области, начальник военно-художественной студии писателей Центрального Дома Российской Армии МО РФ, полковник, поэт.

Думаю и хмелею...
Минский автозавод.
Как я тебя жалею,
Мой золотой народ!

ГОЛОСА ДРУЗЕЙ

Памяти Николая Старченко
и Владимира Павлова

Голоса друзей моих всё дальше –
Свой приют последний обрели.
Ни упрёка и ни слова фальши
Мне они оставить не смогли.

Воевали, слушали Кобзона,
Поднимали в море паруса.
И теперь, наверное, резонно,
Я их не услышу голоса.

Голосов друзей моих не слышно.
Не подали первый раз руки.
Как-то неожиданно всё вышло,
Вышло как-то всё не по-людски.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ждал друзей, но оказалось,
Что друзей-то не осталось.

Разбросало по земле,
Поизнежило в тепле.

Ну, а тот, кого считал
Я врагом, врагом не стал.

Отыскал нежданно дом
И напомнил о былом.

– Поздравляю! Извини!
Если можешь, не гони...

– Заходи, – сказал ему, –
Что припёрся, не пойму?!

Посидели, все сказав,
Я вдруг понял, был не прав.

Я сказал: «Не уходи,
Все, что было, позади!».

Ждал друзей, но оказалось,
И врагов-то не осталось.

ЗРЯ?

Вернисажи на Арбате,
Нищета внутри страны...
И за это дрался батя,
Мёрз в окопах полвойны?

Зря, представленный к награде,
Но её не получив,
Без руки вернулся дядя,
И сосед остался жив?

Зря лежат на поле брани,
Сжав два русских кулака,
Оба деда из Рязани,
Два рязанских Василька?!

РУССКАЯ ДВОРНЯГА

Он пьянел, заказывал закуски,
Прогонял дворнягу от стола,
Но, когда послал её по-русски,
Никуда собака не пошла.

От него не сделала ни шага,
Бей, любезный! Что мне? Не умру!
Русская бездомная дворняга
Злобу принимала за игру.

Он храпел, она лежала рядом,
Наблюдала искоса за ним.
И почти что человечьим взглядом
Был, уснувший замертво, храним.

Молча стол в объедках созерцала,
И когда проснётся он, ждала.
Не взяла ни хлеба и ни сала,
Ничего без спросу не взяла.

Встал мужик, шатаясь да икая,
И пошёл от пьяного стола,
И за ним, послушная такая,
Русская дворняга побрела.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЮБИМАЯ!

Еду, волнуясь, к тебе опять
С тёплого пляжа Крыма я.
Ты, как всегда, не ложилась спать.
– Здравствуй, любимая!

Смотришь в лицо мне во все глаза,
Бойкая, неисправимая.
Я прохожу на бездонный вокзал!
– Здравствуй, любимая!

Многоязычие, плач, как вой,
Давка непроходимая.
Но различаю я говор твой.
– Здравствуй, любимая!

Я задыхаюсь, и я зову
Женщину, пусть и мнимую.
Дайте пройти и обнять Москву!
– Здравствуй, любимая!

МЕТЕОПРОГНОЗ

Обманчив метеопрогноз,
Над головою солнце светит,
А обещали лето гроз
И преимущественно ветер.

Сижу на речке дотемна,
Но не дождусь сегодня клёва,
Наверно, рыба, как страна,
И этим летом не здорова.

Лишь стрекоза на поплавке,
И больше ничего живого.
И пусто у меня в садке
В преддверье лета грозового.

* * *

Не провода, скрипучие качели,
Под ветром нагибаются столбы.
Ах, как же мы с тобою не хотели
Услышать грохот танков и стрельбы.

Но всё равно доносит запах гари
До наших мест локальная война.
И чей-то сын, такой красивый парень,
За службу не получит ордена.

Да, да, порой случается такое,
Когда среди георгиевских лент
Родителям в Кремле Звезду Героя
Вручает в День России президент.

НА БЛОКПОСТУ

Смешной щенок, как и хозяин, курский...
Приученный к единственным рукам,
Он даже не облаял нас по-русски,
А ткнулся в ноги русским мужикам.

И на привет ответить не умея,
На привязи уставший до тоски,
Он проскулил, что рядом ходят змеи,
Вы тут поосторожней, мужики.

И снова в будку от жары палящей,
От нашей ласки и от наших ног,
Такой родимый, русский, настоящий,
Ещё на зло не лаявший щенок.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИМЕНИ БАСИЛЯ АЛЬ-АСАДА

Вдали война, а тут вполне комфортно.
Уже моторы явственно ревут.
Стоим и ждём внутри аэропорта,
Когда нас на посадку позовут.

Жена сирийца с малолетним сыном,
Видавший виды русский генерал,
И рядовой с душистым апельсином,
Что верить в чудеса не перестал.

Вращает фрукт, как обожжённый глобус,
Чего-то ищет там на кожуре.
Песочную спасительную робу
Он не снимал ни при какой жаре.

Окрыли дверь, солдаты грузят в люки
Всё то, что им доверила страна...
Тяжёлые мозолистые руки,
Не первая далёкая война.

РУССКИЙ ВЕТЕР

Ветер за уши не оттащить
От соломенной крыши сарая.
Вот и с ветром приходится жить,
Даже стоны его повторяя.

Я не думал, что он одинок,
Ни единой избой не привечен,
Как и люди, он валится с ног
От работы тяжёлой под вечер.

Но с утра поднимает с полей
Всех бумажных поломанных змеев,
Провожает своих журавлей,
Улететь вместе с ними не смея.

Он прописан в рязанскую глушь,
Улететь от работы не может.
Как оставит он тысячи душ,
Кто их, кроме него, потревожит!

Улетают в листву журавли,
Без него на заре улетают,
Но для ветра нет лучше земли,
Где, как он, и поют, и страдают.

ПЕРЕПЁЛКИ

Пели в поле перепёлки,
Плыли к ним перепела...
Каждая в своей светёлке,
Припеваючи жила.

Засыпали в пятистенке.
Всем им, чтоб никто не знал,
Месяц молодой коленки
Ночью с чувством целовал.

Утром звёзды осыпали
Серебро и медь волос...
Так любви и не узнали
Перепёлки из-за слёз.

Время выпало лихое –
Воевать пришлось в дали,
И ребята к ним из боя,
Из Афгана не пришли.

Я гляжу с вагонной полки
В даль, где жизнь моя прошла:
Перепёлки, перепёлки –
Незамужних полсела.

ПРОСТИ, БЕРЁЗА

Склонись ко мне, берёза, и прости,
Прости за то, что столько зим промчало,
За то, что ты не раз меня встречала,
А я не мог сыскать к тебе пути.
Склонись ко мне, берёза, и прости.

Какой рассвет и дали зелены,
И жерёбенок по лугу несётся,
И цепь звенит у старого колодца,
И тётка Поля сына ждёт с войны.
Какой рассвет и дали зелены.

Мне б это всё по свету пронести,
Не расплескать из сердца, не утратить.
Мне этой ноши до скончанья хватит.
Склонись ко мне, берёза, и прости,
Мне очень трудно без тебя расти.

ТАК И НАДО ТЕБЕ, ДУРАЛЕЙ

Я приеду домой, тяжелей
Станет сердцу у дикого сада:
– Так и надо тебе, дуралей,
Так и надо тебе, так и надо!

Не жалей меня сад, не жалей,
Бей меня, чтоб слетела бравада!
И послышится голос с полей:
– Так и надо тебе, так и надо!

– Ты горючие слёзы не лей! –
Отзовётся родная прохлада.
– Так и надо тебе, дуралей,
Так и надо тебе, так и надо!

Выйду к речке, не станет теплей
От речного зелёного взгляда:
– Так и надо тебе, дуралей,
Так и надо тебе, так и надо!

Зашумит и нахмурится лес,
Хлынет дождь освежающий с градом,
И послышится голос с небес:
– Так и надо тебе, так и надо!

...На могиле, где тусклый венок,
Я услышу, как вздрогнет ограда:
– Всё как надо, как надо, сынок!
Всё как надо, сынок, всё как надо!..

СЕРДЕЧНАЯ ТРАВА

Как, вы не слышали имя такое?!
Но, говорят, и поныне жива.
Я как услышал, лишился покоя,
Что есть такая в России трава.

Все перелески в округе облазил,
Лугом и полем ходил целый год.
Но не нашёл, видно, кто-нибудь сглазил.
Но всё равно где-то есть и живёт.

Разве возможно на свете иначе!
Ну, не увиделись, жребий не мой.
Я понимаю, большая удача
Встретиться в жизни с сердечной травой.

Ну, разминулись, но это не драма,
Это житейские, в общем, дела.
Если б нашёл, вероятно, и мама
Рядом со мною ещё пожила.

ОДИНОЧЕСТВО

Жену схоронил и невестку
И с внуком стал век вековать.
Но внуку прислали повестку,
И внуку пришлось воевать.

На счастье надеялся, строил
Беседку в саду и не кис.
Но внук стал посмертно Героем,
И жизнь потеряла свой смысл.

Он ладит у дома качели,
Едва шелохнётся весна...
А вот и грачи прилетели.
Какая быть может война?!

ВЕТЕР ПОСЛЕ ПОКРОВА

Ветер, безумный ветер
Выстудить всё готов.
А ведь вчера на свете
Тихий гостил Покров.

Переживём и это,
Было и холодней.
Мало ли у поэта
В жизни ненастных дней.

ГОЛУБИ

Словно звёздочки, в небо взошли,
И порхают себе, и порхают,
От людей и от грешной земли
В поднебесье своём отдыхают.

А когда возвратятся назад,
В этом мире изменится что-то,
Лишь останутся эти глаза,
Потрясённые счастьем полёта.

Буду слушать молчание птиц,
Ведь и этому надо учиться.
Нет на свете красивее лиц,
Чем лицо осенённое птицы.

Вон воркует на крыше она,
Вон как сердце счастливое бьётся!
Что же нам-то с тобою, жена,
Эта радость никак не даётся?

Что ж не можем, как птицы, взлететь,
Что ж не можем земле улыбнуться?
Мы же можем с тобой не успеть
И до старости в детство вернуться.

Ох, как сладко воркует сизарь,
Посвящённый на небе во что-то,
И смеются, искрятся глаза,
Потрясённые счастьем полёта.

ТОПОР

Стучит топор, упрямо рубит слеги.
В лесу темнеет, дождик моросит.
И, кажется, с натруженной телеги,
Пугая лес, возница голосит.

На листьях медь прошедшего столетья
И пыль веков на листьях этих дней.
Не перебить топор угрюмый плетью,
Пока он в спорах всё-таки сильней.

На нём и кровь, и женские проклятья,
Последний крик и слёзы палача.
Проходит осень, вся в пурпурном платье,
От ужасов столетий горяча.

А что топор? Он тонко знает дело,
Куда ударить, знает наперёд.
Не подставляйся, быстро и умело
Тебя топор, как липку, обдерёт.

Ему не вновь стучать в лесу, потея,
Такая жизнь, видать, у топора.
Трепещет лес, и гнёт покорно шею,
Как век назад, и так же, как вчера.

СЧЁТ

Что ты, кукушка так рано
Годы считаешь в саду?
Я, как Малахов с экрана,
Лет ещё сто не уйду.

Так что забудь торопиться,
Хватит судьбу предрекать.
Ты же безумная птица,
Ты не умеешь считать.

Что же ты вдруг замолчала?
Где ты, кликуша, опять?
Лет пятьдесят выручала,
Хоть не клялась выручать.

Мне-то казалось, что мало
Ты отмеряешь мне лет.
Ты, вероятно, устала,
Силы соврать уже нет.

ЗИМНИЕ ЯБЛОКИ

Какие яблоки в апреле?
У нас они в апреле есть.
Мы берегли их и не ели,
Хотя хотелось очень есть.

Но, переложенные стружкой,
Лежали в ящиках они,
И мы ходили друг за дружкой
И до весны считали дни.

И знали, что необходимо
Не трогать яблоки, терпеть,
Чтоб пережить без хлеба зиму
И с голода не умереть.

Да, мы в такое время жили.
Мы пережили трудный год.
И яблоки, что отложили,
Никто без спроса не возьмёт.

25 ДЕКАБРЯ

Вот проводим последнюю тучу,
Соберёмся опять во дворе.
Ну, никак мы себя не отучим
Водку пить из горла в декабре.

А её непременно не хватит,
Не достанется всем по глотку...
Но мой друг опьяневший, некстати,
Пистолет приставляет к виску.

Не виновен пред теми, кто пали,
Сам изранен за речкой до дыр.
И звенят на морозе медали,
И глаза свои трёт командир.

ПАЛ

Пахнет день креозотом шпал,
Стало поле совсем седым.
А за окнами пал, пал, пал,
А за окнами дым, дым, дым.

Еду поездом сто часов,
И ни часа ещё не спал.
И душа моя – на засов,
А за окнами пал, пал, пал.

А над озером гвалт, гвалт, гвалт,
И сушняк, превращённый в медь.
А за окнами пал, пал, пал,
А за окнами смерть, смерть, смерть.

ЗИМА

Натянуты непрочные поводья,
И сердце рассуждает о своём:
– Ну, что, брат? Доживём до половодья?
– А черт-те знает, может, доживём.

Природа вызывает удивленье –
Ни крошки снега этою зимой.
И скачет, скачет бешено давленье
И с улицы не хочется домой.

А ведь неплохо посидеть у печки,
Наедине с собой порассуждать,
Когда вода поднимется из речки,
Когда река сподобится рожать?

И где апрель свои оставит льдины,
Придёт ли в подпол полая вода?
Тревожно лает в старой будке псина,
И всё не отпускают холода.

БЕЗГРЕШНЫЕ

Всё чаще грустные мотивы,
И всё печальнее сюжет.
Пишите всё, пока вы живы,
Пока давленья свыше нет.

А грусть-печаль, она от Бога,
От Бога свет и холода.
У грешных есть одна дорога,
Одна дорога в никуда.

Но не завидуйте безгрешным,
За ними всякого полно.
Грешили и они, конечно,
Не зная... То-то и оно!..

А ведь найдётся доноситель,
Представит справку, где печать.
И вы, безгрешные, не спите,
Готовьтесь тоже отвечать.

НЕУДАЧНИК

Ты не плачь, не самый голосистый,
Что тебе природа не дала
Голос и естественный, и чистый,
В трудный час тебе не помогла.

Ты зовёшь любовь свою в июне,
Плачешь от бессилия и зла.
Что же ты впотьмах пускаешь нюни,
Не дождавшись в час ночной тепла?

Не реви, еще тебя полюбят
И блаженной точно будет ночь.
Лучшая на свете приголубит,
Будет от любви тебе невмочь.

Спой ещё у солнечного пруда,
Побори сомнения свои,
И узнаешь, что такое чудо,
Что ещё не знали соловьи.

ДЕНЬ СОЛНЦЕСТОЯНИЯ

Река свои досмотрит сны,
Впервые выспится за лето.
Такой звенящей тишины
Давно не помнит местность эта.

Но солнце выпучит глаза
И воду выкрасит вишнёво,
И под кувшинкой стрекоза
Беспечно сложит крылья снова.

Потом и утки побредут
Из камыша, резвясь и споря,
И цапли серые маршрут
Проложат над рекою вскоре.

Пойдут по небу облака,
Поднимется, дурачась, ветер,
Досмотрит сны свои река,
И всё изменится на свете.

НА ОТКРЫТИЕ ОБЕЛИСКА

Герою России Андрею Красову

Даже не верится, что это было,
Что и сюда подступала война.
Марья Ивана до смерти любила,
И после смерти любила она.

Долго глядела вослед уходящим,
Спины крестила пропавших вдали.
Эта разлука была настоящей,
Эту любовь победить не смогли.

Вечная память и вечные списки,
Вбитые в камень навек имена.
Вечный покой обрели обелиски.
Марья с Иваном. Любовь и война.

Серые цапли взлетают с рассветом,
Крепко на кладбище спит тишина.
Марья с Иваном. Короткое лето.
И не даёт распрощаться война.

ЛЕТО

Пламенеют щёки у заката,
Над водой собранья комарья.

И опять из серебра и злата
Выплывает родина моя.

Вновь пред солнцем засмущались вишни.
Столько вишен, кровенеет глаз!
И лягушки мраморные вышли
Песни репетировать сейчас.

Хорошо, аж сердце замирает,
Тонет Хупта снова от дождей.
И кукушка годы отмеряет,
Вглядываясь пристально в людей.

СТАРИК

Не простой старик напротив –
Суетится и сопит.
Поменяться я не против
Нижней полкой. Пусть поспит.

Как сказать ему об этом,
Не обидится старик?
Созерцает молча лето,
Лбом к стеклу сейчас приник.

Предлагаю, он ни слова,
Мол, укладывайся сам.
И в окно глазеет снова,
Будто правду ищет там.

Я пакет с бельём вскрываю,
Намекаю, что стелюсь.
Он встаёт, садится с краю,
Так что я не разосплюсь.

Ну, да ладно, ноги свешу,
Как-нибудь и умещусь.
Но себя напрасно тешу –
Тот ещё сосед мой гусь.

Он не сдвинулся на полке
Той, что только предложил.
У него в глазах иголки,
Видно, жизнь не так прожил.

Я не сплю и рядом еду,
И сосед не спит со мной.
Лет за восемьдесят деду,
Но не скажешь, что больной.

Да, бывает и такое.
Всё в дороге может быть...

Никого не беспокою,
Чтобы место уступить.

* * *

Впереди одни печали,
Но прошедшего не жаль.
То, что было там, в начале,
Не похоже на печаль.

Искры радости упрямо
Пробиваются на свет:
У моей постели мама
Отмечает двадцать лет.

Никакой ещё разлуки,
Никаких ещё потерь.
И отец берёт на руки,
Открывает в школу дверь.

Я один иду по лугу,
Я Отечеству служу,
Прикрываю спину другу,
Данным словом дорожу.

А потом одни потери,
Нет ни мамы, ни отца,
Я один стою у двери,
Слёзы падают с лица.

Свежий ветер дует в спину.
Жизнь торопится, идёт.
И страна погоны сыну,
Как и мне, уже даёт.

Но врастает в руку ручка,
Не даёт скучать строка.
И кому-то глазки внучка
Строит нехотя пока.

Впереди одни печали.
Или радость свысока?
И не сплю, не сплю ночами,
И считаю облака.

ИВАН-ЧАЙ

Родина не даст поблажки,
Подписался, отвечай.
В городе весёлом Ряжске
Отцветает иван-чай.

А поблажки мне не надо,
Собираю иван-чай.

Он хрипит под сенью сада:
– Пропадаю, выручай!

Набирай скорее цвета,
Август лучшая пора!..
На крутом изломе лета
Мёд с него бежит с утра.

Запасут его, насушат,
Будут жить да поживать,
Этим чаем даже душу
Научились врачевать.

Пей зимой из чайной чашки,
Как лекарство, принимай...
В городе весёлом Ряжске
Отцветает иван-чай.

Елена СТЕЛЬМАХ *(Беларусь)*

БИЛЕТ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ
Очерк

Загадочная Атлантида... Верить ли в то, что существовала такая страна, или это всего лишь измышления великого философа Платона? Сколько всяких тайн сокрыто под покровом времени, которые будоражат воображение, но так и остаются недоступными для современников.

Свыкнуться с мыслью, что десятки тысяч лет тому назад человечество было еще более прогрессивным, чем современное общество, не каждому под силу. Именно такой представляется Атлантида с ее высокоразвитой цивилизацией. Однако еще не такие далекие, но не менее значимые события упорно свидетельствуют о том, что слухи рождаются не на пустом месте.

Что-то все-таки было на этой грешной земле, раз не смыли проливные дожди истории артефакты далекого прошлого. Немногим больше чем полстолетия отделяет нас от событий советского времени, а названия маршрутов «Негорелое – Хабаровск», «Негорелое – Париж», «Негорелое – станция Маньчжурия» кажутся такими же ирреальными, как легендарный остров в Атлантическом океане с развитыми технологиями, быстроходными судами, летательными аппаратами, с неведомыми источниками энергии.

СТЕЛЬМАХ Елена родилась в Минской области. Окончила БГУ, Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Была главным редактором «Белорусской лесной газеты», журнала «Родная природа». С 2016 года – первый заместитель председателя СП Беларуси.

Журналист, писатель. Автор около десятка книг прозы и публицистики. Участник писательских форумов в России, Молдове, Казахстане.

ЧТО ЗА СНЕГАМИ БЕЛЫМИ?

Станция Негорелое по своей значимости сегодня ничем не отличается от таких же неприметных станций-сестер, которых по всей железной дороге на ее огромных просторах не перечесть. Разве что архитектура белоснежного здания из окна вагона мчащегося поезда невольно привлечет взгляд странствующего пассажира.

А ведь в начале двадцатых годов прошлого века этот объект имел мировое значение. Станция была отмечена на многих географических картах как стратегически важная. Здесь нужно было обязательно остановиться, и не только для того, чтобы, как на любой границе, пройти контроль. Здесь пролегала своеобразная грань в мышлении, в осмыслении двух миров, двух образов жизни, в восприятии двух антагонистических систем: социалистической и капиталистической.

В советские времена эта станция обязательно упоминалась в учебниках по литературе, когда речь шла о Владимире Маяковском, когда-то с восторгом воскликнувшим:

«На горизонте –
белое.
Снега
и Негорелое».

Ход истории изменил роль и значимость станции Негорелое. Он как приподнял ее географический и политический статус, так и лишил главенствующего положения на западной границе Советского Союза. Но слишком много оказалось свидетелей на полустанке двух миров, чтобы память о легендарной станции бесследно канула в неизвестность. Тем более, что очевидцами тех событий были люди, умеющие профессионально отразить свое восприятие действительности. Впечатления многих писателей, поэтов, других известных личностей если не легли в основу их произведений, то обязательно вылились в яркие строки высказываний о западном форпосте СССР того времени. Агния Барто в «Записках детского поэта» описывала состояние взрослого человека, которого ждала неизвестность поездки: «Из Советского Союза я уезжала впервые. Могла ли я думать, куда приведут меня строчки из моей детской книжки «На заставе», когда писала: «Здесь рядом граница, чужая земля. Здесь рядом не наши леса и поля...». Из Негорелого послала телеграмму домой и, как только скрылся из глаз последний советский пограничник, приготовилась напряженно смотреть в окно...».

Возможно, нечто подобное испытывали и другие пассажиры. В 1921-1939 годах границу пересекали около 10 тысяч человек в год.

НА КОНТОРКЕ – ПОЛМИРА

...Баловень-ветер играет на перроне в догонялки. В поседевшем свете дня трудно разобраться: это оторвался от ветки шалун-листок – предвестник наступающей осени, или пустился в пляс утерянный кем-то билетик, который, как хулиганистый мальчишка, до поры до времени осторожно выглядывал из-за угла. А вдруг он, пусть и потрепанная временем бумажка, еще будет кому-то нужен?..

Издавна эти места покрывали вековые пущи, богатые лесными дарами и дичью. В гармонию природы время от времени врывалась огненная стихия.

Ни один зверь не рычал с такой силой, как пылающее чудище, все поглощающее на своем пути. Пожарища наводили страх, их сторонились. Однако были места, перед которыми стена пламени замирала мгновенно. Люди считали это чудом, хранимой Богом землей, и селились на ней как на негоревшей, негорелой.

Во времена Великого Княжества Литовского Негорелое входило в состав Минского уезда. В 1569 году его включили в состав Минского воеводства Речи Посполитой. Владели местечком – составной частью Койдановского графства – известные магнаты Радзивиллы.

В документальных источниках того времени Негорелое упоминается как пересадочная и почтовая станция на конном тракте Минск – Новогрудок. Кроме того, на Негорелое приходилась 41 волока земли. Крестьяне платили чинш, исполняли натуральную и другие повинности.

Автор «Недоросля» Денис Фонвизин, 27 августа 1777 года прибывший в Негорелое, позже делился впечатлениями: «Ехали по узкой дороге дремучим лесом. Неожиданно сухая жердь въехала в окно дорожной кареты, разбив стекло в мельчайшие частицы... Выехав из Минска, пустились мы опять в дремучий лес и, доехав до деревни Негорелой, ночевали».

После второго раздела Речи Посполитой Негорелое оказалось в составе Койдановской волости Минского уезда Российской империи. Через него двигались французские войска во время Отечественной войны 1812 года. За участие Радзивиллов в восстании 1831-го года их право на владение Негорелым было передано царской казне.

В 1872 году его приобрел Юзеф Абламович, а в 1879 году – граф Эмерик фон Гуттен-Чапский, который присоединил Негорелое к своему Станьковскому ключу. К концу XIX века этому местечку была уготована текущая размеренная сельская жизнь. Но идея прокладки железной дороги переставила стрелки его истории на совсем другие рельсы, зажгла «зеленый свет» на дороге к известности во всем мире.

О том, из каких людских страданий ткалось полотно стального пути, хранят горделивое молчание здешние места. Царское правительство на строительство железной дороги сгоняло крестьян со всей Беларуси. Их выматывал тяжелый физический труд, голод, примитивные условия жизни. Линия Московско-Брестской железной дороги имела принципиальное стратегическое значение, соединяя восток с западом надежной транспортной магистралью. Ценой каких потерь давались километры прокладываемого пути, в расчет не брал никто.

День 28 ноября 1871 года стал эпохальным: по железнодорожному маршруту Минск – Койданово – Негорелое проехал первый поезд. Отсюда пошел отсчет времени истории Белорусской железной дороги.

В дальнейшей летописи этого населенного пункта было немало событий, которые эхом отзывались в нем, или же он сам становился эпицентром важных перемен.

Советская власть в Негорелом, как и в колыбели революции – Петрограде, была установлена в ноябре 1917 года. А через три месяца местечко оккупировали кайзеровские войска. В это неспокойное время созданный здесь партизанский отряд численностью в сотню бойцов боролся с интервентами. В декабре 1918 года части Красной Армии освободили Негорелое, а в марте 1919 года его захватили поляки. В июле 1920 года при отступлении они подожгли здание железнодорожного вокзала, с бронепоезда пытались разбомбить водонапорную башню.

В 1920 году в Риге был подписан договор о перемирии. Негорелое оказалось в «нейтральной зоне». Согласно подписанному в 1921 году Рижскому мирному договору, граница пересекла линию железной дороги Варшава – Москва между местечками Столбцы и Негорелое западнее на 15 километров.

Доселе неизвестный пункт росчерком пера стал самой крупной в Советском Союзе пограничной сухопутной станцией, промежуточным звеном на маршруте железнодорожного сообщения между Европой и Дальним Востоком.

Как позже заметил известный немецкий писатель Франц Карл Вайскопф, «...на конторке лежали расписания поездов чуть не полмира...», и здесь была «пересадка, совсем особая пересадка: в XXI век».

Рядом с советской погранзаставой короной властвующей царицы над путями возвышалась деревянная арка. Для многих пассажиров именно она была главным подтверждением прибытия в СССР.

Арку украшали неизменные атрибуты советской символики – красный флаг и звезда. Тех, кто возвращался в Советский Союз из Европы, встречал лозунг: «Привет трудящимся Запада!», а тех, кто выезжал за пределы СССР, сопровождало напутствие убежденного большевика: «Коммунизм сметет все границы!».

ПРИВЕТ ТРУДЯЩИМСЯ!

...Моросит холодный промозглый дождь, и редкие пассажиры, подняв воротники, спешат за билетами в теплое здание приземистого вокзала. Вскоре из-за поворота стремглав вынырнет швейцарская скоростная электричка, которая меньше чем за час домчит до белорусской столицы. Таковы ритмы современной «железки».

...А пока, словно из дымки времени, появляются очертания важно пыхтящего всеми парами поезда. Его силуэт желтым светом озаряет колеблющийся на ветру, исхлестанный дождями станционный фонарь. Оттуда, с польской стороны, слышен протяжный гудок. Железнодорожный колокол пронзительно оповещает о прибытии трудяги-паровика, как о явлении странника из чужого мира.

В 1927 году Анастасия Цветаева, будучи среди пассажиров такого экспресса, писала: «В Варшаве у билетной кассы я получила удивленный отказ: билет до Москвы? Билет выдается только до Столбцов, от Столбцов берешь билет до Негорелого, в Негорелом уже в русской кассе получаешь билет до Москвы. Эти последние минуты я еще во власти Запада. Еще мой паспорт – иностранен. Еще я – пани (должно быть, совсем безумная, в эту страшную неведомую страну!). В молчании со мной кондуктора – что-то стеклянное. Стоя у окна, я стараюсь за его плечом различить, что за окном. Слева замигали огни. Негорелое».

После того, как прозвучали долгожданные сигналы, на перроне среди встречающих волной пробежало оживление. Подоспел и духовой оркестр, который даже в сумерках заблистал медью начищенных труб (кстати, таковой имелся в 11-ом железнодорожном батальоне.) Парадность встрече придали алеющими на груди галстуками и развевающимися флагами пионеры. Атмосферу подобного торжества передает в статье «Две встречи с Горьким» писатель Раевский: «Откуда-то взялась легкая переносная трибунка – и на-

чался митинг. Речи перемежались громом оркестра... В заключение выступил он сам (Максим Горький – *авт.*), говорил о счастье быть дома, среди своих, о великой миссии, которую доблестно выполняет наш народ, о чувстве благодарности за оказанную ему «небывалую и незаслуженную честь».

Как правило, в каждом поезде следовала фигура «высокого полета», как в прямом, так и в переносном смысле. Например, Негорелое приветствовало летчика полярной авиации Героя Советского Союза В.С. Молокова, принимавшего участие в спасении челюскинцев. Почести оказывались летчикам В.П. Чкалову, Г.В. Байдукову, А.В. Белякову, а также М.М. Громову, А.Б. Юмашеву, С.А. Данилину, когда они возвращались из США после беспересадочного перелета через Северный полюс. Среди почетных пассажиров был отмечен «ледовый комиссар», «советский Колумб» академик Отто Юрьевич Шмидт, который поправлял здоровье в Америке после окончания героической эпопеи на пароходе «Челюскин». Памятными здесь остались имена норвежского океанографа, исследователя Арктики, общественного деятеля Фритьофа Нансена, французского скульптора Аронсона, пианиста-виртуоза, профессора Берлинской консерватории Эгона Петри, экс-чемпиона мира по шахматам Эмануила Ласкера.

4 июня 1934 года станция Негорелое аплодировала известному американскому певцу, негритянскому общественному деятелю Полю Робсону, который был здесь проездом в СССР.

В разные годы через Негорелое проезжали зарубежные писатели Анри Барбюс, Иоганес Бехер, Бертольд Брехт, Дьюла Ийеш, Мария Пуйманова, Ромен Роллан, Герберт Уэллс, Лион Фейхтвангер, Юлиус Фучик.

Поездки зарубеж были зафиксированы в Негорелом и таких русских и советских писателей, как Федор Гладков, Всеволод Иванов, Леонид Леонов, Александр Серафимович, Михаил Шолохов, Всеволод Вишневский, Галактион Табидзе, Алексей Толстой, Александр Фадеев, Илья Эренбург.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДВУХ МИРОВ

Дамы в самых модных на то время шляпках-«колоколах», важные господа в пенсне, едва спустившись на перрон, присоединяются ко всеобщему ликованию. Пронзительный взгляд таможенного служащего выделяет их из толпы. Станция живет своей обычной пограничной, празднично-деловой и в то же время чуткой жизнью – так называемые контрабандисты здесь, увы, не редкость.

Для возвращающегося в мае 1937 года после долгих лет жизни за границей Александра Куприна остановка в Негорелом была первым прикосновением к Родине. Судя по тому, что писала его дочь, К.А. Куприна, эта встреча его приятно обрадовала: «Вопреки ожиданиям, отец перенес дорогу очень легко, но устал, конечно, от больших волнений. Как только приехали в Негорелое, сразу иная атмосфера – русский язык, много внимания и ласки увидели от советских служащих».

Встречаясь в марте 1927 года с белорусскими писателями, Владимир Маяковский делился собственным восприятием приграничья: «Приходилось мне не только приезжать в Минск, – но и проезжать мимо Минска. За границу ездил, в Польшу. Эх, думаю, хорошо было бы заглянуть к минчанам, встречают гостеприимно. Но нельзя... Паспорт просрочишь. А к границе подъехал, сначала к Негорелому, потом к Колосову – пограничники уз-

нали. Прекрасные парни. Приглашают меня в гости. Меня, откровенно говоря, самого давно пограничная тема привлекает и волнует. Как же не написать на такую тему. И остался бы на несколько дней у пограничников, но снова же этот паспорт... Окончился срок – не пустят. Панам только предлог дай... Пожелал пограничникам успеха и поехал!..».

Для советского человека после поездки за границу эта пядь белорусской земли кажется самой дорогой на свете. Улыбчивые лица выдают настроение души: прижаться бы к белеющей неподалеку березке, одарить ее той нерастраченной любовью, которая накопилась за время пребывания на чужбине...

Иностранцы не торопятся выражать свои чувства: они сдержаны, осмотрительны, внимательно оценивают все вокруг.

Граница служила своеобразным индикатором противостояния идеологии двух миров, ареной негласной борьбы между двумя системами, желающими настроить людей на восприятие якобы ужасающей действительности по обе стороны пограничья.

Австрийский писатель Стефан Цвейг в книге «Поездка в Россию» открыто признавался в этом: «Русская земля начинается в Негорелом. Мы подъехали очень поздно, уже в темноте, так что нам не удалось как следует увидеть знаменитый красный вокзал с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Никак не удалось мне разглядеть в этих живописных дьяволосвирепых, вооруженных до зубов красноармейцев, которых описывали мои романтические предшественники по поездке. Я вижу только несколько красноармейцев с умными лицами, одетых в совсем не пугающую форму, без винтовок и без всякого сверкающего оружия».

Стефан Цвейг откровенен в том, что в реальности все далеко не так, как изначально представлялось ему: «Зал пограничной станции выглядит совершенно обычно, только вместо портретов высокопоставленных особ со стен смотрят фотографии Ленина, Маркса, Энгельса и некоторых других вождей. Осмотр делается тщательно и быстро, со всей мыслимой вежливостью. Сделав только первый шаг на советской земле, видишь уже, сколько еще нужно бороться с ложью и преувеличениями. Ничто не носит здесь характера большой строгости, жестокости, более ярко выраженного военного оттенка, чем на других границах. Без всякого резкого перехода внезапно оказываешься в новом мире».

В описанной Францем Карлом Вайскопфом дорожной ситуации кроется большой идеологический подтекст, когда заложниками мифов и устрашений становились обычные граждане. Во время досмотра у американца в чемодане обнаружили голубые баночки. «...Девушка в красном платочке уже громко хохочет: она разгадала содержимое этих подозрительных баночек! Сгущенное молоко! Он тащит с собой сгущенное молоко, он думает, что у большевиков ему есть не дадут или отравят его... Смех заразителен. Тем, кто не понимает по-русски, переводят, в чем дело, и они хохочут тоже. Один лишь американец не понимает, что происходит, и лицо у него – полуобиженное, полубеспомощное.

Потом, когда русский поезд подан, и мы уже стоим на платформе, профессор-немец говорит жене:

– Знаешь, я собственно могу представить, что думал американец, упаковывая сгущенное молоко.... Ведь едешь в совершенно чуждый мир; кто его знает, что в этом мире происходит, даже вагоны не похожи на наши...».

Чем же разнились стальные магистрали, в которых пассажиры также ви-

дели какой-то скрытый враждебный умысел? На перегоне Негорелое – Столбцы польской железной дороги имелось два пути: один – союзной колеи, другой – западноевропейской. Один из поездов формировался в Париже, по дороге к нему присоединялись вагоны с пассажирами, которые двигались на Дальний Восток. Прибытие поезда из Парижа в Негорелом ждал курьерский поезд, который направлялся до станции Маньчжурия. Вагоны союзной колеи и западноевропейской отличались своей шириной (советские были шире), а потому переставлялись на оси, соответствующие направлению движения: на Запад или в СССР.

ВСЕ – НАПОКАЗ!

Работники станции нередко шутили, что в Негорелом они видят всю Европу и Америку. Как бы там ни было, а среди пассажиров преобладала интеллигенция, определенным образом олицетворяющая собой образцы новой моды, которую диктовал, по мнению одной стороны – дикий Запад, по мнению другой – красная Россия. Взаимопроникновение модных тенденций, выраженное в желании людей одеваться более престижно и современно, никакими границами остановить было невозможно.

Таможенники в первую очередь определяли соответствие документам внешнего вида пассажира. Как он одет, невольно бросалось в глаза. И проверка багажа была важна не только соответствием его содержимого требованию правил, но и самим контролерам невольно хотелось взглянуть на то, что за «шарм везут господа из Парижа».

Первая мировая война, а в России ещё и революция внесли самые большие изменения в одежде. Нужны были более функциональные вещи: исчезли корсеты, укоротились юбки, и даже появились женщины в брюках! Женской прической 20-го века считалась короткая стрижка «паж». В одежде был очень моден белый цвет. К особой роскоши относились туфли-лодочки с застежкой-перепонкой. В мужской моде было популярным использование фраков на Западе и френчей в России. Все больше становилось заметным, как женщины заимствуют одежду из мужского гардероба.

Содержимое чемоданов, баулов, корзин – требовалось все предъявить напоказ. В статье «Пересадка... в XXI век!» Франц Карл Вайскопф рассказывает о собственных наблюдениях по досмотру багажа: «Служащие таможни – среди них есть и комсомолка в красном платочке – работают быстро, но основательно.

– У вас тут шелк, вы куда едете?.. В Москву? Тогда придется пошлину платить! Шелк, видите ли, не принадлежит к предметам первой необходимости, – обращается к нам комсомолка, нашедшая шелковый отрез в чемодане моей соседки. И она уже роется в огромном чемодане белобрысого американского журналиста».

Все остается позади: и захватывающее дух волнение от неизвестности встречи с чужой землей, и процедура выполнения всех требований пограничного контроля, и просто станция, как реликт из прошлого столетия...

Разве думал тогда известный чешский писатель Юлиус Фучик, называя свою статью «До свидания, СССР!», что слова его окажутся пророческими до угрозы существования самой страны СССР. На то время он вложил в них смысл, который отражал восприятие увиденного всего лишь отъезжающим пассажиром: «И вот мы уже на пограничной станции Негорелое. Мы об-

менялись рукопожатием с товарищем пограничником, крепким рукопожатием, – и поезд отходит. Мы стоим на площадке последнего вагона, рельсы бегут к последней советской станции, последний советский часовой поворачивает голову вслед уходящему поезду, над головой у нас мелькает арка с девизом пролетарской страны и исчезает вдали. До свиданья, Советский Союз!».

Оказывается, вовсе не нужно быть древней Атлантидой, чтобы затеряться в пути следования по рельсам истории.

* * *

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Гитлеровская Германия захватила Польшу. 17 сентября Красная Армия начала освободительный поход в Западную Беларусь.

Пограничное Негорелое стало обычной станцией, о былой славе которой свидетельствует доска, установленная в честь великого пролетарского писателя Максима Горького, четырежды побывавшего здесь. Сохранилось здание электростанции, старые дома, где жили при таможне офицеры. Здесь течет тихая, размеренная жизнь провинциального местечка.

В новом тысячелетии никто и не вспомнит о точке на карте, где, по мнению тогдашних пассажиров, делалась уникальная пересадка в XXI век. Мировая известность современного Негорелого кажется такой же призрачной, как и сказания о далекой Атлантиде..

Андрей ТИМОФЕЕВ *(Россия)*

НИНА
Рассказ

По субботам возле северного вестибюля станции Павелецкая собирались бездомные. На просторную площадку между тяжёлыми стеклянными дверями метро и киосками с выпечкой и шаурмой каждую минуту волнами выплёскивались новые люди, смешивались, опять растекались – и только грязные фигуры, как бельма в глазу, маячили на своих местах. Особенно много их становилось здесь ближе к полудню. Некоторые сидели на корточках у стен и, закрыв глаза, покачивались, как птицы на жёрдочке; некоторые сбивались в проём в дальнем углу вестибюля, где лежали в ряд деревянные ящики из-под фруктов, на которых можно было устроиться, как на нарах. Одинокий полицейский обычно деловито прохаживался перед входом в метро, с брезгливым равнодушием поглядывая на них, а потом опять отходил внутрь здания, к турникетам.

Наконец, часам к двум дня со стороны Павелецкого вокзала появлялась группа парней и девушек с большими хозяйственными сумками. Они останавливались у свободного места у стены, чуть поодаль от стеклянных дверей, и, сиротливо оглядываясь, будто сами были бездомными или музыкантами в электричках, принимались раскладываться – один доставал термос и стаканчики; другой открывал пакет с хлебом; третий готовил пластиковые

ТИМОФЕЕВ Андрей родился в 1985 году в городе Салавате, в Башкирии. Окончил Московский физико-технический институт и Литературный институт им. Горького (семинар М.П. Лобанова). Публиковался в журналах «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь», «Роман-газета», «День литературы» и др. Лауреат нескольких литературных премий. Возглавляет Совет молодых литераторов Союза писателей России. Живёт в Москве.

тарелки и ложки для супа. Постепенно вокруг них начинали собираться бездомные. Самые пронырливые набегали первыми, обжигаясь, хватали тарелку и, отскочив подальше, принимались торопливо втягивать в рот горячий бульон. Потом подходили мужики в одинаковых рабочих куртках, отличающиеся друг от друга лишь цветом шапок-пидорок, – эти брали свою порцию спокойно и с достоинством. Женщины с пропитыми лицами, похожими на перезрелые сливы, забирали по несколько пакетиков с курицей и гречкой, ловко рассовывая их по карманам, и попутно интересуясь, что сегодня ещё принесли из еды и одежды. А те, кто был сильнее потрёпан жизнью, люди без пола и возраста, с заплывшими глазами и гноящимися порезами на толстых негнущихся пальцах, неловко держали посуду дрожащими руками и, усаживаясь прямо на асфальт, принимались есть, загораживая проход другим.

Это место кормления было ещё не так известно – со всей Москвы стекались на Кожевническую улицу или на Курский, а сюда захаживали в основном бывалые. Они уже знали эту жизнь: еда на таких вот пунктах, иногда мытьё на дезстанциях, а если повезёт – погреться в автобусах-накопителях у вокзалов. Они не хотели вернуться к нормальному существованию, не просили купить билет домой, восстановить паспорт – они лучше любого волонтёра разбирались, когда и куда идти. И только мужик с разбитым костылём и замотанной синими больничными бахилами ступнёй каждый раз назойливо расспрашивал, можно ли ему оформить пенсию, и обещал прийти сюда через неделю с какими-то документами, но в следующий раз опять приходил без них и принимался расспрашивать о том же самом.

Обычно бездомные расходились быстро, едва получив своё, но сегодня не спешили – маячили рядом, наслаждаясь долгожданным состоянием сытости и млея на мягком мартовском солнце. На улице стало гораздо теплее, чем ещё несколько дней назад, и отчётливо ощущалось, что изматывающая зима отступила окончательно, а впереди – новое лето, и даже самые забитые и перемёрзшие из пришедших как-то беззаботно распахивали замызганные грязью куртки. Принимались заводить обычные разговоры: жаловаться на жизнь или с обречённой настойчивостью выпрашивать денег.

Волонтёры с готовностью вступали в разговор – координатор их группы особенно настаивала на личном дружеском общении, чтобы не только накормить, а ещё и дать почувствовать бездомным, что они тоже люди, что и их кто-то любит. Впрочем, не у всех волонтёров это получалось – так, молодой краснощёкий парень в очках по имени Юра, усердно работающий на раздаче, смотрел вокруг одинаково тёплым невидящим взглядом, стараясь всем улыбаться, но ни с кем не заговаривал надолго, каждый раз торопясь отвлечься – найти ещё ложек или закрыть термос, чтобы чай не остыл. А Мила, маленькая девушка в лёгком бедном пальтишке, говорила только с одним из пришедших – пожилым старичком, бывшим профессором в порванной куртке, но с длинным интеллигентским шарфом: он казался милым и вёл себя с ней подчёркнуто обходительно, будто великосветский помещик из позапрошлого века. И только координатор группы Таня, молодая коренастая женщина с сильными руками и громким, чуть хрипловатым голосом, успевала и распоряжаться по кухне, и лить перекисью водорода на

чьи-то раны, а потом ловко бинтовать их, и одновременно строго расспрашивать о делах.

Чуть поодаль от раздачи стояла худая грузинка из тех, кто подходили за едой первыми, переминала пальцами кусочки хлебного мякиша, потом быстро клала его в рот, старательно обсасывала, в то же время скатывая руками новый тёплый комочек, и внимательно вглядывалась в волонтёров, а особенно в Таню, будто оценивая её. Она видела, что еда заканчивается, и с неодобрением смотрела на опоздавших, которые подходили, с надеждой спрашивая: «А чая нет?» – а потом с неохотой брали остывший пакетик с курицей и гречкой. Волонтёры начинали разъезжаться: кому-то нужно было отвезти оставшуюся посуду, термосы, не розданные вещи, а кому-то просто хотелось скорее домой. И лишь когда на площадке у вестибюля осталось всего трое – координатор Таня, краснощёкий парень Юра и Мила, девушка в бедном пальто, грузинка всё-таки решилась подойти.

У распотрошённых хозяйственных сумок в беспорядке валялись использованные стаканчики, а Таня, усмехаясь, медленно собирала их в чёрный мусорный пакет. Грузинка проворно схватила её за рукав куртки и стала требовательно трясти, мотая головой в сторону видневшегося через площадь здания вокзала, показывая, что нужно идти туда вместе с ней.

– Я Софико, Софико, – повторяла она с напором, словно это было самым весомым аргументом, чтобы подчиниться ей.

– Идти? Куда? – пыталась выяснить Таня. – Только мне или всем?

– Ребята, – обернулась она к Юре и Миле, уже заканчивавшим сборы, – давайте быстренько посмотрим, что тут.

Те вопросительно переглянулись, а потом Юра подхватил сумки, и все они двинулись в переход, ведущий на вокзал.

Софико шла первой, проворно обходя встречных прохожих, иногда ещё останавливалась, оглядываясь, и принималась делать таинственные знаки руками. Трое волонтёров нагоняли её, а она устремлялась вперёд, так что те поневоле опять отставали. Поднялись на другой стороне площади, вошли в суетливую теплоту вокзала – приятно запахло из блинной, равнодушно объявили о пребывающем поезде, приходилось то и дело петлять, чтобы не наткнуться на чьи-то тяжёлые сумки, – а потом по кафельной лестнице спустились вниз, в просторный холл перед входом в туалет. Там Софико в последний раз остановилась и выдохнула:

– Здесь. Пять дней лежит, и никто ничего, у неё рак... Только я таблеточки ношу. А она глотает и ей хоть бы что. Я говорю, Нинка, Нинка, терпи, а ей хоть бы что, и никто ничего... – и вытащила из внутреннего кармана чайный пакетик, порванную карточку от метро, упаковку копеечного анальгина.

Волонтёры растеряно молчали в ответ.

Таня плохо разбирала речь грузинки, ей хотелось прервать Софико, чтобы спросить что-нибудь конкретное – что это за больная, которая лежит в туалете пять дней, каков точный диагноз, какие документы есть при себе, но только хмурилась, ожидая, когда та закончит. Юра слушал, взволнованно поправляя очки, с неясным ему самому внутренним вдохновением. Он совсем недавно начал ходить к бездомным и всё ещё чувствовал беспечную радость от возможности оказать кому-то помощь. А Мила, первокурсница, полгода назад приехавшая в Москву из маленького городка на юге Рос-

сии, почти не воспринимала слова Софико и только испуганно глядела на них с Таней.

Пока они стояли в холле, туалетная кассирша, грузная женщина в синей униформе, поглядывала на них со злостью, уже догадываясь, зачем те пришли.

– Тридцать рублей вход, – сразу же сказала громким нервным голосом, немного наклоняя тяжёлую голову вперёд, заранее готовясь встретить сопротивление.

– Мы ищем больную женщину, она лежит здесь, у вас? – подчёркнуто вежливо, но с внутренним напряжением спросила Таня.

– Тридцать рублей, – повторила кассирша. Её саму раздражало присутствие в туалете умирающей бездомной, за которую могли оштрафовать, но полицию она не вызывала, чтобы не быть виноватой в том, что больную выгонят на улицу, – и теперь злилась и на неё, и на себя, и на этих холёных молодых людей, не знающих, что такое ежедневное изматывающее сидение на кассе, но словно нарочно пришедших сюда осуждать её.

– Почему вы не хотите, чтобы мы прошли? Мы просто хотим помочь, – вмешался Юра, чувствуя в ожесточении этой женщины слабость и надеясь её уговорить. А Мила только торопливо искала деньги в кошельке – каждая секунда этого разговора казалась ей мучительной, и она готова была всё отдать, лишь бы никто больше не спорил.

Заплатили, вошли. На белых кафельных полах вразнобой лежали обрывки намокшей бумаги, мятые пластиковые стаканчики. Пахло сигаретным дымом. Через открытую дверь мужского туалета было видно, как в глубине, перед зеркалами, бреется человек в парадном костюме. Ещё несколько секунд волонтёры растеряно оглядывались, но потом заметили в дальнем углу ноги больной, торчавшие из-за двери.

Женщина лежала неподвижно. От громких голосов она, кажется, проснулась и едва разлепила глаза, но не в силах была долго держать их открытыми. Таня подошла к ней первой и наклонилась, стараясь разглядеть лицо.

– Как вы себя чувствуете? Где болит?

Та шумно вздохнула. Она была одета в засаленную жёлтую кофту, порванные в нескольких местах штаны и закутана в несколько слоёв толстым полиэтиленом, по-видимому, чтобы меньше пахло, – и мелко дрожала, то ли от холода, то ли от болезни.

– Надо подложить что-нибудь под спину, – понял Юра и, опустившись на колени, попытался неловко приподнять Нину за плечи, но промокший полиэтилен всё время выскальзывал из рук.

– Вы можете встать? – ещё раз обратилась к ней Таня, но та только жалобно покачала головой, втягивая губами воздух, и Юра опять положил её на пол, не зная, что же делать дальше.

– Она хочет пить, – вмешалась Софико, – её здесь не поют совсем, – а потом повернулась назад и мстительно взглянула на кассиршу, наблюдавшую за ними, стоя у турникета. Все словно пробудились после её слов: Таня поднялась решительно, а Юра поспешил в холл, где стоял огромный автомат с водой и сладостями. Софико зачем-то выскочила за ним и внимательно наблюдала, как он покупает бутылку воды, но всё не решаясь о чём-то спросить. А когда проходила обратно, нарочито громко сказала работнице

туалета: «Я пройду», будто пытаясь показать, что теперь она не просто бесправная бездомная и сила уже на её стороне.

Юра поднёс горлышко бутылки к губам Нины. Та сделала несколько глотков и, кажется, даже благодарно кивнула, но почти сразу же сморщилась и зарычала монотонным утробным гулом. «Как будто в ней бесы», – подумал Юра. А через несколько секунд та закрыла глаза и задышала теперь уже ровно и глубоко.

Две пожилые женщины, ярко и безвкусно накрашенные, проходившие в этот момент мимо кассы, на секунду остановились рядом.

– Что у вас тут происходит? – требовательно спросила одна, но не для того, чтобы вмешаться, а скорее, просто желая выразить недовольство громким звуком.

Волонтёры неловко замерли на местах, не отвечая. А когда женщины скрылись в дверном проёме, осторожно прикрыли больную дверью и, не сговариваясь, отошли на несколько шагов.

– Социальный патруль? – осторожно предложил Юра.

– Да, патруль будет не лишним, – рассеянно выговорила Таня.

– Самое лучше, конечно, хоспис, – продолжал Юра, ободрённый этим согласием.

– Да, да, – оживилась и Мила. – Давайте в хоспис!

Но Таня больше не отвечала и только ожесточённо стучала костяшками пальцев по ладони другой руки. Она не знала, что делать в такой ситуации, и её тяготило доверчивое внимание, с которым ребята смотрели на неё.

Раньше Таня работала в молодёжном центре при Даниловом монастыре, там была большая команда ребят с опытом волонтёрской деятельности. Но потом поссорилась с координаторами, и теперь сама организовывала такую вот группу кормления на базе маленького храма Феодоровской иконы Божьей Матери при Российском Социальном университете. Ходили туда, в основном, студенты, как Юра с Милой, – все они уважали её и слушались безоговорочно. Сама же Таня воспринимала всё зло в мире, как испытание, которое нужно преодолеть, и потому отчаянно истощала себя: ездила на благотворительные ярмарки, проводила евангельские встречи, каждые выходные помогала бездомными. Но иногда, в самый неподходящий день, её крепкое тело не выдерживало, и тогда она не могла встать с кровати и так и лежала до вечера. И вот теперь ощущала именно такую усталость.

– Если она иностранная гражданка, то в хоспис не получится, – сказала медленно, – хотя я не знаю, надо уточнить... – заторопилась, как бы извиняясь за свою слабость.

– Она, наверно, уже давно здесь живёт, – неуверенно возразил Юра, – должно быть гражданство.

Таня машинально кивнула, а потом повернулась к Софико, переминавшейся с ноги на ногу неподалёку:

– У неё есть документы?

При упоминании о документах Софико пожала плечами и недовольно скривила губы, словно у неё требовали её собственные. Тогда Таня вернулась к Нине и, стараясь не вдыхать кислый запах, наклонилась к распухшему лицу:

– Мне нужно посмотреть любой ваш документ, можно?

Нина только зашевелила губами, словно стараясь прожевать, но не открыла глаз. Тогда Таня развернула первый слой полиэтилена. Внизу оказался разрыв, через который можно было просунуть руку и попытаться нащупать в карманах что-нибудь твёрдое. Преодолевая отвращение, Таня присела и погрузила пальцы в мягкую тёплую жижу. Ей почти сразу повезло: в ближайшем кармане брюк обнаружилось что-то твёрдое, наощупь похожее на корочку документа. Вытащила, инстинктивно сделала несколько шагов назад, с трудом разлепила мокрые страницы. И увидела насыщенно-синие праздничные цвета, так не похожие на бледность российского паспорта.

Юра подошёл и из-за плеча стал разглядывать фотографию молодой черноволосой женщины.

– Красивая, – зачем-то сказал он и смутился. – Но это же документ, он действительный! Гораздо хуже ведь было, если бы он потерялся... Надо попробовать в хоспис, там за ней хотя бы будут ухаживать...

Таня кивнула, но по-прежнему думала о том, что ничего нельзя сделать.

Тем временем Софико смотрела на них сердито. Приходившие на вокзал волонтёры, а особенно их старшая – Таня, раньше казались ей важными людьми, и она надеялась, что они быстро со всем разберутся и всех накажут. А теперь была разочарована их растерянностью.

– Нинка хотела умереть дома, в Тианети, – ожесточённо заметила она, будто споря с кем-то.

– У неё там родственники? – удивилась Таня. – Они могут её принять?

– Откуда я знаю?! – ответила грузинка с неожиданной обидой. А потом отвернулась, села на корточки и, опершись спиной на стену, с наивной картинностью закрыла лицо руками. Ей было и жаль Нину, и грустно за себя, и досадно, что она потащилась сюда с этими людьми и только подставилась перед кассиршей без толку.

– В Грузии, наверно, климат лучше, там можно дольше прожить, – заметил Юра, стараясь сгладить неловкий момент, но Софико продолжала сидеть, держа руки перед глазами. Все опять замолчали, не в силах преодолеть вязкость собственной жизни. Юра некстати вспомнил, что сегодня хотел сходить на вечернюю службу в церковь.

В этот момент у входа всхлипнула Мила. Она не отдавала себе отчёта в том, что плачет, – просто стояла, а из глаз текли слёзы. Не понимая до конца, о чём спорят Таня и Юра и что за проблема с паспортом, она всё это время думала только о том, что эта неизлечимо больная женщина скоро умрёт, и от этой определённости ей становилось невыносимо тоскливо.

Юра увидел её слёзы, вздохнул и улыбнулся:

– Ну вот, теперь у нас у всех глаза на мокром месте...

Подошёл к Миле, ласково взял её за плечи.

– Глупышка, всё образуется, ведь затем мы и здесь, – заговорил, как с ребёнком.

Для Юры, действительно, всё было просто – любого человека вёл по жизни Божий промысел, и нужно было только захотеть следовать за ним, чтобы всё стало хорошо. И так приятно было сказать это ей, и видеть, как Мила доверчиво наклоняется к его плечу, и чувствовать себя сильным и мудрым.

Таня стояла неподвижно, оглядывая всех, и от общего смятения к ней

постепенно стало возвращаться её обычное самообладание. Не объясняя ничего, она вышла в холл и набрала телефон социального патруля. Не отвечали, она звонила ещё и ещё. Наконец услышала ровный безразличный мужской голос и стала говорить резко и даже зло. Она знала, как устроена эта служба, что у них только две машины на всю Москву и они с большой неохотой принимают вызовы, а потом имеют право приехать только через сутки. Ей было важно убедить диспетчера, что эта бездомная никуда не уйдёт с вокзала, а ещё что ею занимается церковная организация, которая в случае чего не оставит халатность безнаказанной.

Она вернулась, воодушевлённая и собранная.

– Юра, езжай в храм, – выговорила спокойно и строго. – Узнай у матушки, кажется, у неё был телефон Лизы Тусиевой, такая маленькая чёрненькая девочка, помнишь? Иногда ходила с нами, кажется, она из Тбилиси, позвони, спроси, есть ли там знакомые, которые могут чем-то помочь, может, поискать родственников...

Остановилась, обдумывая что-то.

– Мил, тебе придётся подождать здесь. Соцпатруль едет несколько часов, но вдруг повезёт, и появится раньше. Если что, они обязаны отвести её в приёмник и оказать первую помощь. А я схожу к дежурному по вокзалу, может, там помогут, хотя не знаю... У вас нет сейчас других дел? Вы согласны?

Юра кивнул, а Мила подняла раскрасневшиеся глаза и шмыгнула носом.

Всё было вроде бы понятно, но они ещё минуту не двигались, будто оставалось что-то важное, что им необходимо было сделать. И все даже помнили, что именно – они всегда молились перед любым серьёзным делом, Таня особенно настаивала на этом. Но сейчас ни у кого не хватало духа начать или хотя бы сказать о молитве вслух. Немного постояли, потом рассеянно кивнули друг другу и разошлись.

Оставшись одна, Мила совсем растерялась. Она хотела выйти и ждать в холле, убеждая себя, что так лучше, чтобы не ссориться с кассиршей – всё равно ведь придётся выходить встречать патруль. Но потом ей стало стыдно перед Софико, оставшейся рядом с больной. «Я совсем не думаю об этой бедной женщине, только о себе, – вдруг подумала она, – как же это ужасно...».

Она почти силой заставила себя посмотреть в лицо Нины. Глубокие чёрные впадины закрытых глаз, гнойная короста на месте рта. Это было так безобразно и жалко, что хотелось зажмуриться.

– Вот, оботрись, посуше будешь, – услышала она голос Софико, протягивающей ей зелёный засаленный платок. Мила неловко улыбнулась, взяла и осторожно дотронулась платком до лица, ощущая грязное прикосновение, а потом неловко держала его в руках.

– Почему она заболела? – спросила сипло.

– Да откуда я знаю, – махнула рукой Софико и невесело усмехнулась. – Продавала розы в переходе. Прошлой весной пропала, киоск закрыли, а недавно появилась. Деньги-то закончились, видно, лечиться... Говорила, комнату её заняли, в подвале жила, здесь, рядом... уехать хотела, да вот, не судьба.

Несколько подростков с шумом ввалилась через турникет, а потом ещё

долго перекрикивались в туалете, так что Миле слышен был их грубый нахрапистый смех. Коренастый мужчина тащил тяжёлую, шаркающую по полу сумку и равнодушно косился на лежавшую на полу больную.

– Хорошая была женщина, – нараспев продолжала Софико, глядя перед собой. – Помню, поила кипяточком, специально чайник держала для меня, мы же с ней землячки, я из Ахалсопели... Помогала, не жадная была... Пятьдесят рублей мне как-то дала, вот так просто взяла и дала, – сказала и со скрытой надеждой взглянула на Милу. – А мне, знаешь, тоже ведь хотелось ей приятное сделать, я встану возле киоска и зову – подходите, подходите, свежие цветы, а она – уходи, дура! Гоняла меня, конечно, как без этого. Все нас гоняют... А теперь вот заживо гниёт, – добавила грустно, но будто какое-то удовольствие было для неё в жестокости этих слов, в том, что они были правдой.

Из холла раздался шуршащий звук кофе-машины, в ответ ему зашелестела в трубе вода, а потом опять стало тихо. Так просидели ещё несколько минут. Вдруг обе очнулись, как от толчка, и увидели, что по лицу Нины текут тяжёлые крупные слёзы. Софико наклонилась к ней, и та застонала. Звука почти не было, и только свистящий воздух выходил изо рта, усиливаясь с каждым выдохом.

– Таблеточку надо, неси воду, – заторопилась Софико, размашисто хлопая себя по карманам куртки, пытаясь найти затерявшуюся упаковку анальгина. – Кружку, кружку, у этой спроси, – прикрикнула, видя растерянность Милы, показывая в сторону кассы.

Кассирша же глядела на них в приоткрытую дверь своей белой будки и не двигалась, не решив ещё, как поступить. Общее смятение захватило и её, но внутреннее упорство не давало сделать шаг навстречу.

– Да что ты за человек такой, ведь давала же когда-то, – закричала в сердцах Софико. – Разберутся сейчас, увезут её, – и та сердито завозилась у себя в столе, а потом протянула Миле кружку.

Мила побежала к раковине, торопливо стала наливать воду. Но кружка уже была полная, а она всё продолжала стоять. Ей страшно не хотелось выходить к больной стонущей женщине, она шагнула к двери через силу, протянула Софико воду, стараясь не глядеть, как она даёт Нине таблетку, а та запрокидывает голову. Стоять рядом было невыносимо и, не думая ни о чём, просто чтобы сделать что-нибудь, Мила принялась набирать Танин номер. Но не попадала дрожащими пальцами по клавишам – казалось, даже телефон теперь вибрировал болью.

– Ей плохо, совсем плохо, – выдохнула она в трубку.

– Вызову скорую, иди на обычное место, встречай, – услышала твёрдый голос Тани.

Мила опустила телефон.

– Мне надо, – виновато пробормотала она и, не оборачиваясь, выскочила из туалета. А потом бежала по длинным просторным коридорам, спускалась куда-то вниз, плутала в переходе между кассами, и ей всё казалось, что пока она торопится изо всех сил, Нине не так больно, а оттого и самой Миле было не так стыдно за свой побег.

Неожиданно она оказалась там, где и должна была, – на знакомой площадке у метро, на которой всего час назад кормили бездомных. Мила остановилась, оглядывая это привычное оживлённое место – только те-

перь никто здесь не обращал на неё внимания, никто заискивающе не заглядывал в глаза и не благодарил. Неподалёку у обжитого бездомными закутка справа от вокзальных дверей столпилось несколько человек, кто-то лежал, двое мужчин лениво дрались и кричали. Черноволосый парень в порванной куртке, то ли бездомный, то ли просто пьяный, заливал в горло бутылку пива.

Она была здесь чужой, и потому не могла больше чувствовать себя в безопасности – ей хотелось убежать, спрятаться и никогда не приходить сюда – отдать всё, что у неё есть, навсегда исполнить свой долг и не видеть больше этой боли и грязи. Она боялась только, что скажет Таня и как потом будет невыносимо неловко перед ней за своё малодушие. И когда появилась запыхавшаяся Таня и начала что-то недовольно рассказывать про дежурных на вокзале, а затем заспешила к машине скорой помощи, остановившейся вдалеке, у киоска с сигаретами, Мила всё не могла справиться со своим смятением, и только кивала, не слушая, и машинально шагала за подругой...

Врач оказался совсем молодым парнем. Он деловито кивнул красивой черноволосой медсестре, с трудом вытаскивающей из машины медицинскую сумку, взглянул на подошедших девушек, как будто по одному их виду понял, что скорую вызвали именно они, и двинулся к вокзалу.

– Вы знаете, что здесь есть медпункт? – спросил он с напором, когда они с Таней вместе входили внутрь.

– Мы видели указатель, но не были там.

– Я вас не спрашиваю, были вы там или нет, я спрашиваю, вы знаете, что скорую на вокзал вызывают из медпункта? – повторил он недовольно.

– Простите, больная не смогла дойти туда, – ответила Таня, мгновенно пугаясь своей едкости, которая могла сейчас только повредить.

– Девушка, ну вы же понимаете, у нас много вызовов, – вмешалась шедшая сзади медсестра, стараясь сгладить острый момент.

Они с врачом вошли в туалет быстро, как хозяева, так что и кассирша, и Софико неподвижно встали у стены, ничего не говоря и только наблюдая за их решительными действиями. Врач подошёл к Нине, присел на корточки и недовольно оглянулся.

– Что у неё? Какой диагноз?

– Нам сообщили, что рак, – ответила Таня, но получилось по-прежнему едко.

– Рак чего?

– Я не знаю.

– А что вы тогда мне предлагаете? Полис давайте.

– Полиса нет, она гражданка Грузии. Но вы всё равно обязаны оказать помощь, – сказала Таня и опять почувствовала тяжёлое бессилие внутри.

Врач коротко усмехнулся. Он не ощущал брезгливости, спокойно прощупал пульс больной, наклонил голову, чтобы она не проглотила язык и не задохнулась. Но он привык всегда руководствоваться рациональностью, считая, что эмоции в их профессии могут только помешать. И теперь он понимал, что в больнице, куда была прикреплена его бригада, сейчас мало мест, а в онкологическое отделение её просто не возьмут, и потому не имело смысла держать в общей палате умирающую от рака бездомную, когда вместо этого можно было помочь кому-то другому.

– Мы сейчас сделаем укол, – сказал, немного подумав, – ей станет легче.

– Просто укол? – переспросила Таня. – Но через несколько часов опять случится приступ и что тогда? Нужно госпитализировать.

Тот лишь пожал плечами.

– Поймите, у нас десятки вызовов, нас ждут люди, которым мы можем по-настоящему помочь, – ещё раз мягко обратилась медсестра к Тане.

– А от таких сердобольных только увеличивается смертность, – продолжал врач, чувствуя её поддержку.

– Вы обязаны взять, – не сдавалась Таня, но уже без силы в словах.

– Я журналистка, я про вас напишу, – вмешалась Мила с отчаянной и наивной решительностью – так закрыв глаза, бросаются в пропасть, но Тане сразу же стало ясно, что нет, не подействует.

– Да пишите сколько угодно! – рявкнул врач, а медсестра ласково положила руки ему на плечи, стараясь успокоить.

– Это ваша работа, а это наша...

Таня хотела ещё что-то сказать, использовать, может, последний шанс, чтобы повлиять на ситуацию, и шагнула к врачу, хотя даже не придумала нужных слов. Но в этот момент случайно взглянула на Нину и увидела, что глаза её открыты, а взгляд осмыслен, и ей показалось, что та всё видит и понимает. Они секунду глядели друг на друга.

Таня выпрямилась, сказала: «Хорошо, делайте укол и уезжайте», потом медленно и даже гордо двинулась прочь. А когда завернула за угол, побежала по вокзальным коридорам, ощущая, что скорее умрёт, чем остановится. Вылетела на площадку перед метро, всей грудью глотнула горький уличный воздух и подскочила к машине. Увидела простодушное азиатское лицо водителя.

– Какой номер бригады? А как врача зовут? – и стремительно бросилась обратно.

Когда она опять оказалась в холле, Мила растерянно стояла у кассы вместе с Софико, а врач и медсестра шли к выходу. Таня встала перед ними, загородив турникет, и, стараясь побороть одышку, отчётливо, почти по слогам выговорила:

– Александр Павлович, я позвонила на горячую линию министерства здравоохранения, описала ситуацию и сообщила номер подстанции и вашей бригады – двести четырнадцать. Если вы не заберёте эту женщину в больницу, я вас в покое не оставлю.

Они смотрели друг на друга, не отводя ожесточённых взглядов, а врач всё сильнее морщился, как от зубной боли. Но вот, наконец, зло усмехнулся и покачал головой.

– Что вы за люди, где вас таких берут... Давайте... Молодцы, сделали своё дело. – Обернувшись к медсестре, бросил: – Позвони Нурлану, скажи, чтобы тащил носилки. Пусть в приёмном разбираются... – а потом отошёл в холл и встал, опершись на стену и прикрыв глаза.

Неловко перекладывали Нину на носилки, стараясь меньше дотрагиваться до полиэтиленового мешка. Таня смотрела на это, ещё не веря в то, что всё получилось, и по-прежнему чувствуя бьющуюся внутри злость.

– В какую больницу вы её повезёте? – спросила, стараясь сдерживать дрожь в голосе.

– В 56 городскую, – устало ответил ей врач.

Он взялся за носилки спереди, а шофёр сзади, и понесли, с трудом проходя через турникет, застревая в нём, ругаясь. Мила стояла у стены. Ей было невероятно грустно, и тогда она коротко перекрестила больную, пытаясь подбодрить то ли её, то ли себя, но в следующий же момент смутилась своего картинного жеста и опустила руку.

Шли по вокзальным коридорам – медсестра впереди, освобождая дорогу, а Таня, Мила и Софико следом. Оказались на улице, врач и водитель медленно и осторожно погружали носилки в машину. Врач, не обернувшись, залез в кабину, медсестра попрощалась с холодной вежливостью. Таня и Мила ждали, когда закроются двери, когда заведётся мотор, а Софико стояла чуть поодаль, боясь подойти. Когда же машина уехала, Мила обернулась к ней, обрывисто кивнула, и они с Таней двинулись в сторону подземного перехода.

Софико осталась одна, будто забытая кем-то на этом шумном вокзале, переминаясь с ноги на ногу, шепча про пятьдесят рублей и вздыхая от своего внезапного одиночества. Ей хотелось плакать даже сильнее, чем когда она сидела у умирающей Нины. «Эх, вот и уехала Нинка», – неловко взмахнула она рукой и попыталась улыбнуться.

А тем временем Таня и Мила шли по краю широкой привокзальной площади, а вокруг стояли, сидели или рвались навстречу множество людей. Немолодой мужчина в толпе монотонно звал на автобус до Ростова. Женщина в капюшоне, почти закрывающем лицо, раздавала листовки у спуска в подземный переход, у неё под ногами ёрзал маленький ребёнок, и она иногда рявкала на него, чтобы стоял смирно. Рядом безногая просила милостыню. Ещё ниже по лестнице сидели двое бездомных, а один с наслаждением курил, откинувшись на грязную стену перехода. Они спускались вниз, и с новой силой хлынули им в глаза лица, лица... А когда вышли на той стороне площади, увидели на пятачке большую стаю голубей, теснившихся вокруг крошечной мусорной урны. Громко звякнул проходящий трамвай, голуби мгновенно взлетели, и весь воздух наполнился торопливым хлопаньем крыльев...

В маленькой квартирке, где девушки снимали комнату на двоих, было пусто, и, войдя, они обрадовались этому, потому что не хотелось ничего сейчас рассказывать соседкам. Пока они шли от метро, на улице начался холодный скупой дождь, и теперь они молча снимали одежду, чтобы развесить на батареи. Таня налила воды в чайник, и он неожиданно громко зашумел, так что Мила вздрогнула.

– Надо будет разобраться с правилами помещения иностранца в хоспис, в больнице её продержат максимум до понедельника, – задумчиво сказала Таня, как бы для себя.

Мила кивнула, но ей стало стыдно, оттого что она даже не подумала, что нужно что-то ещё делать, будто на том, что больную увезла скорая, всё и закончилось.

– Знаешь, я поняла сегодня, что совсем не люблю людей, никого, – призналась она. – И эта Нина, мне так жаль её, но боюсь, что я и её не люблю...

– Давай помолимся, – спокойно ответила Таня.

Они встали перед большой иконой Богородицы, скотчем прикреплённой к стене возле окна. Миле хотелось быстрее начать произносить мо-

литву, чтобы древние слова захватили её, наполнили успокаивающим размеренным движением, но Таня будто нарочно молчала, позволяя прийти самым мучительным мыслям – она всегда делала всё самым тяжёлым способом, не давая поблажки ни себе, ни другим. А потом долго ещё шумел и трясся чайник, и они не могли начать раньше, чем он окончательно закипит.

Наконец щёлкнуло, и стало тихо. В этот момент в напряжённой тишине резко зазвонил телефон. Мила с выдохом опустилась на стул.

– Юра, – многозначительно кивнула Таня и сразу отметила про себя, какой взволнованный у него был голос.

– Таня, Таня, привет! Я нашёл ту самую Лизу Тусиеву, ты слышишь меня, слышишь? – торопливо переспрашивал Юра. – Оказалось, у неё есть знакомые в социальной службе при Грузинской Церкви, они согласны принять эту женщину и ухаживать за ней...

– Удивительно, – неловко пожала плечами Таня, и мгновенно завертелись в голове мысли. – Подожди, а как её перевезти? Кто-то же должен её сопровождать?

– Реаниматолог, – ответил Юра, не скрывая беззаботного удовольствия от того, что знает профессию, о которой Таня, возможно, никогда не слышала. – Есть, оказывается, специальные службы, которые этим занимаются. Рядом мой хороший друг, я рассказал ему эту историю, мы позвонили ещё двум ребятам и вместе собрали деньги.

Он старался говорить медленно, но иногда получалось взахлёб от радости, что всё получилось – конечно, всё должно было чудесным образом получиться, а они не верили. Мила тоже слышала громкий Юрин голос из трубки, кажется, он ехал в метро и пытался перекричать шум поезда, и ей было немного обидно, что она так много пережила за этот день и ничего по сути не сделала, а ему всё это так легко удалось.

– Сейчас я еду в аэропорт договариваться о рейсе, – продолжал Юра, но его слова потерялись в отрывистом резком гуле. – ...реаниматолог может вылететь с ней прямо завтра...

– Юра, ты молодец, – устало выговорила Таня и улыбнулась.

Она положила телефон, и девушки радостно и молча обнялись.

Миле вдруг стало так беззаботно, что захотелось прыгать по комнате, петь, танцевать. Но она постаралась вести себя сдержано, неосознанно подражая Тане.

– Надо позвонить в больницу, – сказала серьёзно, – чтобы её предупредили, обрадовали.

Таня кивнула, стала искать в интернете точный номер больницы. А когда звонила, ещё не пришла в себя от оживления, и потому заговорила весёлым торжественным голосом, будто хотела поздравить кого-то с праздником.

– Здравствуйте, это приёмный покой? К вам сегодня должна была поступить женщина, Нина Марцваладзе... да, которая из Грузии... Мы хотели предупредить вас, что скоро... наверно, даже завтра, заберём её на Родину.

На том конце Таня почувствовала недоумение. А потом глубокий мужской голос медленно спросил её:

– Вы откуда, девушка? Где вы работаете?

– Я соцработник при храме, – машинально ответила она. – Занимаюсь бездомными...

– Не тратьтесь на билеты, женщина скончалась.

«Скончалась», – растеряно повторила Таня, сжимая в руках трубку.

Они с Милой посмотрели друг на друга, не зная, что теперь говорить. У Тани подкатила к горлу злость на больницу, на того врача из скорой, но ожесточённые мысли просто текли, не вызывая никаких чувств. Миле же стало одиноко и показалось, что теперь уже никогда больше нельзя быть весёлой, нельзя беззаботно ходить в университет, разговаривать там с друзьями, заниматься своими обычными делами, будто ничего не случилось...

– Надо позвонить Юре, – тихо сказала она.

– Да, да, – заторопилась Таня, оживляясь от необходимости что-то сделать.

– Всё, Юр, она умерла, можно расслабиться, – выговорила в трубку, не дожидаясь Юриных вопросов, и сразу же подумала: «Господи, что за нелепая фраза, как так расслабиться...».

Юра секунду молчал, а потом твёрдо и даже слишком спокойно ответил:

– Значит, так должно быть, Тань... как бы это ни было страшно.

Таня положила трубку и молча сидела, глядя перед собой. Монотонно стучал по карнизу дождь, разрывая тишину. В окне, как в кривом зеркале отражался огромный, горящий огнями город, изуродованный дождевой рябью. Она смотрела в окно и никак не могла согласиться со словами Юры, думала, что он ещё слишком молод и просто не воспринимает весь ужас случившегося и что на самом деле нет никакого смысла в боли и одиночестве бедной женщины. Потом стала корить себя, что не помолилась перед тем, как пойти к администратору, что до конца не верила в то, что всё получится и что это она во всём виновата...

А через минуту увидела, что Мила закрыла лицо руками, и подсела рядом, обняла – было легче, оттого что Мила может сейчас заплакать и что кому-то нужны ещё её крепость и самообладание. Мила же сидела с сухими глазами, не думая ни о чём, просто прижимаясь к Тане, чтобы чувствовать чужое тепло. Медленно текли минуты, и постепенно внутри, и правда, что-то ослабло.

Конечно, девушки не могли знать, что в свои последние часы на вокзале Нина почти не испытывала боли. Она лежала в забытьи, ощущая только холод, как когда-то зимним утром в Тианети на похоронах мужа. Они тогда стояли с дочерью Марией, глядя, как в запорошенную снегом могилу опускают гроб, и Нина плакала не столько о муже, сколько о том, как же им с дочерью жить дальше. И сегодня на вокзале ей всё казалось, что она по-прежнему стоит там, и до сих пор длится одно только это мгновение. А когда пробуждалась и слышала, что странные молодые люди собираются везти её в Грузию, то радовалась, но в то же время хотела изо всех сил сказать им, что не просто в Грузию, а именно в Тианети, на старое кладбище на берегу Иори, дождаться лета, увидеть могилу мужа в цветах и постоять рядом, слушая их негромкий шелест...

В те часы на вокзале Нина уже не помнила свою дальнейшую жизнь – как поехала в Москву на заработки, чтобы содержать дочь, оставив её в доме у сестры, как ей сообщили, что Мария заболела, и как не было денег на билеты обратно. И только когда русский врач наклонился над ней, Нину пронзила лихорадочная мысль, что укол нужно делать не ей, а Маше, но в следующее же мгновение она опять провалилась в зыбкое тупое ожидание.

Последние пять лет после смерти дочери она жила в Москве, уже не зная, зачем ей этот чужой город, зачем работа и деньги, привыкнув к размеренной тяжёлой жизни. Но даже в эти годы Нина иногда бывала счастлива. Это случалось по утрам, когда ещё только светало, и она стояла в переходе у входа в метро, открывая большие железные щиты своего киоска. Сердце её вдруг сжималось неясной радостью, и она начинала весело брызгать водой в сонные лица цветов, протирать разлапистые листья. В такой день всё спорилось у неё, клиенты попадались приветливые и щедрые, торговля шла бойко. А вечером она выходила из перехода на улицу и шла, глядя в мутное московское небо, и ей отчего-то казалось, что всё не зря и что её боль сохранилась где-то внутри, под мёртвой коркой, но уже не как боль, а как самое дорогое, что было на свете и что теперь навсегда останется с ней...

Последний раз она пришла в себя, когда её уже подняли на носилки, и увидела перед собой девушку в синей медицинской куртке, так похожую на её Марию, и подумала, что та выросла и приехала к ней в Москву. Нина улыбнулась ей, та взглянула тревожно, пошла сначала рядом с носилками, а потом обогнала. Тогда другая девушка, оставшаяся стоять у стены, маленькой, чуть сжатой ладошкой перекрестила их на прощанье – Нине стало тепло, и боль исчезла навсегда.

Александр ТРАПЕЗНИКОВ ***(Россия)***

ЭТО ВАМ ЗА ПАЦАНОВ!

О книге Михаила Федорова «Роман Филипов»

В Воронеже издательство им. Е.А. Болховитинова несколько лет выпускает серию книг «Замечательные люди Воронежского края». Другим бы регионам задуматься о том же. Дело нужное и ценное, работа не столько на сегодняшний день, сколько на будущее, для потомков. И случайных героев, которым посвящены книги серии, тут нет, все они давно пользуются заслуженной славой и принадлежат не отдельному славному региону, а всему нашему великому Отечеству. Ему честно и преданно служили эти люди, отдав целиком всю жизнь: писатели, воины, государственные деятели, врачи, строители, педагоги, священники... Взрастила их благодатная черноземная воронежская земля, но входят они в пантеон славы России.

В этой серии вышла в свет уже седьмая книга известного писателя Михаила Федорова, которая названа именем героя: «Роман Филипов». Перефразируя Путина скажу: кто не помнит этого человека - у того нет сердца, а кто считает, что он не совершил подвиг – у того нет ума. В начале февраля прошлого года вся страна прощалась с летчиком Романом Филиповым, который был сбит в Сирии. В последнюю минуту он выкрикнул окружившим его боевикам: «Это вам за пацанов!» и подорвал себя гранатой вместе с ними. Роман не поднял руки, не сдался, не предпочел плен, а ушел вот так... Это напомнило мне то, как ушел из жизни, не сдавшись, другой офицер, раньше

ТРАПЕЗНИКОВ Александр родился в 1953 году в Хабаровске. Прозаик, критик. Член СП России с 1994 года. Окончил филологический факультет Московского пединститута им. Н.К.Крупской. Работал в научно-исследовательских институтах, в издательствах «Просвещение» и «Граница», в газете «Советский спорт», в журнале «Наш современник», в литературной части МХАТа. Автор 35 книг прозы и художественной публицистики. Живет в Москве.

него, попавший в руки исламских боевиков в Дагестане. Магомеда Нурбагандова перед убийством принуждали призвать своих коллег-полицейских уйти с работы. Он отказался, успев сказать прямо противоположное: «Работайте, братья!». Президент Путин назвал его «настоящим героем, настоящим мужчиной, которые под угрозой смерти остался верен присяге, долгу и своему народу».

Вот о таких людях и должно писать книги и снимать фильмы (я знаю, что Петр Алешкин уже завершает кинокартину о Нурбагандове, а книга Михаила Федотова о Филипове – перед вами). Автор, отвечая на вопрос, что подтолкнуло его к написанию этой книги, сказал:

– Думаю, многим памятен февраль прошлого года, когда в Сирии сбили СУ-25, которым управлял наш земляк Роман Филипов. Тогда мы увидели, как попала ракета в наш самолет, он загорелся, как из него катапультировался летчик, как на парашюте спускался, как взлетело облако дыма – это самолет упал и взорвался, как к валуну сбегаются боевики, там склонились над кем-то, раздается крик «Это вам за пацанов!», и следом взрыв и дымные облачка... И из этих боевиков, разве что один уцелел. Отбегает, а другие уже видимо убиты... Это себя и бандитов подорвал летчик... Все это мы увидели, что снял боевик, который предпочел не подходить к камню, он уцелел и выложил в Интернет. Они думали, что тем самым устрашат, а получилось наоборот, все мы увидели, как геройски ушел из жизни наш Роман Филипов... И вот у меня не уходило из памяти это видео, это было толчком к написанию книги.

– А когда созрел план?

– Когда я узнал, что летчика будут хоронить в Воронеже, я уже не находил себе места. Теперь меня интересовало все, связанное с ним. Я помню, как сообщили: завтра будут похороны. И я узнал – в доме офицеров. Но в Воронеже их было два. Один на центральном проспекте, который по чьей-то дурости передали от военных в город, а другой в Северном городском микрорайоне, где находился так называемый новый военный городок – построенный немцами для выводимых из Германии в 90-е наших войск. И выяснилось: во втором. А похоронят, видимо, на Коминтерновском кладбище... И я не мог ничем заниматься...

И хотя его предали земле в Воронеже, казалось, с ним прощались и на Дальнем Востоке, где он прослужил десять лет, и в Самаре, откуда его корни. Михаил Федоров, как и многие из нас, с той поры носил в себе имя этого русского парня. И вот перед нами плод этого виртуального «общения» майора-летчика и писателя... Федоров со всею яростной силой своей страсти пишет о нем. А иначе нельзя. Пишет о тех тысячах людей, которые слетелись, съехались, собрались в Воронеже у Дома офицеров и, невзирая на мороз, на задержку прилета самолета с телом майора, часами ждали геройского летчика. Многих тогда поразило это никем не сорганизованное мероприятие: перед огромным заснеженным полем Дома офицеров стояли школьники, кадеты, приехали бойцы с Донбасса, военные разных родов войск, молодые и те, кто уже давно на пенсии... Вот видим на фото в книге бабушка пришла с внучком... Вот ветеран с палочкой... Море людей... Писатель отмечает важнейшую черту этого события для нашего народа: все поняли, кто мы есть. Мы – тот народ, который не сломить, не унизить, он знает себе цену и может за себя постоять! Не случайно говорил Бисмарк: русского мало убить, его надо еще и повалить.

Рассказывает Михаил Федотов:

– Похороны врезалось в память на всю жизнь... Кто прощался: остановится на секунду – ведь сзади подпирал поток, склонит голову, а кто и перекрестится... Вот одни в камуфляжной форме поклонился женщинам на скамьях. Видимо, вдове и матери Романа... Поток не прекращался... И его в 3 часа вынужденно прекратили. Иначе могли не успеть на отпевание и похоронить... И вот катафалк устремился к кладбищу... А там тоже море людей... Все, несмотря на мороз – ждали... И вот гроб с телом Романа перенесли в часовенку... Там шло отпевание, но и тут люди не расходились... И вот летчик направился в последний свой путь. Впереди на подушечках несли награды... Шла рота почетного караула... Играл скорбную музыку оркестр... За гробом поток людей пришедших проститься... Казалось, весь город пришел сюда... Так Воронеж проводил своего героя. Было жаль, что погиб молодой офицер, которому еще бы жить да жить, но каждый испытывал гордость: у нас такие защитники есть. И многие ставили себя на его место и спрашивали: а как бы я поступил в такой ситуации, когда тебя окружили враги? Ясно, что ты уже не осилишь боевиков, их больше, они все равно победят, но их победа оказалась их же поражением... Видео с криком Филипова «Это вам за пацанов!» и двумя дымками над ним и разбросанными по сторонам боевикам стало гимном силы духа нашего народа!

Больше было и тех, кто окружил Нурбагандова, кто застал его подло врасплох, спящего, без оружия, убил брата, измывался над ним, требовал рабской покорности. Не дождетесь! Эти две фразы, брошенные перед смертью в лицо врагам; «Это вам за пацанов!» и «Работайте, братья!» – стоят тонны словесной псевдопатриотической шелухи. Они намного весомее, потому что разят врага посильнее пуль. И демонстрируют нашу победу. Федоров скрупулезно, с множеством деталей и фотографий, описывает это потрясающее событие – не просто проводы летчика, а демонстрацию силы страны и людей, живущих в ней. Это описание ценно документальностью и, как фильм, проходит перед глазами, со всей очевидностью доказывая истину, произнесенную Александром Невским перед Ледовым побоищем: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».

Кто-то может, возразить: это же случилось в Сирии. Но таким хочется ответить: а что, разве не видели вы разрушенные из пушек реликвии Пальмиры; отморозков, обезглавливающих людей... Этот жуткий исламский национализм нужно было остановить, пока он не проник в Россию... Федоров жил мыслями о летчике, собирал о его жизни материал и вот теперь со страниц книги мы узнаем родовые корни героя. Дед Романа воевал в Великую Отечественную в составе гвардейского мотоциклетного Ярцевского полка. Его отец – военный летчик, служил в Воронеже – ему выпало смотреть смерти в лицо, когда гибли его однополчане в Чечне, и при всем при том его сын выбирает профессию «Родину защищать» – поступает в Краснодарское военное училище, успешно его оканчивает и едет служить не туда, куда бы мог помочь попасть отец, а на Дальний Восток.

Да ведь и сам автор, Михаил Федоров из семьи военного офицера, его отец служил в Уссурийске и он понимает, что такое армейские будни в Подмосковье в той же Кубинке, и что такое служить в гарнизоне в Возжаевке или Черниговке на Дальнем Востоке. Туда едут самые честные, самые надежные, самые верные... Их не одолевают мысли: как бы устроиться служить поближе к Арбату, их беспокоит безопасность страны и ради этого они готовы сносить лишения, видеть перед собой опасность, и Роман Филипов – яркий тому пример. Ведь русские офицеры испокон веков славились вер-

ностью своему долгу: если нужно было служить на Кушке, они ехали на Памир и перебирались через перевалы, если – на полюсе холода Новой Земле – на Новую Землю. Все это знакомо Федорову, его отец служил и в полярной дивизии на Новой Земле, на Байконуре в песках, в Грузии на границе с Турцией.

– Каким летчиком был Роман? – спросили мы автора книги

– Его ставили в пример. Так и говорили: Делай, как Филипов... Он не тратил время зря, если освоил одно в летном деле, осваивал другое. Он был победителем в первом конкурсе «Авиадартс – 2013». Тогда главком ВВС заявил, что все победители будут приняты в академию, но что-то Роман в числе принятых не оказался. Но он не сложил руки.

– А как оказался в Сирии?

– Когда посылали в Сирию, он полетел в первых рядах... И когда второй раз послали, не отказался. Жена ему говорила: «Ты уже там побыл... Пусть другие едут». А он ответил: «А кто же, если не я...» 31 января 2018 года (за 3 дня до гибели) состоялся его разговор по телефону с женой, и он сказал: «Документы ушли в академию». А она с облегчением: «Наконец-то два года будешь ночевать дома». Вот она семья нашего офицера Романа Филипова, одна их тысяч-тысяч семей таких же защитников Отечества...

Федотов став биографом героя, видит в Романе безотказного, надежного воина. И не мог по своей природной натуре не обратить к нему свое перо. Писатели пишу всякое. Кто-то балуется фантастикой, кто-то утопает в бульварных романах, а Федоров таким чтивом не может заниматься. Он берется за то, что не дает покоя его душе, от чего пламенеют щеки, горит на сердце... Говорит так:

– Он ведь не знал, что его снимают на видео. Он погибал так, как погибали наши воины в Отечественную войну. Честно. С мыслями о родном, близком, пусть и уже не осуществимом для него, но осуществимом для других. Кто остался жить на земле... И могила Романа Филипова – для меня не только его, а даже какая-то братская... Она и о других, погибших безызвестно, но так же геройски. Почему и она увешана стихотворениями в честь летчика... Вы придите, прочитаете – их десятки... Их пишут и пишут и ими увешивают крест, венки...

– Понятно. Поэтому вы и взялись за книгу...

– Да, и все это старался описать. Оставить воронежцам... Скажу больше, я писал книгу с каким-то жаром. Я хотел, неистово желал оставить в памяти этого простого парня, ставшего на пути страшной беды для человечества, Романа Николаевича Филипова.

В книге использован богатый фотоматериал. Волнующий зрительный ряд дополняет пронзительный текст. Не только службу Романа. Но как рос, как учился, как женился, как родилась девчушка, как отдыхал, одним словом, как ЖИЛ. Автор хотел оставить его именно живым. Мы читаем о жене Романа Филипова Ольге... И тут мы видим горожанку, которая не побоялась поехать с мужем служить туда, где «пять пятиэтажек для летчиков», взлетная полоса, а вокруг – тайга! Ей, как на испытание, Роман присылает фотографии и спрашивает: согласна ли она ехать? И Ольга едет... Федорову это тоже знакомо: он жил в тайге в гарнизоне в Верхней Салде (отец тогда служил под Нижним Тагилом), и он снова с силою всей своей страсти теперь обращается и к Ольге, к одной из тех тысяч Ольг, которые со своими мужьями несут свою женскую службу...

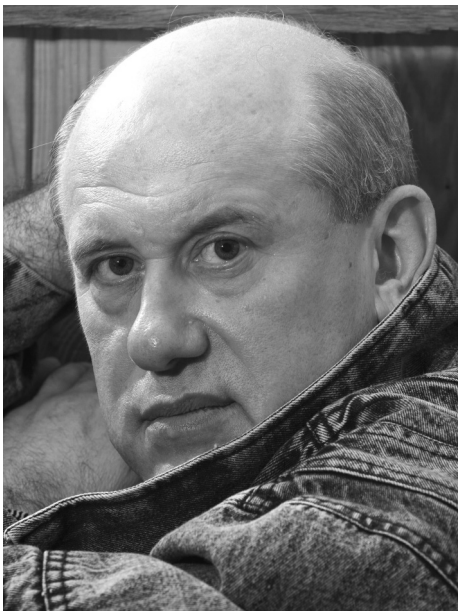
Кто-то удивится такому взгляду, но Федоров счастлив, что такие Ольги в

нашей стране есть, что они не перевелись и не переведутся... И быть может у кого-то слезы наворачиваются при мысли о самоотверженных женах... А ведь у Михаила Федорова своя мама вот так же ездила по тем гарнизонам, куда переводили отца... И быть может, думая об Ольге, он думает и о своей матери...

Эта книга личностная... Здесь нет ни одного лишнего слова, ни одного лишнего факта... Все детали, даже самые казалось бы ненужные: неяркие события из жизни Романа Филипова, для автора важны. Он ему важен в каждом, быть может, и незначительном поступке. Как он жил. Чем жил. Что делал... Из этих деталей складывается жизнь офицера... Он исследует его путь от школьной скамьи – с ее деталями, выяснением, кто у него были учителя. Оказывается, тоже свои яркие педагоги! Кто наставники в армии, и конечно, как он – этот скромный парень, который никогда не снимал звезд с неба, а работал, пахал, осваивая летную профессию, – двигался по жизни...

Постскриптум. За несколько дней до последнего боя Роман сообщил по телефону жене: «Документы ушли в академию...» Ольга воскликнула: «Наконец-то два года ты будешь ночевать дома...». И вот Роман оказался снова один на один с воинами аллаха...

Федорову до боли жаль, что вот теперь осталась Ольга, осталась дочка Романа... И нам жаль. Но эта книга – своеобразное напоминание о долге государства, о долге народа перед офицерскими семьями, в которых мужья сложили голову. Как подтверждение тому: уже названа улица именем Романа Филипова. Школа в Воронеже. Установлен его бюст в Воронеже и Краснодаре. Посмертно присвоено звания Героя России. Таких бы книг о наших Героях да побольше. А у самой книги тоже поразительная судьба. Выход в свет – только начало. Книгу расхватывают, выставляют видео презентаций в соцсетях, а самого автора зовут и зовут на очередные встречи. Почему? Не задавайте глупых вопросов. Людям хочется больше узнать о своем народном Герое. И, говоря словами автора, «нужно выполнять свой долг: надо нести Романа Филипова людям, потому что его жизнь нам пример, а поступок бесценен».



Сергей ТРАХИМЁНОК *(Беларусь)*

ИГЛА В КВАДРАТЕ
Рассказ

Санитарка, которую все звали в отделение Семеновной, грузная и неповоротливо-тяжелая женщина, которая казалось не могла стоять на ногах, не опираясь на швабру, закончила, наконец, уборку в процедурном кабинете. Алена включила кварц, затем закрыла дверь кабинета на замок и, проходя мимо поста дежурной медсестры, отдала ключ, предупредив, чтобы та не забыла через полчаса отключить кварцевый аппарат.

На выходе из отделения ее встретил больной Катуковский, он же Каток. Неделю назад его привезли, как говорила Семеновна, «никакого». Но уже через два дня он оклемался, начал ходить, показав всем свой прилипчивый характер. Молодой, языкастый с татуированной печаткой на безымянном пальце правой руки, обаятельной улыбкой, сквозь которую однако просматривалась легкая ирония, он завязал знакомство с большинством женщин в отделении, каким-то чутьем безошибочно определяя тех, кто действительно нуждался в мужском внимании.

– Уже линяете? – спросил он игриво.

– Да, – холодно ответила Алена.

Каток сделал коленце, видимо предполагая, что этим оказывает знаки наивысшего внимания и уважения.

ТРАХИМЁНОК Сергей родился в 1950 году в городе Карасук Новосибирской области. В 1977 году окончил Свердловский юридический институт. С 1990 года живет в городе Минске. Доктор юридических наук, профессор. Член союзов писателей России и Беларуси.

Признанный мастер остросюжетной прозы. Автор 38-ми книг, изданных в Москве, Минске и Санкт-Петербурге, пятнадцати кино- и видеофильмов, снятых по его сценариям.

– Ну, тогда до завтра...

– До завтра, – сказала она ему, понимая, что попытки установить с ней контакт были связаны вовсе не с интересом Катка к ней как женщине. Его, скорее всего, интересовало содержимое маленького отделения сейфа процедурного кабинета, в котором вместе с ампульной наркотикой хранились и таблетки кодтерпина.

Закрывая дверь отделения Алена заметила, как Каток зэковской походкой покатил к посту дежурной медсестры. Маневр этот был преждевременен. Сестра, конечно, пошлет его подальше. Она не станет болтать с ним днем: в ординаторской врачи, да и завотделением, ушедшая к главному на совещание, вот-вот должна была вернуться.

Спускаясь по лестнице в вестибюль, она поймала себя на мысли, что переключение внимания Катка на другой объект слегка уязвило ее. Однако уже на улице забыла и Катка, и коллег по работе. Впереди были домашние заботы.

Алена забежала в гастроном возле универмага «Беларусь». Обычно продукты она покупала на центральном рынке. Времени на это уходило больше, но продукты там были дешевле.

– Проигрываешь в расстоянии, выигрываешь в ценах, – говорил сын Виталька, студент политеха, который вчера уехал с друзьями в Брест. И, следовательно, ей нельзя было долго задерживаться на работе.

Втиснувшись в трамвай, она проехала три остановки и пересела на автобус, идущий на юго-запад. На ее счастье это был экспресс. Значит, скоро она будет дома. Тут она хлопнула себя по карману и вспомнила, что забыла на столике в процедурном камфорное масло.

– Может, дома осталось чуть-чуть, – вслух произнесла она, понимая, что не сможет забежать в аптеку. Лимит ее отсутствия дома уже истек.

С большой хозяйственной и маленькой дамской сумочками она простояла в проходе две остановки, пока не освободилось место рядом с окном. Алена плюхнулась на освободившееся место, краем глаза заметив бабульку, которая была явно недовольна этим. Та с неприязнью смотрела на Алену. А затем, чтобы в какой-то мере оправдать эту неприкрытую неприязнь, произнесла, ни к кому не обращаясь:

– Понаехали тут...

И хотя фраза не была окончена, всем было понятно, о чем идет речь. Ее не первый раз относили к «лицам кавказской национальности».

Алена не обиделась. Она вспомнила, как у них в отделении лежала Галия Ахметова, которую две старушки из Логойска подвергали такой же обструкции.

Галия искренне возмущалась и говорила, что она белоруска. На что у старушек был один аргумент:

– Якая ты беларуска, – говорили они, – ты на сябе паляди...

Старушкам было до лампочки то, что их оппонентка родилась в белорусском селе и является белорусским языковедом.

Вспомнив все это, Алена улыбнулась. Улыбка эта совсем вывела бабульку их себя. Однако, не чувствуя поддержки окружения она не стала зубатиться дальше, а пошла в голову салона что-то ворча себе под нос.

За кавказку ее принимали не только белорусы. Однажды на центральном рынке какая-то чеченка стала говорить о родной крови и предлагать по де-

шевке маринованный чеснок. Алена еле отвязалась от настойчивой «одноплеменницы».

Впрочем, возможно предки ее и были кавказских кровей, но где-то еще до пятого колена. Об этом Алене говорила бабка Макрына. А еще она говорила, что дед Алены был вылитый джигит, хотя и родился на Полесье.

Перед самым освобождением Белоруссии его расстреляли немцы, за то что он спас четырех детей во время карательной операции.

Было это в деревне под Пинском. Там же был у Алены дом, который ее сестры называли фамильным. И в котором она не была уже много лет.

Из трех сестер она, как тот зеленый горошек, по которому изучают особенности наследственности, единственная пошла в деда. Но в деревне никто не обращал внимания на то, что одна из внучек Макрыны форменная горянка. В столице же – другое дело... Впрочем и в столице такое стало случаться лишь в последние годы...

А четверть века назад, когда она приехала поступать в медицинский институт, все было по-другому. Будь ты хоть «негром преклонных годов» никто тебе вслед не скажет, не пробурчит афоризм «пра малпу *(обезьянку),* якая еще и гаворыт...».

В институт она не поступила и с теми же баллами пошла учиться в медучилище, памятуя о том, что самый лучший генерал тот, кто начинал службу с младших чинов. Закончив училище, она вышла замуж за своего ровесника Аркадия, который тогда работал на городской АТС. Через год родила дочь, а спустя три года – сына. И все было бы нормально, как у людей, если бы не извечная бабья беда: муж стал пить, и они развелись.

После развода мыслей об институте уже не возникало. Закрутили домашние хлопоты. Детей надо было обуть, одеть, накормить, проследить, чтобы старшенькая не съехала на тройки, а младшенький не попал в дурную компанию.

Аркадий совсем исчез из ее жизни. Правда, однажды всезнающие соседки сообщили, что он женился. Но вторая женитьба не изменила его. Пил он по-прежнему и все больше развивалась в нем черта, которая когда-то была совсем незаметной. В подпитии он, хотя не был агрессивным по натуре мужиком, всегда влезал в споры и разборки с собутыльниками, а иногда и со случайными лицами. Впрягался, как он сам когда-то говорил. Видимо, в одно из таких впряганий получил он по голове железной трубой, а упав, ударился о бетонный поребрик основанием черепа.

Те же соседки сказали Алене, что он находится в девятой больнице парализованный и потерявший дар речи.

Новая жена не стала забирать его из больницы, и Алена с младшеньким перевезли папу домой, где он поселился в одной из комнат их двухкомнатной квартиры.

Дети под руководством Алены быстро выучили ритуал обслуживания отца. Дать пить, покормить, по часам перевернуть. А уж массаж, камфорные протирания и все остальное делала она сама. В силу невозможности долго отлучаться из дома Алена перестала ездить к себе в деревню, да и вообще куда-либо выезжать за пределы городской черты. И наверное в качестве компенсации этой добровольной тюрьмы, стены которой то совпадали со стенами квартиры, то с кольцевой дорогой Минска, она вернулась к одному из своих детских увлечений.

Зарплаты постоянно не хватало, и она подрабатывала, делая инъек-

ции на дому. У нее была легкая рука. Пациенты ей доверяли. Впрочем, известность «мастера иглы» она приобрела не сразу. Постепенно те, кто верил в ее руку, распространяли слух, который Алена не опровергала. Они говорили, что эта процедурная из рода полесских колдуний. Она может заговаривать зубы, а уколы, сделанные ей, безболезненны. Для тех, кто этого еще не знал, она применяла заморочки, выработанные годами практики. То шлепнет по противоположной ягодице, то скажет какую-нибудь колкость. Но никто за это не был на нее в обиде. Уж лучше тебя предварительно уколет острый язык, зато потом не почувствуешь боли от укола иглой шприца.

Молодые медсестры пытались ей подражать, но чаще всего это им не удавалось, потому что пытались они копировать некую поверхностную сторону ее поведения и разговоров с больными, еще не отдавая себе отчета, что главное в чем-то другом. Впрочем, в чем основа ее мастерства, Алена и сама не знала. Дал Бог талант, и на здоровье.

– Просто у меня большая практика, – говорила она тем, кто пытался выведать у нее секреты мастерства.

С этим соглашались. Инъекций за свою жизнь она сделал немало. Но не у всех количество переходит в качество. Взять хотя бы Нору Степановну – вторую дежурную сестру. Ей через год на пенсию. А больные воют, когда она входит в палату со шприцем в руках. Ну не создана ее рука колоть, хоть ты убей, несмотря на то, что она, так же как и Алена, всю свою жизнь только и делает, что колет.

Однако никто из ее сослуживцев и не догадывался, что практика ее была в другом. Детское увлечение, к которому она вернулась, было вышиванием. Но это были не те женские вышивки, которые барышни шестидесятых годов прошлого столетия делали при помощи ниток мулине и пялец.

Растянув на огромном квадрате основу она вышивала гобелены. И этой неполой иглой она управлялась так же ловко, с таким же мастерством и любовью, как и с той, что имела наружный срез, внутренний канал и канюлю.

Готовя еду, убирая в квартире, массируя тело парализованного мужа, чтобы не было пролежней, и протирая его камфорным маслом, Алена представляла себя маленькой девочкой, которой мать в тарелку манной каши положила ложку варенья. И она спешит съесть кашу, чтобы потом не торопясь насладиться лакомством. От этой работы-лакомства у нее не ныла спина, не болели руки, и сама работа выпадала из времени и пространства.

Вышивала Алена без рисунка. Усаживаясь за станок иногда не знала, что у нее получится. Но с первых же стежков выходило так, что она работала будто по матрице.

Вся прежняя жизнь до переезда в Минск словно отразилась в ее голове и выплескивалась на тканевую основу. Это были картинки полесского жития: густых и мрачноватых лесов; лугов с разнотравьем, в котором преобладали желтые цвета; деревянной бани, хозяйственных построек, почерневших от сырости и времени; кривых ульев, той пасеки, за которую насмерть билась с сыновьями бабка Макрына, когда те хотели продать ее вместе с усадьбой и забрать мать в Пинск.

При всем этом картины Алёны нельзя было назвать реалистическими.

Но каждый, кто смотрел на эти сочетания цветов, видел именно то, что видела она, только по-своему, словно именно это сочетание служило неким толчком к собственному представлению о том, что было заложено в их содержании и названиях. «Луг» поражал буйством красок и, несмотря на то, что на картине не было ни одного цветка, зрители иногда перечисляли до десятка их названий. «Лето» – удивляло осязаемым зноем, тишиной, в которой ощущалось стрекотание кузнечиков. Фиолетовые краски «Зимнего вечера на Полесье» побуждали искать тепло у печки.

И только одна картина не была похожа на все ее творения.

Она называлась «Взрыв». Это было причудливый разброс и переплетение красок, которые мгновенье назад еще были в центре картины. Непередаваемое ощущение мощи, которая сдерживалась некой оболочкой, а затем разлетелась под влиянием еще большей силы. И именно в этот момент игла художника смогла зафиксировать и передать через краски эту мощь.

К ней ходили знатоки. Выражали удивление, что она не член Союза мастеров народного творчества. Иногда приходили представители из картинной галереи и предлагали приобрести некоторые из ее работ. В последнее время стала звонить секретарша какого-то «бизнесмена Кондратьева», предлагая купить все картины оптом. Но Алена вдруг заупрямилась. Ей почему-то показалось, что, продав картины, она ничего больше не создаст. И Бог, наделивший ее талантом, лишит ее возможности творить.

Алена поднялась на четвертый этаж, открыла дверь квартиры ключом, и, не снимая обуви, прошла в комнату к Аркадию. Слава Богу, все было в порядке. Обычно в дни, когда Виталька куда-либо отлучался, она просила дочь Варю присмотреть за отцом. Но вот уже два года та живет с мужем отдельно. Оба зарабатывают деньги на свой угол и поэтому квартиру они снимают в посёлке под Минском.

Алена зажгла маленькую лампочку ночника. Перевернула Аркадия на бок.

– Все нормально? – спросила она его.

Он хлопнул в ответ глазами. Таким языком они пользовались с первого дня его возвращения в лоно бывшей семьи.

– Виталька уехал в Брест, – сообщила Алена.

Аркадий опять хлопнул глазами в знак того, что все это ему известно.

– У-у, как ты зарос! – сказала Алена и провела по редким волосам бывшего мужа. – В воскресенье будем тебя стричь. Лежи.

Она подоткнула под спину Аркадию две специально сшитые плотные подушки, больше похожие на валики, и пошла на кухню готовить кашу.

Однако раздался телефонный звонок, и ей пришлось вернуться в коридор и снять трубку телефона.

– Алена Михайловна? – спросил женский голос.

– Да, – ответила она, узнавая секретаршу «бизнесмена Кондратьева».

– С вами будет говорить Игорь Павлович...

Семь лет назад она возвращалась домой с работы. Был вечер. Троллейбус, на котором она ехала, неудачно свернул с проспекта на боковую улицу, и у него сорвалось то, что когда-то маленький Виталька называл удочками. Водитель остановил троллейбус, вышел из него и стал манипулировать веревками, но что-то наверху заело, и он влез на крышу.

Пассажиры терпеливо ждали пока эта процедура закончится, однако случилось неожиданное. Раздался хлопок, салон на мгновение озарился голу-

боватым светом и тело водителя, пролетев мимо окон салона, упало на асфальт. Пассажиры высыпали наружу и образовали круг, в центре которого находился бездыханный водитель.

В Алене в этот момент словно что-то включилось, хотя она смутно помнит свои действия в той ситуации. Впоследствии «Вечорка» описала их весьма красочно. Оказывается, Алена сказала всем, что она врач, послала одного из мужчин звонить в скорую, а сама начала делать водителю непрямой массаж сердца. Она никогда не делала этого в своей работе, но однажды была свидетелем, как у них в больнице американские врачи стажировали своих коллег в рамках терапии неотложных состояний на манекене. Сестры называли этот манекен Ванькой и в отсутствие врачей пытались повторить действия реаниматоров.

Скорая прибыла через четверть часа, но Алене удалось «запустить» сердце водителя в течение первых четырех минут, и она могла законно гордиться тем, что именно она сделала все, чтобы тот остался полноценным человеком.

Она уже забыла о случившемся. Но спустя месяц у дверей больницы ее встретил тот, кого сослуживцы после публикации материала в «Вечорке» называли крестником. Он был в парадном костюме и с букетом цветов.

Потом они сидели в кафе «Сосны», пили шампанское и оба испытывали неловкость, предчувствуя, наверное, что встреча эта может многое изменить в их жизни.

После этого они стали встречаться, так обозначили бы то, что произошло, ее соседки. Разрываясь между заботами о больном Аркадии, детях, путаясь в конспиративных встречах, она тем не менее не бросала своего любимого занятия, хотя и уделяла ему внимание только ночью. И трудно было понять, что придает ей силы – новая любовь или старое увлечение.

Именно тогда появился «Взрыв». Картина не похожая ни на одну ее прежнюю работу. Впрочем, и последующие тоже.

Их роман или, как говорили в таких случаях сослуживцы, отношения продолжались два месяца.

В один из дней сентября, когда листья каштанов уже порыжели и наступило бабье лето, у дверей больницы ее встретила женщина.

– Здравствуйте! – сказала она. – Именно такой я вас и представляла. Я жена Николая.

Потом они сидели в кафе «Сосны» и совершенно спокойно говорили каждый о своем. Вероника, как звали жену Николая, не угрожала ей, не пыталась брать с нее клятв не разрушать семью. Все было вполне пристойно. Разговор шел о трудностях вообще. О проблемах воспитания двух девочек, фотографии которых тут же были извлечены из сумочки.

В конце этой встречи Вероника еще раз поблагодарила Алену за то, что она один раз уже спасла ее мужа для ее девочек. И пригласила ее при случае навестить их семью.

В тот же день Алена позвонила другу Аркадия, который работал на городской АТС, и попросила посодействовать быстрой замене номера ее квартирного телефона.

Алена приготовила кашу, покормила Аркадия, промассировала ему спину, перевернула на другой бок и снова ушла на кухню, чтобы наконец поужинать самой.

Пока она делала это, мыла посуду, в голове вертелись слова «бизнесмена

Кондратьева», который знает о квартирных проблемах Вари. И откуда он их узнал, прямо какая-то бизнес-разведка. Далее он сказал, что продажа картин по той цене, которую они стоят, может эту проблему решить.

– Ваш ответ? – спросил он.

– Я подумаю, – ответила Алена

Однако, когда она вошла в свою комнату и стала смотреть на стены, увешанные работами, решимость вдруг оставила ее. Ей опять представилось, что продав картины, она останется не только с голыми стенами, но и никогда больше не сможет испытать это сладостное чувство, волшебный процесс, когда из ничего получается что-то.

Алена провела кошмарную ночь и впервые за многие годы опоздала на работу.

Раздевшись в гардеробе больницы, она поднялась в отделение. В коридоре никого не было. Видимо заведующая собрала врачей у себя, а средний персонал был уже в сестринской. Открыв шкафчик в процедурном, она увидела, что сестра-хозяйка так и не заменила ей старый халат на новый. Но сейчас это было не главным, шестым чувством она понимала, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Запах грозы словно исходил от стен отделения. В дверях показалась сестра-хозяйка:

– Я принесу халат, когда все успокоится, – сказал она, подтвердив худшие предположения Алены.

– А что случилось?

– Вторая палата забастовала

– Каким образом?

– Отказались колоться у Норы...

– Час от часу не легче...

Алена вошла в сестринскую, когда старшая уже заканчивала то, что в отделении называлось разбором залетов. К опозданию Алены, однако, старшая отнеслась благосклонно, как любящая мать к проступку любимой дочери.

– А вот и Алена... – сказала она. – Все свободны кроме нее...

Сестры быстрей, чем обычно, стали покидать кабинет старшей, из чего Алена поняла, что ей предстоит миссия, от которой многие только что отказались.

– Алена, – сказала старшая, когда все вышли из кабинета, – нужно сделать утренние инъекции второй палате... После Норы девчонки туда боятся...

– Ну, надо так надо, – ответила Алена словами популярной телерекламы, в которой лихой директор предлагает своим подчиненным работать без выходных...

– Вот и прекрасно, – ответила старшая, – за работу...

Алена взяла на посту дежурной сестры листы назначений пациентов второй палаты, просмотрела их, положила как в старые времена на крышку от стерилизатора одноразовые шприцы и направилась во вторую, не без основания предполагая, что провокатором забастовки там был, скорее всего, Каток...

– Ну-с, – сказала она бодро, входя в палату, – начнем лечиться.

– Куда будем делать? – не преминул съязвить Катуковский.

Нужно было брать инициативу в свои руки, иначе ей завладел бы Каток.

– Языкастым в язык, остальным в ягодицу, – безапелляционно сказала Алена.

Закончив процедуры, Алена направилась к дверям палаты. Но Катуковский не был бы самим собой, если бы позволил последнему слову не остаться за ним. Он развел руками и произнес иронически:

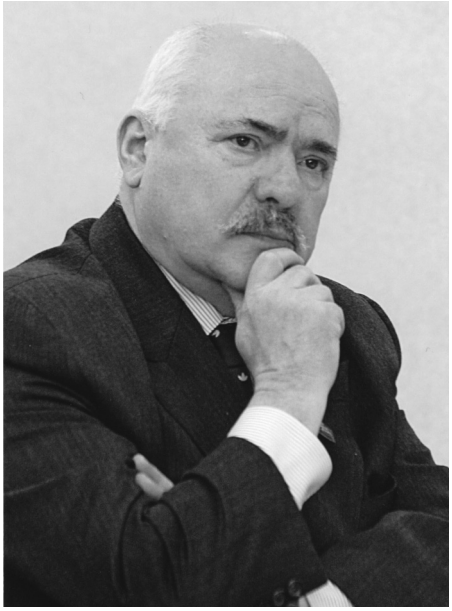
– Игла в квадрате.

В палате на это не отреагировали. Он был балабол, а балабол должен болтать и к месту и не к месту – такая у него стезя. И только Алена поняла, насколько точно определил ее сущность Каток.

У процедурного кабинета уже скапливались больные. Алена попросила их немного подождать, зашла в сестринскую, набрала номер телефона Кондратьева и сказала, что продаст ему гобелены.

– Все? – спросил он

– Все, – ответила она. И немного помедлив, добавила: – Кроме «Взрыва»...



Николай ЧЕРГИНЕЦ *(Беларусь)*

ОПЕРАЦИЯ «КРОВЬ»
Главы из романа

* * *

Стояли по-прежнему сильные морозы, было много снега.

Вильгельм Мойрин был зол, как собака. Утром ему позвонили из рейхскомиссариата «Остланд», который размещался в Риге, и предупредили, что в Семково в сопровождении офицера рейхскомиссариата прибудет фрау Анна Фишер. Она имеет особые полномочия. Приказали обеспечить ее безопасность, но в то же время не мешать ее деятельности. Намекнули на особое положение этой фрау и в национал-социалистской партии, о чем и свидетельствует ее партбилет под номером 1200. Полковник, позвонивший Мойрину, уточнил, что она в курсе того, чем занимается подразделение майора, и что ее интересует архитектурный комплекс, так как она является на-

---

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович родился в 1937 году в Минске. Детство прошло в оккупированном городе.

Окончил Высшую школу тренеров Минского института физкультуры, юридический факультет Белорусского государственного университета.

Служил в органах внутренних дел, прошел путь от рядового сотрудника до начальника управления угрозыска МВД БССР, исполнял интернациональный долг в Афганистане.

Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь. Написал несколько киносценариев, около полусотни художественных книг, большинство из которых — остросюжетные детективы. Лауреат многих международных литературных премий. Награжден 11 орденами.

Председатель общественного объединения «Союз писателей Беларуси», сопредседатель Союза писателей Союзного государства.

следницей и правопреемником последнего владельца Семково. Полковник сказал, что о дате прибытия и месте встречи гостьи Мойрину сообщат дополнительно. При этом звонивший строго предупредил, что о прибытии фрау никто не должен знать, даже в генеральном комиссариате в Минске. Генерал-лейтенант полиции обергруппенфюрер СС фон Готтберг только однажды снизошел до краткого разговора с Мойриным.

Поэтому, первое, что удивило майора, — то, что с ним соизволили говорить из рейхскомиссариата, который напрямую подчинен имперскому министерству оккупированных восточных областей, возглавляемому рейхсминистром Розенбергом. Что это? Добрый знак? Ведь Мойрин, выполняя такую важную и сверхсекретную задачу, уже явно засиделся в майорах.

Второе, что заставило задуматься: «А не едет ли в Семково эта фрау с проверкой моей работы? Странно, впервые в разговоре со мной начальство не стало упрекать, что мало забрано крови, не требовало увеличить количество...».

Раздался стук, и не успел Мойрин отозваться, как в кабинет один за другим вошли врач и директор интерната.

— Хайль Гитлер! — в один голос воскликнули они.

— Господин майор, за ночь умерло шестеро. Боюсь, что при сдаче крови еще несколько умрет, — сказал врач.

Майора бесило то, что врач избегал говорить «дети», а старался изъясняться иначе.

— Не могу понять, Пауль, почему у вас звучит озабоченность о здоровье наших врагов? Вы что, забыли установку фюрера на то, что германизации подлежат только двадцать пять процентов русских и двадцать процентов поляков? Я хочу вам напомнить об этом. И не забывайте, что тотальному уничтожению подлежат все евреи и цыгане. Вы лучше бы позвонили руководству в Минске и потребовали больше товара. Нам нужны новые партии детей. Вчера мне звонил генерал Готтберг, а вы знаете, он редко разговаривает со мной лично, и требовал резко увеличить количество добываемой крови. Мне не совсем нравится, что тех, которые подлежат уничтожению, направляют в Тростенец или другой концлагерь. Я внес предложение о том, чтобы наиболее здоровых пропускали через донорские центры, а затем отправляли в газовые камеры и печи. Кстати, Пауль, в Белоруссии до войны проживало не менее миллиона евреев. Только небольшая часть смогла уйти на восток. Остальные здесь, причем огромное количество находится в гетто. Я внес на этот счет свои предложения. Теперь вы, Пауль, по своей линии проведите эту работу. Обстановка на фронте сложная. Там труднее и опаснее, чем здесь, в этом тихом мирном уголке. Не так ли? Или вы предпочитаете перевязывать раненых на поле боя? Не беспокойтесь, что кто-то из этих несмышленышей умрет. В конце концов, это потери врага. Переведите этому плуту, — майор кивнул на стоявшего с шапкой в руках директора, — пусть зароет где-нибудь умерших. Да скажите ему, что раньше надо выкопать ямы, а затем, лучше ночью, принести и сбросить туда трупы. Нечего из-за пустяка распространять различные слухи.

Дождавшись, пока Залигер закончит переводить, Мойрин спросил:

— Ясно?

— Так точно, господин майор!

— Ну, тогда за работу. Еще скажите директору, пусть меньше ворует шоколад и гематоген, тем более что он уже на исходе и больше его поставлять не будут. Если будет все отрицать, скажите ему: мне хорошо известно, за что

этот плут приобрел себе вчера на Комаровском рынке в Минске аккордеон и патефон. Скажите, что если он не поостынет в своих грехах, то, возможно, нам понадобится его кровь, — и майор рассмеялся своей, как ему казалось, удачной шутке.

Когда Залигер и Войтович вышли, майор выпил чашку кофе и направился в корпус, где дети проходили процедуру сдачи «черной крови».

В довольно большом коридоре они стояли вдоль стены. Их было человек двадцать.

Дежурный офицер, сопровождавший начальника, пояснил:

— Сегодня обработку пройдут семьдесят пять детей. Эти ждут своей очереди.

Мойрин неспешно прошелся перед детьми. Увидев уже знакомых ему брата и сестру, улыбнулся:

— А, Мишка! Ну как, ты со своей сестрой скоро избавитесь от черной крови? Вам давали вчера гематоген?

— Да, маленький кусочек на двоих, — хмуро ответил мальчик.

— Ну и как, вкусно?

— Мало.

— О да! Сладостей всегда мало.

— А мне не дали, — сказала стоявшая недалеко от Миши девочка. — Я не хочу, чтобы у меня забирали кровь. У меня голова кружится, я рук и ног не чувствую.

Офицер-переводчик предложил:

— Господин майор, может ее отправить до завтра обратно?

— Спросите, сколько ей лет и как ее зовут.

Девочка ответила:

— Мне восемь лет. Зовут меня Роза.

— Ты еврейка?

— Да. Я хочу к маме и папе...

— Хорошо, — майор взял ее за руку и, увлекая за собой, повел в процедурную, — вот сейчас ты сдашь немножко своей плохой крови, а потом пойдешь в свою палату играть с ребятами.

Девочка попыталась упираться, заплакала:

— Я не хочу! Я боюсь! Мама!!!

В процедурной работали пятеро, все немцы. Белые халаты у некоторых были в пятнах крови.

Майор быстро сказал:

— У этой еврейки скопилось много крови, и она плачет от желания отдать ее до конца.

Один из санитаров подтащил упирающуюся Розу и с помощью второго санитара уложил на высокий стол.

— Отпустите меня! Я боюсь! Я не хочу! Я же умру! — причитала малышка.

К ней подошли еще двое и вчетвером стали удерживать девочку на столе. Пятый провел по вене ваткой со спиртом и вонзил в нее иглу. Кровь вытекала очень медленно, и санитар начал хлопать по руке, поглаживать от плеча к ладони, как бы выжимая из Розы ее кровь. Прошло около пяти минут, Роза вдруг перестала кричать и сопротивляться и неожиданно улыбнулась. Кровь перестала даже капать в мензурку, и тот, который проводил процедуру, вынул из руки иглу и деловито произнес:

— Все. Она пуста, — пощупал пульс на шее и выпрямился, — ее надо хоронить.

Майор кивнул головой и вышел из процедурной. Направляясь к себе, подумал: «Надо срочно просить пополнения контингента, а то мрут, как мухи».

В это время, пройдя очередную процедуру, Лена сидела на своей кроватке в углу комнаты и, стараясь не привлекать внимания ребят, поминутно оглядываясь на дверь, тихо плакала. Слезы падали ей на нос, щеки и капали на обрывок бумаги, который лежал на двух подложенных картонках.

«Мамочка! Где же ты? Скорее забери меня отсюда. Мне плохо. Сегодня утром меня снова кололи, мою кровь забирали в стеклянную бутылку. Я стала плакать, а на меня директор нашего детского дома дядя Павел и немецкий доктор стали кричать. Они сказали, что у меня забирают плохую кровь. А когда днем нам разрешили погулять во дворе, я потеряла сознание и упала в снег. Мамочка, я люблю тебя. Скорее приезжайте с папой, заберите меня, я же ваша доченька!».

Вдруг Леночка услышала скрип открываемой двери и поспешно сунула письмо под подушку...

* * *

Майор Вильгельм Мойрин, находясь на совещании в комиссариате, был в приподнятом настроении. Еще бы, в присутствии самого гауляйтера Готтберга ему была объявлена благодарность и сообщено, что он представлен к награде. Кроме того, майору предложили войти в состав небольшой аналитической группы по подготовке доклада в Берлин об итогах работы по уничтожению евреев, цыган, а также представителей местного населения. После совещания майора пригласил к себе сам гауляйтер. Тон беседы был доверительным, даже дружеским. Готберг не скрывал и неудач на фронте, обещая, что скоро положение немецких войск улучшится.

— Войска получат большое пополнение в живой силе и технике, решится вопрос о резком улучшении поставок продовольствия, одежды, — говорил генеральный комиссар. — Фюрер взял под личный контроль создание совершенно нового оружия. Это, майор, будет чудо-оружие, которого мир не знал!

Генерал достал из сейфа и показал приказ:

— Этим документом фюрер не только развязывает нам руки, он требует неукоснительного решения еврейского вопроса. Германии не нужны евреи! Процедура их массового уничтожения должна осуществиться двумя способами: расстрел в безлюдной местности, в самом гетто и отправка в лагерь смерти Тростенец.

— Герр генерал, — озабоченно заметил Мойрин, — чтобы увеличить поставки донорской крови, у меня не хватает людей. Большие проблемы с захоронением умерших. Оказывается, в зимних условиях это непросто...

— Вот видите, Вильгельм ,— генерал назвал Мойрина по имени, — как тяжело нашему солдату на фронте. Говорят, что земля замерзает чуть ли не на метр. А окопы, укрытия для техники необходимо рыть руками доблестных сыновей Германии. Но я вас понимаю. Местное население не должно знать о наших экзекуциях. Я дам вам еще взвод солдат и два десятка полицейских из состава латышских и литовских формирований. Вторым литовским батальоном командует майор Импявичус. Он прекрасно проявил себя еще в 1941 году, когда с ротой латышей только за день в городе Могилеве были уничтожены две тысячи двести восемь евреев. В Слониме и Слуцке литовские и латышские отряды под командованием Импявичуса, совмест-

но со служащими украинской и местной полиции, уничтожили боле пяти тысяч евреев, коммунистов и их пособников. Согласен с вами, Вильгельм, в том, что нашим солдатам рыть могилы для детей не очень приятно. Но для этого мы используем самих евреев, иногда и из числа местного населения, которые пошли на сотрудничество с властями. Поэтому я и выделил команду в количестве двадцати евреев, которые будут выполнять эту грязную работу. Мы дадим вам два грузовика, предназначенных для умерщвления людей прямо во время движения автомашины. Как известно, здесь, в Белоруссии, находятся и тысячи немецких евреев. Мы поддерживаем в них веру, что после войны они смогут вернуться в Германию, естественно, если они будут беспрекословно подчиняться оккупационным войскам и сотрудничать с властями. Они не обращают внимания на такие нюансы, как захоронение детей, им бы самим выжить. Командовать группой немецких евреев я поручил Абраму Липковичу, местному еврею. В прошлом году в районе улицы Беломорской Липкович и его подчиненные ликвидировали около тысячи евреев и, что более важно, конфисковали огромное количество ценностей, в том числе одежду и продовольствие. Кстати, Абраму Липковичу принадлежит идея натравливать местное население на евреев, объясняя, что только по их вине не хватает жилья, продовольствия. Как, господин майор, вы их расселите?

— Дворцовый комплекс огромен. Осмелюсь попросить выделить еще дополнительно медперсонал из числа немцев. Для уборки зданий и территории, других работ я смогу подобрать людей из местного населения. Нам удалось убедить жителей, что мы, заботясь о беспризорных детях, и создали этот дом-интернат.

— Решено. Я прикажу выделить вам дополнительный медперсонал. Имейте в виду, что вам надо утроить, даже удесятерить эффективность вашей деятельности. Со своей стороны я обещаю вам более высокое звание. Возможно, к лету мы будем поставлять вам и старших по возрасту детей и даже взрослых. Надо готовиться к новым походам на восток.

— Не забудьте, Вильгельм, — сказал на прощание генеральный комиссар, — евреи должны жить отдельно. Да и полицейские должны иметь отдельные помещения от наших солдат и персонала. Естественно, и продовольствие должно быть разным. В гетто евреи ежедневно получают 300 граммов воды и 5 граммов крупы. Этого хватает на похлебку...

...Майор Мойрин поторапливал шофера. Дорогу за время нахождения на совещании замело, и охрана на мотоциклах с огромным трудом преодолевала сугробы, часто солдаты руками выталкивали мотоциклы из снежных заносов. Легковушку тоже приходилось не раз вытаскивать из снега.

Прибыв в интернат, Мойрин сразу же собрал подчиненных, сообщил об указаниях генерального комиссара, распределил между офицерами и врачами обязанности. Предстояло буквально за два дня подготовиться к приезду нового пополнения. Майор приказал оборудовать дополнительно еще три кабинета для процедур.

В обеденное время он, как обычно, отправился на обход. Дети обедали в столовой, и на начальника никто не обращал внимания. Мойрин заметил уже знакомого мальчишку. Мишка сидел за столом и тупо смотрел на не тронутый обед. Майор остановился и, коверкая слова, сказал:

— О, мой друг Мишка! А чего ты не ешь, еда же вкусная?! Кстати, а где же твоя сестра? По-моему, ее Валя зовут?

Вдруг произошло неожиданное. Мальчик встал со скамьи, взял миску с какой-то жижей и швырнул в лицо майора.

— Ты убил мою сестру, фашист! — Он, сжав кулачки, бросился к растерявшемуся Мойрину. — Я убью тебя, гад!!!

Мальчонку схватили охранники, а Мойрин, вытирая лицо поднесенным ему полотенцем, быстро приказал:

— В процедурную его, немедленно! — и, проходя мимо оцепеневших детей, крикнул: — Наказание — только смерть!

Он зашел в кабинет врача, где имелся умывальник, умылся, протер полотенцем мундир и поспешно направился в процедурную.

Миша лежал, привязанный к высокому топчану, на который обычно укладывались «пациенты». Он был бледен, но сопротивления не оказывал.

Майор приблизился к топчану, у которого стояли врач и четыре санитара, и спросил:

— Жить хочешь, Мишка? Проси прощения, или ты умрешь страшной смертью. Я выкачаю из тебя всю твою большевистскую кровь.

Майор не видел, что дверь была чуть приоткрыта и за ней толпились дети.

— Так ты просишь пощады?

Не дожидаясь ответа, он кивнул медикам. Один из них держал Мишкину руку, а второй сразу же вогнал иглу в его вену. В стеклянную колбу закапала темно-красная кровь.

— Я жду! Проси прощения! Ты же умираешь!

Миша гневно смотрел на палача, казалось, что он улыбается.

Кровь перестала поступать в колбу, и один из медиков стал выполнять приказ врача: растирать руку выше иглы, а затем в области сердца.

— Последний раз спрашиваю: будешь просить прощения?! — вскрикнул Мойрин.

— Ты фашист! Я тебя не боюсь. Мой папочка отомстит тебе, — и вдруг мальчик, словно обращаясь к отцу, вскрикнул: — Папа, отомсти ему! Его фамилия Мойрин.

В этот момент в процедурную ворвалась девочка, за ней мальчик и еще две девочки. Первой была десятилетняя еврейка Рая, а у дверей — ее ровесники Таня, Витя и Лена.

Охранник в дверях перехватил Лену и несколько других ребят. Грубо вытолкнув их в коридор, захлопнул дверь.

— Отпустите его! — крикнула Рая. — Не убивайте!

Ребята наперебой стали умолять не убивать Мишу.

Мойрину и так после слов мальчика: «Папа, отомсти ему! Его фамилия Мойрин» стало не по себе. Он даже невольно посмотрел по сторонам: не слышит ли отец малыша этих слов? А тут еще протесты этих завтрашних мертвецов. Его лицо исказила не то гримаса, не то гнев, смешанный со страхом.

— Ты кто? — обратился он к девочке, которая первой ворвалась в процедурную.

— Рая.

— Ты еврейка?

— Да.

— Сколько тебе лет?

— Десять.

Вдруг майор как-то страшно оскалился. Он по очереди посмотрел на ребят и спросил:

— А кто из вас хочет занять место Мишки?

Дети растерялись и молча переглядывались.

— Ну, что молчите, герои? Кто из вас желает, чтобы развязали Мишку и на это место положили его?

Рая побледнела и, вздохнув, сказала:

— Я.

Тут же Витя и Таня почти одновременно вскрикнули:

— Я!

— Я!

Немец оцепенел. Такого от этих зачуханных безмолвных детей он не ожидал. Ему снова стало страшно. Он с трудом заставил себя сохранить спокойствие и, словно заигрывая с детьми, произнес:

— Хорошо! Тогда ложитесь на его место все трое.

Ребята, не произнося ни слова, двинулись к топчану.

В этот момент врач вынул из вены на руке иглу и тихо произнес:

— Он готов, господин майор.

Мойрин несколько секунд что-то обдумывал, а затем с еле скрываемым раздражением приказал:

— Уберите этого щенка! А этих его последователей заприте в соседней комнате и сегодня же проделайте с ними такую же процедуру. Нельзя допустить, чтобы они рассказали о том, что видели.

Майор быстро вышел из процедурной и, не продолжая обхода, направился к себе в кабинет.

В это время няня, она же уборщица, с трудом уговорила ребят разойтись по своим комнатам. Она ходила от одной группы к другой, стараясь хоть как-то успокоить детей.

Когда Ольга Иосифовна подошла к очередной комнате и открыла дверь, то увидела, как в дальнем углу, сидя на своей кровати, Лена что-то пишет. Держа сложенные картонки на коленях, она водила химическим карандашом по обрыву бумаги.

«Любимые мои мамочка и папочка! Сегодня немцы убили Мишу, а утром они забрали всю кровь у сестры Вали. Мишу привязали за руки к столу и всю его кровь начали отбирать. Ребята бросились на помощь. Мойрин забрал в процедурную Раю, Таню и Витю, а нас прогнали в комнаты. Сегодня ночью мы с ребятами видели в окно, как немцы вырыли яму во дворе и засыпали убитых ребят. Тома, ей уже двенадцать лет, сказала, что у ребят закончилась вся кровь и они умерли. Мамочка, мне страшно. Скорее приезжай. Спаси меня!».

* * *

Вскоре пришла Женя. Она принесла покушать, схватила пустое ведро, сама принесла воды:

— Абрам, я тебе на всякий случай принесла еды с запасом. Вечером можешь сварить суп. Вот здесь, — она достала из авоськи несколько свертков, — маргарин, косточка для супа, в этой банке крупа, а вот две картофелины. Хлеба даем тебе целую буханку, не забудь о сухарях. А вот целебная трава для чая. Сахара, сам знаешь, нет.

— Женя, а где сейчас находится генеральный комиссариат?

— А зачем тебе? Ты что, думаешь...

— Ничего я не думаю. Я просто размышляю, если будут погромы или обыски в домах, чтобы не бежать в сторону этого комиссариата.

Женя объяснила ему, где находится рейхскомиссариат, настращала парня охраной, которая хватает людей даже на подступах к нему.

— Ты знаешь, я когда шла сюда, — вспомнила Женя, — встретила Сашу Панова, помнишь, он жил рядом с вашим домом, он же твой одногодок. Мы разговорились, а он вдруг тебя вспомнил да и всех соседей, которых уже нет в тех домах.

— А чем он занимается?

— Да шляется с ребятами по улицам, на базар приходят, чтобы стырить что-нибудь из еды.

Женя опять попросила парня:

— Но, Абрам, ты выбрось из головы, если в ней еще осталась твоя задумка. Дотянуться до Готтенбаха ни у нас, ни тем более у тебя никакого шанса нет. Вспомни, с каким трудом удалось тебя спасти, а сейчас рисковать при стопроцентной неудаче ты просто не имеешь права. Ты просто обязан жить, чтобы продлить свой род.

Абрам молчал. Он смотрел в окно, и казалось, он не слышит Женю.

Она спросила:

— Ну, чего ты молчишь?

Вдруг он посмотрел на нее, и Женя поразилась. Его глаза были полны слез.

— Что ты, Абрамчик? Не надо...

— Женя, теперь послушай меня. Спасибо тебе за все, что ты сделала для нас. — Голос его звучал спокойно и твердо. — Я никогда не забуду того, что делали немцы и их пособники из других стран, в том числе из Белоруссии. Я хорошо понимаю, что Готтенбах — это небольшая фигура по сравнению с Гитлером и другими крупными начальниками Германии. Но пойми меня, Женя, я уже не маленький. Вспомни, как ты, девушка в моем возрасте, смело шла на риск, ты ведь могла погибнуть, но ради своих знакомых рисковала жизнью. А у меня особое положение. Речь идет не только о моих друзьях, соседях, но и о моих маме, папе, моих сестрах Ларисе, совсем маленькой Соне. — Абрам помолчал и дрогнувшим голосом, еле сдерживаясь, с трудом выговаривая слова, сказал: — К нам в дом вошли четверо немцев и трое латышских или литовских полицаев. Они ударили маму, скрутили меня, бросили лицом на пол, на меня сели двое полицейских, а два немца схватили мою сестру Ларису и потащили на кухню, где положили ее силой на скамейку и... ты сама знаешь, что они сделали. Лариса умерла, нет, они ее убили. А к вечеру мимо нашего дома прогуливался со своей охраной сам Готтенбах. Мама взяла мертвую Ларису, вынесла ее на улицу и, держа на руках, смотрела на Готтенбаха. Он подошел, моя мама рассказала ему о зверях, а он рассмеялся и сказал: «Твоя дочь уже много пожила, чтобы удовлетворить немецкого солдата. Гордись». Он приказал своим солдатам, те отобрали у мамы мертвую Ларису, а маму и меня, когда я бросился к маме, ударили прикладом... Я помню, как Готтенбах у одного из домов стрелял из своего пистолета по людям. Те падали, если кто-то еще жил, он добивал... Женя, я этого никогда не забуду! Не забуду, как на людей, которым связали руки, на площади гетто Готтенбах напустил с десяток собак. Собаки рвали людей, грызли их лицо, тело, рвали на части, пока люди не умирали.

Он снова поднял на Женю глаза:

— Женя, и ты будешь убеждать меня, чтобы я струсил, уехал?! Ты должна меня понять, я знаю, ты не можешь мне помочь, но, прошу тебя, не мешай. Если меня увезут в лес или в деревню, я все равно убегу и появлюсь в Минске!

Женя заплакала. Она притянула к себе голову парня и сказала:

— Ты извини меня, Абрам. Мне просто хотелось, чтобы ты не рисковал своей жизнью. Вижу, что я просто обязана быть с тобой. Мы будем вместе искать подходы к Готтенбаху. Только дай слово, что будешь слушаться меня. Ты же не знаешь ни города, ни порядка в нем. Сунешься сам — погибнешь. Договорились?

— Спасибо, Женя. Я буду слушать тебя.

На следующий день Женя пошла в разведку. Ей удалось выяснить, что Готтенбах бывает часто в генеральном секретариате, так как занимается вопросами отправки людей в Германию. Место его постоянного обитания — здание, где размещалось командование СС.

Женя после обеда опять направилась продолжать разведку. Наконец ей повезло. Она встретила сразу знакомого: мужчину, который до войны вместе с Иваном Платоновичем работал на стройке. Сейчас Илья Анатольевич, так его звали, участвовал в ремонтных работах в здании СС. Он объяснил, что их бригада ремонтирует левое крыло дома.

Женя спросила:

— А что вы сооружаете во дворе, сарай?

Илья Анатольевич улыбнулся:

— Уборные, дочка, делаем, уборную для господ офицеров отдельно, для солдат отдельно и для прислуги типа нашего брата.

— А что, туалета в здании нет?

— Увы, вся канализационная система в этом районе вышла из строя. Запах стоял в здании еще тот! Начальство запретило всем пользоваться туалетами, и теперь будут ходить в уборную. Для самого высокого начальства, а их пятеро, делаем апартаменты с дырками отдельно. Приказано сделать стульчики с дырками, чтобы они могли удобно устраивать свои зады, черт бы их побрал! А ты чего здесь?

— У меня подругу схватили, сейчас она в тюрьме на Володарского. Говорят, что могут помочь эти эсэсовцы, или влиятельные полицейские.

— Я не знаю, влиятельный или нет один из полицейских, которого я знаю. — Илья Анатольевич вдруг оживился: — Собственно, Женя, ты его сама должна знать. Его отец работал у твоего папы. Фамилия его Лясковский.

— А сына, то есть полицейского, зовут Лешка, Алексей? — воскликнула Женя. — Ой, я его действительно знаю.

Вечером Женя была уже у дома Лясковских. Этот день для нее был по-настоящему везучим. Она встретила Алексея.

— Привет, Лешка! Ты уже, наверное, зазнался до такой степени, что старых знакомых не узнаешь. Как твой папа, работает? Он же строитель, а профессия такая самая ходовая.

— А, Женя, привет. Давно я тебя не видел. А как твой отец, Иван Платонович, здоров?

Тон у Алексея был доброжелательным. Женя уже давно заметила, что местные полицейские растеряны и даже испуганы, слухи о скором приходе Красной Армии делали их человечней.

Они разговорились, Лешка не скрывал своей тревоги. Казалось, он в каждом собеседнике искал понимания и защиты:

— Ты знаешь, мой отец ушел вместе с одной отступающей через Минск воинской частью. Думаю, хотелось бы думать, что он жив, здоров.

— Странно, не правда ли, — Женя как всегда была остра на язык, — отец воюет против сына.

— Да я испугался. Меня же хотели отправить в Германию.

Завязался разговор, он длился примерно полтора часа. Женя сделала вывод: и Илья Анатольевич, и Алексей Лясковский, если понадобится, помогут ей и Абраму. Надо было выяснить, где чаще всего бывает Готтенбах, где он живет, с кем общается. Еще она выяснила, что и Илья Анатольевич, и Алексей знают в лицо Готтенбаха.

Женя даже не догадывалась о том, что Абрам во время ее отсутствия продолжал обыск в сарае и нашел мины. Он принес их в дом и внимательнейшим образом изучил. Одна была часовая. Абрам разобрался, как она действует. Надо было, как в будильнике, завести часовые пружины и выставить стрелки на нужное время. Понял он и принцип, как установить время взрыва, чтобы мина не взорвалась в руках. Вторая мина по размеру была больше, чем первая, и взрывалась при помощи бикфордова шнура. Длина шнура чуть более трех метров. Абрам решил использовать сантиметров пять шнура, чтобы рассчитать скорость горения. Но для такого подсчета нужны были часы.

«Попрошу Женю, пусть попытается достать часы», — решил он. Аккуратно обернул мины в рогожку, в которую они и были упакованы, перевязал бечевкой, и спрятал в сенях, под большой дырявой кастрюлей. Только он успел управиться с минами, как пришла Женя. Она рассказала о результатах своего похода.

Абрам не скрывал радости, улыбаясь, он сказал:

— Главное, что мы его вычислили, теперь нужно подумать, как его достать.

Женя попыталась остудить его запал:

— Подожди, подожди, не накаркай! Не явимся же мы с тобой в эсэсовский гадюшник и скажем: «Подайте нам этого бандита и дайте, чем его казнить».

Абрам стал серьезным:

— Женя, а ты забыла о минах, которые Леонид спрятал в сарае?

— Ах да, Таня же мне говорила... А ты откуда о минах знаешь? Кто тебе сказал? Говори немедленно!

— А я случайно услышал, как Таня тебе об этом рассказывала.

— Что, бессовестный, подслушивал?

— Нет, я спал и слышал... Но ты не волнуйся. Я их нашел.

— Что нашел?

— Ну, мины. И даже разобрался, как с ними обходиться. Когда я был в бригаде, кое-чему научился у минеров, когда готовились к походу к железной дороге. Так вот, одна мина — часовая, а вторая — с бикфордовым шнуром. Женя, у тебя часы есть?

— Ну да, — Женя показала запястье.

— Понимаешь, надо выяснить, за сколько секунд сгорает пять или десять сантиметров бикфордова шнура. Надо же знать, когда ее поджигать.

— Абрам, ты окончил четыре класса...

— Нет, пять. Арифметику уже знаю.

— Ладно, — прервала его девушка, — завтра выведу тебя в свет.

— И куда?

— Напротив эсэсовской зоны стоят два, нет, три разрушенных бомбежкой здания. Мы проберемся в развалины и понаблюдаем. Посмотрим, что там и как... А сейчас отдыхай. Я пойду, Таню успокою.

Утром следующего дня они были в одном из разрушенных домов. До войны это был достаточно большой четырехэтажный дом, а сейчас его руины местами возвышались почти до второго этажа. Они забрались на

высшую точку этих нагромождений стен, перекрытий и крупных обломков. Увидеть их со стороны было сложно, так как они оказались как бы в каменном шалаше.

Женя удовлетворенно сказала:

— Ну что, Абрамчик, и сейчас будешь ворчать: зачем полушубок?! Зачем валенки?! Если не оценил моего совета сейчас, то через пару часов поймешь, что старших надо слушать.

Действительно, они были одеты, как будто на Северный полюс собрались.

А недалеко, за оградой, где размещался штаб СС, бурлила жизнь: к зданию подъезжали легковые, реже грузовые автомашины, входили и выходили офицеры. Ближе к руинам, где спрятались наблюдатели, находились дощатые сооружения. Их было три. Через час-полтора Женя и Абрам поняли, кому служат эти строения. То, которое было правее, чуть в сторонке от двух других, было уборной для высших чинов. Туда изредка заходили вальяжные офицеры. Уборными побольше пользовались солдаты и гражданские. Они даже в этих условиях пользовались «своими» заведениями.

Женя показала пальцем чуть левее:

— Видишь, Илья Анатольевич. Они теперь строят, как он сказал, какой-то склад.

— А что за люди у канализационного колодца?

— Это рабочие пытаются починить канализационные трубы. Поэтому немцы и приказали соорудить временные туалеты. А ты, Абрамчик, случайно в туалет не хочешь? — улыбнулась Женя.

Ей, как всегда, хотелось поставить собеседника в неловкое положение.

— А ну тебя! — отмахнулся Абрам и вдруг осипшим голосом произнес: — Смотри, Готтенбах!

Женя увидела, как к «главному» сооружению спешит офицер.

— Ты уверен? Не ошибаешься?

— Он, я его даже в темноте узнаю. Он и там, в гетто, по снегу ходил, мелко перебирая ногами, а левую руку всегда держал в кармане, даже когда стрелял из пистолета в людей, не вынимал ее из кармана.

— Так, значит, мы уже одно место, где он обязательно появляется, выявили, — удовлетворенно сказала Женя.

Подождав, пока Готтенбах покинет «заведение», Абрам обратился к Жене:

— А Илья Анатольевич не может мне помочь пробраться на территорию? Без посторонней помощи туда не попасть.

— Не забывай, что с внешней стороны ограждения патрулируют полицейские.

— А этот, как его...

— Лясковский? — догадалась Женя. — Он тоже.

— А кто эти рабочие у канализационного колодца?

— Не знаю. Но колодец действительно близко расположен от офицерского нужника.

— Женя, нам надо поговорить с Ильей Анатольевичем.

— Ты прав, возможно, и с Лясковским надо поразмышлять. Я думаю, что и он может пригодиться. Так, голубчик, вставай, нам сегодня здесь делать нечего. Надо разговаривать с Ильей Анатольевичем и Лешкой...

Бригада плотников прибыла на особый объект ровно в восемь утра. Еще не совсем рассвело, но до полного рассвета рабочие должны переодеться и сразу же приступить к работе. За ними присматривал немолодой фельдфе-

бель, который, как заметили рабочие, не был совсем зверем, он немного говорил по-русски и не пускал в ход жесткий стек, который постоянно носил в руке. Он требовал одного — чтобы плотники работали до пяти вечера, не ленились и, конечно же, выполняли план.

Руководство СС решило не ставить свой транспорт и не хранить свои запасы вдалеке от своего главного управления. Поэтому было решено построить прямо на территории склады и гараж на несколько десятков автомобилей. Илья Анатольевич и еще тридцать восемь строителей были привлечены к этой работе, стройматериалы доставляли из лесопилки другие рабочие.

Фельдфебель обратил внимание на мальчишку лет пятнадцати.

— Это что? — ткнул он стеком в Абрама.

— Сын мой, господин фельдфебель, холодно же, будет костер нам жечь да и помогать заодно. Кстати, он на специалиста канализационщика учится. Может, и в этом деле сгодится.

Вскоре фельдфебель потерял интерес к парнишке, этому способствовал и холод. Светило солнце, таял снег, но ветер донимал до костей.

Куцая шинель, под которую фельдфебель напялил шерстяную женскую кофту, кальсоны под суконными брюками-галифе, толстые носки в сапогах не защищали его от холодного ветра, поэтому он то прятался за деревянной стеной, то убегал на пять-десять минут в одно из двухэтажных кирпичных зданий, чтобы согреться.

Абрам выбрал момент, чтобы убедиться, что по канализационным трубам к штабу не подобраться.

Трубы диаметром тридцать сантиметров не позволяли это сделать. И тогда Абрам сконцентрировал все внимание на туалетах, вернее на одном из них — главном. Заглянул внутрь — три ячейки, над ними для удобства что-то вроде табуреток с дыркой посередине. Вдоль боковой стенки — деревянный желоб для малой нужды.

— Уютно и хорошо, — сказал Абрам и убрался восвояси.

У него созрел план. Вечером они с Женей обсудили его, а затем по очереди встретились с Ильей Анатольевичем и Алексеем.

И вот настал день, который с таким нетерпением ждал Абрам. При подъезде к территории эсэсовского здания метрах в двухстах разрушенный дом. Накануне Абрам вместе с Женей отнесли туда и спрятали в руинах укутанную в тряпье часовую мину. Назавтра Абрам плотно прикрепил на груди вторую, меньше размером, обмотал вокруг талии бикфордов шнур и вместе с Ильей Анатольевичем прибыл на работу.

Илья Анатольевич протянул фельдфебелю небольшой кусок сала, завернутого в чистую тряпицу:

— Герр фельдфебель, презент.

— О, шпек, гут, гут, данкешон, — расплылся в улыбке немец и дружески похлопал по плечу Илью Анатольевича, а затем достал из кармана пачку папирос, отобрал две штуки и протянул их Илье Анатольевичу.

Вскоре немец ушел отогреваться, а Абрам схватил заранее подобранный брошенный кем-то кусок электропровода и метнулся к туалету. Там он просунул в щели пола провод, оба конца спрятал под пол и быстро вышел. Буквально через полминуты к туалету подошел толстый полковник. Сделав свое дело, ушел. Абрам бросился к тыльной стороне туалета. Она была со стороны проволочного ограждения. Открыл длинный люк выгребной ямы и просунул к месту, где должна находиться одна из ячеек, достаточно длинную

палку с гвоздем на конце. Придавил ее, чтобы не упала вниз крышкой и убедился, что пока никто из господ офицеров не желает посетить это «заведение». Быстро достал мину, она была в авоське, прикрепил один конец бикфордова шнура к палке, а второй конец к мине и закрепил авоську с «презентом» с помощью электропровода под полом. Проверил, не видно. Чтобы увидеть мину, надо было нагнуться и заглянуть в ячейку. Абрам был уверен, что ни один офицер не додумается заглянуть в дырку. Он вышел, пропустил трех офицеров, посетивших туалет, и бросился снова к выгребной яме. С помощью палки вытащил бикфордов шнур и закрепил его у крышки. Затем он снова присоединился к рабочим.

Пришел фельдфебель, увидев, что плотники работают старательно, погрел руки, ноги у костра и, сказав Абраму «молодьец», пошел снова отогреваться в здание.

А в это время Алексей Лясковский подошел к старшему наряда по фамилии Липковский:

— Ну что, сколько нам еще осталось?

— Почти два часа, — ответил Липковский и строго спросил: — А ты чего свой пост оставил? Дуй обратно.

— Тебе хорошо, солнышко пригревает, а у меня тень, холодно.

Еще вчера Алексей рассказал Жене, что Липковский — отъявленный мерзавец. Он с удовольствием участвовал в погромах, арестах и многочисленных расстрелах мирного населения. Так случилось, что именно Липковский мог видеть Абрама, когда тот возился у выгребной ямы. Правда, не было стопроцентной уверенности, что этот кат видел Абрама, да если и видел, то наверняка посчитал, что рабочий занимается чисткой ямы. Но, согласно плану, именно в этом месте надо будет перекусить колючку, чтобы дать возможность Абраму бежать к руинам. И Алексей напряженно всматривался в направлении туалетов.

Абрам подкинул несколько кусков от досок в костер и наконец увидел того, кого ждал! Готтенбах, как всегда семеня ногами, спешил к туалету. Абрам оглянулся — где фельдфебель? Не видно, и он стороной двинулся к тыльной стороне уборной. В это время к старшему наряда сзади приблизился Алексей и изо всех сил обрушил на его голову приклад. Было хорошо слышно, как достаточно громко хрустнули кости черепа. Полицай замертво рухнул на землю. Алексей достал из кармана шинели кусачки и быстро перекусил все четыре проволочные колючки. Раздвинул их концы, подошел к трупу и, взяв винтовку Липковского, направился к руинам.

Там его дожидалась Женя. Они спрятали винтовку охранника в развалинах, и Женя отправила Алексея по заранее оговоренному адресу, сама же осталась на месте. Она хорошо видела, как в уборную вошел Готтенбах, а к обратной стороне строения быстро приближался Абрам.

Стараясь не шуметь, парень открыл крышку выгребной ямы, снял с палки бикфордов шнур, достал из коробка сразу три спички и чиркнул ими по коробку. Загорелась одна спичка, и от ее огонька вспыхнули еще две. Поднеся их к концу бикфордова шнура, он сразу же выпустил небольшой белый дымок, было хорошо видно, как огонь быстро пополз по шнуру. Абрам бросился к проволочному ограждению. Он видел сделанный в заборе проем и уже подбегал к месту, где спряталась Женя, когда сзади громыхнул взрыв. Он был такой силы, что взрывная волна даже Абрама чуть не сбила с ног.

Вот и Женя. Она радостно сказала:

— Конец ему! Накакался, гадина.

— Нет. У него, наверное, запор от ихней колбаски. Уходим!

Когда они отошли от руин и оглянулись назад, то увидели огромный столб дыма....

Зазвучала сирена тревоги. Началась паника.

— Абрам, может, не будем заниматься второй миной? — спросила Женя.

— Нельзя, чтобы немцы заподозрили рабочих.

Вскоре они были уже на дороге, ведущей к главному зданию эсэсовцев.

Там у ворот уже стояло несколько грузовиков. Абрам достал из тайника мину. Она была завернута в тряпки и помещалась в авоську. Быстро завел механизм и, подумав, поставил стрелки на тридцать минут. Они вышли к дороге, там и расстались.

Женя осталась на месте, а Абрам пошел в сторону центра города. Теперь они находились метрах в тридцати друг от друга, как и договаривались. Абрам выбирал машину, в кузове которой не было людей. Убедившись в этом, он должен был поднять левую руку. Это был сигнал для Жени. Прошло два грузовика, прежде чем Абрам подал сигнал. Женя вышла на проезжую часть дороги и замахала рукой. Машина остановилась, Абрам бросился к ней и быстро положил в кузов «презент».

Шофер-немец спросил у Жени:

— Вас волен зи? (Что вам угодно?)

Женя спросила:

— Сигаретен найн?

— Вэк! — ответил шофер и дал газ.

Машина поехала дальше. Ребята отошли к одной из небольших улочек и присоединились к толпе людей, выскочивших из домов на звук взрыва.

Слышались голоса: «Что это?», «Наверное, сами себя!», «А может, подпольщики и в этот гадюшник пробрались?».

Женя взглянула на часы. Осталось четырнадцать минут. Они видели, что все машины проехали вглубь территории, очевидно, освобождая место мчащимся медицинским и пожарным машинам. Горели деревянные строения: туалеты, строящиеся гаражи и склады. Пострадало и здание, где располагались высшие чины эсэсовцев.

Где находится грузовик с «презентом», со своего места ребята не видели.

Но ровно в назначенное время он проявил себя. Рядом с основным зданием, только с другой стороны, громыхнул второй, более мощный взрыв. Люди стали расходиться по домам. Они хорошо понимали, что вот-вот могут появиться отряды карателей. И лучше всего в такой момент быть дома.

Женя и Абрам поспешили скорее уйти, чтобы затеряться среди многочисленных улиц.

* * *

Женя была права. С утра город гудел: гестаповцы, эсэсовцы и полицейские обшаривали все улицы, стараясь не пропустить ни одного дома, сарая, даже собачьи будки переворачивали вверх дном. Людей хватали сотнями, сгоняли в какие-то сборные пункты, опрашивали каждого, многих арестовали. В этой части города самой большой площадью была Комаровская, или, как ее называли в народе, Комаровские вилы или развилки. Это потому, что от площади на восток шли две улицы, а с другой стороны — две дороги на запад. В полдень людей, проживающих на ближайших улицах от Комаровки до Сторожевки, стали сгонять на эту площадь. Гнали прикладами, с угрозами, матерщиной. Все, кто оказывался на площади, сразу же с ужасом смот-

рели на ряд сооруженных виселиц. Со стороны центра под усиленным конвоем пригнали толпу людей. В основном это были женщины и дети, руки у каждого за спиной были связаны веревками. Их подогнали к виселицам. Немецкий офицер вышел на центр площади, оглядел толпившихся людей и пальцем подозвал второго офицера, у которого в руках был большой жестяной рупор, это был переводчик.

Офицер с помощью переводчика обратился к толпе:

— Жители Минска! Вчера бандиты совершили нападение на немецких солдат. Вы все читали приказ германского командования о том, что за убийство немецкого солдата будете отвечать своей головой. Перед вами ровно двадцать жителей города Минска. Они сейчас будут повешены. Их могут спасти только те, кто скажет, кто совершил вчерашнее злодеяние, во время которого, кроме германских солдат, погибло много детей, женщин и стариков.

«Вот гады! — возмущенно подумал Абрам. — Там же не было ни одной женщины, ни одного ребенка, да и стариков не было».

Полчаса назад в дом, где находился Абрам, ворвались солдаты, они буквально выломали дверь, схватили его и поволокли на улицу. Парень только успел схватить висевший у двери старенький ватник. Шапку взять не дали. На улице было много людей, их немецкие солдаты, подталкивая прикладами, гнали к площади.

Абрам пытался выяснить, нет ли в толпе Жени, Тани и ее мамы. Он видел десятки людей, а увидеть среди них своих не удалось. Оказавшись на площади, Абрам сразу же понял, зачем немцы согнали сюда жителей. Зловеще стояли виселицы с веревками и петлей на них. Жались друг к другу обреченные. Абрам автоматически посчитал: двадцать человек, среди них пятеро — детей.

А в это время немецкий офицер снова прокричал:

— Посмотрите на них, — он рукой показал на обреченных, — каждый из вас может спасти их. Он должен подойти сюда и назвать тех, кто вчера поднял руку на великого германского солдата. Если найдется среди вас такой честный человек, то он спасет эти двадцать человек. Смотрите, как на вас смотрят дети, они умоляют вас.

Офицер что-то сказал, и солдаты стали подталкивать людей к виселицам. Каждому на шею наложили петли. Одной женщине стало плохо, и она, потеряв сознание, упала на брусчатку. Солдаты подтянули ее за руки к сколоченной скамье, посадили спиной к скамье, и, удлинив веревку, накинули на шею петлю. Теперь каждый из обреченных находился у «своей» виселицы. Оставалось поставить их на скамейки, подтянуть веревки и выбить скамейки из-под ног.

Немец предупредил:

— У них одна минута до смерти, и у вас одна минута для спасения их жизней. — Он посмотрел на часы. — Осталось сорок секунд. — Помолчав немного, оповестил: — Осталось тридцать секунд. — Вскоре снова крикнул: — Остались считанные секунды, неужели среди вас нет честных людей, которые пожалеют этих несчастных? Слышите, как плачут дети?!

Офицер снова посмотрел на часы и отдал команду солдатам. Те по двое подошли к каждой жертве, затянули узлы, заставили обреченных людей встать на скамейки. Две девочки еще громче заплакали, одна из них хотела спрыгнуть со скамьи. Ее подхватили два солдата и, оставив на скамье, держали руками.

Офицер снова обратился к людям:

— Через десять секунд казнь состоится. Они будут повешены. Последний раз спрашиваю: кто хочет их спасти?!

Абрам вспомнил гетто: немцы насилуют девочек, убивают людей. И он вдруг, отодвинув впереди стоявших людей, шагнул вперед и громко крикнул:

— Хайль! — И, направляясь к офицеру, поднял руку. — Я хочу поговорить.

Засуетились в растерянности офицеры, жандармы направили на парня автоматы. Старший офицер громко приказал скамейки из-под ног несчастных не выбивать. Расстегнув кобуру пистолета, напряженно ждал, когда парень подойдет. Он что-то негромко сказал, и навстречу Абраму бросились два солдата. Они остановили его, тщательно обыскали и ткнули в спину автоматом.

Абрам подошел к офицерам и обратился к переводчику:

— Спросите у старшего, если я назову, кто вчера взорвал две мины в эсэсовском комиссариате, он отпустит этих людей? — Абрам кивнул в сторону виселиц.

Переводчик перевел вопрос старшему.

Тот поспешно закивал головой:

— Говори.

— Я скажу все, но сначала отпустите невиновных!

Старший выслушал переводчика, недоверчиво ухмыльнулся:

— Куда их отпустить?

— К людям. Вон они вокруг площади стоят. Пусть идут к ним, и мы начнем разговор.

— А где гарантия, что ты не врешь?

— А у вас вон сколько заложников, — обвел рукой вокруг парень.— Я не вру. Я знаю, кто подложил вчера мину в уборную, где разнесло в куски Готтенбаха и вместе с дерьмом разбросало. Я знаю, что мина, заложенная в грузовик, разнесла и здание эсэсовцев. Кстати, там не было женщин и детей, отпускайте несчастных! — Видя, что офицер продолжает колебаться, сказал: — Вас же, конечно, интересует, что случилось с вашим полковником и тремя солдатами? Это было на прошлой неделе. Так или не так?

Офицер растерянно пробормотал:

— Я, я. Был такой случай. Так ты говоришь, что и об этом расскажешь.

— Отпускай людей!

Офицер понимал, что, отпустив несчастных, он фактически ничего не теряет. Вокруг столько народа, хватай любого и ставь к виселице. Он приблизился к Абраму:

— Ты еврей?

— Да.

— Хорошо, я отпущу заложников, но если ты блефуешь, тебя первого вздерну на одной из этих виселиц.

— Да.

Офицер обернулся и приказал:

— Заложников развязать и отпустить.

Он тут же обратился к Абраму:

— Говори!

— Подожди, пусть заложники разойдутся. — И посмотрел, как они поспешно разбегались.

Вдруг женщина, которая буквально тащила за собой девочку лет пяти, приостановилась недалеко от Абрама и показала на него пальцем:

— Анечка, смотри, этот мальчик спас нас с тобой. Запомни его. — Неожиданно она спросила: — Как тебя зовут, родной?

— Абрам Рабинович, я минчанин. Уходите быстрее!

Он взглядом провожал женщину с дочкой, пока их не поглотила толпа. Повернулся к офицеру:

— Все это сделал я! Я отомстил вам, особенно коменданту гетто Готтенбаху, за смерть своих родных и убийство тысяч невиновных. Теперь я готов к разговору.

Офицер отдал приказ солдатам, и они, связав за спиной Абрама руки, потащили его к легковому автомобилю. Офицеры двигались за ними. Они не совсем верили такой удаче и не могли преодолеть растерянность и даже страх, держась на расстоянии от Абрама.

Женя и Таня находились в толпе с другой стороны площади. Они все видели и слышали. Вокруг люди, пораженные случившимся, быстро расходились. Такое они видели впервые. У большинства на глазах были слезы.

Девушки, как в бреду, брели домой. Их встретила Лариса Андреевна. Ей удалось спрятаться в сарае, где она набирала дров, когда солдаты сгоняли людей в колонну и гнали на площадь.

От проходивших мимо людей она уже знала, что случилось на Комаровской площади. Обнимая дочь и ее подругу, только спросила:

— Это был Абрам?..

Рано утром к дому Тани подъехала грузовая машина. За рулем сидел немец, в кузове — два немецких автоматчика и четверо полицейских.

Увидев, что один из немцев входит во двор, Лариса Андреевна похолодела:

— Доченьки, за нами!!!

Женя первой оказалась у окна, выглянула и заулыбалась:

— Это наши, Лариса Андреевна.

Женя сразу же узнала Мороза, обратилась к подруге:

— Танечка, открывай, это Степан Петрович с нашими.

Степан Петрович, поздоровавшись, озабоченно сказал:

— Принято решение временно перевезти вас в другое место. Мы подобрали дом в сельхозпоселке, там пока поживете. Как говорится, от греха подальше.

Женя уверенно произнесла:

— Степан Петрович, Абрам о нас им ничего не скажет!

— Мы тоже на это надеемся, но рисковать не имеем права. Берите самое ценное для вас, быстро загружаемся и уезжаем. — Он повернулся к хозяйке: — Лариса Андреевна, командуйте, что выносить. Мы поможем, только надо ворота открыть, чтобы машина задом заехала. Давайте, дорогие, быстро! Не дай бог, гестапо появится.

В доме началась суматоха. Лариса Андреевна и девчата хватали, что может пригодиться, все это завязывалось в узлы из скатертей, простыней, одеял, а «немцы» и «полицаи» быстро загружали все это в крытый кузов грузовика. Несмотря на панику, собрались довольно быстро.

Степан Петрович отозвал в сторону Женю.

— Ты жми на конспиративную квартиру на Комаровской. Хозяйка тебя знает?

— Да, да, мы хорошо знакомы, мы там Леонида Цветкова провожали.

— На связь с тобой будут выходить связные, ты их тоже знаешь. Будем разбираться, что к чему. Сейчас главное — разведка. Упороли вы, ребята!

— Другого варианта не было... Абрам ни за что не соглашался уезжать...

— Знаю, знаю, Женя. Сейчас уже поздно руками махать. Слов нет, парень — герой. Весь Минск гудит, люди, как легенду, рассказывают о его поступке. Но страшно подумать, что с ним сейчас делают в гестапо. Хватит ли у парня сил все это вынести.

— А мы никак не можем ему помочь?

— Нет, Женя, к сожалению...

Вскоре грузовик, разбрызгивая лужи, понесся в сторону сельхозпоселка, а Женя направилась по адресу. По дороге ее трижды останавливали патрули, проверяли документы. Женя с каким-то безразличием относилась к проверкам, машинально отвечала на вопросы. Она волновалась за Абрама: «Как он там? Жив ли? Наверное, его пытают по-зверски?».

Но пока она ошибалась. Сразу же, как только Абрама доставили в гестапо на площади Свободы, его привели к начальнику гестапо.

В большом, теплом, богато обставленном кабинете кроме начальника гестапо находились два охранника, переводчик — молодой холеный оберлейтенант — и два офицера: один — офицер СС, второй — из секретной службы. Начальник гестапо, средних лет полковник, приказал развязать Абраму руки и предложил:

— Садись, герой! Ты знаешь, а я тебя понимаю. Ты не мог простить Готтенбаху его жестокость. Но сейчас не до него, тем более ты его покарал. — Посмотрев на лист бумаги, лежавший на столе, спросил: — Ты действительно Абрам? И твоя фамилия Рабинович? Где ты проживаешь?

— Перед вашим нападением на нас я жил по улице Сторожевской.

— Ты сказал, что в твоем доме находятся трое убитых немецких военнослужащих. Это так?

— Да, вы же легко можете проверить.

— Ты прав, Абрам. Самое правильное это — проверить.

Полковник по внутреннему переговорному устройству вызвал двух офицеров, приказал взять охрану и проверить дом Рабиновичей. Он протянул одному из офицеров листок:

— Вот адрес. Если там действительно находятся убитые, вызывайте криминалистов, а мне доложите безотлагательно!

Офицеры, козырнув, вышли.

Полковник, подчеркнуто доброжелательно, предложил:

— Абрам, может, тебя покормить?

— Не хочу.

— Ну, расскажи, как это ты вчера так умно совершил диверсию.

— Конечно, расскажу. Я подобрался сзади к полицейскому, который охранял ваше здание у проволочного забора. Ударил его толстой железной трубой, затем затащил за деревья, там же небольшой лесок. Перекусил щипцами проволоку.

Абрам рассказал, как он заминировал уборную и, дождавшись, когда туда зайдет Готтенбах, поджег шнур.

— А где ты взял трубу?

— Это кусок трубы, там рядом руины домов, в них и нашел.

— И что, ты один смог оттащить тяжелого полицейского так далеко?

— Он мне не показался тяжелым.

— А куда дел винтовку?

— Спрятал в развалинах дома.

— Покажешь?

— Да, могу даже нарисовать схему.

— На бумагу, на карандаш, нарисуй.

Абрам обозначил эсэсовскую территорию, показал, где находилась уборная, где сделал проход в ограждении, затем указал путь к руинам и пояснил:

— Вот здесь, у самого начала развалин, большой кусок стены. Винтовку я туда засунул.

Полковник нажал кнопку, и в кабинете появился еще один офицер.

— Возьмите схему, охрану, поезжайте туда и попытайтесь найти вот здесь, — ткнул он в крестик, — винтовку полицейского.

Приказ он отдавал по-немецки, и Абрам подумал: «Если он не спрашивает, куда затащили убитого полицая, значит, его нашли». Он опасался именно этого вопроса. Но полковник был опытным и расчетливым следователем. Он старался закрепить показание еврея уликами, поэтому осторожно вел допрос. Он старался расположить к себе парня, был вежливым, все время улыбался. Когда офицер пошел исполнять приказ, полковник спросил:

— А как ты устроил второй взрыв?

— Я все продумал. Недалеко от въездных ворот на территорию эсэсовского гарнизона имеется разрушенный бомбами дом, там я спрятал мину с часовым механизмом. После взрыва уборной я пришел к развалинам, где была спрятана мина. Оттуда видел, какая возникла паника на территории. У ворот скопилось немало автомашин, я дождался, когда их стали пропускать, бросил на дороге мешок с разным барахлом. На мешке была свастика и надпись на немецком языке. Как я и думал, шофер одного из грузовиков, увидев мешок, решил, что он выпал из кузова ранее прошедшей машины, остановился и пошел смотреть. Я за это время успел поставить на мине время взрыва и бросил в кузов, а сам спокойно пошел в обратную сторону. Шофер даже не обратил на меня внимания...

В это время в кабинет без доклада вбежал один из офицеров и положил перед полковником лист исписанной бумаги. Полковник, прочитав, разволновался. Он отложил бумагу, прихлопнув по ней рукой, и сказал:

— Ну что ж, Абрам. Ты сказал правду об убитых в доме. Давай с тобой договоримся, если ты и дальше будешь таким правдивым, мы сохраним тебе жизнь. Никто тебя не будет пытать. Поверь, и нам нужны такие смелые люди. Мы найдем тебе применение, самое главное, ты будешь жить. Еще раз ответь мне на такой вопрос: в доме обнаружены три трупа. Несмотря на то, что они без форменной одежды, их опознали, действительно германские солдаты. Ты же не будешь утверждать, что один убил троих. С ними был офицер. Кстати, что с ним произошло?

Абрам уже продумал свои показания. Благодаря своим старшим товарищам, он знал, как проходила операция.

— Это длинная история. Началась она с того, что один полицейский с помощью своего дружка из литовского полицейского батальона, который охранял гетто, пожалев, вывел меня оттуда. Я ему рассказал, где наша семья проживала до войны, до того, как нас всех, как скот, схватили и поместили в гетто. Он провел меня до моего дома, где я остался жить. Он еще тогда сказал, что я могу ему пригодиться. На прошлой неделе он пришел ко мне в дом еще с тремя мужчинами.

— А как он тебе представился?

Абрам сделал вид, что вспоминает, и быстро ответил:

— По-моему, его зовут Антон. Могу даже его фамилию назвать.

— Ну, ну, говори.

— Антончик, его вы уже не найдете, он в партизанском отряде.

— Хорошо, рассказывай дальше.

— Так вот, Антон и его друзья принесли с собой две мины. Одна взрывалась с помощью бикфордова шнура, вторая с часовым механизмом. Антон рассказал, что одну мину они хотели подложить начальнику полиции, не знаю фамилии, а вторую — в кабинет какого-то полковника, который дружил с начальником полиции. Те собирали золото и другие драгоценности. После Антончик передумал, как я понял, они зарезали начальника полиции. Передумали взрывать и полковника. Поэтому обе мины остались в моем доме.

— Хорошо. И как они поступили с полковником?

— Однажды Антон обсуждал со своими друзьями свой план. Учитывая, что полковник очень жадный к драгоценностям, Антончик отнес ему очень красивую брошь. Я точно знаю, что эта брошь осталась у полковника, об этом говорили между собой Антон и его друзья, даже жалели, что такая ценная брошь осталась у вашего полковника.

— Хорошо, хорошо, Абрам, рассказывай дальше.

— А что тут рассказывать? Антончик сообщил полковнику, что в моем доме целый склад драгоценностей. Он предложил полковнику отобрать для себя все, что ему понравится, а уже потом изъять весь склад. Полковник приехал на автомашине с водителем и в сопровождении мотоцикла, в котором были два немца. В дом он вошел один. Его схватили, раздели, связали и сунули в рот кляп. Затем позвали шофера, его тоже раздели и убили. После этого пригласили в дом и двоих мотоциклистов, с ними сделали то же, что и с шофером. Переоделись в немецкую форму и уехали. Правда, по моей просьбе Антончик выяснил, где находится Готтенбах.

В этот момент в кабинет вошел офицер и поставил у стены, слева от дверей, винтовку, коротко доложил, что винтовку нашли согласно схеме.

— Гут, — одобрительно сказал полковник и обратился к Абраму: — Да, пока ты говоришь правду. Хвалю. Ну и что дальше было у тебя дома?

— Ну что? Они переоделись в немецкую форму, загрузили закутанного в шубы полковника в багажник машины, двое сели в легковушку, а двое в мотоцикл под видом охраны и поехали из города.

— Кто надел форму полковника, Антончик?

— Нет, один из его дружков. Он знал немецкий язык. А за руль мотоцикла сел тоже знающий немецкий. Антончик сел за пулемет.

— А ты почему не поехал?

— А мне нужен был убийца моей семьи Готтенбах. Я был рад, что мне оставили мины.

— Как думаешь, куда они поехали? Тебе они не говорили?

— Они разговаривали между собой о том, что надо ехать на запад, а выехать из Минска в другом месте.

— Они не говорили, будут ли возвращаться?

— Нет, хотя Антончик о себе что-то такое говорил. Мол, у него есть дружки в полиции, в том числе и среди литовцев, даже кто-то из немцев.

— Фамилии не называли?

— Нет, мне даже не нравилось, что они относились ко мне, как к маленькому ребенку...

— Хорошо, Абрам, у меня складывается впечатление, что ты храбрый молодой человек. Сейчас мы займемся проверкой твоих показаний. Тебя поместим в отдельную камеру, будем хорошо кормить. Ты подумай, мо-

жет, еще что-нибудь вспомнишь или где-то сказал неправду. Срок у тебя — до завтра.

Абрама увели. Полковник задумался. Этот еврей такой смелый, так убежден в своей правоте, что полковник не сдержался и громко произнес:

— Вот мне хотя бы двух-трех таких офицеров. Я с ними мог бы и до Кремля добраться. — И неожиданно для себя подумал: «А может, и до рейхсканцелярии?!». И со страхом оглянулся: не сказал ли он это вслух.

* * *

Абрам прекрасно понимал, что делано-слащавые разговоры, которые ведут с ним руководители гестапо и тайной полиции, временные. Они видели, что парень довольно охотно рассказывает о преступлениях, которые вызвали у оккупантов такой переполох. Поэтому в первые дни Абрама не пытали и не избивали. Абрам же такой словесной игрой преследовал сразу несколько целей.

Он старался отвести подозрения от Жени, Тани и других подпольщиков. В этом плане хорошо сработала его версия о том, что гестаповского полковника похитил полицейский Антончик. Немцы сразу же проверили информацию об Антончике и убедились, что был такой дезертир, и показаниям Абрама поверили. Во время очередного допроса спросили у парня — не знает ли он кого-либо из друзей или знакомых Антончика.

Абрам сразу же «вспомнил» своего тезку — Абрама Липковича:

— Я слышал, как Антончик в разговоре со своими дружками упоминал фамилию Липковича. Антончик говорил, что с Липковичем они награбили много золота, удивлялся, что Липкович по национальности еврей, но это совершенно не мешало ему грабить и убивать своих соплеменников. И еще, Антончик очень жалел, что они вместе с Липковичем готовились отомстить гестапо за то, что арестовали и сожгли в Тростенце семью Липковича. Но произошел случайный взрыв.

— А ты не знаешь, где сейчас этот Липкович?

Эти вопросы задавались ему и раньше. Абрам повторял свои показания, добавлял что-то новое.

— Не знаю. Но, со слов Антончика, Липкович выжил и где-то лечится, по-моему, в госпитале.

— А что еще ты знаешь о Липковиче?

— Больше ничего. — Вдруг Абрам решил, что будет не лишним сказать, что Липкович дружил с тем гестаповским полковником, которого похитили.

Он делал вид, что пытается еще что-то вспомнить. Гестаповец клюнул. Он улыбнулся и поощрительно сказал:

— Ну, ну, что ты еще знаешь?

— Да, я вспомнил, я один раз слышал, как Антончик своим дружкам, а это было у меня в доме, говорил, что благодаря Липковичу они смогут заманить полковника к себе. Но об этом я уже рассказывал.

— И что дальше? Повтори, если что-то вспомнил, дополни свои показания.

— Липкович дружил со своим шефом — начальником полиции, а тот добывал драгоценности для гестаповского полковника. Антончик и его дружки использовали это. Они убили начальника полиции, еще смеялись, что зарезали его, как свинью, затем сами подкатились к этому полковнику, вручили ему очень ценную бриллиантовую брошь и сказали, что обнаружили в моем доме целый склад драгоценностей. Предложили полковнику

самому поехать и отобрать для себя лично все, что понравится. Вот полковник и клюнул.

— Как думаешь, а где эта брошь?

— Я думаю, что ее надо искать в кабинете полковника. Антончик жалел, что полковник не взял ее с собой.

После допроса Абрама отвели в камеру, дали еду. Абрам слишком хорошо понимал, что хорошее отношение к нему скоро иссякнет. Гестаповцы попробуют вытянуть из него другие сведения о подпольщиках и партизанах. Он понимал, что его будут пытать и, конечно же, расстреляют или повесят.

«Ну и что, — думал Абрам, — главное, мне удается отвлечь внимание немцев от своих друзей».

Абрам был рад и тому, что ему удалось не допустить казни ни в чем не повинных людей. «Пусть меня убьют, но я отомстил фашистам за свою семью, за всех, кого они убили!».

Он не знал, что сразу же после допроса гестаповцы обнаружили в кабинете похищенного полковника драгоценную брошь. Выходит, Абрам говорил правду. Наконец им удалось разыскать в одном из госпиталей Липковича. Несмотря на то, что тот был в коме, его тут же перевели в тюремный лазарет, установили круглосуточную охрану, а от врачей потребовали как можно скорее вывести его из комы. Были допрошены сослуживцы Липковича и Антончика. Те подтвердили их дружбу. Было важно то, что никто из полицейских не сказал что-либо об особых отношениях Липковича и Цветкова. Об этом никто и не знал.

Прошло еще четыре дня, и немцы получили еще один удар. Липкович, не приходя в сознание, умер в тюрьме. Абрам не знал об этом, ему было неизвестно и то, что на совместном совещании агентов тайной полиции и гестаповцев было принято решение продолжать допрашивать Абрама. Когда же его информация иссякнет, исходить из того, что он не все сказал, и применить к нему пытки, а затем прилюдно казнить через повешение.

И вот наступил переломный момент в отношении гестапо к парню. На очередном допросе Абрам повторял только то, что говорил раньше.

Офицер тайной полиции спросил:

— Скажи, Абрам, почему ты не пришел к нам добровольно и не начал с нами сотрудничать, ты же был для нас ценным информатором, тебя никто не трогал бы, наоборот, ты жил бы как у Бога за пазухой?

Абрам улыбнулся:

— Я же пришел к вам добровольно, там, на Комаровской площади. Я отомстил Готтенбаху. Если бы вы не пришли на нашу землю, мы жили бы счастливо. Я никогда не стал бы помогать вам. Я рад, что отомстил за свою семью, за всех, кого вы убили или сожгли в печах.

Гестаповец спросил:

— Значит, ты не хочешь рассказать нам все?

— Я уже все рассказал.

Офицер, встав, подошел к сидевшему на табурете Абраму:

— Мы не верим тебе! Ты можешь рассказать нам еще многое: о подпольщиках, о партизанах, о тех, кто служит в полиции и работает против немецкой армии. Предупреждаем: не будешь говорить добровольно, мы заставим тебя быть правдивым! Даем тебе три часа на то, чтобы ты подумал. Если не послушаешься, мы применим к тебе такое насилие, что даже смерть тебе покажется счастьем.

Абрама отвели в камеру. Есть уже не давали.

«Ну что ж, — решил парень, — я готов к тому, чтобы умереть. Никакие пытки не заставят меня рассказать им о моих товарищах. Я отомстил оккупантам, не дал убить многих людей. Я этого и хотел».

Три часа прошли быстро. Открылась дверь камеры, двое охранников повели его по длинному коридору не туда, куда его водили до этого.

Его ввели в камеру. Там уже находились четверо. Абрам узнал одного из них. Это был офицер тайной полиции. Он, ухмыльнувшись, рукой показал на крепкий деревянный низкий стол, поверхность которого была обита жестью. К столу было приделано что-то похожее на наручники, прикреплены ремни с металлическими застежками.

— Это будет твоя пуховая кровать. А здесь, — он показал на обычный стол, — щипцы. Ими мы выдираем зубы, языки, ногти. А эти иголочки мы загоняем под ногти. А вот эта штучка, видишь, как паяльник. Этим приспособлением мы выжжем тебе на груди, лбу и спине звезды. А вот этой кувалдочкой, смотри, какая она красивая, мы переламываем кости пальцев, рук, ребер, ног. Вот видишь, какой набор инструментов тебя ждет, если ты не согласишься сейчас же на сотрудничество с нами и не расскажешь нам все.

— Я уже все сказал.

— Врешь, июде! — Офицер наотмашь ударил парня в лицо. Абрам ударился о стену, но устоял на ногах. Офицер что-то приказал по-немецки.

К Абраму подошли трое, схватили и подвели к низкому столу. Его уложили, приковали руки, ноги перевязали ремнями. Теперь он мог только говорить, моргать и чуть-чуть шевелить пальцами рук и ног. Над ним появилось ухмыляющееся лицо офицера.

— Неужели ты думаешь, что смерть германского солдата или офицера безнаказанна?

Абрам понимал: умолять — бесполезно. Он вдруг улыбнулся и, глядя на фашиста, твердо сказал:

— Я вас победил. Скоро вы, все немцы, вся ваша Германия, будете стоять на коленях, каяться за свои преступления и молить о пощаде...

Потом он подумал: «Женя, Таня, товарищи, Эллочка, простите меня, но я отомстил!»...

Прошло еще три дня. Жителей близлежащих к Комаровской площади улиц немцы и их пособники в черных полицейских шинелях с бело-красно-белыми повязками на рукавах начали сгонять на площадь. Людей было много. Они стояли вокруг площади по три-четыре человека в ряд. В центре площади была установлена виселица. В толпе были и Женя с Таней. Недалеко от них — Иван Николаевич Мороз, чуть поодаль — еще несколько партизан и подпольщиков. Через надежных источников командование бригады «Штурмовая» получило информацию, что оккупанты будут казнить Абрама Рабиновича именно здесь.

А в это время двое солдат подняли Абрама с земли. Идти он, конечно же, сам не мог. Все, что можно, палачи поломали, искололи.

Его руки с переломанными пальцами безжизненно висели вдоль тела. Парня подтащили к грузовику, и четверо солдат погрузили его в кузов. Вскоре машина въехала на центр площади и остановилась у виселицы. Солдаты откинули боковые и задний борт, и люди увидели лежавшего парня. Никто бы не смог его узнать. Вместо лица — сплошное кровавое месиво.

Офицер влез в кузов и взял жестяный рупор:

— Внимание! Этот еврей по имени Абрам Рабинович посягнул на самое священное — на жизнь германского солдата. За такое бандитское преступ-

ление по закону военного времени полагается только смерть. Это несмотря на то, что этот еврей рассказал оккупационным властям все, что знал. Он назвал всех своих соучастников, большинство из них уже арестованы и дают признательные показания. А сейчас смотрите и имейте в виду, что такая кара ждет каждого, кто посягнет на жизнь германского солдата или офицера!

На шею Абраму повесили петлю. Он вдруг пошевелился, огромным усилием воли повернулся и попытался что-то сказать. Если бы Женя или кто-либо из ее друзей были рядом, они наверняка смогли бы услышать:

— Прощайте, дорогие. Я отомстил. Мы победим!!!

Машина тронулась, веревка натянулась, и вскоре под крики ужаса и стона людей Абрам Рабинович висел на виселице...

Потрясенные Женя и Таня со слезами на глазах молча шли по улице.

На конспиративной квартире девушки застали Мороза и еще четверых партизан-разведчиков.

Иван Николаевич как мог успокаивал девушек, а затем строго сказал:

— Сегодня ночью мы заберем тело Рабиновича. Он будет похоронен в родной земле, и похоронен как и положено герою.

Прошло еще пять дней, и в бригаду «Штурмовая» пришла радиограмма из Москвы: «За героизм, проявленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Рабинович Абрам Айзикович награжден орденом Боевого Красного Знамени (посмертно)».

Несмотря на то, что место казни охранялось, партизанские разведчики смогли снять тело Абрама и доставить его в бригаду.

Абрам был похоронен на небольшой возвышенности... Именно сюда в июле 1944 года пришел отец Абрама — Айзик Аронович Рабинович. Вместе с ним пришел и Иван Платонович Статкевич. Они в составе Красной Армии освобождали Белоруссию. Рядом с ними на могилу Абрама возлагали цветы Елена Петровна, ее дети, среди которых была и Элла, которой шел уже пятый годик, и Исаак, и Роза.

Айзик Аронович, опустившись на колени, гладил руками могилу, пытаясь ее обнять. Все плакали...

ОТ АВТОРА

Это художественное произведение написано на документальной основе — фактах ужасных преступлений оккупантов в Беларуси. Надо помнить, что в нашей стране погиб каждый третий ее житель.

На территории Беларуси немецкими оккупантами было создано 260 лагерей смерти. В них погибло 2 миллиона 200 тысяч человек: 1 миллион 400 тысяч гражданского населения и 800 тысяч военнопленных. Были насильно вывезены в Германию сотни тысяч человек.

Кроме Семково детские концлагеря для доноров были созданы в деревне Скобровка Пуховичского района. В деревне Лучицы Петриковского района Гомельской области содержались дети от 7 до 17 лет. Сотни были отправлены в Германию в качестве доноров для немецких солдат. В лагере постоянно находилось 200-250 детей. Регулярно они отправлялись в Германию, и лагерь пополнялся новыми детьми. Такой же лагерь находился в поселке Паричи Гомельской области. Самый крупный в Гомельской области концлагерь для детей-доноров, чья кровь отбиралась для немецких раненых солдат и офицеров, находился на территории учебного хозяйства «Красный Берег»

Жлобинского района. В нем постоянно находились дети в возрасте от 8 до 14 лет, немцы их насильно отбирали у родителей — жителей Жлобинского, Добрушского и других близлежащих районов и всех отправляли в качестве доноров для немецких военнослужащих в Германию. Последняя партия — 1990 детей.

Справка в отношении только одного из немецких офицеров СС Вильгельма Мойрина. Документ взят из архива Лондонской «Библиотеки Альфреда Винера». Всего этот офицер СС доставил в Минск только за один рейс из Дюссельдорфа 3992 еврея, из них выжило всего пятеро.

Есть в названной библиотеке полицейский протокол, в котором идет речь о депортации из Дюссельдорфа поездом в минское гетто 992 немецких евреев. В протоколе Мойрин отчитывается о вывозе очередной партии евреев поездом в гетто Минска. Мойрин подробно описывает, какие «лишения» ему лично пришлось пережить во время четырехдневного следования поезда Дюссельдорф — Минск. То, что заключенных за четыре дня ни разу не выпустили из товарных вагонов, — мелочь по сравнению с тем, что ему было на отдельных участках дороги холодно, а стоял восемнадцатиградусный мороз, и что после пересечения советской границы в его вагоне окончилась вода. Самая большая проблема в том, что ему придется возвращаться в Германию третьим классом, что порция алкоголя, которая выдается ему для такой длительной поездки, — слишком мала, что надо конвоирам выдать наушники.

Начальник конвоя этого состава смерти добавляет, что из 992 евреев 300 не могли самостоятельно передвигаться, но несмотря на эти трудности, разгрузка состава вложилась в отведенный срок. Он тут же отмечает, что «8000 «русских» евреев в минском гетто — расстреляны», то есть места освобождены...

Иногда, когда бываешь в Хатыни, можно наблюдать редкую картину: от группы туристов из Германии нет-нет да и отделится кто-либо из мужчин. Он становится на колени и кается за свои грехи. Кто знает, может, в его жилах течет кровь наших детей. Помнят ли это немцы? Мы-то помним...

Валерий ЧУДОВ (*Беларусь)*

ОХОТА НА КАБАНОВ
Рассказ-быль

РОКОВОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

Главный комиссар города Барановичи группенфюрер Фридрих Фенс сидел за столом и потягивал кофе, когда к нему зашёл гебитскомиссар Барановичской области Штюр.

– Присоединяйся, Фридрих, – Фенс жестом руки указал на кофейник.

– Спасибо, я лучше покурю.

Штюр присел к большому столу для заседаний и вытащил сигарету.

Фенс допил кофе, откинулся в кресле и сложил руки на животе.

– Что-то ты мрачный, Фридрих, – заметил Фенс.

Группенфюрер Штюр молча показал на траурную ленту.

– Да, Сталинград – это трагедия, – согласился главный комиссар, взглянув и на свою чёрную повязку. – Но трагедия одной армии. А наши вооружённые силы крепки как никогда. Думаю, в Берлине разберутся с изменниками, которые допустили такой провал.

Штюр кивнул в знак согласия.

– Я хочу немного развеять твоё мрачное настроение, – продолжал Фенс.

ЧУДОВ Валерий родился в 1946 году на Сахалине. Окончил Ленинградское Высшее военно-морское. Служил на атомных подводных лодках Северного и Тихоокеанского флотов.

Начинал печататься как литературный переводчик с английского. Изданы два его поэтических сборника. Сейчас пишет историческую прозу. Член Союза писателей Беларуси и Союзного государства. Лауреат нескольких международных литературных премий.

– К нам едет генерал-комиссар Генерального округа Белоруссия гауляйтер Вильгельм Кубе. С инспекцией.

– Этим ты меня не развеселил, – вздохнул Штюр. – Наоборот, забот прибавится.

– Вильгельм мой друг и я хочу устроить для него и для нас отдых, – Фенс сделал паузу. – Хочу предложить ему поохотиться.

Штюр с удивлением вскинул голову. Они оба были заядлыми охотниками.

– Да, да, поохотится, – подтвердил Фенс. – На кабанов в здешнем лесу. Надеюсь, ты не против?

– Ну конечно. Тем более, на кабанов. Но...

– Да, надо подготовиться. Охота загонная. У тебя, кажется, в Машуковском лесу есть знакомый.

– Да, старший лесник наш агент.

– Вот, я пошлю к нему своего человека, и они договорятся. С твоей стороны, Фридрих, – охрана.

– Да, я возьму из охранных отрядов СС человек пятьдесят.

– Надеюсь, партизан в этих местах нет? – уточнил Фенс.

– Ни больших, ни малых отрядов в этих местах не обнаружено.

– Хорошо. Тем не менее, секретность должна быть полная. Обо всём знаем только ты и я. Тех офицеров, которые будут нас сопровождать, мы оповестим за день до выезда. Агенты, которых мы отправим на подготовку, не должны знать, когда мы отправимся на охоту. Мы выедем утром, а вернёмся к вечеру. Ну что, Фридрих, ты согласен.

– Конечно. Охота на кабанов – это мечта любого охотника.

– Вот и хорошо. За дело, господин гебитскомиссар!

ВОТ ЭТО НОВОСТЬ!

Поздним февральским вечером в партизанском отряде появился разведчик «Лесник» и попросил немедленно разбудить командира.

– Что тебе, Степаныч? – спросил заспанный командир.

– Завтра на охоту приедет главный комиссар города Барановичи Фридрих Фенс. – торопясь проговорил разведчик.– С ним будет какой-то весьма важный начальник из Минска.

– Так. Куда едут?

– В Машуковский лес. Целая команда эсэсовцев будет сопровождать и охранять этих высоких чинов.

– Маршрут известен?

– Из Барановичей до Синявки охотники будут добираться на автомашинах, а там пересядут на сани.

Не успел командир подробно расспросить «Лесника» о дороге, по которой будут проезжать фашисты, и в каких лесных кварталах они намереваются охотиться, как в землянку ввалился запыхавшийся и взволнованный ещё один разведчик, связной между партизанским отрядом и деревней.

Он сбросил шапку-ушанку, полушубок. Густой пар повалил от его головы, спины.

– Уж не леший ли гнался за тобой? – поинтересовался командир.

– Хуже, товарищ командир. Простите, десять километров бежал по снежной целине, – говорил связной, тяжело дыша. – Завтра, а может и сегодня, – связной достал из кармана трофейные часы, щелкнул крышкой, – да, сегодня...

– Что – завтра, сегодня? Говори. Только спокойно, не волнуйся и не спеши, – попросил командир.

Связной разозлился на самого себя. Торопился, чтобы вовремя предупредить командира, прибежал и не может рассказать толком...

– Сегодня на охоту сюда приедет главный комиссар Барановичей Фенс, гебитскомиссар Барановичской области Штюр и... – связной перевёл дыхание, – и... сам гауляйтер Кубе.

– Кубе, говоришь? – Командир переглянулся с комиссаром. Кого-кого, а Кубе они не ожидали. – Что они одни, без свиты приедут?

– Нет, нет! «Николай» просил передать, что с ними будет около полусотни эсэсовцев.

И «Лесник» и связной были лучшими разведчиками отряда, не раз добывали ценные данные. «Лесник» действительно работал в лесничестве, а связной жил в деревне Машуки рядом с лесом. Передать в отряд о предстоящей охоте гитлеровцев в Машуковском лесу ему поручил агент «Николай», который по заданию командира служил начальником полицейского поста. «Лесник» же об охоте узнал «по секрету» от местного лесничего, агента СД, который попросил его быть проводником. Тот отказался, сославшись на недомогание, и поспешил с новостью в лес.

Командир задумался. Два сообщения из разных мест об одном и том же почти подтверждали правдивость информации. Можно было бы и рискнуть. Но силы были далеко не равные: у фашистов не меньше полусотни хорошо вооружённых солдат, а у него большинство людей на заданиях, в лагере осталось немногим более десятка бойцов.

РЕТРОСПЕКТИВА

Отряду, которым он руководил, было всего три месяца. Лишь в ноябре прошлого года девять хорошо подготовленных человек были заброшены в этот район. Все они были жители Белоруссии, а половина из них знакомы с Барановичским районом. Был, правда, один испанец, которого командир знал ещё по гражданской войне в Испании.

Отряду поручалось вести постоянную разведку и сообщать Центру данные о размещении воинских частей и аэродромов противника, о строительстве складов, оборонительных сооружений, об экономических мероприятиях врага на временно оккупированной территории. Особенно усиленно надлежало следить за возможными приготовлениями противника к химической войне.

Был в инструкции и пункт, в котором им поручалось также проводить диверсии на железных и шоссейных дорогах, выводить из строя работающие на оккупантов промышленные предприятия, уничтожать живую силу и технику противника. Однако, курирующий их генерал на прощание подчеркнул:

– Но это потом, позже. Главное сейчас – разведка и контрразведка! Ведь ваш отряд так и называется, специально-разведывательный.

Разведгруппа быстро превратилась в небольшой партизанский отряд, набрав надёжных и проверенных людей из местного населения.

Основательно освоив Барановичи, разведчики отряда собирали достоверную информацию о перевозках через железнодорожный узел воинских грузов, добыли план аэродрома и сведения о количестве самолётов, базирующих на нём.

Бойцы рвались в бой, хотели своими руками уничтожать гитлеровцев, взрывать мосты, пускать под откос эшелоны, видеть ощутимые результаты своей деятельности. Пришлось командиру, скрепя сердце, сдерживать этот боевой

порыв. Правда, после тщательной подготовки, которая почти исключала риск, командир время от времени водил бойцов на диверсии.

Две диверсионные операции провёл отряд. Две недели тому назад командир доложил об этом в Центр. И вскоре из Москвы пришла радиограмма: «Роману. Впредь до особого распоряжения требуем прекратить диверсии. Продолжайте работу по изучению путей подхода к Минску, Барановичам, Бресту и подготовке почвы в этих городах для работы других групп».

– Вот так, комиссар, – сказал тогда командир комиссару. – Одёрнул нас Центр. Опасается, что мы можем отвлечься от главного – от разведки. Что ж, примем это, как говорится, к сведению и исполнению.

РЕШЕНИЕ

Теперь командиру надо было решать: либо следовать инструкции и не ввязываться в авантюру с непредсказуемым результатом, либо пойти наперекор Центру и устроить засаду, уничтожить важных гитлеровских чиновников. Один только Кубе что значит! Но в этом случае возможны потери среди его людей.

– Ну что скажешь, комиссар? Задачка? – произнёс командир, приглаживая рукой волосы.

Комиссар не мешал командиру думать. Зная характер командира, он понимал, что тот уже принял решение и сейчас лишь проверяет – правильно ли он решил,

Своё мнение имел и комиссар. Поэтому твёрдо ответил:

– Случай, можно сказать, особый, исключительный. Высокие чины сами лезут на рожон. И нам, во что бы то ни стало надо организовать засаду на охотников. Устроим им охоту на них самих!

– Хорошо, комиссар. Прав ты – случай исключительный. Не воспользоваться им нельзя. Будем встречать «гостей» по-нашему, по-партизански. Но прежде чем выдвигаться на позиции, нам надо предусмотреть все варианты и детали будущего боя. Поэтому собирай бойцов! Времени мало. Точнее, его почти нет.

Через несколько минут бойцы отряда были в командирской землянке. Вглядываясь в их лица, командир рассказал о только что полученных данных.

– Как видите, товарищи, врагов много и вооружены они неплохо. Нас меньше, – пояснил командир в заключение, – но, как говорил Суворов: воюют не числом, а умением. Разве каждый из вас не справится с пятью гитлеровцами? Нас мало, но у нас есть большое преимущество: мы на своей земле, боремся за правое дело, у нас крепкий союзник – внезапность. И упустить этот случай, дать фашистским мерзавцам безнаказанно развлекаться на нашей земле нельзя. Мы не имеем права позволить им такую роскошь. Так я говорю, товарищи?

– Да что там долго разговаривать! Веди, командир, – поддержали его все бойцы. – Покажем фрицам второй Сталинград!

– Итак, решено: будем встречать «гостей»! – заключил командир и назвал участников предстоящей операции.

Вначале он не хотел брать с собой радиста. Связь с центром много значила для специального разведывательного отряда, и командир старался его оберегать. И вот тот сам просит. В другой раз не взял бы, а сейчас... Он отличный пулемётчик, а в данной ситуации пулемёт может решить всё.

– Ладно, пойдёшь. Возьми пулемёт, будешь рядом со мной.

Приказав бойцам тщательно проверить оружие, командир отпустил их.

ЗАСАДА

– Ну, Степаныч, показывай, где их встречать лучше всего? – спросил командир, и вместе с комиссаром и «Лесником» склонился над картой.

– Вот Раскоп, – показал «Лесник» на перекрёсток лесных дорог. – Охотникам его никак не обойти.

Командир прикинул по карте и кивнул в сторону «Лесника».

– Ты прав, Степаныч, они должны пройти в этом месте. Здесь будем делать засаду. Жаль только, мало нас. Всего двенадцать человек...

– Тринадцать, – уточнил «Лесник». – Разве я не боец.

– Нельзя тебе в засаду, Степаныч. Ты своё дело сделал. Проведёшь нас к Раскопу и домой. Ты нам нужен как разведчик. И к тому же у тебя семья большущая. А в бою, сам знаешь, может случиться всякое.

– За доброе слово спасибо, товарищ командир, но это не довод. У каждого семья. Я пойду, должен пойти в засаду.

Сборы был недолгие. Немного отдохнув, горстка бойцов двинулась к Раскопу. Все были в белых маскировочных халатах. Впереди шёл «Лесник». По приказу командира все волочили за собой еловые ветви – заметали следы.

За два дня перед этим, в оттепель, выпал большой снег. Погода была тихая, безветренная, и снег густо и плотно покрыл кустарник, деревья. Затем мороз подсушил толстое снежное покрывало. Деревья стояли в таком же белом наряде.

Ещё до рассвета бойцы подошли к перекрёстку лесных дорог.

– Вот и Раскоп, – тихо сказал «Лесник».

– Да, место удобное для засады, – похвалил командир.

Он расставил бойцов в молодом сосняке, в 15-20 метров от дороги. Приказал вырыть окопы в снегу и тщательно замаскироваться.

Командир сам отрыл для себя окоп и, заметая следы веткой, вышел на дорогу. Осмотрел со стороны позиции бойцов. Ничего не было заметно. В белых маскировочных халатах партизаны глубоко зарылись в снегу, умело замаскировались между сосенками и елями.

«Молодцы!» – мысленно похвалил командир и, оставив двух человек для наблюдения за дорогой, приказал остальным отойти в глубь леса.

Здесь партизаны позавтракали. Потом командир ещё раз напомнил: когда будут проезжать фашистские охотники, не обнаруживать себя и ни в коем случае не открывать огонь до сигнала. Таким сигналом должен быть первый выстрел из пулемёта. А тот должен открыть огонь по взмаху руки командира.

– В первые 10-20 секунд патронов не жалейте. Помните, что только внезапный, дружный и меткий огонь может обеспечить победу, – напомнил командир.

Часов в десять утра бойцы заняли окопы, расположенные друг от друга в нескольких метрах, и стали ждать встречи с гитлеровцами.

ВЫЕЗД

Охотники выехали из Барановичей затемно. Колонна растянулась на несколько сотен метров. Впереди ехала грузовая машина с эсэсовцами, за ними несколько легковых с работниками штабов и охраной. Следом – мощный автомобиль с Фенсом, Штюром и Кубе. Их сопровождала ещё одна легковая машина с охраной. Замыкал колонну грузовик с солдатами. С обеих сторон кавалькады скакали конные эсэсовцы и полицейские.

В Синявках колонна остановилась. Там уже стояли наготове сани. Высшие чиновники собрались в доме начальника полицейского поста. Тот доложил об обстановке в округе. Всё было спокойно. Фенс вызвал проводников.

– Ну, что у нас с охотой?

– Всё сделано как приказывали, господин главный комиссар, – докладывал лесничий. – Составлен загонный отряд из жителей деревни и полицейских. Они уже на месте и ждут сигнала. После того, как вы распределитесь по номерам, начнётся загон.

– Саней на всех хватит?

– Так точно, господин главный комиссар.

– Хорошо, идите. Готовьтесь. Через десять-пятнадцать минут выезжаем.

Проводники вышли. Адъютанты разлили по чашкам горячий кофе. Начался обычный среди охотников разговор.

Внезапно сидевший молча Кубе сказал:

– Знаешь, Фридрих, я, пожалуй, не поеду дальше. Что-то плохо себя чувствую.

– В чём дело, Вильгельм? – удивился Фенс.

– Ты же знаешь, я не охотник. По крайней мере, не такой заядлый, как ты. Да и возраст даёт знать. К тому же, мне кажется, я начинаю заболевать.

Фенс с сожалением развёл руки.

– Жаль, Вильгельм, я хотел сделать тебе приятное.

– Ничего, Фридрих, я буду ждать вас в Барановичах. – Кубе улыбнулся. – И конечно с удовольствием попробую блюда из вашей добычи.

Фенс нахмурился. Что делать? Возвращаться назад – нельзя. Шуток не оберёшься. Ещё за труса посчитают. Кубе можно, он генерал-комиссар, сам себе хозяин. А у них для возвращения нет никаких причин. Всё готово для охоты. И всё спокойно. Охотничий азарт победил.

Через полчаса наполовину уменьшенная колонна на санях выехала в сторону леса.

ВСТРЕЧА

– Едут, едут! – услышал, наконец, командир приглушённый голос разведчика.

Но вместо охотников появились одинокие розвальни.

«Какой-то мужик едет за дровами», – подумал командир.

Когда же сани поравнялись с местом засады, бойцы увидели в санях двух мужчин – молодого и средних лет.

– Лесничий и агент из Барановичей, – шепнул командиру «Лесник».

– Разведка! – догадался командир.

Совсем недалеко послышались голоса людей, стук копыт по снежной дороге, скрип полозьев. Звуки приближались, а вскоре показались и сами гитлеровцы: впереди несколько всадников, за ними сани. Одни, вторые, третьи... Больше десятка, растянувшись далеко друг от друга. Сидевшие в них эсэсовцы держали оружие наготове.

Командир молчал. Пулемётчик обратил к нему недоумённый взгляд:

«Что случилось, командир? Почему нет сигнала?»:

– Выпустили из рук! Прозевал командир... – сказал кто-то в сердцах.

Оставив двух бойцов для наблюдения, командир с остальными отошёл под разлапистую ель.

– Почему мы их пропустили? – спросил пулемётчик.

– Почему, почему?.. – повторил командир и заколебался. Казалось, не может сразу ответить на вопрос. – А вот давайте вместе подумаем. Мне даже кто-то упрёк бросил, мол, прозевал командир.

– Это у меня вырвалось... – с виноватым видом произнёс один боец.

– Упрёк или не упрёк – не в этом суть, – сказал командир. – Главное, что мы не ввязались в бой с немцами. Вы заметили их настороженность? Заметили, как они глаза таращили по сторонам? А как оружие держали в готовности к бою? Нет, таких не возьмёшь. Мы, конечно, половину их скосили бы сразу, но и сами здесь все полегли. Вот почему, товарищи, я и решил пропустить их и ждать возвращения с охоты.

– А когда они назад поедут, их что меньше станет? – недоумевали бойцы.

– Если на охоте ничего не случится, их будет столько же, – улыбнулся командир, – но они будут уже не те. Во-первых, устанут. Во-вторых, успокоятся. А в-третьих, наверняка «замочат» охотничьи трофеи, как обычно бывает у охотников. Думаю, будут они пьяненькие. Такими вот тёпленькими мы их и возьмём.

БОЙ

Командир разрешил бойцам по очереди выбегать в глубь леса, чтобы немного согреться. Время шло, а охотники не возвращались. Начинало смеркаться. На противоположной стороне дороги угрюмо шумел вековой бор. И хотя возвращения немцев бойцы ожидали, они появились как-то внезапно.

К этому времени командир с пулемётчиком перешёл в наиболее опасное место, чтобы начать бой, оказавшись у самой головы колонны фашистов. Он считал, что взрывы брошенных им толовых шашек вызовут панику у гитлеровцев.

Когда охотники приблизились к засаде, командир увидел: они уже не те, что были утром. Удачная охота и обильная «замочка» трофеев сделали своё дело: с подвод доносился пьяный галдёж, беззаботный смех. На это и рассчитывал командир.

Ожидавшему сигнала пулемётчику он взглядом приказал: «Приготовиться!» – и тут же бросил шашку. Не успела она разорваться, как заработал пулемёт, ударили из автоматов бойцы.

Колонна отозвалась дикими криками гитлеровцев, лаем собак и ржанием лошадей. Сразу же погибла большая часть гитлеровцев. Уцелевшие пытались бежать. Некоторые залегли и начали отстреливаться.

«Там их главарь», – решил командир, и, прикрываясь кустами, побежал в сторону, где засели фашисты. За ним комиссар и другие бойцы. Командир метнул ещё одну шашку и взялся за вторую... И в это время сильный взрыв свалил командира на снег. К нему бросились комиссар с «Испанцем».

Командир лежал под высокой мохнатой елью. Из обеих рук текла кровь, возле него краснел снег. В крови были лицо командира, полушубок.

– Продолжайте операцию! Добивайте фашистов, комиссар! – отдал приказ командир.

– Хусто, спасай командира, – крикнул комиссар «Испанцу». – Выноси его с поля боя.

«Испанец» быстро наложил жгуты на обе руки командира. Затем снял с

себя полушубок, положил на него командира и ползком начал пробираться в глубь леса, подальше от места боя.

Гремели выстрелы, свистели пули, но «Испанец» не замечал ничего. Он не думал о себе. Все его мысли были о командире.

В это время комиссар зашёл с правого фланга и расстрелял укрывшихся на дороге фашистов.

СПАСТИ КОМАНДИРА!

Разгром был полный, но радость победы была омрачена тяжёлым ранением командира. Бойцы торопливо собирали трофеи. «Испанец» и комиссар перевязывали потерявшего сознание командира. Его бережно завернули в доху барановичского «главного комиссара» и на трофейных лошадях, чудом уцелевших во время боя, поехали в свой лагерь. По дороге командир очнулся...

– Комиссар, принимай на себя командование отрядом и уводи его на запасную базу к Выгоновскому озеру, – превозмогая боль, торопливо отдавал распоряжения командир. – И ещё... Позови... Василя...

– Слушая, товарищ командир, – наклонился над командиром «Лесник».

– Василь, спасибо тебе за всё. – Командир закрыл глаза, замолчал, а затем тихо, еле слышно сказал: – Иди с отрядом, бери семью, спасай детей, жену. – Он снова впал в беспамятство.

Командир не видел, как бойцы, забрав свои небогатые пожитки, оставили лагерь. Не видел, как они подъехали к хате лесника, как тот торопливо собирал своё многочисленное семейство. Он не видел, как «Испанец», с ещё одним бойцом, гнал вовсю лошадей. Он не чувствовал и не знал, что везут в деревню Святицу, в соседний партизанский отряд, где был хирург.

Приехали ночью. Хирург, к счастью, был на месте. Но у него не было необходимых инструментов, наркоза... А надо было оперировать незамедлительно. И хирург начал готовиться к операции. По его распоряжению принесли слесарную пилу, которая должна была заменить хирургическую, немного спирта. Пила оказалась тупой, и врач приказал отточить и прокипятить её. Точить взялся знакомый с этим делом партизан.

Тревожное волнение, боль были на лице «Испанца» и сопровождавшего бойца, когда они смотрели на эти приготовления, слушали скрежет напильника. Это заметил пришедший в себя командир.

– Что ж получается? Врач работает, а вы бездельничаете. Негоже, негоже, – бросил он своим товарищам так удививший их упрёк. – Камрад Лопес, давай лучше возобновим уроки русского языка. – «Испанец» плохо выговаривал шипящие звуки, и командир, прошедший гражданскую войну в Испании, в свободное время занимался с ним. – Повторяй: наш Яша пилы точит, как девок лечит. Нарежет, наточит, как сам захочет.

– Наш Яша пилы точит, – начал было «Испанец», но пришел боец с отточенной пилой...

Вместо наркоза хирург предложил командиру стакан спирта, и операция началась. Скрежетала пила о кость, холодным потом покрылись лица «Испанца» и второго бойца, державших командира, а он – ни стона... А тут на беду, на партизанскую базу напал крупный карательный отряд. Теплее укутав командира, «Испанец» с бойцом, хирургом и женщиной-врачом, повезли вновь впавшего в беспамятство командира в лес. Там хирург и завершил операцию.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Кубе ждал возвращения охотников в Барановичах. У него было мрачное настроение. Ожидание чего-то непоправимого не покидало его. Его интуиция никогда не подводила. Поэтому он так внезапно и резко изменил планы и не поехал на охоту.

Наконец, когда Кубе уже собирался отдыхать, вошёл его адъютант штурмбанфюрер СС Видельштейн. Вид у него был растерянный. Гауляйтер сразу понял – несчастье.

– Что случилось?

– Прибыли несколько конных эсэсовцев из охраны. Вид у них... – адъютант покачал головой.

– Что говорят?

– На них напали партизаны. Из засады. Все погибли. Они спаслись случайно.

– Случайно! – гневно воскликнул Кубе. – Они должны были защитить своих командиров или погибнуть!

– Что с ними делать, господин генерал-комиссар?

– Я их видеть не хочу. Арестуйте этих кретинов и отдайте службе СД. Пусть они с ними разбираются. Нам же здесь делать нечего. Готовьте поезд, мы уезжаем незамедлительно.

В ту же ночь Кубе убыл в Минск.

Только на следующий день гитлеровцы, собрав большие силы и предварительно заняв прилегающие к лесу деревни Машуки, Лопатичи и Гайнин, рискнули приблизиться к месту схватки, чтобы подобрать трупы горе-охотников.

Через несколько дней в минской газете был помещён потрет Фенса, обведённый жирной чёрной рамкой и опубликован некролог, подписанный самим Кубе. Гауляйтер не жалел эпитетов для своего покойного друга.

Разгром группы высокопоставленных гитлеровских чиновников вызвал настоящую панику в стане врага. И было отчего. Уничтожены «главный комиссар» Барановичей группенфюрер Фридрих Фенс, гебитскомиссар Барановичской области группенфюрер Фридрих Штюр, восемь эсэсовских офицеров, два коменданта полиции и почти все охранники. Спаслись только несколько эсэсовцев, лесничий и агент из Барановичей. Но спаслись ненадолго. Вскоре эсэсовцев расстреляли сами гитлеровцы – за трусость и бегство с поля боя. А через некоторое время партизанские пули настигли продажного лесничего и агента СД.

ОТГОЛОСКИ

Правда, долгое время не были известны подробности: какой отряд совершил, кто командовал партизанами. Даже Центр об этом узнал не сразу.

Возвратившись в лагерь после операции, комиссар послал в Москву тревожное донесение:

«17.02. группа устроила засаду на приехавших в машуковский лес крупных немецких чиновников, среди них, предполагалось, будет Кубе, во время боя в руках командира взорвался толовый заряд, у него перебита правая рука и повреждена левая. «Миша»».

В донесении не говорилось об уничтожении фашистских деятелей. Ко-

миссару и бойцам было не до них: все они с напряжением следили за состоянием здоровья своего командира.

Сообщение комиссара взволновало и Центр. Оттуда последовал запрос:

«Куда направлен «Роман» после ранения? Кто его лечит. Кто из бойцов наблюдает за его лечением? Какие медикаменты нужны для лечения? Сможет ли отряд принять людей из Москвы?».

Центр требовал от комиссара сделать всё возможное для лечения командира, передавал «Роману» привет от жены и дочерей.

Комиссар ответил:

«Роман» в сопровождении «Испанца» направлен в соседний партизанский отряд, где имеется опытный хирург. У «Романа» ампутирована правая рука и три пальца на левой. Операция прошла удовлетворительно. «Роман» чувствует себя хорошо. «Миша»».

И только после этого в Центр ушло донесение, в котором комиссар коротко сообщил о результатах засады 17 февраля 1943 года, об уничтожении Фенса и других охотников.

Потом было разъяснение. Со слов командира произошёл уникальный случай. Немецкая пуля попала в детонатор, и толовая шашка взорвалась в руках.

Весть об уничтожении партизанами высокопоставленных фашистских чиновников разнеслась далеко за пределами Белоруссии. Об этом писала и зарубежная печать. 21 марта 1943 года «Правда» сообщала:

«Убийство фашистских палачей в Барановичах.

Стокгольм, 20.03 (ТАСС). Гитлеровская газета «Минскер цейтунг» сообщает, что советскими партизанами в Барановичах убиты гитлеровский «главный комиссар» города Барановичи Фридрих Фенс и один из главарей охранных отрядов».

КОМАНДИР УЗНАЁТ ПОСЛЕДНИМ

Сам командирузнал о результатах операции нескоро.

Когда к нему допустили бойцов, он засыпал вопросами комиссара:

– Какие операции после моего ранения провёл отряд? Что нового сообщает разведка? Какие указания получены из Центра? Где устроилась семья «Лесника»?

Комиссар коротко доложил о делах отряда, рассказал о семье «Лесника». Обрадовал, что в отряде потерь нет. Все здоровы.

– А теперь расскажи о результатах нашей засады, – потребовал командир.

Комиссар улыбнулся и вынул из сумки трофейные документы, развернул газеты с некрологами. Из чёрных рамок на командира смотрели лица эсэсовских генералов и полковников. Все газеты были на немецком языке.

– Вот Хусто взялся перевести статью, – сказал комиссар, указав на «Испанца». – Её Кубе писал.

Тот взял газету и начал читать:

«17 февраля 1943 года, выполняя свой солдатский долг на Востоке, в возрасте 50 лет погиб группенфюрер СА Фридрих Фенс, главный комиссар в Барановичах, старый гвардеец и обладатель золотого почётного знака НСДАП, обладатель многих орденов первой мировой войны, кавалер ордена за заслуги в войне и знаков отличия партии... Ушёл от нас образцовый в войне и в мирное время офицер старой австрийской армии, германского

рейхсвера, нового вермахта фюрера, храбрый боец свободного корпуса, верный и преданный националист-социалист, один из старейших СА-фюреров...Фридрих Фенс жил и умер за фюрера и за национал-социалистическую великую Германию...».

– Ладно, Хусто, хватит, – остановил его командир. – И так видно, что Фенс отпетый фашист. Кубе знает своих подручных. Наша пуля настигла матёрого фашиста. Плохо, что фото Кубе нет в этом альбоме покойника. Кстати, почему он не был на охоте? – спросил командир.

– Как сообщил наш разведчик из полиции, Кубе доехал до Синявки, а дальше не рискнул. – В голосе комиссара чувствовалось сожаление.

– Ну что ж, горевать не будем, что он унёс ноги. Не мы, так другие. Не уйдёт палач.

– Всё равно, мы здорово повоевали! – вырвалось у бойцов. – Двух знатных фашистов на тот свет отправили!

– Да, вы молодцы! – согласился командир. – Поработали на славу. А ты, комиссар, подготовь материалы к награждению бойцов. Не забудь «Лесника» – Василия. И не скупись, ребята заслужили.

– Разрешите задать вопрос, товарищ командир? – спросил один из бойцов.

– Задавай, смогу – отвечу.

– Вот там написано, что этот самый Фенс – обладатель золотого значка. Что это за знак такой?

– Да, регалий у этого фашиста много, – начал командир. – А вот золотой знак – это высшая награда в нацистской партии и награждаются им самые доверенные и приближённые люди Гитлера?

– Высшая награда... приближённые Гитлера, – полушёпотом повторил боец. – Фенс, ясно дело, шишка большая, да ещё с золотым знаком. А что за звание группенфюрер?

– Группенфюрер войск СС соответствует общевойсковому званию генерал-лейтенант, – ответил командир.

– Вот это да! – воскликнул боец. – Каких «кабанов» мы завалили на этой охоте!

– Правильно заметил боец, – рассмеялся командир. – Действительно, охота на «кабанов» удалась.

Через две недели после ранения командир уже посылал в Центр телеграмму: «Чувствую себя хорошо. Начинаю ходить. Раны заживают отлично».

Специально-разведывательный отряд продолжал свою деятельность в тылу врага.

«День литературы»

№ 3 (9), 2019 г.

Специальный выпуск к пленуму Союза писателей Союзного государства Россия – Белоруссия. Могилев. 3-4 октября 2019 года.

Технический редактор Е.И. Косырева

Подписано в печать 04.09.2019 г. Формат 84x108 1/16
Бумага офсет №1. Гарнитура Newton C.
Печать офсетная. Печ. л.: 22,5
Тираж 500 экз. Заказ №

АНО «Редакционно-издательский дом
«Российский писатель»
119146, Москва, Комсомольский пр-т, 13
Тел. 8-962-965-51-64
sp@rospisatel.ru
www.rospisatel.ru

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область,
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59